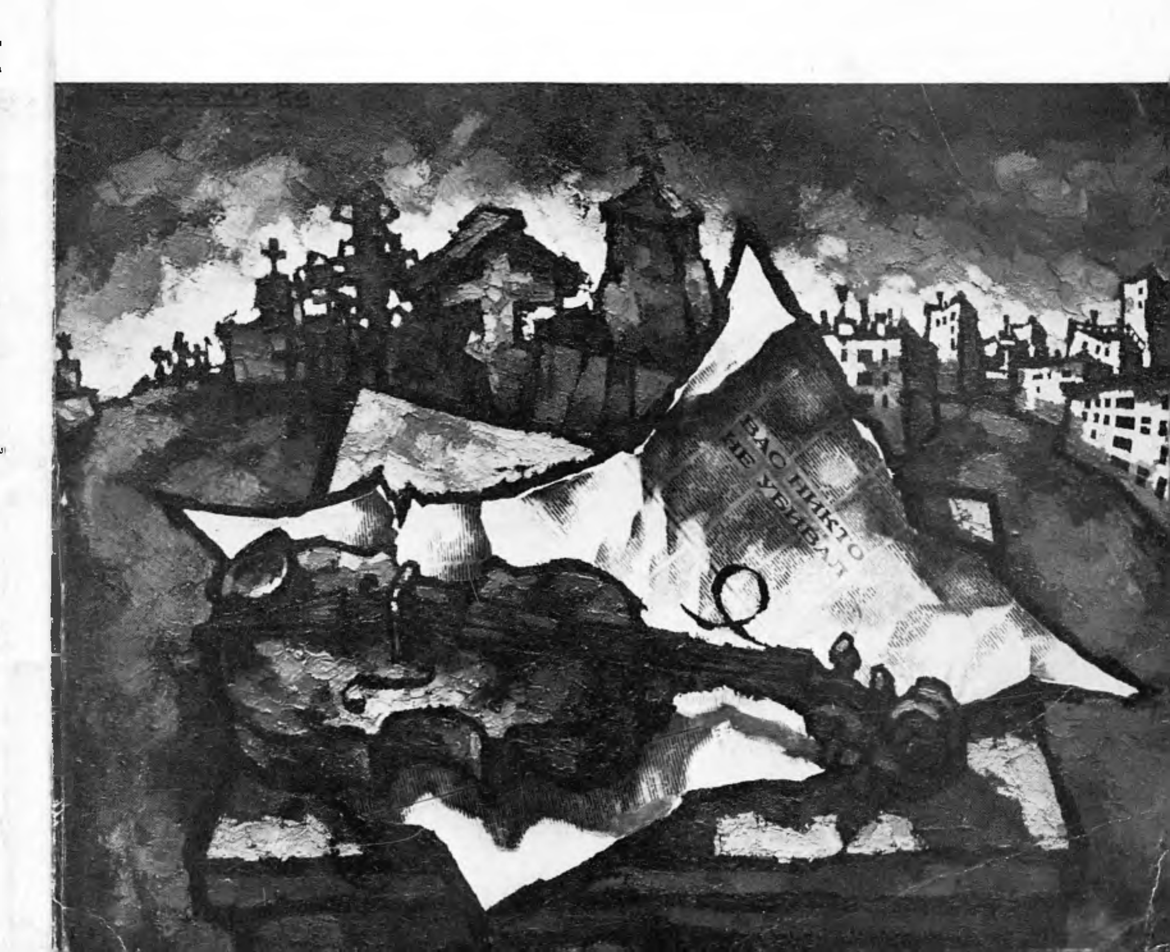
Александр Глезер

ЧЕЛОВЕК С ДВОЙНЫМ ДНОМ

(киига воспоминаний)



А. Глезер ЧЕЛОВИК С ДВОИНЫМ ДНОМ



Александр ГЛЕЗЕР

ЧЕЛОВЕК С ДВОЙНЫМ ДНОМ

(КНИГА ВОСПОМИНАНИЙ)

Издательство
"Третья волна"
Франция
1979

Редактор Майя МУРАВНИК

На первой странице обложки работа Оскара Рабина "Скрипка на кладбище"

На последней странице: "Портрет Александра Глезера" работы А.Зверева.

Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране, если ясно видит ее; я думаю, что время слепых влюбленностей прошло... Я полагаю, что мы пришли после других для того, чтобы делать лучше их, чтобы не впадать в их ошибки, в их заблуждения и суеверия.

П.Я. Чаадаев

БАКУ - УФА - МОСКВА

"Да, да, откуда и зачем ты появился здесь,на этой земле?.."
Владимир Максимов

Лето 1942 года. Немилосердное среднеазиатское солнце. Жаркое дыхание Кара-Кум.Небольшая площадь рядом с красноводским портом забита издерганными измученными людьми, чемоданами, сумками, узлами. Третьи сутки они днюют и ночуют здесь, зачисленные в неблагонадежные, выброшенные внезапно из Баку неведомо куда. Плач детей. Причитания старух. Нестерпимая жажда (в Красноводск воду доставляют пароходами из Баку). И мухи. Крупные, ленивые, сытые. Неторопливо низко-низко с каким-то чувством превосходства кружащиеся над нами. Садящиеся на распаренные, потные тела и лица. Это самое яркое впечатление детства.

Я родился в 1934 году в Баку в семье инженеров-нефтяников. Отец родом из Тбилиси. Мать бакинка. Ба-

бушки и дедушки во внуке-первенце души не чаяли,няня, вырастившая и маму, и ее сестру, то-есть и не няня вовсе, а родной человек, баловала сверх всякой меры. Летом мы обычно отдыхали в Ессентуках или Кисловодске. В доме всегда было весело. Папа играл на рояле, я под его аккомпанемент пел о "трех танкистах"и о том, что "Сталин наша слава боевая"... И только спустя много лет я узнал о страхе, который царил в семье с 1937 года, когда был расстрелян один из руководителей нефтяной промышленности республики, муж маминой сестры Слуцкий, а тетю, как жену врага народа, засадили в лагерь. В 1958 году отец мне рассказал, как в течение нескольких лет жил в ожидании ночного звонка, приготовив вещи на случай ареста.

Неотвратимость ареста усугублялась и безрассудным поведением моего тбилисского деда. До революции он владел маленькой красильней. Ее экспроприировали,и дедушка стал красильщиком-надомником. Еще мальчишкой я слышал от него слова, смысл которых понял лишь много позже. Коммунистов он не именовал иначе, как убийцами, и поистине удивительно, как удалось ему дожить до седых волос и умереть естественной смертью. Он не желал примиряться с режимом, отобравшим у него честно заработанное имущество. Он не хотел иметь с ним ничего общего. Боже мой, сколько раз фининспекторы выносили из его квартиры все, что можно было вынести, - де, работаешь без патента, без ведома властей. Он с презрением смотрел на них, с презрением отвечал на их вопросы и все начинал сначала. Сталина дед всю жизнь называл бандитом. Помню, как ссорились с ним из-за этого родственники и как убежденно он повторял:

- Вот умру я, меня не будет, а вы о моих словах вспомните.

Однажды, уже после войны, муж сестры отца, солист тбилисского оперного театра, дядя Гоги повел нас с дедушкой на кинофильм "Падение Берлина". Когда на экране появился Сталин, дед закричал:

- И здесь этот бандит!

Перепуганный дядя сватил нас в охапку и вытащил на улицу. А зал безмолвствовал.Все были убеждены, что

это провокация. Лучшие дедовы друзья страшились приходить в гости,так как во время беседы на длинном, узком,типично тбилисском балконе он мог громко спросить:

– Послушай, Ефим, а ты читал сегодня "Правду"? Читал. Ну и что скажешь? Где еще так бессовестно врут?

Но словно Бог его хранил. Все сходило ему с рук. А на нас беда обрушилась с нежданной стороны. Второй муж моей бабушки по материнской линии, юрист старых русских интеллигентских корней, Глеб Львович Лопатинский, был неизменно спокоен, благодушен и добр. На мир до конца жизни умудрялся смотреть сквозь розовые очки. Никогда против советской власти и словечка плохого не вымолвил. Тихо трудился. Думал только о семье. И вот его-то, когда замыслил живодер бериевский дружок первый секретарь ЦК ВКП(б) Азербайджана Багиров очистить Баку от подозрительных элементов, внесли в многотысячный список высылаемых.Без суда,без объяснений. Как и всех остальных. Высылаетесь – и баста! Куда? Приедете – увидите.

В то время моя двоюродная сестра, дочь репрессированных родителей, тяжело заболела и лежала на спине в гипсе. По мнению врачей, в таком состоянии ей предстояло провести не меньше пяти лет.Бабушка твердо решила сопровождать мужа, куда бы его ни сослали, и мои родители хотели взять к себе пятилетнюю племянницу.Но их намерения столкнулись с железной волей властей: дочь врага народа в Баку оставаться не может! Сравните с большевистской гуманной декларацией: "Дети за отцов не отвечают". Какой же был выход? Отправить в ссылку двух стариков с беспомощным ребенком?Протестовать? Мама отвергла оба варианта. Второй грозил неизбежной гибелью. Первый не уживался с совестью.

– Мы просто поедем с ними, – сказала она.

Отец не спорил, хотя и понимал, что добровольное присоединение к изгнанникам может быть расценено как демонстративное проявление недовольства и даже бунт.

Так мы и двинулись в дорогу. На переполненном,кишевшем тараканами дряхлом пароходе пересекли Каспий и оказались в людском скопище на душной, грязной, раскаленной красноводской площади. А оттуда дальше на

восток. Подогнали для ссыльных товарняк, человек по пятьдесят запихали в каждый вагон, и сорок восемь суток - необъятны просторы Родины! - под охраной конвоиров мы медленно катили и катили в неизвестность. Солнцелюбивых бакинцев привезли в суровый северный Казахстан. Выгрузили на станции "Вишневка". Отсюда их разбрасывали по всей обширной территории неприветливого малонаселенного края.

Нашу семью разделили. Бабушку с дедушкой послали в Петрозаводск. Остальных в полудеревню-полупоселок Мамлютку. Тут по улицам разгуливали гуси и свиньи, а неподалеку дымил крохотный заводик, где и стал работать отец. Впрочем, он ждал скорого призыва в армию, так как уйдя из нефтяной промышленности, автоматически лишился брони. Однако, судьба распорядилась по-иному. Мы пробыли в Мамлютке лишь одну зиму. Стране дозарезу нужна была нефть, и ощущалась острая нехватка опытных инженеров. В Туркмении, в пустыне Кара-Кум, открыли новые месторождения нефти, где-то кто-то вспомнил об отце, и его спровадили в пышущие зноем пески. Маме с тремя детьми (больной Наташей, мной, моей четырехлетней сестренкой Таней) разрешили въезд в Тбилиси.

После унылого серого Казахстана столица Грузии показалась пестрой, шумной и веселой. Нас, уставших и изголодавшихся, родные буквально откармливали. Огорчало одно: мама нигде не могла найти работу. Штамп в паспорте - ссыльная - настораживал начальников отделов кадров. Она вязала шерстяные цветастые косынки и продавала их на черном рынке, прославленном гигантском базаре Сабуртало. Кстати, таким способом в те годы зарабатывали на хлеб многие, впавшие в немилость интеллигенты. Например, искусствовед Нина Гудиашвили, жена большого грузинского художника Ладо Гудиашвили, близко знавшего Модильяни. В двадцатые годы Ладо жил в Париже и по возвращении был обвинен в формализме.

... Мы оставались в Тбилиси три года. Я ходил в школу, гонял в футбол и увлекался шахматами. В Тбилисском дворце пионеров, бывшей резиденции царского наместника в Закавказье, одновременно со мной шахматную

секцию посещал и будущий чемпион мира Тигран Петросян. Тогда у него был первый разряд. Сын дворника,он часто помогал отцу подметать улицу, и мы по мальчишеской дурости поддразнивали будущую знаменитость. Петросян целиком отдал себя шахматам, плохо учился,с трудом кончил школу. И тем более странной была для меня его дальнейшая научная карьера.

Лишь позже, когда я разобрался, что к чему, все стало на свое место.Ведь все спортсмены у нас профессионалы. Это тщательно скрывается, но подавляющая часть ведущих шахматистов, не говоря уже о футболистах, хоккеистах, и прочих, ничем, кроме спорта,не занимается. Они числятся студентами, получают дипломы, числятся рабочими и инженерами. Однако,все это фикция. Какой, бывало, смех вызывали на Тбилисском стадионе программки, в которых указывалось, что прославленный капитан местного "Динамо" Борис Пайчадзе - инженер-судостроитель. А как усиленно инструктировали в 1962 году мою жену Аллу Кушнир, когда она ехала на свое первое международное соревнование: помните, вы учитесь в институте и работаете инструктором спортивного общества "Труд". Но я-то знал, что ни в каком "Труде" она сроду не работала, а учеба в Московском полиграфическом институте сводилась к редкой сдаче зачетов и экзаменов. Причем тогда Кушнир еще не была вице-чемпионкой мира по шахматам. Только пребывала в подающих надежду.

Летом 1945 года мы приехали в Небит-Даг, небольшой нефтяной городок в пустыне Кара-Кум. Отец в то время занимал пост главного инженера Туркменнефти,и как сын известного человека я пользовался расположением учителей, особенно директора и парторга школы. Это были потешные людишки. Оба пьяницы. Парторг-математик нередко являлся на уроки с гитарой. Объяснения уравнений чередовались с музыкальными номерами. За четыре года он вызывал меня к доске три раза. Однажды выставленная оценка по алгебре или геометрии потом проставлялась в классном журнале автоматически. Директор-физик обожал футбол, и консультации перед экзаменами проводил на стадионе в перерывах между двумя таймами, приговаривая:

- Все сдадите! Все сдадите! А гол-то какой влепили!

В период многочисленных подземных толчков, после чудовищного Ашхабадского землетрясения, любитель футбола проявил недюжинные способности бегуна на короткие дистанции. Едва земля начинала дрожать, нам полагалось выскакивать из класса во двор. Директор в этих случаях не походил на капитана, последним покидающего тонущий корабль. Длинноногий, он неизменно опережал всех. Мы подсмеивались над его слабостью и однажды его разыграли: как-то в середине урока дружно затрясли коленями, пол заходил ходуном, и директор опрометью бросился вон.

Во время ашхабадской катастрофы были разрушения и в Небит-Даге. Даже в нашей квартире рухнул потолок. В самом Ашхабаде погибли тысячи людей, часть города ушла под землю. А газеты молчок. Будто ничего не случилось. Теперь-то, вооруженный гениальной формулировкой Брежнева об историческом оптимизме, как одной из важнейших составных частей политики партии, я прозрел. Нельзя омрачать настроение советского народа негативной информацией. Нельзя давать пищу враждебной буржуазной пропаганде. Даже стихийное бедствие нужно затушевать, притвориться, что все обстоит как нельзя лучше, точь-в точь, как в популярной песенке. Вы помните? Маркиза звонит управляющему, и он, начиная отчет с мелких неприятностей, завершает сообщением,что дотла сгорело поместье. Однако всякий раз бодрячок добавляет:

"А в остальном, прекрасная маркиза,
Все хорошо, все хорошо!"

Исторический оптимизм Сталина-Хрущева-Брежнева нечто вроде этого.Гулаг пожирает миллионы - все хорошо, товарищ Сталин, все хорошо! В Новочеркасске армия по приказу ЦК расстреливает вышедших на демонстрацию голодных рабочих - все хорошо, товарищ Хрущев, все хорошо! В России неурожай за неурожаем. Закупаем хлеб у Америки - все хорошо, товарищ Брежнев, все хорошо!..

Конец сороковых ознаменовался не только землетрясением в Ашхабаде. По воле Сталина в бешеной антисе-

митской пляске затрясло всю страну. Положение отца пошатнулось: он был евреем и не членом партии. Призывали его вступить, а он отказался мол, будет походить на карьеризм, на стремление удержаться на посту.Можно ли доверять такому человеку? Вдобавок, в парторганизацию поступил тревожный сигнал от двух инженеров.Бывшие бакинцы, отсидевшие по восемь лет в лагерях, они очутились в 1946 году неподалеку от Небит-Дага, уже расконвоированные, но поднадзорные, перебивающиеся с хлеба на воду. Узнав, что бывшие его сослуживцы влачат нищенское существование, отец решил им помочь, предложил их использовать как инженеров на промыслах, сказав, что ответственность берет на себя. Они бывали у нас дома, не уставали его благодарить, восхваляли за доброту и смелость, уверяли, что в долгу перед ним по гроб жизни. Отец как-то посетовал при них на разгул атисемитизма, и, торопясь выслужиться, эти суки поступили вполне по-советски: доложили о его настроениях в партком. Хорошо еще, что отца не посадили, а лишь резко понизили в должности и стали травить на собраниях, вынуждая подать заявление об уходе по собственному желанию. Наконец, он не выдержал и в 1950 году обратился в Москву с просьбой о новом назначении.

Из Кара-Кум с их нестерпимой жарой,безумствующими песчаными бурями, когда задыхаешься без воздуха,а окно не откроешь - занесет, мы в июле того же года перебрались в продутую степными ветрами,зимой занесенную снегами Башкирию. Ее столица Уфа, где предстояло нам жить, располагается на высокой глинистой горе.Легенда гласит, что когда-то дьявол шел и шел по тропинкам вверх, устал, и, добравшись до вершины, выдохнул: "Уф-ф". Отсюда странное имя города.

Не знаю, насколько легенда соответствует истине, но начало пятидесятых годов было временем, без сомнения, дьявольским. Преследование "безродных космополитов", то-есть евреев, день ото дня ожесточалось. Газетные статьи и фельетоны пестрели иудейскими фамилиями, которые смаковались и обыгрывались в меру сил и возможностей. Если отыскивался спекулянт, то он обязательно был Штильманом. Если находили проворовавше-

гося заведующего магазином, то он мог быть только Рабиновичем. Если изображался крупный махинатор, то в его роли выступал какой-нибудь злосчастный Шнеерсон. Отца, присланного директором крохотного филиала Всесоюзного института информации, вскоре вновь попросили уйти по собственному желанию, и он с трудом пристроился рядовым инженером в какую-то третьесортную контору.

Я, несмотря на природное легкомыслие, начал остро чувствовать свою отверженность. На закате XIX века Надсон писал, что он, будучи евреем, не имел с еврейством ничего общего. Но восклицал:

"Я становлюсь в твои ряды,
Народ, обиженный судьбой!"

Эти строки были мне близки. Я не знал ни еврейского языка, ни культуры, имел очень смутное представление о еврейской религии, и если ощущал себя, причем, все больше, евреем, то лишь оттого, что мне постоянно о том напоминали. В 1972 году я писал:

Я говорю на языке чужом,
Я знаю, что богат он и прекрасен.
И он, чужой, мне служит маяком,
И я ему с рождения подвластен.

Я рос в стране морозов и берез,
Распутиц и распутниц, и злодеев,
Где над народом властвовал наркоз
Покорности царям и мавзолеям.

Но где-то есть сияющий Сион,
Иерусалим с неумолимым Ягве,
А я сижу, пишу российским ямбом
И таинством звучанья покорен.

Родной язык! Ты от меня далек
На тысячу и тысячу столетий,
Но дух еврейства в сердце проистек
Сквозь баррикады русских междометий.

Дух и язык, о как вас примирить
Поэтам русским, но в душе евреям.
На языке чужом нам говорить,
Но кровь пролить, подобно Маккавеям.

Но, нужно честно признаться, что за двадцать лет до этого ни единым словом, ни единым помышлением ни в чем не обвинял я ни режим, ни партию, ни, тем более, Сталина. Меня для моей же безопасности растили в полном неведении: никто не говорил, что дядя расстрелян. Нет, он просто умер. Что тетя сидит в лагере - нет, она в длительной командировке. Что нас ссылают, - нет, мы эвакуируемся. Никто, упаси Бог, не порывался объяснить, что разгул антисемитизма не только поощряется сверху, но и верхами инспирируется. Поэтому я оставался активным комсомольцем, вел общественную работу - выпускал школьную стенгазету - и отгонял невеселые мысли с помощью сподручной пословицы: "Все перемелется - мука будет". Разберутся - дадут по рукам антисемитам. В Уфе в 1951 году мне довелось впервые сшибиться с властями, сшибиться на неожиданной почве. Но и тогда я упрямо твердил:

- Ну, сидят на местах болваны. Где их нет?

А сыр-бор загорелся из-за Капабланки. Сейчас в СССР его называют "гениальным кубинцем" - сын социалистической Кубы может ходить и в гениях. Но в 1948 -1952 годах бывшего чемпиона мира считали американцем и, так как советская страна была охвачена праведной борьбой с низкопоклонством перед Западом, перед его жалкими, ничего не стоящими литературой, искусством и наукой, то в разряде отпеваемых очутился и Капабланка. Все, от маститых гроссмейстеров до шустрых журналистов, склоняли его на все лады как "сторонника ничейной смерти шахмат", бездумно играющую машину,овладевшую техникой, но абсолютно лишенную фантазии.Меня, хорошо знакомого с творчеством Капабланки, беспардонная ложь возмущала, и я организовал в школе вечер его памяти. Это было воспринято как чрезвычайное событие. Сначала шпынял меня директор, потом устроили взбучку в райкоме комсомола:

– Семнадцать лет! Пора бы соображать, что делаешь!

Летом 1952 года я поступил на инженерно-экономический факультет Московского нефтяного института. Выбор профессии диктовался не призванием,а реальностью: евреев не брали туда, где я хотел бы учиться. Потому и пошел по отцовской нефтяной линии. Кажется, уже в институте мог бы я опомниться и спросить себя: "А почему каждые каникулы приходится возить домой и масло, и мясо, и сыр, и калбасу, и апельсины? Уфа – большой промышленный центр с многотысячной армией рабочих нефтеперерабатывающих, самолетостроительного и десятков других секретных и несекретных заводов. Чем же этот пролетариат при диктатуре пролетариата кормится? А почему, спустя тридцать пять лет после революции,крестьяне живут хуже, чем до отмены крепостного права? Их паспорта находятся у председателей колхозов, и потому колхозники намертво прикованы к умирающим от голода деревням. Нет, никаким серьезным размышлениям я не предавался. Кое-как учился. Бегал с лекций на танцы. Играл в футбол и шахматы и лишь ради развлечения донимал на первом курсе преподавателя марксизма-ленинизма, вспыльчивого добряка Карапетяна. Как-то на семинаре спрашиваю:

– Исходя из работы товарища Сталина "Марксизм и национальный вопрос", одним из признаков нации является общность языка и территории проживания. Что же получается? Пока не появилось государство Израиль, эти признаки отсутствовали, и значит евреев как нации не было. А в одно прекрасное утро Организация Объединенных Наций проголосовала за создание государства Израиль и тут же заново родилась еврейская нация?

– Садитесь. Я позже вам отвечу, – роняет Карапетян.

В коридоре он меня остановил:

– Вы же неглупый человек. Вам же ясно, что в сущности на ваш вопрос ответить невозможно.

– Почему?

Он вдруг покраснел:

– Прошу вас не задавать провокационных вопросов! Вы что, подвергаете сомнению работу товарища Сталина?

Очень мне понравилось его волнение,и вскоре я снова его спросил:

– Нам сказали, что в то время, как советские нефтяники пробуривают скважины трубами широкого диаметра, американцы используют отсталую технику: бурят трубами с узкими диаметрами, что обходится дороже.Как же так? Ведь нефтяные монополии США всегда гонятся за прибылью. Зачем же они применяют невыгодные методы?

– Вы, наверное, плохо разобрались в материале, – отделался Карапетян.

А через два года тот же лектор,ничуть не смущаясь доказывал нам преимущества бурения скважин по американски (правда, этого слова он не произносил).

Так сложилась эта книга, что многое из моей студенческой жизни, представляющее интерес для читателя, разбросалось по разным главам. Хочу лишь напомнить, что эта жизнь протекала на фоне событий, потрясших нашу страну. Рушились устоявшиеся понятия, переоценивались привычные ценности.

5 марта 1953 года умирает Сталин. Настала сравнительно короткая эра Никиты Хрущева. Он был тоже не мед. Он, осудивший Сталина за культ личности, не возражал против собственного культа и не запретил фильма "Дорогой наш Никита Сергеевич". Он громил Пастернака. Он орал и топал ногами на творческую интеллигенцию. При нем вновь начинают преследовать верующих и взрывать церкви.

И все-таки удивительна нелюбовь советского народа к Хрущу, как называли первого секретаря ЦК КПСС. Сталина, который уничтожил миллионы, боялись, но любили. Хрущева, который миллионы погибших реабилитировал и миллионы уцелевших выпустил из сталинских концлагерей, – презирали. При Сталине жили в подвалах и на чердаках, ютились по десять-пятнадцать семей в одной коммунальной квартире, и ничего. При Хрущеве расширилось жилищное строительство. В Москве постепенно переселялись в отдельные квартиры, как говорится,со всеми удобствами.

И думаете, спасибо ему сказали? Выползшее из подвалов и коммуналок население, имея в виду трущобы,об-

зывало свои квартиры за низкие потолки, за унылую типовую постройку "хрущобами".

При царе Никите, хотя лагеря и не были совсем прикрыты и пополнялись (без этого советская власть - не советская), но массовых арестов не производилось. Не сажали за анекдоты, за разговор с иностранцем, за переход с завода на завод. Постепенно испарялся мутный рабский страх, обволакивавший всех при Сталине.

И что же? Оценили. Прочувствовали? Как же, оценили! И больше всего анекдотов рассказывали о Никите Сергеевиче.

А живопись? Неслыханные для страны социалистического реализма выставки Пикассо, Леже,современного английского и французского искусства... И без деклараций, без излишней суеты, пусть крошечное, но немыслимое прежде расширение границ самого соцреализма.

А книги? При Сталине мы не могли читать Кафку и Хемингуэя, Фолкнера и Мориака, Фейхтвангера и Камю... Да что там западная литература! Нам был недоступен даже великий Достоевский, поставленный вне закона за "реакционные взгляды".

А Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве в 1957 году? Споры об искусстве, о политике,о молодежных движениях, и все, как странно, без ссылок на классиков марксизма-ленинизма, гигантская экспозиция изобразительного искусства с невиданными доселе абстрактными полотнами, конкурс джазов (еще вчера и слово -то такое произносить не рекомендовалось - не джаз в советской стране, а эстрадный оркестр), музыка и танцы прямо на улицах. Рок-энд-ролл! Английский концерт, на котором британская молодежь собирается танцевать этот буржуазный танец (нас и в школе, и в институте натаскивали на прабабушкины падекатр и падепатинер.Почему они считались отечественными, одному Богу известно) проводится не в московском университете, где рок-энд-ролл приняли бы на ура, а в клубе автомобильного завода имени Лихачева. Вход ограничен. На страже богатыри - то ли фрезеровщики, то ли слесари.Мне с приятелями удается проникнуть внутрь, лишь благодаря моему судейскому пропуску - я судил фестивальные шах-

матные соревнования. В зале умело подобранный контингент публики: верзилы с квадратными тяжелыми затылками, комсомольский подтянутый актив. Едва под аккомпанемент джазовых ансамблей английские студенты начинают отплясывать рок, зрители шикают, свистят, улюлюкают. Мы пытаемся подхлопывать в такт музыке, но нас, матерясь, вышвыривают вон.

И на конкурс джазов, который проходил в Доме киноактера,вход тоже только для избранных. И тут дежурил мощный кордон. Он был на мгновенье смят наседавшей толпой, но тут же ряды стражей порядка сомкнулись. Тогда студенты разыграли детектив. Кто-то из прорвавшихся открыл изнутри окно,к стене приставили лестницу, и мы рванулись на второй этаж - прямо в зал.

Но особенно большие хлопоты милицейским и гебистам доставлял район близ Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, где в новых, специально к фестивалю выстроенных гостиницах разместились зарубежные гости. Здесь на улицах знакомились советские и зарубежные студенты, здесь они встречались и танцевали, здесь вспыхивали неорганизованные дискуссии, здесь даже шла частная торговля. Официально обмененных советских денег гостям не хватало. Для них открыли комиссионный магазин, куда они могли сдавать одежду, обувь, пластинки. Однако, платили им так мало, что смекалистые иностранцы устроили рядом с ним свободную распродажу.

Как-то я туда приехал, чтобы повезти аргентинцев на сеанс одновременной игры с каким-то гроссмейстером. Гляжу, один наш студент перемерил с пяток заграничных плащей, другой купил свитер, третий - проигрыватель. Девушки брали нарасхват кофточки, модные пояса, безделушки. Я решил купить сестренке модные очки. Вдруг ко мне подходит молодой человек в штатском и тихо говорит:

- Я из милиции. Следуйте за мной.

Молча иду за ним. По дороге пробую затеряться в толпе, но он меня отыскивает и просит не шуметь.

- Неудобно. Иностранцы!

В отделении грузный мужчина спрашивает:

- Кто вы такой?

В это время вбегает дружинник. В руках у него желтые кальсоны с зелеными крокодилами.

– Посмотрите, товарищ полковник, что там один тип приобрел! – кричит он. – Я ему: "Ты за кальсоны родину продал!", а он: "Зато кальсоны красивые!".

Забыв обо мне, полковник взревел:

– Тащи негодяя сюда!

Хотелось послушать, но меня выставили.

x x x

Две фестивальные недели пролетели, как два дня. Институт я кончил, распределили меня на работу в Уфимский нефтеперерабатывающий завод. Пора было нам собираться в дорогу. "Нам", так как еще в начале года женился на студентке нашего же института, Гале Лифшиц. Жизнь в Уфе не сложилась, и пробыл я там меньше года. Тяготило тусклое существование, да и обстоятельства складывались неблагоприятно. С завода я ушел уже через месяц, так как определенный на должность старшего инженера нормировщика, был приставлен к делу, весьма непривлекательному. Мне надлежало незаметно следить за рабочими, фиксировать с хронометром в руке их простои, перекуры, разговоры, а потом устанавливать новую, более высокую норму выработки. Рабочие нормировщиков терпеть не могли, и я мечтал сменить службу на какую-то более человеческую. Удалось перейти в нефтяной техникум, где нуждались в преподавателе экономики. Прежде чем допустить меня на столь ответственное идеологическое место (экономика наука общественная, речь идет о воспитании молодежи!) со мной беседовали в райкоме партии. Не обнаружив крамольных взглядов, благословили. Но уже после первого урока вызывает меня директор, смуглый поджарый башкирец, который в любую погоду разгуливал в черных блестящих калошах, и говорит:

– Занятия вы проводите интересно, но брюки у вас чересчур узкие. Может, вы сошьете пошире. Если трудно с деньгами, поможем, дадим ссуду. А то учащиеся спрашивают, не стиляга ли вы.

О, упорная борьба со стилягами в середине - конце пятидесятых годов! Эта кличка, происшедшая от слова "стиль", не сходила со страниц книг и газет, которые высмеивали "пошлых стиляг", единственная вина которых заключалась в желании носить модную одежду и танцевать современные танцы. Брюки и танцы клеймились как мода, пришедшая с Запада, и, значит, идейно порочная. Поэтому их искоренение было задачей государственной важности.

Комсомольские патрули вылавливали узкобрючников на улицах, в кинотеатрах, на танцверандах, разрезали им брюки, улюлюкали, издевались, иногда пускали в ход кулаки. Как-то вечером, на центральной уфимской улице, имени Ленина, у меня на глазах разыгралась форменная баталия между стилягами и комсомольскими дружинниками. Последних, редкий случай, было меньше и, награжденные тумаками, они бежали. Как правило, оказывалось наоборот, да и распаленный,ожесточенный пропагандой народ зверел при виде "расфранченных кривляк". Летом 1958 года в уфимском парке за модный с драконами гастук в горячке пырнули ножом приехавшего на каникулы из Москвы студента. Ко мне в техникуме после отказа сменить брюки дирекция и учителя относились неприязненно. На странно одевающегося, любящего побаловаться анекдотами преподавателя обратили внимание и карательные органы. Сперва я посчитал случайностью, что меня не выпустили в турпоездку за границу, причем, не в Англию или Францию, а в социалистическую Польшу. Ну, не хватило путевок. Второй секретарь обкома комсомола Ирик Сулейманов, с которым мы неоднократно принимали участие в шахматных турнирах, пообещал:

- Сейчас собираем группу для поездки в Чехословакию. Приноси документы.

А спустя две недели он со мной разговаривает,озираясь по сторонам:

- Ничего не вышло. Не знаю, что ты натворил, но твою кандидатуру отвели органы.

Я и сам терялся в догадках. Анекдоты? Кто же их теперь не рассказывает? Давняя история с Капабланкой?

Неужто до сих пор помнят? Моя короткая ночная речь с передразниванием сталинского акцента, когда мы шли подвыпивши компанией через главную площадь и я залез на правительственную трибуну? Но это же мальчишество! В общем, настрой был на Москву, да и новая любовь - живопись звала туда же, где музеи, книги, выставки. Надо было только подыскать службу, так как столичную прописку я, благодаря просьбам Гали, сохранил.

И едва в августе 1958 года я обзавелся приглашением, как мы сорвались с места. В Москве после долгих мытарств я устроился инженером в экономический отдел засекреченного проектного нефтехимического института, называющегося "почтовый ящик 3092". Тогда все секретные заводы и институты скрывались под безликими номерами. Позже таким предприятиям стали присваивать ласковые имена: "Лютик", "Ландыш", "Незабудка".

В те годы Никита Хрущев, а следовательно, и весь пропагандистский аппарат, увлекались так называемой "Большой химией". Считалось, что именно она явится той волшебной палочкой-выручалочкой, которая вытащит из болота увязшую экономику. - "Мы на передовом рубеже! - размахивали газетами партийцы "Почтового ящика 3092", - химия даст стране материалы, необходимые тяжелой промышленности, эффективные удобрения и гербициды для сельского хозяйства, дешевые товары для населения. За работу, товарищи!" А работу-то надо было придумывать. Даже у нас в институте, несмотря на весь звон с большой химией, инженеры шляются с этажа на этаж, по двадцать раз на день устраивают перекуры и обмениваются свежими анекдотами. Делать в основном нечего. Столько специалистов понапихали в каждый отдел, что на выполнение проектов, вместо месяца, от силы двух, отводится до полугода. Я подготавливал проект на тему "Перспективы создания нефтехимической промышленности в Якутии", трудясь ни шатко, ни валко, полтора месяца, а дали мне шесть. Возникает вопрос, существует ли в СССР безработица. Коммунисты утверждают, что ее давно ликвидировали. Пройдите хотя бы по улицам Москвы и посмотрите на объявления: "Предприятию

№ 10 срочно требуются техники-наладчики, слесаря, сантехники", "Московской овощной базе № 3 требуются бухгалтеры, грузчики", "Электрозаводу имени Куйбышева требуются инженеры"... Все это так. Но безработица скрытая, когда, чтобы не допустить явной - для социалистической страны позорной - штаты растягиваются,как резиновые,существует.

Году, примерно, в 65-ом недалеко от столицы на Щелковском химкомбинате по инициативе Косыгина проводили экономический эксперимент. Директора наделили широкими полномочиями, позволили сократить ненужных сотрудников, а фонд зарплаты оставить прежним. Он так и сделал. Показатели были великолепны: планы по качеству и количеству перевыполнены, производительность труда поднята. Но уволенные принялись бомбардировать ЦК письмами. "Нас выбросили на улицу, нас заставляют голодать". Безусловно, жалобщики могли подыскать другую службу, но они-то знали природу своего государства! В ЦК поразмыслили и решили: "На кой ляд нам нужны эксперименты? Услышат на Западе про массовые увольнения рабочих, поднимут вой: "В Советском Союзе безработица!" Пусть лучше с планом и производительностью труда будет похуже, чем допустить такое. Директора куда-то перевели, уволенных восстановили,зарплата опять упала.

Один из диссидентов, брошенный в психбольницу,познакомился в ней с двумя рабочими-иностранцами - австралийцем и,если не ошибаюсь, французом. Оба коммунисты. Оба поверили, что в СССР безработицы нет и в помине и народ вдохновенно строит коммунизм.

Француз начал трудиться на обувной фабрике в Кишиневе. Австралиец - на московском заводе имени Лихачева. И того, и другого поразили мизерные размеры зарплаты. Француз пошел за правдой в профсоюзную организацию:

- Надо бороться за повышение заработка! Необходимо устроить забастовку!

Его осадили:

- Мы не можем бороться со своей властью!

Воспитанный в другом мире француз не отставал:

– Но у нас, при капитализме, рабочие получают гораздо больше!

Так как он принялся разводить агитацию и будоражить умы, то его справедливо (не лезь в чужой монастырь со своим уставом!) сочли сумасшедшим и спихнули в сумасшедший дом. Австралиец оказался умнее, но это мало ему помогло. Услышав в профсоюзном комитете завода то же, что и француз, он разводить пропаганду не стал, а направился в австралийское посольство с просьбой вернуть ему подданство. Но по дороге его схватили наши молодцы и прямиком – в психушку.

Бежали от кровопийц-хозяев за лучшей долей, а попали, как кур во щи. Жизненный уровень намного ниже, чем в их Франциях и Австралиях. Они, правда, вроде об этом читали еще дома. Но не верить же буржуазной прессе! Ладно, пожалуйста, убеждайтесь на собственной шкуре! А ведь вас возмутил только размер заработка. Вы еще не знаете, как на советских трудящихся наживаются их хозяева – директора заводов, институтов и фабрик. Да-да! Без эксплуататоров, видно, не проживешь. Есть даже такой анекдот.

– Чем, – спрашивает сын у отца, – отличается социализм от капитализма?

А тот отвечает:

– При капитализме эксплуатируется человек человеком. А при социализме наоборот – человеком человек.

Но как же обогащаются руководители за счет подчиненных, если все предприятия принадлежат государству? Ох, и наивные вы люди! Разве же способен руководящий партийный кадр жить, не прибавляя к своему и без того высокому окладу дополнительные суммы? Никак нет. Значит, и пути для этого изыщет. К примеру, один из самых распространенных. Трудится проектный институт не покладая рук. Обгоняет график. Сдает проект много раньше срока. Выплачиваются премиальные. Но какие? Никому же не известны размеры индивидуальных премий. А директор-то этим пользуется и занижает их. А в итоге у него экономия по фонду заработной платы, и значит, он умелый организатор работ, примерный администратор.

Скрытая безработица неминуемо ведет к низкой оплате труда и к безразличию людей к своим обязанностям. Как ни вкалывал инженер, к примеру,все равно выдадут ерунду. Обычно в научно-исследовательских и проектных институтах его заработок равен ста - ста пятидесяти рублям,в зависимости от стажа. Я, прослужив в своем "Почтовом ящике" четыре года,продвинулся от сотни до ста десяти рублей. Мой приятель за пятнадцать лет (он теперь старший инженер) со ста до ста сорока. На жизнь попрежнему не хватает. Сравните зарплату с ценами хотя бы на одежду среднего качества: пальто - сто - сто пятьдесят рублей, обувь - тридцать рублей, костюм - сто рублей.

Правда, в СССР низкая квартплата - исключая кооперативные квартиры, - подогнанная под платежную способность населения. На это очень любят ссылаться официальные советские источники. Но ведь квартира не исключает необходимости одеваться. А еще обставиться надо, а цены на мебель кусаются. Средний гарнитур не менее семисот-восьмисот рублей. А еще телевизор приобрести хочется - тоже выкладывай двести пятьдесят - триста рублей. Тогда-то рабочий или инженер начинают "шабашить". Счастливчики те, у кого умелые руки. Кончил трудовой день и пошел промышлять. Для того еще и суббота, и воскресенье есть. Предпочтительней строительство. Тут только не зевай - сторожи сдачу нового дома. Там хватит работы месяца на три.

В 1969 году, когда я купил кооперативную квартиру, то выяснилось, что полы нужно перестилать, обои менять, скособоченные двери приводить в порядок,бездействующие краны чинить. Ленивую государственную организацию не дозовешься. Там, небось, тоже ребята калымят. Шабашники же тут как тут:

- Ну, хозяин, что делать будем?

И без халтуры (марку держать надо!), и быстро (материальная заинтересованность) все сработают на высшем уровне. Ох, и не любит их советское государство. Ох, и стыдит, и поносит их пресса. Они же и в ус не дуют! А в 1974 году группа шабашников даже прислала в "Литературную газету", конечно, анонимное,иначе живь-

ем слопают, ироническое письмо, "Литературка", сопроводив его нравоучительной жвачкой, напечатала. Шабашники писали, что, мол, на нормальную жизнь семейному человеку, как минимум, требуется рублей пятьсот.Мы, инженеры и научные работники, зарабатываем четверть этого. И не нищенствуем, не побираемся, а в свободное время, вместо того, чтобы отдыхать, честно трудимся. Так за что же нас укоряют, за что преследуют?Как будто не ясно, за что! На социалистическое общество работай,а не на себя!Прирабатывать вынуждены и учителя. Все, кто может, ищут частные уроки. Остальные взваливают на себя дополнительные часы. При этом, горбясь по десять часов в школе и потом дома над тетрадками, как моя близкая знакомая, с трудом дотягивают до полутора сотен. То же самое с врачами. Соседка-терапевт как-то призналась: "Я больше пяти минут на больного не трачу. При наших двойных-тройных нагрузках по-другому не выходит. - И, оправдываясь: - у нас все так. На обычной норме одну черняшку будешь жевать".

Наше с Галей инженерство тоже давало возможность едва-едва сводить концы с концами. Я, правда, прирабатывал, судя по вечерам и выходным дням шахматные турниры, но почти все дополнительные деньги тратил на репродукции. Мы, то-есть я и еще два бедолаги-инженера со сторублевыми зарплатами, занимались варварством. Но искусство требует жертв. Купить альбом издания Скира, или ему подобный, стоивший в букинистическом (а в других не бывало) магазине тридцать - тридцать пять рублей, никто из нас не мог. И, как пьяницы на троих бутылку водки, мы покупали на троих такой альбом, выдирали из книги репродукции, по жребию их делили и наслаждались Кандинским, Бриком, Модильяни, Клее... Это были часы отдохновения от нелюбимой специальности. Без живописи, без стихов, да и без молодежного клуба, о котором отдельная глава, впору было бы спиться.

НАЧАЛО И КОНЕЦ ОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО КЛУБА

"Все хорошо, что хорошо кончается"
Русская народная пословица.

Все началось не с клуба, а со стенной газеты "Литература и искусство", которую в январе 1960 г. я предложил выпускать на бюро комитета комсомола нашего проектного института. Читатель в недоумении спросит: "При чем тут комсомол?" Да как же при чем?! Не может же газета выходить сама по себе ни от кого! Она должна быть или партийным, или комсомольским, или профсоюзным органом. Кто же иначе будет отвечать за идеологические ошибки и просчеты? Короче, комсомольское бюро меня поддержало и... разразился скандал.

В первом номере "Лирика в поэзии XX века" мы поместили стихотворения Блока, Маяковского, Ахматовой,- на Пастернака после недавнего скандала с "Доктором Живаго" было наложено табу - Есенина... и зарубежных - Элюара, Тувима, Мистраль... , а также репродукции картин Матисса. О, какие страсти вспыхнули на нашем сонном предприятии! Группа старых коммунистов говорила о газете так, словно произошла контрреволюция.Особенно бесновался один из них, участник штурма Зимнего дворца. Он почему-то считал, что если человек, штурмовавший Зимний дворец, чего-то в литературе не понимает, то другие не поймут и подавно. Возглавляемая этим ихтиозавром фракция отправилась к секретарю партийного комитета Абатурову и выложила ему все, что на душе накипело, выразила удивление, что уже несколько дней идейно-порочная газета-чудовище разлагает здоровый коллектив упадническими стихами Блока и Ахмато-

вой, пьяными - Есенина, сексуальными - Евтушенко.

- А что они сделали с Маяковским! - кричал низкорослый с брюшком участник штурма. - Нет, чтобы напечатать "Стихи о советском паспорте". Выкопали какую-то бессмыслицу о "Звездах-плевочках"! А кто такой Матисс? Так моя семилетняя внучка нарисует.

Ограниченный, туповатый, желчный секретарь незамедлительно принял сторону старой партийной гвардии и потребовал газету убрать. Однако его заместитель Русаков, более молодой, более культурный и в карьере своей сделавший в тот момент ставку на либеральность, ибо времена были как будто бы для того подходящие, - стоял за нас. По его инициативе мы обратились за консультацией в отдел литературы и искусства "Комсомольской правды" и в райком партии. И тем и другим идея с газетой показалась симпатичной, так как стало модным заботиться о культуре, поднимать культурный уровень рядового советского человека. Ведь с ростом культуры растет производительность труда и в конце концов мы догоним и перегоним Америку. Но нам были важны не причины, а следствия.

Газета одобрена специалистами по литературе и партийным руководством района, значит, Абатуров подожмет хвост. Но не тут-то было! Он пуще прежнего взъярился, что прыгнули через его голову. Вызвал меня на собеседование.

- С кем из коммунистов вы говорили об искусстве в течение года?

В одном этом идиотском вопросе весь человек.А ведь сей субъект,наряду с директором,главное лицо в институте.

- Со многими людьми говорил,и не знаю кто из них члены партии.

- Поступили сведения,что любите западную живопись.

Сведения поистине страшные. Я безусловно преступник. Признаюсь.

- Да, люблю французскую живопись.

- Что хорошего в импрессионистах,и тем более в Пикассо?

- Сергей Павлович,прочтите "Французские тетради" Эренбурга и вы поймете,почему я люблю импрессионистов и Пикассо.

- Эренбург мне не указ.

- У нас последние годы творчество импрессионистов пропагандируется.

Он буквально взревел:

- Запомните, у нас ничего не пропагандируется,кроме социалистического реализма!

- А если речь идет о старом искусстве?

- С ним мы знакомим.

- А как же Лев Толстой?

- Знакомим, а не пропагандируем.

- Ну а Леонардо да Винчи?

- То же самое. Его произведения демонстрируют, рассказывают о достоинствах и недостатках.

- Сергей Павлович, вы первый обнаружили у Леонардо да Винчи недостатки.

Впрочем, что требовать в области искусства с ограниченного начетчика, инженера-проектировщика, если меня совершенно ошеломили в отделе пропаганды МОСХ а. Прихожу туда, объясняю, что собираемся выпускать газету о Пикассо, прошу помочь с материалами. Два жирных чиновника удивляются, и один из них спрашивает:

- А вы видели фильм "Пикассо без тайн?"

- Видел.

- Так неужели же вам не ясно, что Пикассо - шарлатан? - вмешался второй.

- Даже сумасшедший! - поддакнул первый.

Странно ли, что хотя мы и выбрали удачное время для выпуска газеты,посвященной Пикассо, - Хрущев поехал во Францию, и радио и пресса то и дело рассказывали в этот короткий период о французском искусстве, - Абатуров вывешивать ее запретил.

- Я бы удивился, - сказал Эренбург,- если бы газету не запретили. Не так давно ко мне приезжал из Одессы студент.Он прочитал у себя на факультете доклад об импрессионизме, написанный на основе журналов двадцатых годов и статей Луначарского. За это его исключили из института. Вмешались мы с Полевым. Удалось помочь. Парня восстановили, но клеймо подозрительной личности на нем осталось. Вы поймите, тридцать лет в нашем искусстве командуют темные силы. Они боятся, что все

увидят: а король-то,то-есть социалистический реализм, - голый,и поэтому скрывают от людей подлинную живопись.

И дальше он рассказал, что по инициативе нобелевского лауреата академика Семенова решили выпустить в издательстве Общества по распространению политических и научных знаний книжечку о Пикассо. Написали ее два автора - Синявский и Голомшток. Тираж предполагался в двести тысяч экземпляров. Союз художников протестовал против пропаганды модернизма, но был бессилен.

- И вот вчера, - усмехнулся Эренбург, - позвонили из книготорга: больше двенадцати тысяч экземпляров продать не сможем.Один из способов борьбы.Правда, мы еще попытаемся преодолеть это препятствие.

Да, - думалось мне,- возможно академик Семенов и Эренбург с ретроградами справятся, а мы проиграли. И перед глазами вновь всплывает картина удушения газеты, заседание партийного комитета института.

- Я художественной литературы не читаю, - говорит инженер Дымков.

Абатуров поправляет:

- Ну, кое-что все же просматриваешь. Выводы делаешь...

- Вот именно, - поправляется ободренный поддержкой пятидесятилетний уставший от житейских забот (а тут лезут с какими-то стихами, с какой-то живописью) Дымков. - Выводы делаю. И партийное чутье мне подсказывает: "здесь что - то не то". - Не то, не то! - как эхо откликаются остальные. У них тоже срабатывает это особое чутье. Его не прошибешь никакими пушками. Оно же безошибочно направляло тех, кто выступал против книги о Пикассо. Самого художника публично ругать не дозволялось. Об этом, по словам Эренбурга, специально просили французские коммунисты. Так хоть книгу не допустить! (Кстати, при нашей следующей встрече Илья Григорьевич поведал, что ее все же выпустили тиражом в сто тысяч. Тридцать тысяч продали, а семьдесят тысяч хотели пустить как макулатуру под нож, - так что пришлось спасать. Интересно, что в центральном книжном магазине на улице Горького незадолго до того, в подсобном помещении (сам видел), разрезали на мелкие

кусочки детскую книгу, переведенную с польского. Как мне объяснили "из-за абстрактных иллюстраций". Безусловно, проще было бы сжечь нежелательную литературу, но уж больно это отдавало бы фашизмом.

Но вернемся к вышеупомянутому партийному чутью. Срабатывать-то оно срабатывало, однако времена стояли неясные, смутные. Чего там царь Никита выкинет, куда его повернет - неведомо. Кое-кто непрочь был поиграть в либерализм, - авось, эта лошадка вывезет. И в конце 1960 года меня вызывает второй секретарь райкома комсомола. Аккуратный товарищ с румянцем во всю щеку, с четким пробором, - все, как положено комсомольским вожакам. Он слышал о газете, он за нас, он предлагает создать при клубе "Дружба", принадлежащем нескольким предприятиям района, молодежный клуб друзей литературы и искусства. Заманчиво. Но не опутают ли сетями контроля и надзора? Впрочем, почему не попробовать? Вдруг что-нибудь и получится?

Так родился клуб "Наш календарь", просуществовавший почти полтора года, пропагандировавший практически бесконтрольно то искусство, которое на протяжении многих лет беспощадно подавлялось. И дело не только в искусстве. Сама атмосфера свободы, относительной, конечно, в сравнении с тем, к чему привыкли, и непринужденности раскрепощала людей.

Поэт Андрей Вознесенский рассказывает, как они с Евгением Евтушенко в составе писательской делегации ездили в США, как их всех инструктировали перед отъездом, предупреждали, что возможны любые провокации. И, вообразите, едва улеглись они спать в номере на двоих в Нью-Йоркском отеле, раздается стук в дверь. Спрашивают - кто. На чистом, без акцента, русском языке ночной визитер поясняет, что он когда-то учился вместе с Женей Евтушенко и хотел бы сейчас с ним повидаться, хлопнуть по маленькой. "Я нигде не учился!" - восклицает струсивший Евтушенко. "Запуганный идиот!" - откликается неизвестный и нетвердой походкой удаляется. Поэты вскочили, оделись. Немного переждали - и к руководителю делегации. Разбудили его. Доложили о случившемся. Тот похвалил за бдительность. Утром же выяс-

нилось, что в том же отеле остановился гастролировавший по Соединенным штатам Советский ансамбль песни и пляски. Один из танцоров действительно учился в школе с Евтушенко, жаждал заново познакомиться со знаменитостью и, подвыпив, запросто, по-свойски, отправился в гости.

- А мы, - смеется Вознесенский, - его за провокатора приняли. Нас же предостерегали!

И зал смеется, веселится. А над кем, собственно говоря, смеется? Кто инструктировал путешественников в Америку? Гебисты. Так что же это творится? Над ними потешаются?! Подрывают устои! Побагровевший от негодования Абатуров, не дослушав до конца, демонстративно направляется к выходу. За ним бредут еще двое-трое. Но триста человек и не помышляют об уходе. Им слушать подобные истории внове, они их захватывают. И то же повторяется на вечере Эренбурга. Что хотят,то и спрашивают. Совсем распустились! Вопрос:

- Не кажется ли вам, что у Шостаковича ложный трагизм в ряде произведений?

Ответ:

- Не так давно страна, народ переживали подлинную трагедию. Почему же вы считаете трагизм Шостаковича ложным? И вообще, хотя у нас в Конституции это и не записано, каждый человек имеет право на грусть.

Каждый человек в нашей стране должен быть оптимистом! Иначе коммунизма не построишь. О чем же толкует Эренбург? И зачем он вспоминает о всенародной трагедии? И для чего иронизирует над конституцией?

Вопрос:

- Почему не издают ваши ранние романы и рассказы?

Ответ:

- Почему вы спрашиваете об этом меня?

На что же он намекает? На то, что кто-то запрещает публиковать его ранние произведения? Запрещали - ну и что ж с того. Зачем об этом здесь говорить? Зачем смущать умы?

И совсем уже невыносимо:

- Меня спрашивают о творчестве ряда наших писателей и художников (речь шла о "творцах", обласканных

партией, вроде Шолохова и Кочетова).Я мечтаю спокойно дожить жизнь. Поэтому предпочитаю на вопросы не отвечать.

Какова дерзость многозначительных умолчаний! Востер язык у старика! Жаль, во-время его не пристукнули.

А любимец либеральной советской интеллигенции турецкий поэт Назым Хикмет! Коммунист! Отсидел на родине в тюрьме, потом покинул свою Турцию, живет в СССР, не убили его здесь. И где же признательность? Ведь с ним могли и по-иному поступить.

Едем мы с ним в машине в клуб. Впереди, рядом с водителем, старая молчаливая восточная женщина вся в черном. Я тихонько спрашиваю, кто она. И товарищ Назым, так любил называть себя Хикмет, повествует, что основателями коммунистической партии Турции было три человека. В двадцатые годы всех троих арестовали и осудили на двадцать лет. Двоим удалось бежать из тюрьмы и добраться до Советского Союза. И что же? Тот,который остался в Турции, отбыл срок и находится сейчас на свободе, а двое беглецов, очутившись в СССР, скоро были обвинены в троцкизме и расстреляны. С нами ехала вдова одного из них. Знакомый с этой историей, должен бы Хикмет оценить гуманность первого в мире социалистического государства, оставившего его в живых. Сидел бы тихо, кропал бы стихи во славу советской державы и революции. Нет, неймется ему! Разъезжает.Выступает перед молодежью. Прямо скажем, странно выступает.Никита Сергеевич Хрущев обещал, что через двадцать лет мы будем жить при коммунизме. Хикмет же осмеливается иметь на сей счет собственное мнение. И не только иметь, но и высказывать.

- Материально-техническую базу коммунизма за двадцать лет, возможно, и построим. Но человека за такой короткий срок не переделаешь. Сто или двести лет уйдет на это. Черезчур много в нем еще отрицательных качеств.

И сегодня в клубе он зачем-то вовсю расхваливает Мейерхольда. Ну, уничтожили этого режиссера-авангардиста как врага народа в тридцатые годы. Теперь его

реабилитировали. Однако, это не означает, что реабилитировали и мейерхольдовские идеи. О нем и о них стараются не писать и не упоминать. Зачем же тебе,турку, нужно без санкции свыше прилюдно именовать Мейерхольда гениальным? И для чего ты отвечаешь на провокационный вопрос: "Как вы относитесь к евреям?" Почему к евреям, а не к русским и не к грузинам? Выходит, что до сих пор не изжит проклятый еврейский вопрос. Но ведь партия давно объявила, что его не существует. Правда, евреев принимают учиться не во все институты и на работу не везде берут охотно. Так это не имеет значения. Партия сказала, что еврейского вопроса не существует, а она всегда права. В общем, тема скользкая. Не лучше ли ее не затрагивать? Не касайтесь евреев,товарищ Назым! Нет, лезет отвечать. И до чего нагло!

– Например, я впервые попадаю на землю и узнаю, что великий ученый Эйнштейн – еврей,замечательный поэт Гейне – еврей, выдающийся философ Маркс – еврей. Как же мне после этого относиться к евреям? Конечно, хорошо.

А уж не сионист ли вы, товарищ Хикмет?

Регулярно раз в месяц проходили наши вечера в клубе "Дружба". Вначале его директор Лев Вениаминович Лидский сиял от удовольствия. Человеком он был своеобразным, на своих коллег не похожим. Рутина, обыденность, однообразие клубной жизни (казенная самодеятельность с обязательным хором, исполняющим патриотические песни, танцевальный кружок, кружок кройки и шитья) его угнетали. Душа тянулась к чему-нибудь оригинальному, но одновременно и безопасному. Впутываться в сомнительные истории он не желал.А после выставки модернистских скульптур Эрнста Неизвестного, экспозиции художника не соцреалистического направления Владимира Яковлева, бурной дискуссии о творчестве Пикассо, очевидно, откуда-то ему сигнализировали: поглядите, мол, что у вас под носом творится. Стал он насторожен и боязлив. Его уже не радовало, что клуб переполнен, что приезжают люди из других районов, что в нем выступают популярные поэты, режиссеры, артисты. Дошло до смехотворного. У центральной стены фойе сто-

ял бюст Ленина. Мы его передвинули к боковой, чтобы повесить газету со стихами и репродукциями. Лев Вениаминович рвал и метал:

– Что вы своевольничаете? Только на видном месте, впереди, должен находиться бюст Владимира Ильича! – Рассвирепевший директор потребовал, чтобы я отправился в райком партии. Если там дадут письменное разрешение на один день переставить бюст, то пожалуйста.

Мы надеялись, что в райкоме к этой перестраховке отнесутся с улыбкой. Не тут то было! Началось дознание. Зачем передвигать? Для чего? Без этого обойтись невозможно? Бумажку так никто и не подписал (ответственность-то какая!), а позвонили (звонок к делу не пришьешь) и успокоили взволнованного Льва Вениаминовича. Но заметили мне, что к "Нашему календарю" районное руководство крайне охладело: во-первых, о необычном московском молодежном клубе появились публикации на Западе. А если Запад что-либо у нас хвалит, значит нужно удвоить бдительность: не просочилась ли буржуазная отрава? Во-вторых, год работы клуба наводил на кое-какие размышления.

Жил-был проектный нефтехимический институт. В нем трудилось две-три сотни инженеров, архитекторов, техников. Воспитали их всех в советских школах и вузах, да так, чтобы в принципиальных вопросах все они мыслили одинаково. То-есть, единодушно одобряли бы постановления партии и правительства, единогласно голосовали бы на выборах в Верховный совет (и чтоб никто и на мгновенье не усомнился бы в том, что наши выборы самые что ни на есть настоящие), дружно осуждали бы Бориса Пастернака, абстрактную живопись, узкие брюки, империализм и колониализм... Литература и искусство преподносились им с точки зрения пользы для самого передового общества и разоблачения пороков и язв дореволюционной России и современного прогнившего Запада. Это вдалбливалось с розовых детских лет, это въелось в плоть и кровь.

В 1956 году, после речи Хрущева на XX съезде партии, наиболее пытливые отпрянули от втолкованных ложных истин и попытались сами во всем разобраться.Одна-

ко в целом масса технической интеллигенции почти не трансформировалась. Она приняла объяснения: режим ни в чем ни виновен, партия ни в чем не виновна. Виновен лишь культ личности. Лишь Сталин. Но если ее, техническую интеллигенцию, не затронули за живое политические проблемы, возникшие в связи с осуждением бывшего гениального зодчего, если она лениво отмахнулась от них, то уж литература и искусство совсем не трогали технарей. Здесь все выходящее за рамки привитого им заботливыми воспитателями вызывало яростное отталкивание. Бессчетное число раз приходилось слышать: "Если я, человек с высшим образованием, этого не в состоянии понять, то как же народ?

Для большинства моих сослуживцев в начале шестидесятых годов существовали ясные социалистические и классические произведения, а остальное, заумное, заклейменное казенными ярлыками: формализм, модернизм, искусство для искусства было "проникнуто духом чуждой буржуазной идеологии". Но эти люди не были тупы, нелюбопытны, и ограниченны от рождения. На протяжении дясятилетий их духовно обкрадывали, отгородив от мира железным занавесом, запретив читать романы Достоевского и стихи Мандельштама, смотреть картины Моне и Кандинского, знакомиться с философскими трудами Бердяева и Ницше. За нарушение запретов грозила жестокая вплоть до лагерей кара. Их не воспитывали, их изуродовали.

И вдруг, как снег на голову, выставка Эрнста Неизвестного. Что за ужасные скульптуры! Во имя чего, для кого они сотворены? Но, о смущение умов! Кто-то это безобразие хвалит, кто-то его отстаивает и приводит доводы, которые невольно заставляют задумываться. Дискуссия разгорается. А молчаливое большинство внимает. Оно пока что настроено против, но впервые выслушивает тех, кто за! Раньше такой возможности не было. Сейчас же и скульптуры эти, и молодые их защитники в полном смысле слова в двух шагах. Вышел из института, заглянул мимоходом в клуб и... Но вот неотразимый выпад соратников участника штурма Зимнего: нет, скульптор не кривляется, он не умеет по другому;

чтоыб скрыть свое неумение, ударился в модернизм. Для умницы Неизвестного - сие не сюрприз. Поднимает над собою большие фотографии:

- Это мои ранние работы. Я специально принес их, чтобы показать, что так тоже могу.

И поколеблены дружные ряды. И благодатный червь сомнения закрадывается в мозги. А через месяц - вечер, посвященный восьмидесятилетию Пикассо. На стенах репродукции его полотен с разъятыми скрипками, женскими фигурами и еще Бог знает чем. Но Илья Эренбург, известный писатель Государственный лауреат, борец за мир (а для советских людей авторитеты неотразимы!) подробно рассказывает о творчестве Пикассо, доступно объясняет его, охотно отвечает на вопросы. Вода камень точит. Наши усилия не пропали даром. Те, кто год назад плевались, читая Блока и Есенина,теперь искали их книги, те, кто пренебрежительно отзывались об импрессионистах и Матиссе, шли в музей имени Пушкина... Они становились не только культурнее, но и терпимей, ибо терпимостью к иному, к непонятному учит собственный опыт.

Могло ли нравиться пастухам, что разбредается стадо? Могло ли понравиться нетерпимым (большевистский лозунг - "Кто не с нами, тот против нас!" - даже и посередине быть нельзя, только с ними), что их подопечные обретают нормальную человеческую сущность? Нет! Уже по всей стране распускало корни инакомыслие, и с ним боролись.Уже разгоняли, да что разгоняли - арестовывали! - молодых поэтов, которые собирались у памятника Маяковскому и читали свои стихи. Уже чернили в прессе "подпольных" художников, устраивающих выставки на частных квартирах. А тут, на тебе, официально, под крылом райкома комсомола функционирует идейно-вредный клуб. Необходимо его прикрыть.

Первую попытку предприняли весной 1962 года. 24 апреля мы наметили провести вечер Модильяни. Напечатали, как обычно, в типографии пригласительные билеты. Но имя Модильяни в СССР и ныне мало кому знакомо.А тогда и подавно слышали о нем лишь специалисты и узкий круг истовых любителей живописи.

- Что за блажь, - возмутились в райкоме партии - пропагандировать французского модерниста! - и запретили проводить вечер.

Отправляюсь к заведующей отделом пропаганды и агитации райкома Рублинской. Захожу как ни в чем не бывало в кабинет, с любезной улыбкой протягиваю пригласительные билеты. Сухая, неизменно сдержанная Рублинская не повышает голоса:

- Это мероприятие нами запрещено. Накануне праздника трудящихся всего мира 1 мая вы почему-то организуете вечер памяти какого-то Модильяни.

Всем своим видом протестую против подозрений, что наш клуб уничижает 1 мая.И на их партийном жаргоне:

- Мы специально перед праздником трудящихся проводили вечер, посвященный Модильяни, - замечательному художнику, который в условиях буржуазного общества умер от голода.

- Вот как! Я об этом не знала.

- Да-да. Все продумано очень серьезно.Приедут выступать Эренбург. Назым Хикмет, Вознесенский.

Она минуту-другую колеблется и потом:

- Хорошо. Проводите. Приду посмотрю.

Несомненно во всех вариантах нашему "Календарю" в том году приспело погибнуть,ибо закончился 1962-й год погромом прогрессивных сил творческой интеллигенции,в первую очередь - художников. Но об этом позже. Теперь же расскажу, как закрыли клуб. Рублинская не простила мне маневра с Модильяни и только ждала удобного случая. Он вскоре подвернулся. На осень мы запланировали дискуссию по книге мемуаров Эренбурга "Люди, годы, жизнь". К его воспоминаниям часто относятся отрицательно. Не спорю, он в них порою лукавил, порой лицемерил (к примеру,встреча с Лениным вряд ли имела для него такое значение, какое ей придано),порою намеренно что-то забывал. И все-таки его книга сыграла в то время положительную роль и оказала значительное влияние на молодежь. Эренбург рассказал о массе русских и зарубежных писателей и художников, поэтов, с которыми был дружен или близок, но о существовании которых мы нередко даже не подозревали. Эренбург поведал

о трагической судьбе многих погибших в тридцатые годы. Эренбург первый осмелился написать, что "наверху" знали о преступлениях Сталина, но молчали. По официальной версии партия и члены ЦК слепо верили вождю, который их обманывал.

В Московском университете обсуждение "Мемуаров" превратилось в митинг. Студенты осуждали за трусость своих отцов, допустивших недавнее прошлое, требовали всей правды до конца, в общем, вели себя так, словно они говорили не о книге, а собрались на политическую манифестацию. Не знаю, не представляю, во что бы вылилась дискуссия у нас, но она не состоялась.

В СССР типографии принимают к производству лишь материалы, одобренные цензурой. В Москве она именуется Горлитом. Когда я приехал туда с макетом пригласительного билета, то меня вызвал начальник. Грузная туша поднялась над столом и пророкотала:

– Вы согласовывали проведение этого вечера с горкомом партии?

– При чем тут горком?

– При том, что дискуссия по мемуарам Эренбурга дело не литературное, а политическое. Если разрешат, в чем сомневаюсь, подпишем билеты к печати.

Поблагодарил его и скорей в клуб. Черт с ними, с билетами! проведем без них! Только, как объяснить Лидскому, почему не будет пригласительных. Но мои разъяснения не понадобились. Смущаясь и заикаясь, директор выдавил, что вечер не состоится.

– Мы же договорились с Эренбургом!

Лев Вениаминович очень его почитал, но за свое место боялся больше.

– Извинимся. У нас в плохом состоянии пол и потолок. Были пожарные и велели срочно ремонтировать. А глаза у него бегают, не глядят на меня. Все понятно. Попробуем по-другому.

На противоположной стороне шоссе Энтузиастов – клуб "Компрессор". По сравнению с "Дружбой" он – гигант. Его директор не раз предлагал "Нашему календарю" перебраться к нему: столько желающих, дескать, к вам попасть, а помещение маленькое. Я отказывался, не хотел

обижать Лидского. Теперь же помчался. Встретили меня в "Компрессоре" восторженно: замечательная идея! Замечательный вечер! Будет много народа. И беспокоятся насчет билетов. Отмахиваюсь."Не нужно! И так земля слухом полнится. Да и не успеем".

На следующее утро лицо директора озабочено.

– Я, – говорит, – вчера ошибку допустил. – Как раз в тот день, на который вы с Эренбургом условились, зал занят. Запланировано партийное собрание.

– Это не страшно, – отвечаю. – Эренбург будет в Москве неделю. Можно перенести вечер.

– Невозможно.У нас в течение двух недель ежедневно перевыборные цеховые партийные собрания.

Ничего не остается, как попытать счастья у Рублинской. Она, видимо, ждала моего прихода. По губам скользнула усмешка:

– Что же мы можем? Не отменять же партийные собрания! А ремонт есть ремонт.

– Но в районе ведь не два клуба! Неудобно перед Эренбургом.

– Скажите ему, – холодно роняет она, – что у нас все занято.

И до меня доходит, что "Наш календарь" приказал долго жить. Ликвидировали его без шума и крика.Обставили все культурно. В райкоме комсомола наградили меня "Почетной грамотой", посетовали, что никто, кроме Глезера, возглавлять "Наш календарь" не хочет, а он отныне руководить им не имеет права, так как ушел из института и контролировать его деятельность невозможно. Этот довод выглядел солидно, не придерешься. Молодежному клубу функционировать без комсомольской опеки негоже. А я и вправду очутился вне их сферы.

В конце 1961 года моя жизнь резко переломилась, началась как бы заново. Все давно вело к тому. Брак с Галей оказался неудачным. Ее погружение в мир материальных интересов, тяга к по-мещански благополучной, тихой семейной жизни вступали во все большее противоречие с моей дорогостоящей для инженера одержимостью живописью, поглощающим много времени клубом и вдобавок ночными бдениями над сочинением стихов. И Галя, и ее мать осыпали меня упреками:

– Где тебя носит? На что ты тратишь деньги? Подумал бы о семье. Другие в твои годы не в пример тебе зарабатывают и все приносят в дом.

Подобные причитания стали чуть не ежевечерним обрядом. И даже рождение в 1959 году дочери не сумело предотвратить разрыва. В декабре 1961 года мы расстались. И тогда же я покинул проектный институт. Воодушевленный тем, что газета "Известия" опубликовала мое стихотворение, я решил покончить с инженерством и уйти на литературную стезю.

И еще мне показалось, что нашлась женщина, которая до конца понимает меня и разделит со мной все тяготы вновь избранного пути и выдержит мой трудный для семейной жизни характер. Алле Кушнир, будущей вице-чемпионке мира по шахматам, было в то время всего лишь девятнадцать лет. Она, как и я, плевала на бытовую сторону жизни, любила литературу, увлекалась живописью, нас тянуло друг к другу. Обоим нам чудилось, что всех этих общих качеств вполне достаточно для идеального брака. Уже в январе 1962 года в Тбилиси мы поженились.

ИЗ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ГРУЗИЮ И ОБРАТНО

"На холмах Грузии лежит ночная мгла..."
Александр Пушкин

Старинная легенда повествует: Бог делил землю между народами. Каждый из них свое получил, а грузин нет как нет. За пиршественным столом умудрились они забыть о столь важном деле. Опомнились, прибежали,да поздно. Бог уже все роздал. Принялись опоздавшие просить-умолять:

– Дай, Всемогущий, хоть что-нибудь!

Сжалился Бог и из того райского куска земли, который предназначал себе, отделил долю, подарил грузинам. Эти божественные места исстари привлекали алчные взоры соседей, особенно мусульманских, которые жаждали не только захватить,но и обратить в свою веру крестившуюся в IV веке Грузию. Вал за валом накатывались на нее безжалостные полчища. Сжигались города и древние храмы, сотни тысяч людей гибли в сражениях и угонялись в рабство, плодородные нивы превращались в пустыню. Но крепкий духом народ не сдавался. И, как писал грузинский поэт,"в черных платьях качали вдовы колыбели, что тесались мечами погибших мужей.Дети росли, изучая родной язык по боевым кличам отцов". И вновь и вновь после кровавых турецких и персидских нашествий возрождалась к жизни многострадальная страна.

Грузины помнят свою историю. Они рассказывают о царе Давиде Строителе, который жил в первой четверти XII века. Он и объединитель Грузии, превративший ее в могущественное государство от Черного моря до Каспия, он и выдающийся деятель грузинского гуманизма, он и покровитель литературы и науки, и основатель Гелатской академии - новых Афин. И при всем величии,как он велел себя похоронить? Посетив Гелатскую обитель, вы увидите эту могилу. Она находится при входе, так что всякий неизбежно на нее наступает. Так и замыслил царь. Князь ли, пастух, виноградарь ли придут помолиться Богу, - пусть попирают прах земного владыки. Еще грузины вспоминают блистательную царицу Тамар. Женщина редкостной красоты, доброты и ума, она обладала смелостью и стойкостью воина. Ее боготворили. И когда Тамар умерла, то чтобы иноземцы не осквернили когда-либо священный прах, ее хоронили, согласно легенде, в восьми золотых гробах. Юноши, несшие их, добровольно умертвили себя, дабы не выдать тайну случайно или под пыткой.

Природа природой,история историей, а покорили меня в Грузии прежде всего люди. Испытания не сделали грузин суровыми и замкнутыми. Они славятся гостеприимством даже по отношению к незванным, случайно за-

бредшим в дом путникам. Они щедры на чувства и деньги. Они могут сутки напролет пировать, веселиться, петь напевные грузинские песни. И еще они полны собственного достоинства и горды принадлежностью к своему народу.Где еще, кроме Грузии, встретишь такое:

Поэт Иордава приглашает меня в ресторан. Заходим. Гляжу, он удручен. Денег с собою нет, рассчитывал заказать в долг, так как здесь работает сосед, но у того, как на зло, сегодня выходной.

- Не расстраивайся,- утешаю. - Покутим в другой раз.

Нет, пытается уговорить незнакомого официанта отпустить ему в кредит.

- Да я же тебя не знаю, - отнекивается парень. - Если бы ты взял бутылку вина, дорогой, куда ни шло. А то и вино хочешь,и курицу,и сыр,и фрукты. Не могу.

- Но у меня гость из Москвы! Что он подумает о Грузии?

Убедившись, что этот довод не действует, направляется к выходу, пренебрежительно бросив:

- Ты не грузин!

Официант переменился в лице, ринулся за нами вдогонку, притащил к столику, и уже через минуту мы были обслужены.Эту палочку-выручалочку использовал как-то и я. Улетаю из Тбилиси. Вес моего багажа превышает допустимый. Надо доплачивать пять рублей. У меня же деньги на аккредитиве, а ближайшая сберкасса закрыта. Обращаюсь к начальнику аэропорта:

- Разрешите погрузиться. В Москве передам деньги вашим пилотам.

- Нельзя.

- Тогда одолжите пять рублей. Сегодня же вышлю телеграфом.

Отказывается. Выхожу из кабинета и с порога:

- Вы не грузин!

О, волшебство! Он бежит за мной, он вытаскивает пятерку и упрашивает ее принять.

Мой московский приятель приехал в Тбилиси. Взял такси, чтобы посмотреть город. Вылез полюбоваться местностью, а подъезжая к гостинице, обнаружил,что про-

пали очки. Расстроился - таких не достанешь. Водитель услышал, развернулся - и обратно. Напрасно. Не нашли. Наутро таксист стучится в номер:

- От чистого сердца приглашаю вас к себе.Посидите с нами, отведайте деревенского вина, послушайте наши песни.

Не мог его приятель обидеть. Принял приглашение. Едва вошел в комнату, видит на возвышении уставленного блюдами огромного стола, лежат его очки.Оказалось, что водитель накануне отправился на место происшествия и все-таки их отыскал. И пир устроил для гостя в честь удачи.

А с моим тбилисским другом,скульптором и чеканщиком Мито Кипшидзе,произошло вот что. Идет он по улице, а навстречу - бывший ректор Академии художеств. Когда-то он исключил Мито из Академии за формализм, и Кипшидзе поклялся отомстить обидчику. Сейчас подошел к нему, поднял могучими руками и хотел трахнуть о стенку, да пожалел. Позвал распить бутылку. Разлил белое имеретинское, поднял тост за здоровье ректора, а пить не стал. Выплеснул вино на пол и ушел. На другой день приходят к нему в мастерскую друзья. Дверь заперта, а оттуда грохот. Скульпторы, у которых рядом ателье,жалуются:

- Всю ночь стучит! Измучил!

Только в мастерской все поняли. Эмоции - не вино. Их из себя не выплеснешь. Потому Мито и закрылся в мастерской. Вычеканил лицо ненавистного ректора и кулак,бьющий его в челюсть.

- На старика рука не поднялась, - признается, - а душа горела. Теперь полегчало.

Приезжающие в Грузию туристы восклицают:

- У них там нет советской власти!

Ну, это слишком. Она, конечно, есть. А анекдоты типа: "С тбилисского вокзала отправляется поезд Грузия-Советский Союз" или вопроса грузина к русскому:"У вас в 1917 году была заварушка. Чем это кончилось?"тоже преувеличение. Советская власть с ЦК, КГБ и прочими прелестями стоит неколебимо и тут. Но по каким-то причинам эти анекдоты сочинены именно о Грузии, а не об Украине, Узбекистане или Молдавии. Почему?

У Шота Руставели есть строчки:

Лучше смерть, но смерть со славой,
Чем бесславных дней позор.

Ко всем годам истории Сакартвело[*] можно их отнести, только не к советским. После того, как восставшую в 1924 году Грузию затопили в крови, она смирилась. А когда после смерти кремлевского диктатора страна начала медленно приходить в себя, то отталкивание грузин от советской системы выразилось не в вооруженном выступлении, но в нежелании жить по социалистическим принципам в области экономики. И под лозунгом: "Обогащайтесь!"в условиях обобществленного хозяйства расцвела, что и поражает туристов, пышным цветом частная инициатива. Возникали иногда под маскирующими вывесками, а иногда и без оных, собственные лавочки и даже магазины, собственные духаны, собственные сапожные и ремонтные мастерские. Жажда обогащения сплошь и рядом приводила к безудержному стяжательству и неприкрытому мошенничеству. Вдвое, а то и втрое больше официальных расценок брали парикмахеры и чистильщики обуви. В магазинах и такси забыли, что такое сдача. Наездил 70 копеек - гони рубль, наездил 30 - все равно рубль.Московский журналист Николай Филипповский не знал об этом. Протягивает водителю рубль и сидит, не выходит. Тот спрашивает:

- Чего ждешь?

- Сдачи.

- Ты же мне рубль дал, а на счетчике шестьдесят копеек. Какая сдача? Иди отсюда!

Коля устыдился, вышел. Таксист высунулся, швырнул к его ногам рубль и брезгливо:

- Если ты богатый, что о сорока копейках думаешь? Если бедный,зачем на такси едешь?

К середине 60-х годов в Тбилиси уже появились настоящие миллионеры. А чего им не быть? Вот директор

---

[*])Сакартвело - Грузия (грузинск.)

тбилисской текстильной фабрики: выбросили в Москве на прилавок дефицитные импортные свитера из синтетики.За ними очереди с раннего утра. А он, пожалуйста,без согласования с министерством, без многомесячной утряски планов моментально скопирует у себя, произведет навалом, и пошла торговля! В магазинах - свои люди, ревизоры за деньги тоже своими станут. Кое-что государству перепадет, но львиную долю директор возьмет себе. Начальнику сосисочного цеха не хуже. Чего только в мясной фарш нельзя подмешать! Сколько лишних сосисок можно сотворить! И продать "налево". "При таком социализме - живи не тужи", - смеялись воротилы. И вот что поразительно: они вовсе не скрывались. Почти обо всех знали, что они миллионеры. В Москве им подобные ведут себя тише воды, ниже травы. А тут они гуляют,не таясь. Меценатствуют - надо же помочь скульптору, если у государства нет средств. Закатывают пиры - без этого что за жизнь? Разъезжают по лучшим курортам - как же без отдыха после трудов праведных? Приобретают по нескольку квартир, да еще и дома за городом - вкладывают капитал в недвижимое имущество. Швыряются немыслимой ценности подарками - знай наших!

При мне в 1968 году приходит на свадьбу миллионер. Все ахают - с пустыми руками явился. Он же небрежно бросает на стол ключи от новой "Волги".Машина под окном. Все снова ахают, но теперь восторженно. Купить в СССР автомобиль - проблема. Кто может выложить пять, семь или восемь тысяч рублей (напомним, что средняя заработная плата колеблется от ста до двухсот) и с этакой легкостью подарить?

Но куда смотрит в Грузии уголовный кодекс? Где судейские? Где неподкупные партработники? Неподкупные?! Скажите об этом в Тбилиси. Народ обхохочется. Взятки берут все. А взявши, ничего не видят, ничего не слышат, как и было уговорено. Мой тбилисский родственник, рабочий в колбасном цехе, напившись,отколошматил трех милиционеров. Такое карается в СССР долгосрочным заключением. Не миновать бы лагеря и нашему буяну.Но повернулось иначе. Его мать сразу же кинулась к шефу. Колбасник вместе с ней поспешил в отделение милиции.

И потом она рассказывала:

– Едем по городу. Постовые с ним почтительно раскланиваются. В отделении его приветствуют. Он заглядывает к какому-то начальнику. Из-за двери доносится: "Здравствуй, как живешь? Как жена, дети? – И потом. – Вчера у меня арестовали рабочего, хорошего парня. Жалко его!" А начальник: "Нет! Нет! Не нужно! Возьмите! Ничем помочь не сумею. Он ведь милиционеров буквально искалечил". А батоно* Георгий, дай Бог ему здоровья, говорит: "Как тебе не совестно? Я разве за что -то тебе деньги даю? Это по-дружески, для детишек". И выпустили моего родственника на поруки дружного рабочего коллектива.

Однако в 1972 году грузин прижали. Пост первого секретаря ЦК партии республики занял недавний ее министр внутренних дел Шеварнадзе. Один за другим слетают с постов за взяточничество партийные и комсомольские работники, арестовываются директора вузов,в тюрьмы идут руководители предприятий, магазинов и торговых баз. В газетах, выходящих на грузинском (на русском печатать стесняются – по стране разнесется и за границу угодит), ежедневно публикуются длинные списки репрессированных. Миллионеров не спасают миллионы.Даже тех, кто был предусмотрительнее, не высовывался,достает карающая рука хитроумного первого секретаря.

Два инженера создали в глухих горах фабрику хозяйственных сумок (грузинские декоративные, на манер импортных, сумки пользовались популярностью во всем Союзе). Одного арестовали, второй скрылся. Подследственный долго на вопросы не отвечал. Но как-то принесли ему из дома передачу, завернутую в вечернюю газету "Тбилиси". В ней короткая информация о том, что его напарник тоже арестован, признал себя виновным и начал давать показания. Что ж теперь отпираться? Все для облегчения участи надо сказать! А газета-то была фальшивая, в единственном экземпляре, чтобы его расколоть, сделанная. Некий кутаисский делец,едва Шевар-

---

*) уважительное обращение (грузинск.)

надзе пришел к власти, попытался упрятать концы в воду. И вроде успешно. Ничего у него не нашли. И вдруг вспомнили, что месяца за три до ревизии он широковещательно объявил, что внезапно тяжело заболел его отец, и привез из Тбилиси первоклассных профессоров, которые признали, что недуг неизлечим. Вскоре старик умер. Никому не показалось это странным,но острый нюх бывшего министра МВД на расстоянии почуял неладное. Распорядился он вскрыть гроб. Как всколыхнулся Кутаиси: "Да что за святотатство!" Как гневался сын: "Да что за кощунство!" А в гробу-то вместо трупа оказались золото, драгоценности, валюта.

Шеварнадзе добрался даже до жены своего предшественника Мжаванадзе. Она тоже обогащалась,да еще как! Под видом такси городского парка по Тбилиси разъезжало сто частных машин, владельцы которых пользовались покровительством мадам Мжаванадзе и отдавали ей большую часть выручки. Шеварнадзе мечтал отдать высокопоставленную мошенницу под суд, но Москва не позволила дискредитировать крупные партийные кадры. Все - таки Мжаванадзе был кандидатом в члены Политбюро.

Вначале та часть населения, которая не спекулировала, побочных доходов не имела, коммерцией не занималась, радовалась, что объявился такой борец за справедливость: теперь легче жить будет! А то в магазинах пусто. Воруют, продают своим клиентам. А на базаре цены рассчитаны на коммерсантов. Но через год пошел разговор иной: в магазинах не намного лучше. Раньше хоть у спекулянтов, что позарез нужно, купишь, а сейчас у них цены немыслимые. Оправдываются тем, что рискуют свободой. И вообще выяснилось, что не во имя блага народа старался ретивый секретарь, а двигал им самый заурядный карьеризм, стремление зарекомендовать себя ревностным защитником социалистической законности и государственных интересов и на этой лошадке въехать в Политбюро. Среди грузинской интеллигенции даже распространилось, что в каком-то западногерманском журнале воспроизведена карикатура: у двери с надписью "Политбюро" красуются часовыми Брежнев и Косыгин, отпихивая от входа рвущегося к нему Шеварнадзе. Мертвый

Сталин и сталинизм это хорошо, а допусти к руководству второго Сталина, и собственные головы полетят.

Летом 1973 года я был в деревне в Западной Грузии. Крестьяне проклинали первого секретаря. Ради выполнения плана он потребовал невиданное: сдавать в колхоз виноград с личных участков. Когда же несознательные хозяева воспротивились, то бригады партийцев-активистов принялись обходить их участки и отбирать виноград силой. К тому же было запрещено вывозить виноград и вино из деревень. На выезде из каждого района соорудили шлагбаумы, рядом с которыми поставили сторожей. Все проходящие машины тщательно осматривались. Вскоре Шеварнадзе наложил очередное вето: грузины не имеют права ничем торговать за пределами республики,так как этим они, якобы, позорят свою нацию. Значит,азербайджанцы, узбеки, украинцы, русские не позорят,а грузины позорят. Обозленный народ придумал анекдот: "Приходит колхозник на радио: "Хочу выступить". "А что скажешь?" "Что хочу,то и скажу!" "Нельзя. Цензура". "Ну, три слова". "Нет" "Ну, два слова". "Нет". "Ну, одно!" "Ладно, одно скажи". И он завопил: -"По-мо-ги-те!!!"

Но грузины не только сочиняют анекдоты. В Тбилиси подожгли здание театра имени Руставели, где проводятся особо торжественные заседания в честь революционных праздников. Водитель Шеварнадзе, латыш, получил письмо с требованием завезти владыку Грузии в определенное место, где собирались с ним расправиться. Верный слуга отказался и был убит.

В ответ ли на это, или скорее всего в начале правления не осмелившись, а ныне решив, что пора, - Шеварнадзе ужесточил свой режим. В грузинских тюрьмах снова пытают. Сведения об этом просочились в Самиздат. Одного из палачей, в ходе пытки убившего человека,власти, не сумев замять происшествие, были вынуждены арестовать. Разъяренный тем, что ему обещали безнаказанность, но обманули, он исхитрился предать гласности имена тех, кто приказывал применять пытки.

Поэт Владимир Сергеев изливался мне: - "Ты любишь грузин. А за что? Живут, сучьи дети, так, словно о социализме отродясь не слышали.Не социалистическая рес-

публика, а республика черных полковников. Ничего, дай срок, доберутся до них! Всю эту торговую банду до конца изведут".

Но перенесемся вновь в январь 1962 года, когда, приехав в Тбилиси, я первый раз попробовал переводить стихи грузинских поэтов и понял, что это занятие меня по-настоящему привлекает. Грузинская поэзия всегда отличалась самобытностью, глубиной и красотой. Недаром ее переводили большие русские поэты, в том числе и Борис Пастернак, который сказал, что грузинский язык словно нарочно создан для стихов. Словно музыка звучат, например произведения неповторимого Галактиона Табидзе, которого всю жизнь травили партфункционеры и послушные им критики и писатели, и который в 1956 году покончил самоубийством, выбросившись из окна. Молодые грузинские поэты, пришедшие в литературу после 1956 года, все, как один, испытали его влияние. В Москве их стихи печатали неохотно, так как посвящались они не кипучей действительности, не коммунистическим идеалам, а или вечным темам: жизни, смерти, любви, или общечеловеческим проблемам, или своей древней земле. В "Литературной газете" мне прямо отрубили:

– Неужели ничего иного вы в Грузии не нашли? Это все абстрактно-созерцательные сочинения, а это – национализм.

Короче, ни на переводы, ни, тем более, на свои стихи я спервоначала жить не мог. Надо было устраиваться на службу, и меня прибило в одну из многотиражных заводских газет на должность ответственного секретаря. Собственно, от меня зависело содержание номеров. И принялся я за старое – пропаганду литературы и искусства. Только опубликовал ранние стихи Маяковского, вызывает парторг:

– Что-то вы, товарищ Глезер, не то делаете. Нам нужно нацеливать людей на выполнение планов, на социалистическое соревнование, а тут стихи. Если бы еще о партии, о Родине, о труде, а то муть какая-то.

'Уф! Куда лучше инженером работать. Чище, не пачкаешься, душой не кривишь. Так или иначе, переждал я чуть-чуть и выдал страницу о Пикассо. Может, сойдет благодаря тому, что коммунист? Партком взвыл:

– Подавайте заявление об уходе по собственному желанию! Все равно выгоним!

Тогда перебрался я в газету "Московский комсомолец". В штат меня не взяли, но предложили сотрудничать с отделом литературы и искусства. Это мне подходило. Писал я им статьи, а в свободное время корпел над стихами и переводами. Понемногу их там и сям печатали.

А личная моя жизнь опять не удалась. Наш с Аллой Кушнир "идеальный брак" не выдержал и первых испытаний. Не притерлись мы характерами и уже через несколько месяцев разошлись. Алла с матерью и братом как раз получили отдельную квартиру, а я остался в одиннадцатиметровой комнате на улице Димитрова в коммуналке с шестнадцатью соседями. Этот дом когда-то принадлежал богатому купцу. Второй этаж занимал зал с лепными украшениями на потолке, которые сохранились и посейчас. После революции его разгородили деревянными оштукатуренными стенками на клетки (каждую одарили нимфой или амуром) и заселили строителями социализма. Самую большую клетку превратили в общую кухню. Здесь соседи сплетничали, ругались и сбрасывали с плиты чужие сковородки. В узком коридоре располагалась уборная и напротив умывальник. По утрам и вечерам к ним выстраивались очереди, в которых успевали обмениваться мнениями об экономическом кризисе на Западе и кампании против модернизма в СССР. Она,взбулгачившая все население нашего отечества, заварилась в декабре 1962 года, когда, подталкиваемый сталинистами, Хрущев, как бык на красную тряпку, устремился, поводя лысой головою, на художников-формалистов.Совсем недавно поддержал он выпуск потрясшей страну повести Солженицына "Один день Ивана Денисовича", а теперь, непутевый, обрушился на абстрактные полотна, словно они представляли большую опасность для режима.

Начатый с живописцев погромный поход, как и было задумано, распространился на литературу и музыку, театр и кино. Творческой интеллигенции втемяшивалось, что не может быть никакого сосуществования с Западом в области идеологии, то-есть, покупаем у капиталистов

передовую технику и зерно, а их самих нещадно клянем, что линия развития литературы и искусства определена программой партии, то-есть много не размышляй - пиши, как указано. Секретарь ЦК КПСС по идеологии Ильичев и сам Никита собирали писателей, художников, кино-режиссеров и песочили проштрафившихся, как мальчишек.

В этот период отдел литературы и искусства "Московского комсомольца" крутился волчком.Кропались статьи, соответствующие требованиям дня, сочинялись памфлеты о заблудших поэтах, обрабатывались письма трудящихся, осуждающих очернителей советской действительности. Мне как-то удавалось держаться подальше от этой кухни, но я сознавал, что до поры, до времени.

Однажды в комнату вошел пожилой, но бодрый и воинственный человек. В руках у него были "Мемуары" Эренбурга. Он раскрывает книжку и обращается ко мне:

- Послушайте, что этот негодяй пишет: "Я снова во Франции, я вновь могу свободно говорить, мыслить, дышать". Да как он смеет?!

Спрашиваю:

- О каком времени Эренбург пишет?

Он фыркает:

- Неважно, о каком!

- А по-моему, есть разница, к тысяча девятьсот тридцать седьмому относятся эти слова или к тысяча девятьсот пятьдесят седьмому.

Заведующий отделом Евгений Сидоров, подтянутый, с безупречным пробором, как у всех работников ЦК и горкома комсомола (он из них, номенклатурных) подает мне знак: не горячись, не спорь.

А бодрячок уже нам обоим:

- Сегодня я возил товарища Ворошилова на выставку Фешина. Ему понравилось. Одобрил.

Надо бы промолчать, а меня не знаю, какая муха укусила:

- Разве маршал Ворошилов специалист по живописи?

Вскидывается, как боевой конь. Ноздри раздуваются:

- Молодой человек, вы знаете, с кем говорите? Я - Кацман!

А-а, враг современного искусства, академик-художник Кацман! Как же, как же. Наслышан о вас. Вы старый фаворит Ворошилова, который помогал вам еще в сталинскую эпоху уничтожать подлинных живописцев. Вы втаптывали в грязь Малевича. Вы проклинали Кандинского.Вы насмехались над импрессионистами. Вы всего лишь год назад обзывали с трибуны Эренбурга сволочью за то,что он портит вкусы советским зрителям, осмеливаясь расхваливать творчество Моне и Ренуара.

Многоопытный Кацман угадывает мою неприязнь. Он прощается с Сидоровым и выходит, но через секунду возвращается:

- И все-таки, у нас больше общего,чем разногласий.

- Не думаю.

Он дружелюбно:

- А хотите, я вам скажу, что у нас общего? - И таинственно понизив голос: - Наша советская власть.

После его ухода завотделом меня корит:

- Мог бы попридержать язык!Теперь пойдет жаловаться редактору.

Так и случилось. И обернулось тем, что Сидоров от имени редактора предложил мне выступить в газете со статьей о мемуарах Эренбурга. Раздолбать их!

Я на дыбы:

- Женя, тебе известно и мое отношение к этим мемуарам,и то, что я бываю у Эренбурга. Не буду писать статью!

- Чудак-человек! - добросердечно уговаривает он. - Кто же тебя заставляет своей фамилией подписываться? Спрячься под псевдонимом.

- Хрен редьки не слаще.

Сидоров не унимается:

- Не ты, так другой напишет, и похлеще тебя Эренбурга отлупит. Лучше соглашайся!

Все же отвертелся я от статьи о мемуарах. Обрадовался, да рано. Сует мне заведующий письма читателей - срочно подготовить подборку в номер.В первом же послании: "Эренбург - это старый петух, который силится отыскать в навозной куче своих воспоминаний жемчужное зерно". И подпись: "Александр Жаров". Жив, курилка,

напористый комсомольский поэт 20-х годов. Откладываю письма в сторону. Пачкайтесь сами. Сидоров и не упорствует, но зато направляет меня к редактору. Тот раздраженно:

- Мы ваши стихи печатаем, ваши материалы публикуем, а когда редакция заказывает вам статью, вы становитесь в позу. Не много ли себе позволяете? Смотрите, придется нам с вами расстаться.

Видимо, ждет, что извинюсь. Но я безмолвно поворачиваюсь и - в отдел. Собираю вещи. Жаль терять заработок. Но выбор ограничен: либо итти в подлецы, либо нет.

Интересно, что драконя зловредные мемуары, Хрущев даже толком с ними не ознакомился. Позже он сам в том и признался их автору. Вот что рассказали мне в доме Эренбурга.

Примерно через полгода после мартовской баталии состоялся в Ленинграде европейский симпозиум писателей о современном романе. В советскую делегацию включили и Эренбурга, он же от этой чести наотрез отказался. Дескать, меня вовсю поносили, какими же глазами мне смотреть на зарубежных коллег, как им объяснить, что у нас происходит? Но и без него ехать несподручно. Выглядело бы так, будто настолько заклевали седовласого романиста, Государственного лауреата и борца за мир, что и на симпозиум не допустили.

Хрущев не погнушался пригласить Эренбурга к себе. Попросил в делегацию все-таки войти, обещал, что "Новый мир" непременно опубликует продолжение его мемуаров. И брякнул:

- Я в марте ваших мемуаров еще не читал (просмотрел выжимки из них, тенденциозно подобранные референтами), а теперь прочел, и в целом они мне нравятся. Будем издавать.

И затем первый секретарь принялся доказывать, что заграницей все прогрессивные писатели (то бишь писатели-коммунисты) поддерживают его мероприятия в области литературы и искусства. Лишь ренегаты типа Говарда Фаста и Сартра критиканствуют. Эренбург полюбопытствовал, почему Сартр ренегат.

— Как почему, — изумился Никита Сергеевич. — Он же вышел из компартии из-за венгерских событий!

— Он никогда не был членом партии, — сказал Эренбург.

Хрущев сослался на список отступников, который лежит у него на столе, Эренбург — на свое многолетнее знакомство с французским писателем. Тогда неугомонный Никита потребовал от референта представить документальные доказательства изменничества Сартра. Таковых не оказалось. Референт повинился, мол, напутал, Сартр в партии не состоял.

— Мы не святые, — пошутил Хрущев. — Мы тоже ошибаемся.

— Это не ошибки, — ответил Эренбург. — Вас обманывают.

После ухода из "Московского комсомольца" я должен был обезопаситься от ярлыка тунеядца.

Знакомые посоветовали вступить в Профком литераторов при издательстве "Советский писатель". Эта профсоюзная организация — нечто вроде мини-Союза писателей. Она дает право не ходить на службу, заниматься творчеством, оплачивает писательские бюллетени, достает своим членам путевки в дома отдыха, проявляет о них иные мелкие заботы, и, конечно, и это самая главная ее функция, осуществляет надзор за их деятельностью. Ведь по Уставу профком объединяет единомышленников, проводящих в области литературы политику партии. Я подал заявление о вступлении в секцию художественного перевода, и вскоре бюро секции пригласило меня на заседание. Биография моя никаких подозрений не вызвала. В войсках царского и временного правительств по возрасту служить не мог, сдаться в плен гитлеровцам, будучи воином советской армии, по той же причине также. В наших лагерях не сидел. Чист человек! Есть предложение принять. Нет, зачем столь быстро. Кто-то просит меня прочитать свои стихи. Не в порядке недоверия, но все же, как не проверить молодого автора? Прочел. Переводчицу с венгерского, толстуху в три обхвата Бочарникову — возмутили строчки,

О, Вагнер страстный и торжественный,
Прими меня в свой мир подспудный...

Она привстает:

– Почему вы, Александр Давидович, о Вагнере пишете?

– Потому что люблю его музыку.

– А отечественную музыку вы не любите? Почему посвящаете стихи немецкому, а не русскому композитору?

– С каких пор писать о немецком композиторе преступление?

– Если о немецком, почему о Вагнере, а не о Моцарте? –

Ее мясистое лицо багровеет: – Музыку Вагнера любили фашисты!

Довод с ее точки зрения неотразимый.

– Мало ли что любили фашисты? Музыка в этом не виновата.

Она с грохотом отодвигает стул:

– Да знаете ли вы, еврей, что Вагнер был антисемитом?

– Знаю. Но это тоже к музыке отношения не имеет.

Бочарникова оглядывает собратьев по перу. Они соблюдают строгий нейтралитет. Они проголосуют за принятие, так как вздорных взглядов Бочарниковой не одобряют. Но они и открыто оспаривать ее мнение не отважатся. У Вагнера-то и впрямь подмоченная репутация. Всего лишь пять лет назад его считали воспевателем сильного человека – ницшеанской белокурой бестии, одним из идеологов культуры нацизма. А что будет еще через пять лет, никто не ведает. Бочарникова не успокоилась. Сигнализировала председателю профкома Прибыткову. Он приступил к расследованию.

– Вы, – говорит, – музыку Вагнера любите. Но, надеюсь, его философских концепций не разделяете.

– Мне, – отвечаю, –даже неизвестно, что он увлекался философией.

– Вот и хорошо, – успокаивается председатель. – А на Бочарникову не обижайтесь. Вы же понимаете, что бдительность не худшее качество.

О да, это я понимаю! Это понимает каждый наш человек. Бдительность так же необходима советским писателям, как и славным чекистам, как и доблестным пограничникам, как замечательным пионерам, которые, подобно легендарному Павлику Морозову, должны быть готовы донести на своих родителей, как... Ну просто нет такой профессии в родной стране, чтоб не нужна была ей бдительность.

А раз я это понимаю и философии Вагнера не разделяю, то почему бы меня и не принять в сплоченные ряды профкома? 23 апреля 1963 года я становлюсь ныне уже вполне официально профессиональным переводчиком художественной литературы. Дальше мне только переводить и переводить и заслуживать право на вступление в заветный для любого начинающего литератора Союз писателей СССР.

ЛИТЕРАТУРА, В КОТОРУЮ ЗАВЕРТЫВАЮТ

ГЛИНЯНОЕ МЫЛО

> "Национал-социалистическая политика, даже та ее часть, которая называется культурной политикой, определяется фюрером и теми, кому он дал соответствующие полномочия".
> ("Основы национал-социалистической культурной политики". Вольфганг Шульц).

> "Товарищ Сталин вдохновляет художников, он дает им руководящие идеи... Резолюции Центрального Комитета советской коммунистической партии и доклад А.Жданова дают советским писателям полностью разработанную рабочую программу".
> (Е.Ярославский. Из доклада на XYIII съезде ВКП(б).

Советский писатель... Это, пожалуй, к нему очень хорошо подойдет русское былинное: "Едет добрый моло-

дец, а перед ним столб. А на столбе надписи: "Направо пойдешь - гибель найдешь.Налево пойдешь - назад не придешь"...Да, уже и не в древнее,а в наше время товарищ Сталин на вопрос,какой партийный уклон хуже,левый или правый, зловеще уронил: "Оба они хуже". Это касалось и писателей. Хочешь жить, не отклоняйся ни на иоту от линии партии.

Задолго до глубокомысленного сталинского ответа, еще в 1922 году,блестящий русский прозаик Евгений Замятин в статье "Я боюсь" писал: "Если писатель должен быть благоразумным, должен быть католически-правоверным, должен быть сегодня полезным... тогда нет литературы бронзовой, а есть только бумажная, газетная, которую читают сегодня и в которую завтра завертывают глиняное мыло... Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока мы не излечимся от какого-то нового католицизма, который не меньше старого опасается всякого еретического слова. А если неизлечима эта болезнь - я боюсь, что у русской литературы одно только будущее: ее прошлое".

Он оказался прав! На тридцать пять лет вперед прав! Все эти тридцать пять лет писатели, верные высоким традициям русской литературы, ее человечности, ее искренности, ее любви к угнетенным, униженным и оскорбленным, ее нежеланию и неумению рабски служить тиранам, были в лучшем, весьма редком, случае обречены на молчание (Михаил Булгаков и Андрей Платонов), чаще - на гибель. Более шестисот их поглотила жадная пасть ГУЛАГа.

А едва сгинул гениальный погубитель и русская литература возникла из небытия, словно птица Феникс из пепла, как накинулись на нее его последыши, заплечных дел мастера рангом пониже, и давай кого из писателей топтать, кого за решетку сажать, кого из страны выгонять. Не нужны последышам Александр Солженицын, Владимир Максимов, Андрей Синявский, Виктор Некрасов,Иосиф Бродский, Александр Галич, Владимир Войнович, Лидия Чуковская... а нужна им литература благомыслящая, раболепная,подцензурная,и такие же ее творцы.Вот сидят они в столь дорогом поэтическим и прозаическим серд-

цам Доме литераторов, пьют, кто водку, а кто кофе, готовые по первому зову партии взнуздать коней, то бишь свое чахлое вдохновение, и понестись по отполированной тремя поколениями дороге социализма.

В разное время в России писателей называли по-разному. До революции - совестью народа. При Сталине - инженерами человеческих душ. Эмоциональный Хрущев наградил их холуйской кличкой подручные партии. Русские писатели от подобного титула с негодованием отказались бы. Советские - носили его с гордостью. Некоторые, правда, придумывают для самоуспокоения афоризмы на манер одного из столпов современной советской поэзии, философствующего либерала Евгения Винокурова. Принесите ему на подпись письмо протеста против преследования инакомыслящих и услышите: "Не ссорьте меня с атомной державой". Пристыдите - а у него взамен: "Костер - не моя профессия".

Да что там подписи в защиту арестованных, когда один русский, простите, советский писатель боится произнести имя другого. Посмотрите на перекосившееся от страха лицо мэтра, лауреата Государственной премии, поэта Павла Антокольского. Это всего навсего я спросил, довелось ли ему прочесть максимовские "Семь дней творения". Заметался старец по своему кабинету, с опаской поглядывая на стены (магнитофоны-то, небось, записывают), и скороговоркой:

- Какой еще Максимов? Что за писатель? Самиздатовских вещей не читал и не читаю.

Ну, пусть Винокуров трус. Ну, пусть Антокольский трус. А Евтушенко? Он уж точно так себя не поведет. Он... Минутку, минутку! Не угодно ли ознакомиться?

Я - Евгений. Ты - Евгений.
Я - не гений. Ты не гений.
Я говно. И ты - говно.
Я - недавно. Ты - давно.

Это широко известная эпиграмма на Евтушенко, написанная якобы от имени его тезки Долматовского. С тезкой все ясно - действительно, старейший подручный пар-

тии. Но Евтушенко за что схлопотал по морде? Он ведь правдолюбец.Он ведь бесстрашный борец.Его и заграница таким знает.Заграница,оно конечно!Оттуда не видно. Мы им тоже вначале восхищались,а потом заметили,что бесстрашие его какое-то странное.Выступает Евтушенко в 1963 году вразрез с Хрущевым.Тот облаивает абстракционизм,а он расхваливает.Какая прямота! Какое мужество! Однако не проходит и двух месяцев, как на заседании идеологической комиссии ЦК наш герой бьет себя в грудь, признается,что заблуждался.Случайность?Но почему в том же году Эренбург, который недавно защищал его от нападок Хрущева, называет поэта "свиньей под дубом"? А потому, что как только Хрущев раскритиковал повесть писателя "Оттепель", Евтушенко решил выслужиться и поместил в "Литературной газете"стихотворение,целиком отражающее точку зрения первого секретаря. Чуть ли не слово в слово за ним повторил: ошибается тот, кто говорит, что у нас оттепель; у нас не оттепель, у нас весна! И так всю жизнь. Грешит он и кается. Грешит он и кается. Пишет вызывающее ярость антисемитов стихотворение "Бабий Яр" - и как член редколлегии журнала "Юность" поддерживает резолюцию об израильской агрессии. Направляет правительству телеграмму против оккупации Чехословакии - и немедленно заявляет в партийном бюро Союза Писателей, что осуждает свой поступок. Посылает в итальянскую газету письмо, в котором протестует против изгнания Солженицына, - и сразу же сочиняет сверхверноподданическую поэму о строительстве автомобильного завода на Каме, где бросает камень в огород того же Солженицына: "Поэта вне народа нет!".

Один французский переводчик отозвался о Евтушенко так: "Petit poète, mais un grand artiste!"

Вежливый западный человек. В России говорят: "Большая проститутка".

Но как трудно, как трудно советскому писателю,оставаясь лойяльным, не быть проституткой! Поэт еще может с грехом пополам упрятаться под сень чистой лирики, да и то не совсем, и то не чересчур. Ведь раз не воспеваешь партию и народ, а пишешь только о любви и о природе, то уже подозрительно - не враждебен ли?

Прозаику же и того хуже. Ну о чем, действительно, писать русскому прозаику, если в 1962 году в Новочеркасске солдаты расстреливают рабочих только за то, что они забастовали и вышли на мирную демонстрацию, возмущенные повышением цен на мясо и масло и одновременным снижением расценок? Писать, безусловно, следует о невиданном расцвете колхозных деревень и небывалом подъеме благосостояния трудящихся. Ну о чем писать украинскому прозаику, если сотни его земляков, обвиненных в национализме, гниют в лагерях Мордовии? Писать безусловно следует о достижениях шахтеров Донбасса и металлургов Запорожья. Ну о чем писать грузинскому прозаику, если под видом утверждения социалистической законности в Грузии воцаряется произвол и насилие? Писать безусловно следует о рекордном урожае винограда,героическом труде на чайных плантациях и увеличении мощности Ингурской гидроэлектростанции.

А как себя вести советскому автору, когда советские войска душат Прагу или когда изгоняется из страны Александр Солженицын? Протестовать? Вы что, с ума сошли? Если он хочет оставаться членом Союза писателей и продолжать печататься, то ему необходимо срочно одобрить мудрые акции властей или, на худой конец, промолчать. Как разяще замечает Александр Галич:

"А молчальники вышли в начальники,
Потому что молчание - золото...
Промолчи - попадешь в богачи.
Промолчи. Промолчи. Промолчи".

И о чем только не запрещено писать советскому писателю?!Об ужасах насильственной коллективизации - нельзя! О ленинско-сталинско-хрущевской каторге - нельзя. О сегодняшних лагерях и психбольницах для диссидентов - нельзя. О повальных неурожаях - нельзя. О прогнившей экономике - нельзя. И не то, чтобы нельзя, но крайне осторожно нужно писать о прошлом своего народа, остерегаться чрезмерно это прошлое превозносить, не то угодишь в армянские (украинские,узбекские,азербайджанские...) националисты. Одно время хоть русские

авторы имели право возвеличивать Россию. Но в 1973 году сижу я как-то в редакции радиостанции "Юность", беседую с редактором Сергеем Красиковым. Вдруг телефонный звонок - и слышу, начинает Красиков оправдываться перед поэтом Егором Исаевым:

- Почему я заменил в твоей поэме "Россию" на "Родину"? Да не по собственной же воле! Две недели назад нам спустили приказ: не давать в эфир слова "Россия".

Так и Россию запретили. Говорят, что употребление этого слова пахнет шовинизмом. Ну, хорошо. Все эти запретные темы - горячие, политика. Однако и аполитичные произведения, если только они окрашены не в светлые тона, если они грустны, а тем более в них присутствуют мотивы смерти, встречаются в штыки.

"Когда умру однажды, и прибудет
За мною гроб, и будут плакать люди..."

написала грузинская поэтесса Лия Стуруа. Какой переполох поднялся в издательстве "Молодая гвардия", где выходил ее сборник. Редактор Михаил Беляев помчался за советом к заведующему отделом поэзии, тот, в свою очередь, проконсультировался с главным редактором издательства. И убрали эти крамольные мрачные строки из стихотворения. А о стихотворении "Волк" Беляев и слышать не хотел:

- Нельзя сейчас о волках писать, - говорит.

- В чем провинилось бедное животное?

- А ты читал в "Дне поэзии" стихи Солоухина?

Да, эти стихи вызвали кое у кого раздражение. С подтекстом они. Наизусть не помню, но смысл таков: мы, мол,волки,нас мало,а вы собаки - вас много, вы те же волки, но вы променяли свободу на тепло и жратву,всех больше на свете мы, волки, собак ненавидим.

Кто это - волки? Диссиденты, что ли? И кто - собаки? Все понимающие, но продавшиеся писатели?Не к лицу лауреату Государственной премии так двусмысленно выступать. Но при чем тут все-таки Стуруа? Спрашиваю об этом у Беляева, и он объясняет:

– Во-первых, нам предписали не публиковать стихотворений о волках. Во-вторых, у Стуруа волк не на воле гуляет, а в зоопарке в клетке сидит,тоскует. Намек какой-то. Это уж и вовсе ни к чему.

Впрочем, возможно, молодежно-комсомольскому издательству и впрямь к лицу лишь нечто мажорное, а вот в изданиях солидного "Советского писателя" терзайтесь, страдайте, скорбите, сколько влезет. Нет-нет, зря не обольщайтесь! Тут контроль еще построже. Выходит в 1968 году переведенная мной книга стихотворений известного грузинского поэта Мухрана Мачавариани.Редактор Ваня Харабаров в ужасе хватается за голову и перечисляет:

"Лицом к небу лежит мой отец.
Бессильно гляжу я на вырытую могилу"...

раз,

"Теперь,как только смерть нашла поэта"...

два,

"Дорога эта останется,
Дерево это останется,
Меня одного не останется..."

три,

"Пока Господь тебе подарит смерть",

четыре,

"И вдруг все надо позабыть,
Глаза отверстые закрыть..."

пять... И плачущим голосом:

– Зачем ты это переводил? Все про смерть да про смерть!

– В книге же почти сто стихотворений! Что тебя пугает?

Ваня поясняет, что в последнее время к минорной тематике отношение еще более ухудшилось. Есть на ее счет специальные инструкции. И пригорюнившись:

– Как бы за эту книгу не влетело! Много в ней ненужной философии. Вот хотя бы стихотворение "В деревне":

"Когда из-за земли выходит спор
Меж двух крестьян, за речкой колокольня

Становится на цыпочки, пытаясь
Привлечь к себе внимание. Но тщетно...
Никто ее не видит и не слышит."

– О чем это?

– Сельская зарисовка, – говорю.

– Ты не притворяйся – "зарисовка"... Религиозная пропаганда!

Через два года, когда эта книга переиздавалась в издательстве "Художественная литература", борьба с пресловутой религиозной пропагандой достигла апогея. Тогда тщательно выскребали слова "Бог", "душа", "молитва", "ангелы", "ад", "рай". Вызывали недовольство даже идиоматические выражения "Боже мой", "Бог с тобой", "не дай Бог".

Но с Харабаровым еще можно было поспорить.

– Какая здесь религиозная пропаганда, когда они не обращают на колокольню внимания?

– Все равно, – упрямится Ваня. – Пропущу стихотворение, если дадим другой заголовок – "Старинная картинка".

– Нереально же, чтобы в старое время крестьяне так относились к церкви!

– А может, они уже тогда неверующими были!

Вот как он повернул – крестьяне до революции и в Бога не верят. Стихотворение-то, выходит – антирелигиозное. И еще одно название нужно сменить. Цикл этюдов у Мачавариани озаглавлен "Из болгарской тетради". Но где же у поэта социалистическая, кипучая, жизнерадостная Болгария? Какое-то кафе, где в танце трясутся пары, какой-то тщедушный человечек, продающий любимую собачку, какие-то белые колени, выскакивающие из красных мини-юбок... Никоим образом из этого не складывается образ братской страны. А вот образ чего-то чуждого, неприемлемого для советских людей – складывается. Так чего же мудрить? Вместо цикла "Из болгарской тетради" пусть будет цикл "Из зарубежного блокнота". И никаких кривотолков. Читатели поймут, что впечатления от заграницы навеяны путешествием в капиталистические края. Ощущаете, как меняется облик книги? Но ее метаморфозы еще не закончены. Пройдемте к Борису Ивановичу Соловьеву.

Эрудит,тонкий ценитель литературы, а также выдающийся чревоугодник, ежедневно устраивающий в респектабельном ресторане "Националь" Лукулловы пиры, высокий, рыхлый, с просвечивающим сквозь кожу желтоватым жиром, главный консультант издательства по поэзии и критике безукоризненно вежлив. Но сие не должно вас обманывать. Это ему, страстному поклоннику Блока, доверена деликатная задача кастрировать рукописи. После него цензору делать нечего. Соловьев не только отыщет микроскопическую идеологическую ошибку. Он,знаток Гумилева, Мандельштама, Ходасевича, моментально пронюхает и искоренит их и прочие вредные влияния в творчестве современных поэтов. Это милейший Борис Иванович очищал сборники Булата Окуджавы от его сомнительных, с подтекстом, песен, которые нечаянно мог пропустить беспечный редактор. Это воспитанный Борис Иванович обхаживал бывшего зека упорного абхазского поэта Шалву Цвижбу, уговаривая исключить из уже набранной книги (изменились времена, пока ее готовили к печати) стихи о Колыме. Это обходительный Борис Иванович калечил книгу Анны Ахматовой "Бег времени", выкидывая из нее стихи и строфы. Охотился даже за строчками. Анна Андреевна рассказала мне два эпизода. Первый связан с лирическим стихотворением. Смутили консультанта строки:

... Не будет он законным мужем,
Но мы такое с ним закружим...

– Кружить с незаконным мужем! Бог с вами! – пошучивал Соловьев. – Нельзя разлагать молодежь! Надо будет это снять. – И снял.

Второй связан со стихотворением "Смерть поэта",посвященном Пастернаку. Посвящение-то само собой убрали. Но Борис Иванович настоял, чтоб и год написания сменили. Теперь никому не догадаться, о каком поэте Ахматова речь вела. А меня великолепный мастер кастрации книг спрашивает:

– Что это за идеи в переведенном вами сборнике Мачавариани протаскиваются?

И он цитирует:

Еще, и еще, и еще ты стремишься
К почету и славе. Спешишь, суетишься.
Смешно! Бесполезно стремленье твое.
Ну что из того - поживешь в знаменитых...
Рожден на земле ты, рожден для земли ты,
И сам ты когда-нибудь станешь землей.

Да это же типичная библейская проповедь!Прочь ее! Привлекает внимание Соловьева стихотворение "Мысль". Читает:

А ты, проливший пот рабов
И кровь тебе уже не нужных...

- Это о Сталине?

- В принципе о тиране.

Нравоучительно:

- В принципе не в принципе, а подумают, что о Сталине. Ни к чему сейчас о нем.

То есть, отрицательно ни к чему. Так считает ЦК.А все предписания ЦК - бороться с нигилизмом и пессимизмом, запретить лагерную тему, сделать упор на военно-патриотическую - выполнялись им неукоснительно.Для того и поставлен. Еще повезло Мачавариани, что не тронули его стихи о любви. Да-да, и эта сфера человеческого бытия строго разграничена на дозволенное и недозволенное. Первая обязанность любви быть возвышенной и чистой. Вторая - по возможности счастливой. Процент взаимной должен во много раз превышать процент неудачной, ибо везде, и в заводском цеху, и в собственной постели для советского индивидуума опять же характерен не ноющий пессимизм, а сияющий оптимизм.Ну а если (ведь всякое бывает) случится в сердечных делах осечка, то грусть влюбленного не должна быть мрачной.

Это из черного дня
Ты говорила мне - нет.

– "Черный день" из книги выволокем! – бодро сообщает вышеупомянутый Михаил Беляев. А автор (то-есть я) ноет:

– Что тебе этот "черный день"? Он ведь у меня уже в прошлом.

– И в прошлом не надо, – приговаривает редактор и весело подмигивает: – Обойдемся без декаданса.

Что же касается не любви, а вожделения,это и вовсе тема антисоветская, на страницы толстых романов и тонких рассказов не допускаемая. Добро, развратничает отрицательная личность, какой-нибудь диссидент, тунеядец или вообще шпион-иностранец. Положительный же герой советской литературы не имеет права желать просто переспать с женщиной. Во всяком случае он обязан обуздать свое желание, а на худой конец раскаяться в содеянном. Иначе он бросает тень на весь добропорядочный советский народ.

Ты спрашивала шепотом:
– А что потом, а что потом.
Постель была расстелена,
И ты была растеряна.

О, какой дружный вой вызвали эти стихи Евтушенко! "Разврат!" "Похабщина!" "Чуждые веяния!" Живи,как хочешь, спи с кем хочешь, но зачем об этом писать, дурной пример подавать?

– Типичная пошлость! – веско заключил спор в редакции поэт Морковкин-Богучаров. А сейчас...

Сейчас он лежал, подвыпивший, в стоге свежескошенного сена. Я сидел рядом и выслушивал бесконечные жалобы на жену, которая уже и не женщина – прикоснуться противно, и на коллег по журналу, которые тупы и не понимают свободных излияний души поэта. Ну как тут не пить? Как не искать бабу помоложе? Было воскресенье. Вечер. Магазины закрылись.

– Водочки бы еще! – стонал он. – Припрятал вчера вот здесь, у забора, четвертинку. Исчезла! Куда? Конечно, Верка проследила и уничтожила. Уйду от нее к чертовой матери!.. Хотя,зачем же к этой самой матери,

когда, - он оживился и приподнял взлохмаченную голову, - у меня уже девка есть. В полном порядке. Спелость - сто процентов. И пить не мешает. Лишь бы денежки приносил. А моих гонораров и на выпивку, и на всякие ее колготки-шмолготки хватит.

Небо заволокло тучами. На деревню сползали сумерки. Полупьяный бред поэта Морковкина-Богучарова переходил в сюрреалистически-сексуальное бормотание:

- Нет, ты мне не сочувствуешь! Сюда бы в сено бабу голую. Не совсем. Чтобы еще и раздевать. Возбуждает. Насчет этого, чую, сам соображаешь. Помнишь,я тебе свои стихи о Пушкине читал? Он тоже по женской части зверь был.

- Са-аш! - донеслось издали, - кончай человека мучить. Ужинать пора.

- У, сука, - заворчал Морковкин-Богучаров. - Погоди-ка, дай соображу... Ага! Сейчас ей объявим, что у нас срочная работа, что к утру надо закончить и сдать в журнал. А сами махнем в город. Там и водка, и девочки. Идет?!

- Саша! - прозвучало рядом.

Он встал, грузный, опухший, с лицом, похожим на перезрелый помятый помидор. На тропинке появилась женщина с пережженными перекисью волосами, подкрашенными губами и усталыми в сети морщинок черными глазами. С наигранной бодростью она хлопнула в ладоши:

- Быстренько, быстренько, мальчики! Тушеная утка с яблоками уже на столе.

Морковкин-Богучаров торжественно объявил:

- Молодец, Веруша! - и повернулся ко мне: - Тушеная утка с яблоками - ее коронное блюдо. Попробуешь - пальчики оближешь. Айда!

А потом мы сидели за столом в грязной,вонючей комнатенке с керогазом в углу, по которой носились полчища мух. Морковкин-Богучаров, чавкая, обгладывал утиную ножку и читал наизусть Пушкина, Исаковского и себя. Вдруг, как бы невзначай вспомнив о чем-то,он вскинулся:

- Э-э, матушка! А ведь мне сегодня в город ехать! Нам с Сашкой всю ночь придется писать, а завтра с утра материал необходимо сдавать.

Однако жена,видать, привыкла к его штучкам:

- Нет, милый. Ни в какую Москву я тебя не пущу. Ночью можете поработать и здесь, а утречком отправитесь в редакцию. Тебе с твоим животиком даже полезно прогуляться до станции на заре. Правильно я говорю? - с фальшивой привычно-кокетливой интонацией спросила она меня.

Морковкин-Богучаров набычился,но сдержался,и только ни с того ни с сего запел антинародную частушку:

"Огурчики, помидорчики,
Сталин Кирова убил в коридорчике."

Вера с облегчением вздохнула, собрала грязные тарелки и направилась в угол мыть посуду. Вскоре она, склонившись над корытом, принялась отжимать белье.Морковкин-Богучаров, запустив пальцы в седоватую шевелюру, горько бубнил:

- Дрянь, дрянь, дрянь. Ну ладно, сегодня ее взяла! Но в другой раз!.. Ох, до чего выпить хочется!

Это - жизнь. А в литературу заведующий отделом поэзии журнала "Смена" Морковкин-Богучаров ни баб, ни пьянок не допускает. И более того - свой маленький личный разврат он возмещает не только цензорским рвением, но и завидной политической бдительностью.Открывается в редакции "Смена" выставка грузинского живописца Хуцишвили. Посмотреть ее приходит в числе зрителей лидер русских художников-нонконформистов Оскар Рабин. Завидя его, Морковкин-Богучаров тащит меня в комнату:

- Здесь Рабин?

- Да?

- Зачем?

- Смотрит картины.

- Ты знаешь, что значит приход Рабина в наш комсомольский журнал?

- Нет.

Сокрушается:

- Ты не поймешь. Уведи его отсюда скорей!

Да уж где мне понять! Вот правоверный Спартак Куликов, который приперся к тебе с набитым рукописями неизменным желтым портфелем, поймет. Несчастный Спар-

так! Сыграет с ним злую шутку его правоверность. Однажды, будучи в особо приподнятом состоянии духа и, надо подчеркнуть, без малейшего воздействия спиртного, он все с тем же портфелем отправляется на Красную площадь. Возле Мавзолея останавливается и, шмякнув портфель на земь, бухается на колени. Но не успеет поэт молитвенно возвести очи к небу, как на его плечи опускаются тяжелые руки мужчин в штатском. Через секунду Спартака запихивают в стоящий неподалеку воронок. Начинается долгое дознание, на котором Куликов клянется, что под влиянием страстного порыва решил поклониться дорогому Ильичу. Гебешники же упрямо твердят, что он злоумышленно собирался бросить в Мавзолей пластиковую бомбу.

Спартак закидывает Союз писателей слезными письмами. Оттуда обращаются в КГБ с просьбой отпустить беднягу. Убеждают, что у поэтов иногда бывают заскоки, которые надо прощать. Лубянка вначале артачится: "Засадим мерзавца на пятнадцать суток! Пусть не морочит голову идиотскими порывами". Потом меняет гнев на милость. Куликов отделывается штрафом в размере тридцати рублей. Парадокс! Не тебе платят за правоверность, а ты за нее!

Великий русский поэт Некрасов когда-то писал:

"Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан".

Не ведал он, что через столетие бесконечным цитированием этих свободолюбивых строк в советской России будуть душить свободную мысль. Их произносят на собраниях и совещаниях, вколачивают в сознание непонятливых авторов. Их сделали своим знаменем бездари, компенсирующие творческое бесплодие идеологической ретивостью. "Поэтом можешь ты не быть"... и прозаиком, и критиком тоже, ибо талант - талантом, но прежде всего ты гражданин Советского Союза. Поэтому не нужны твои честные романы, философские размышления, абстрактно-созерцательные стихи. Лучше воспевай строительство Братской ГЭС. А кому интересны твои тоска и боль, когда народ в единодушном радостном порыве строит ком-

мунизм? Как ты смеешь сворачивать с центральной магистрали на проселочную дорогу и видеть то, что есть: магазины с пустыми прилавками, поля, заросшие сорняками, разрушенные храмы и незыблемые вышки концлагерей!

Непрогрессивная западная пресса обвиняет советских писателей в том, что они подкуплены режимом."Государственный", как его иронически именуют, не то чтобы подкупленный, а со всеми потрохами купленный поэт Роберт Рождественский, разгневавшись, ответил на это в газете "Известия":

Да, я подкуплен
березами русскими,
Да, я подкуплен
девчонками русыми,
Да, я подкуплен
льдом кронштадским,
Да, я подкуплен
комиссарами гражданской.

Откровенно - ничего не скажешь. Только "березы" и "девчонки" - для красоты и некоторой замаскированности. А вот лед кронштадский, на котором в 1921 году комиссарами были расстреляны возмущенные антинародной большевистской политикой русские матросы, и комиссары,расстрелявшие в том же году Николая Гумилева,здесь в самый раз, на месте.

x x x

Январь 1975 года. Последний раз прохожу по Центральному Дому Литераторов, вглядываюсь в лица трусов, прирожденных проституток и фанатиков (горстка писателей истинных тут почти не бывает) и удивляюсь сам себе. Что влекло меня в этот паноптикум, в этот Союз писателей, которые только за последние пятнадцать лет требовали изгнания из страны двух Нобелевских лауреатов, Пастернака и Солженицына, одобряли арест Синявского и Даниэля, а еще прежде побивали камнями, отда-

вая на заклание цвет русской литературы – Мандельштама и Бабеля, Платонова и Булгакова, Ахматову и Зощенко?!.. А ведь когда в 1968 году мне отказали в приеме, невзирая на две рекомендации членов Союза и положительные рецензии на все шесть переведенных мною книг, я искренне огорчался. Огорчался, когда надо было гордиться, потому что не приняли меня за несоответствие с идеалами винокуровых, евтушенко, куликовых.

ДОНОС... ЕЩЕ ДОНОС...

"Доносы и наветики
Страшнее,чем картечь".
Александр Галич

В октябре 1964 года умер мой отец. Я помню его высокого, широкоплечего, красивого, ходившего со мной в Баку на шумные первомайские демонстрации. Я помню его усталого, приезжавшего ночью с нефтепромыслов. Я помню его сочинявшего и рассказывавшего захватывающие истории об индейцах. Я помню его деятельного, загруженного сверх всякой меры в Небит-Даге и уже затравленного, больного, с трудом передвигающегося по улицам Уфы. Я помню его бесконечно доброго к людям и счастливого счастьем своей семьи. Я помню его последние дни в больнице: побледневшее лицо,одухотворенная улыбка и в глазах тревога – не о себе, а о нас. Все в его роду дотягивали до восьмидесяти с лишним. Он не дожил и до шестидесяти. Я прилетел в Уфу после тревожной телеграммы матери: "У папы инфаркт – срочно выезжай". А через три дня вновь инфаркт – и смерть.

Я ходил по длинному больничному коридору и, словно заведенный,твердил:

– Сволочи, они его убили! Сволочи, они его убили!

Мама плакала и озиралась по сторонам:

– Тише! Прошу тебя, тише!

И отвратительная сцена прощания в Уфнефти где он работал заведующим лабораторией. Зал. Люди.Минуты перед выносом. К гробу подходят и на мгновенье замирают члены партийного комитета - те,кто загнали его в могилу.

Ах, отец! И с чего бы, хотя уже скоро пора на пенсию, тебя понесло вступать в ряды КПСС. Ты вдруг поверил в магическую силу XXII съезда, поверил,что коммунисты станут иными,что изменится их хищная природа. Во многом такой дальновидный, ты, проявляя здесь роковую близорукость, поучал меня: "Надо итти в партию, чтобы очистить авгиевы конюшни". Вот и очистил.

Мало тебе было лаборатории. Ты еще взвалил на себя изучение классиков марксизма-ленинизма и должность председателя месткома института. А тут началось распределение жилплощади в только что отстроенном доме. И как всегда, партийные товарищи, не рядовые безгласные члены, а горластые функционеры, уже имевшие однокомнатные или двухкомнатные квартиры, потребовали больших. Пусть рабочие и техники еще поживут в коммуналках, поютятся в подвалах - ничего с ними не станется. Удовлетворите сначала нас, ценные кадры.

Я-то тебя хорошо понимаю. Я и сам бы их послал к чертовой матери! Но зачем же после этого подавать заявление о приеме в партию? О, как на тебя накинулась свора! "Почему вы в сорок втором году уехали из Баку?"

"Не уехал а был сослан". "Сейчас все на сталинское время сваливают. Где у вас доказательства?" И ты писал письма в Баку: "Поднимите архивы". И ты обращался в Москву к министру нефтяной промышленности:"Пришлите справку". И ждал ответов. По институту же расползался подлый слух: "Его никто из Баку не гнал... Он скрытно бежал, чтобы не попасть в армию". И твое без того подорванное сердце не выдержало. И конец. И я должен был из-за мамы терпеть и молча смотреть на лживо-скорбные физиономии твоих убийц, на то, как руками, писавшими тебе анонимные гнусные письма, а на тебя доносы, они поднимали гроб с твоим телом.

За смертью отца незаметно прошел для меня октябрьский переворот - снятие Хрущева. Будучи в Тбилиси, я услышал об этом накануне официального сообщения. В нашей сверхсекретной стране тайное отчего-то становится явным быстрее, чем где бы то ни было. Я подбегал к танцующим от радости прямо на центральной площади грузинам (турнули-то негодяя, развенчавшего Сталина!) и спрашивал:

"Откуда вам об этом известно?" Они смеялись:

"От Би-Би-Си!" Смех смехом, а в конце шестидесятых годов узбекский поэт Тайзулаев мне говорит:

"Би-Би-Си все знает". Шучу: "Би-Би-Си не КГБ".

- Правда! Правда! - И рассказывает: В прошлом году в Чирчике милиционеры кого-то ухлопали и население взбунтовалось. Милицию взяли штурмом, всех там перебили, райком партии захватили, повредили междугороднюю телефонную связь. За пределами города никто ни о чем не догадывался. Вдруг передача Би-Би-Си о восстании в Чирчике! После нее и направили туда танки.

Нет, не случаен анекдот:

"В ЦК секретнейшее совещание с участием ученых. Некий профессор просит разрешения выйти в туалет. Не позволяют. Снова просит. И вновь не позволяют. Открывается дверь, и входит уборщица с ночным горшком. "Вы куда?!" - бросаются к ней стражи. А она: "Би-Би-Си передало, что тут профессор один по малой нужде хочет".

Однако Би-Би-Си или не Би-Би-Си поведало о свержении Хрущева, а было ясно, что свалили его сталинисты, и могло повернуться по-всякому. Оно и повернулось, но не сразу. Вначале новые правители останавливали рвавшегося к власти секретаря ЦК Александра Шелепина, которого в народе не зря прозвали Железным Шуриком. Шепотом разносилось, что он мостит себе дорогу к трону, повсюду рассаживает своих людей. Министр КГБ - его единомышленник Семичастный, во главе ТАССа - его человек Горюнов, первый секретарь московского горкома партии - его сторонник Егорычев. И все они стоят на том, что распустилась страна, что кое-кому не мешает по-сталински обрубить крылья. Из уст в уста передавался рецепт Шелепина-Семичастного: "Дайте

мне арестовать в Москве тысячу интеллигентов, и я покончу с инакомыслием!"

С ним жаждали покончить и сочувствующие шелепинским идеям комсомольские вожди. Мой приятель-математик Юра Григорьев, учившийся тогда в аспирантуре при институте философии, занимался социологическими проблемами. В горкоме комсомола подготовили какие-то нужные ему для исследования анкеты. Взял он их у инструктора Скурлатова, а дома обнаружил, что нечаянно прихватил и составленную тем же Скурлатовым брошюру, которая предназначалась для низовых комсомольских организаций с целью оживления их работы. Как же намечалось ее оживить? Фантазия у Скурлатова и его хозяев была богатой: тут и создание комсомольских военизированных оперативных отрядов для подавления диссидентов, и усиление бдительности в рядах молодежи для раскрытия чуждых элементов, и борьба с распутными нравами, занесенными с Запада. Что, например, делать с девушками, которые вступают в половую связь до замужества, если на них не действуют ни упреки, ни увещевания?Инструктор и подсказывает: ловить их, обмазывать дегтем и водить по улицам.

Кроме Григорьева, ценное скурлатовское пособие попало еще и к инженеру социологу-любителю. Они вместе сняли с него копии, разослав их в политбюро ЦК,а также Эренбургу и академику Тамму. Делу Скурлатова пришлось дать ход. И сразу выяснилось, что за спиной маленького инструктора стоят серьезные силы. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Павлов попытался его выгородить,сведя все к непродуманной, безобидной, ничего не значащей затее. Когда же на комсомольском уровне замять скурлатовскую инициативу не удалось, ею занялся лично Егорычев. На пленум горкома партии пригласили и обоих социологов.

Знаменательно, что никому из собравшихся коммунистов, кроме парторга Института философии, с упомянутой брошюрой ознакомиться не дали. А зачем? Они должны вслепую поддержать товарища Егорычева. Он же, призвав пред свои светлы очи инструктора, добродушно:

– Что же ты натворил?

Скурлатов рассыпался:

– Да я не знал, да я хотел, как лучше, да я надеялся активизировать комсомольские организации!

Парторг института философии попробовал:

– Брось нам очки втирать! Ведь ты типично фашистскую программу составил!

И ему Егорычев добродушно:

– Не преувеличивай. Какая она фашистская? Детские игрушки! – И Скурлатову:

– Придется тебе из горкома уйти, раз напартачил. Но духом не падай. На ошибках учатся. – Зато к социологам сурово: – Вы что, на потребу нашим врагам мечтаете гвалт поднять?

Юра поник: выгонят из аспирантуры, а инженеру в потертой кожанке терять нечего:

– Непонятно, о чем вы. Не за границу же мы материал отправили, а в Политбюро ЦК!

Егорычев угрюмо поглядел на строптивца. В глазах читалось: "Погоди, до тебя еще доберемся!" А Скурлатова, надо думать, не без задней мысли пристроил на работу не куда-нибудь, а в газету, причем с окладом, большим, чем прежний, горкомовский. Своих-то надо сохранять и лелеять. Пригодятся.

Но не пригодились. Шелепинская команда довольно быстро проиграла сражение за власть. И Егорычева поперли с поста. И Семичастного поперли. И сам Шелепин неудержимо покатился вниз. В диктаторы Железного Шурика не пропустили. Так и не удалось им арестовать тысячу московских интеллигентов. Лишь двоих писателей, Андрея Синявского и Юлия Даниэля, успели до своего падения в сентябре 1965 года схватить.Спустя семь месяцев их судили за публикацию за рубежом художественных произведений, которые КГБ сочло антисоветскими. Потому-то решение суда было предопределено заранее. Алик Гинзбург в "Белой книге", посвященной этому процессу, писал, что он "рассматривается в нашей стране, как веха, отмечающая новый поворот курса партийной политики. Процесс этот ясно выразил стремление советского руководства вернуться на старую сталинскую тропу. Идет зажим общественного мнения и расправа над

теми, кто указывает, что тропа эта ведет к тупику, в котором находится чекистский застенок, и всякое свободное развитие общества прекращается. Лучшие представители нашей интеллигенции не могут и не хотят снова стать покорными рабами тупого тоталитарного режима..."

Это верно, мы не хотели. Но и режим не хотел противоположного - выпускать нас из рабской зависимости от него.

Мы не рабы! А кто ж тогда рабы?
Ведь не обманешь собственной судьбы.
Присуждены с рожденья мы к тому,
К торжественному рабству своему.

В том же 1966 году в Тбилиси, возвращаясь из гостей, узнаю от дяди, что ко мне заходил какой-то тип. Не застав, пообещал назавтра позвонить. Рано утром звонок. Продираю глаза. По телефону вежливо:

- Александр Давидович, с вами говорят из комитета. Не дадите ли нам литературную консультацию? Мы пришлем за вами машину.

На-днях я выступал по радио. Предположил,что просят оттуда.

- Зачем машина? Я пешком дойду. Вы же от меня недалеко.

- А вы думаете, откуда вам звонят?

- Из радиокомитета.

- Нет, из Комитета госбезопасности.

- Какую литературную консультацию хотите вы от меня получить?

- Приедете, увидите. Долго не задержим.

Минут через тридцать в дверях возникает баскетбольного роста, сутулый худющий мужчина:

- Герсамия. Извините, что беспокою. Служба.

Больше всего тревожусь, что начнут допытываться насчет грузинских поэтов. Они со мной откровенны, а ведь наверняка среди них есть стукачи, которые могут доложить органам, что располагаю полезной для них информацией. Безусловно, буду отпираться,и все же ситуа-

ция препаршивая.

Но гебист рассеивает мои опасения:

- Вы привезли с собой пленки с песнями Галича?

- Да.

- Захватите.

Ну, это уже полегче. Спускаемся. У ворот черная "Волга". Едем. Герсамия с доверием:

- Я десять дней о вас справки наводил. Оказывается, вы переводите нашу поэзию, болеете за тбилисское "Динамо".

Думаю: а еще что вы знаете? Но вслух ни гу-гу.Заходим в их прославленную организацию. Мой сопровождающий, выслушав по телефону чье-то распоряжение:

- Распишитесь, что вы отдали нам пленку,и вы свободны.

- Зачем она вам?

- Прослушать.

Для устрашения, что ли, они меня сюда привезли? Мог расписаться и дома.

- Прослушайте при мне и верните.

Странно я себя вел, ни так ли? Потом недоумевали и родственники: "Отчего ты такой прыткий стал? В детстве темной комнаты боялся, а сейчас с КГБ воюешь". Я и сам не понимаю. Ну, позже, в 70-х годах, мной руководила ненависть, которая наверно забивала страх. А тут... Необъяснимо. Наплевать мне на них, и все. Внезапно за спиной чей-то низкий голос угрожающе:

Когда попадают к нам,не спорят.

Оборачиваюсь. На смуглом жестком лице два глаза, словно два лезвия. Но если со мной разговаривают таким тоном, то в долгу не остаюсь:

- Может, преступники не спорят, но я не преступник. - И, отвернувшись от грубияна, поясняю Герсамии, что запись у меня плохая - не разберете. Лучше слушать, мол, при мне. Неясное подскажу.

Приносят магнитофон. Первая же песня их задевает:

"Ведь недаром я двадцать лет
Просидел по тем лагерям".

А на второй техника выходит из строя. Возятся, никак не починят. Герсамия чешет в затылке:

– Не повезло. Вы идите, а мы завтра послушаем и вас снова вызовем.

Благодарю покорно. Вновь я к вам не пожалую:

– Давайте я вам эти песни спою, только при условии, что пленку возвратите.

– Не обманите? Все споете?

– Все.

Уселись с серьезными мордами, а мне забавно петь Галича в гебушке.

Ах не шейте вы, евреи, ливреи,
Не ходить вам в камергерах, евреи,
Не кричите вы зазря, не стенайте,
Не сидеть вам ни в Синоде, ни в Сенате.

А сидеть вам в Соловках да в Бутырках,
И ходить вам без шнурков на ботинках,
И не делать по субботам лехаим,
А таскаться на допрос с вертухаем.

Пою песню за песней, и чем дальше, тем слушатели мрачнее. Герсамия заводит душещипательную беседу:

– Почему он плохо пишет про нашу организацию? Народ нас любит, уважает.

Патриархально-провинциальный метод увещевания. На Лубянке с таким трепом не полезут. Очень уж глупо.

– У него не о вас же песня. О ваших предшественниках.

– Но для чего? Партия разоблачила злоупотребления периода культа личности, и хватит.

– А почему о войне не хватит? Почему поощряются произведения о ней? Гибель людей в лагерях трагедия не меньшая, чем их смерть на фронте. Даже большая, потому что она бессмысленна.

На эту тему Герсамия дискутировать не уполномочен.

– А Галич не антисемит?

– ?!

- Вот песня о евреях какая-то двусмысленная.

- Да вы не поняли! Это же ирония. Галич и сам еврей.

Плешивая голова гебиста печально покачивается.

- А кому вы давали пленку в Тбилиси переписывать?

О, ты лапочка! Неужели рассчитываешь на ответ?

- Никто ее не переписывал.

- Вы уверены?

Перебираю в памяти, кто из переписывавших мог разболтать. Как будто, никто.

- Уверен.

Он хмыкает и кладет передо мной чистый лист бумаги.

- Напишите, пожалуйста, о чем, по-вашему, песни Галича.

- Я не знаток.

Герсамия вынимает из ящика стола еще один лист:

- Читайте.

Ого, впервые вижу донос:

"Московский поэт Александр Глезер привез в Тбилиси записи Галича, дает их переписывать и поет его песни в редакциях газет".

Это правда. Осторожностью я не отличаюсь. Но какая гадина это настрочила? А гебист прикрывает подпись ладонью. Я невинно:

- Нельзя посмотреть? Никому не скажу.

- Как можно? - отстраняется от меня Герсамия,поспешно упрятывая важное донесение.

- Но теперь вы понимаете, что написать придется. Мы не имеем права игнорировать... - он на секунду запинается, не зная, как назвать донос, - этот сигнал.

Что у них за помыслы? Обычно, если на кого-нибудь доносят, то от него требуют объяснения поведения, из меня же выуживают литературную рецензию. То ли уповают, что ненароком поставлю им сведения о Галиче,то ли выясняют, что я за птица.

- А пленку отдадите?

- Не могу.

- Я ее спрячу в чемодан и до отъезда из Тбилиси не достану.

- Не могу.

- Но это же идиотизм! У всей Москвы есть записи Галича. Отберете, я приеду и снова запишу.

Он всем видом демонстрирует, что согласен,однако, зависит не от него:

- Заместитель председателя нашего Комитета был в прошлом месяце в Москве на совещании. Им прокручивали песни Галича и велели повсеместно их изымать. - И утешающе: - Никого не задерживать, но отбирать.

До чего же вы гуманные и хорошие! Только песни арестовываете, а людей пока не трогаете.

- Послушайте, - говорю. - Пленку у нас купить трудно. Дефицит. Вы вместо этой хотя бы чистую мне вернули.

Глаза его округляются. Неясно, шучу я или всерьез. Убедившись, что всерьез, куда-то звонит и затем удовлетворенно:

- Сейчас принесут, а вы пока пишите.

Осторожно формулирую: "Все песни Галича написаны на основе решений XX и XXII съездов партии. Я предпочел бы сохранить запись для себя, но подчиняясь желанию тбилисского КГБ, оставляю в его распоряжении".

Закончил, и как раз приносят бабину.Выдрючиваюсь:

- Почему вы забрали у меня большую, а взамен даете маленькую?

- У нас другого размера не бывает.

- Ну, дайте тогда две.

Он озадаченно:

- Сейчас нет. На-днях завезут. Вы звоните и заходите к нам. Еще одну обязательно получите. - И, провожая в коридор: - Вы часто приезжаете в Тбилиси. Будет сложно с гостиницей - обратитесь ко мне. Устрою.

- Спасибо. У меня здесь родственники.

- Насчет пленки позвонить не забудьте! - напутствует меня специалист по литературе, которого я потом на протяжении многих лет видел шныряющим по редакциям тбилисских газет.

А спускаясь по широкой парадной лестнице,я встречаю случайно, или так у них было заготовлено, смуглолицего. Ниже среднего роста, плотный, он с достоин-

ством движется навстречу и, проходя мимо, поднимает на меня свои режущие глаза. Чем-то он походит на другого грузина,недоучившегося семинариста, сына сапожника и проститутки, великого Сосо.

ВЕЛИКИЙ ГРУЗИН

"Что ни казнь у него, то малина".
Осип Мандельштам

В 1937 году состоялась первая декада грузинской литературы и искусства в Москве. Большой шутник Иосиф Виссарионович, пуская в расход одних и ссылая в сибирские лагеря других, такими вот помпезными торжествами демонстрировал, что в советской стране "с каждым днем все радостнее жить, и никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить" (популярная песня 30-х годов).

Мой тбилисский дядя, оперный певец, о котором я уже упоминал, в то время работал в столице, но участие в декаде принимал, так как тенора и баритона из Тбилиси привезли, а про баса почему-то забыли. В заключение празднеств Сталин устроил в Кремле встречу с артистами. Дядю, как москвича, не пригласили, однако ему уж очень хотелось увидеть вблизи легендарного Иосифа, и он попросил своего приятеля певца Давида Гамрекели как-нибудь протащить его с собой. Дело удалось. Но дядя сидел слишком далеко от вождя и никак не мог удовлетворить любопытство. Кругом стояли настороженные и зоркие, как выдрессированные псы, товарищи в штатском, и любая попытка переместиться могла окончиться плачевно.

В конце концов дяде повезло: Сталину захотелось послушать старинную песню, а для знаменитого грузинского трехголосья нехватало баса. Гамрекели жестом поманил приятеля: "Иди, мол, сюда!" Тот поднялся, но не успел сделать и шага, два стража встали перед ним не-

сокрушимой стеной: "Вы куда?". Впрочем, недоразумение быстро рассеялось. Благополучно доведя перепуганного певца до сталинского столика, подтянутые чекисты удалились. Трио спело песню. Хозяину понравилось, и он усадил исполнителей рядом с собою. Дядя очутился напротив усатого батьки и сумел детально изучить каждую черточку рябоватого лица. Но, тем не менее, как ни старался, не мог заглянуть в его глаза. Вождь смотрел влево от тебя, вправо, сквозь тебя, а на тебя, жаждущего уловить мудрый взор, - ни разу.

Сталин много пил, однако не пьянел и с интересом наблюдал за выступлениями артистов. Вот исполняет куплеты, посвященные партийным руководителям, популярный конферансье. Каждый куплет последовательно завершается предложением выпить за здоровье Молотова, Кагановича, Буденного. Но почему конферансье держит руки сзади? Что он там припрятывает? И верный маршал Ворошилов вскакивает, прикрывая Сталина всем телом и колесом выпячивая грудь. Тот его отталкивает. Но Ворошилов не поддается. А вдруг последует провокация и выстрел оборвет бесценную жизнь? Побледневший от страха артист нервничает, спешит закончить бесконечные здравицы и, вытащив из-за спины огромный рог,осушает его в честь бессмертного отца народов.

А потом соревнуются два хора - Восточной и Западной Грузии. Первый звучит похуже.

- Что же ты меня подвел? - укоризненно улыбается Сталин седому как лунь главе незадачливого хора, когда-то (вот совпадение!) обучавшему пению в духовной семинарии юного Иосифа Джугашвили.

- А что я могу сделать? - защищается старик. - Лучшие мои солисты в тюрьме.

Сталин недовольно морщится, и тут же над ним угодливо склоняется Берия и что-то шепчет на ухо.

- Брось, Лаврентий! - по-грузински восклицает Сталин. - Какие враги народа? Им ведь за сто перевалило! - И резко:

- Освободить и завтра же доставить в Москву!

Встали из-за столов. Откуда-то сверху оркестр грянул вальс.

– Пригласи Тамару Церетели! – приказывает Сталин Молотову.

– Иосиф Виссарионович, я же не танцую!

– Пригласи!..

И Молотов, деревянно переставляя ноги, покорно выполняет партийное поручение.

Гремит украинский гопак.

– Пляши! – поворачивается Сталин к Буденному.

– Иосиф Виссарионович!

– Пляши!

И пошел вприсядку кавалерийский маршал, как молоденький солдатик. А Сталин, усмехаясь в гуталиновые усы, направляется к выходу. Штатские оттесняют артистов от любимого. Он прощается, машет рукой, добрый, гениальный, величайший из великих.

На XX съезде партии в 1956 году Хрущев выступил с речью против Сталина, от которой волнами пошли слухи. До этого я мало интересовался политическими событиями. Но антисталинские откровения нового владыки заставили меня крепко задуматься. Пребывая в полном неведении о страшных событиях прошлого, я с восхищением слушал и читал о славных деяниях Сталина в годы революции, гражданской и Отечественной войны,мирного строительства, а также о разгроме бандитов-троцкистов, зиновьевцев и бухаринцев. Сталин – гениальный организатор! Сталин – гениальный философ! Сталин – гениальный полководец!

И тем неожиданней прозвучала речь Хрущева, зачитанная нам на партийно-комсомольском собрании. Слушатели выходили из зала ошеломленные. У меня сразу же возник вопрос: почему о преступлениях Сталина, о его невежестве в военном деле и вообще о том, что он вовсе не величайший вождь и учитель, молчали при его жизни? Казалось несправедливым, что живого превозносили, а мертвого попирают ногами. Прибежав в общежитие, я в знак протеста вывесил над кроватью портрет Сталина. И сразу же в комнате вспыхнула драка между сдержанным дотоле студентом-венгром, стремившимся сорвать "эту дрянь", и студентом-албанцем, который солидаризовался со мной.

Бросился к родственникам, уже на лестнице услышал смех и радостные восклицания - все ликовали. Кричу тете:

- Почему же от меня все скрывали?!

- Потому, что у тебя длинный язык, - смеется она в ответ. - А мне вовсе не хотелось вновь очутиться в лагере, да еще вместе с тобой.

Но однажды обманутый, я отказывался верить газетам и новым руководителям, я хотел убедиться, что они не лгут. Поехал в университет, где учился мой уфимский приятель Ильясов. Оказалось, что им зачитывали то же самое, заставляли верить на слово. Но в Университете нашлись смельчаки, которые своеобразно откликнулись на решения XX съезда - выпустили стенгазету "Ленин и Троцкий - вожди революции". Разразился скандал. Газету сорвали. Я же сделал для себя вывод: существуют люди, не только поверившие Хрущеву, но знающие гораздо больше сказанного. Вскоре произошли венгерские и тбилисские события. Я видел, как наши студенты-венгры с надеждой прислушивались к радиопередачам и как их лица сначала мрачнели, а потом стали горькими и замкнутыми. Пытался расспрашивать их, но они молчали. Лишь один с затаенной ненавистью прошептал: "В колонии вновь спокойно". О венгерских событиях знают все. Тбилисские же - гораздо менее известны.

День смерти Сталина отмечался в Грузии ежегодными траурными митингами, собраниями, становился как бы днем национальной скорби. Удар по Сталину, нанесенный Хрущевым, обывательская масса и большинство учащейся молодежи восприняли как антигрузинское выступление. Рассуждали так: сначала расстреляли Берию, потом перевели Тбилиси с первого на второй пояс снабжения (в СССР существуют так называемые пояса снабжения продуктами питания. К примеру, Москва, где бывает много иностранцев, которым необходимо пустить пыль в глаза, относится вообще к особому поясу. К первому принадлежат Ленинград, Киев, Сочи и еще несколько крупных городов. Рыбешка помельче перебивается кое-как на втором, третьем и прочих поясах), и, наконец, разоблачили Сталина, то есть последовательно осуществляют политику, направ-

ленную против Грузии. В целом народ относился к Сталину как к национальному герою. Один из моих знакомых, тбилисский метростроевец, объяснил:

– Ты говоришь, что он был жестокий, убивал людей, сажал в лагеря. Может, и так. Но разве великие русские цари не были тиранами? А Сталин – тоже великий человек. Подумать только! Во главе огромной страны стоял грузин и правил ею тридцать лет. Сделал ее могущественной державой, расширил границы, руководил армией, разбившей Германию. Что еще хочешь? И цены ежегодно снижал.

В 1961 году после вечера поэзии в районном центре Каспи, недалеко от Тбилиси, райком партии устроил банкет в честь гостей-поэтов. За большим столом было шумно и весело. Рекой лились вино и песни. Провозглашали за тостом тост. Когда слово предоставили мне, я предложил выпить за Грузию, которая, несмотря на столетия лишений, разорительные нападения турок, персов и последующее присоединение к России, сохранила самобытную культуру, язык и обычаи. Не отуречилась и не обрусела. Я поднял бокал за гостеприимный грузинский народ и за его культуру, которая подарила миру великих поэтов, художников и музыкантов. Вскоре меня отозвал в сторону заместитель секретаря райкома:

– Видно, что ты и впрямь любишь Грузию. Столько назвал знаменитых людей! Даже я, грузин, и то не всех знаю. Однако ты забыл об одном замечательном человеке, о великом партийном работнике Иосифе Сталине. Выпьем за него вдвоем!

Просидев за столом часа три и, будучи не окончательно пьяным, но и далеко не трезвым, я со злостью ответил:

– Это один из двух грузин, за которых я пить никогда не буду! Второй – Берия.

Заместитель секретаря смерил меня столь зловещим взглядом и так угрожающе задал вопрос: "А почему?", что я вспомнил о предупреждениях тбилисских друзей быть осторожным со сталинистами и дипломатично ответил:

– Потому что он уничтожил замечательных грузин, за которых бы я не только его самого, но и весь ЦК с Лениным впридачу расстрелял!

Очевидно, объединение Сталина с Лениным несколько смягчило моего собеседника.

– Кого имеешь в виду? – уже поспокойней спросил он.

– Тициана Табидзе и Паоло Яшвили.

Заместитель секретаря пренебрежительно махнул рукой:

– А, что с тобой говорить! Ты же поэт! – и направился к столу.

Среди современных грузинских писателей, артистов, художников я не встречал ни одного уроженца Тбилиси. Большинство из них сыновья приехавших в столицу республики из деревень и провинциальных городков, интеллигенты в первом, в лучшем случае, втором поколении. Коренная-то грузинская интеллигенция почти полностью истреблена. Начало тому заложили при разгроме так называемой "грузинской жиронды", когда после восстания 1924 года по приказу Сталина, Орджоникидзе и Дзержинского расстреляли (об этом мне рассказал известный грузинский поэт, друг Пастернака,Симон Чиковани) семь тысяч лучших представителей интеллигенции. Для трехмиллионного народа цифра колоссальная. Второе кровопускание учинили во время массового террора конца тридцатых годов. Ведь именно в Грузии прошла юность Сталина, здесь начинал он работу в партии. А так как история ВКП(б) кроилась им и его подручными заново и вождю приписывались деяния, которых он сроду не совершал, то необходимо было ликвидировать свидетелей,старых большевиков, а также уцелевших интеллигентов, которые исподтишка насмехались над его "подвигами", дутой славой и невежеством.

В числе уничтоженных находились такие выдающиеся личности, как крупнейший прозаик Михаил Джавахишвили и уже упоминаемые выше Тициан Табидзе и Паоло Яшвили. Последние попали в опалу после того, как сопровождали в поездке Андре Жида, а тот, вернувшись во Францию, написал правду о Советском Союзе. Яшвили сняли с должности секретаря Союза писателей республики,а его стихи перестали публиковать. Но, как мне рассказывали,весельчак и остроумец Паоло не унывал. Он расположился

в деревянной будке в центре города на проспекте Руставели и "переквалифицировался" в чистильщика обуви. Сенсационная новость облетела весь Тбилиси: "Паоло чистит туфли! Паоло чистит туфли!" И вдоль проспекта выстроилась длинная очередь жаждущих увидеть всеобщего любимца, поболтать и пошутить с ним. Яшвили вызывали в ЦК, стыдили, упрашивали, угрожали,но он невозмутимо отвечал:

– Должен же я как-то зарабатывать на хлеб.

На какое-то время его простили и даже восстановили в должности. Но в 1937 году, после ареста Тициана Табидзе, Паоло, зная, что его ожидает та же участь, застрелился в своем кабинете в здании Союза писателей.

Значительная часть современных грузинских литераторов выдвинулась в годы "культа личности". Занявшие место уничтоженных были и менее культурны,и менее талантливы. Эти люди, всем обязанные сталинскому времени, и пошедшая за ними бездарная часть молодняка упорно продолжали славить развенчанного вождя. Вспоминаю, в одном из тбилисских домов тамада-поэт поднял тост за великих грузин, чьи могилы находятся неизвестно где. Он назвал несколько имен и закончил легендарной царицей Тамар и Сталиным. Как принято, тост тамады друг за другом должны поддержать все собравшиеся, то есть каждый обязан что-либо симпровизировать на заданную тему. Раздаются речи одного, другого, третьего, и никто уже не поминает могил древних предков, а говорят лишь о вынесенном из Мавзолея Сталине, чей прах покоится неизвестно где. Поэт Морис Поцхишвили умоляет меня не горячиться, но когда наступает мой черед, я громко произношу:

– С удовольствием поддержу тост, но не за тех,кто убивал, а за убитых, похороненных неизвестно где. – И вновь называю Табидзе, Яшвили, Джавахишвили.

Воцаряется гнетущая тишина, но возразить хозяевам нечего.

Те, кто не знает Грузию, считает, что все грузины сталинисты. Это далеко не так. Многие мои знакомые – молодые поэты, прозаики, ученые, инженеры и философы, умеющие трезво анализировать факты и видеть суть яв-

лений, - относятся к тирану с такой же ненавистью, как и я. А сталинисты... Что ж, есть они и в России, причем их излюбленный довод всегда один и тот же: при хозяине, мол, было больше порядка и ежегодно снижались цены. В Москве среди сталинистов попадаются прямо-таки фанатики. Я не касаюсь здесь работников партийно-государственного аппарата - о них разговор особый. Речь пойдет о рядовых тружениках.

В 1964 году, встретив на Курском вокзале друзей из Тбилиси, я на такси ехал с ними домой.За рулем сидела девушка лет двадцати с небольшим, назвалась Ниной. Ребята рассказывали о тбилисских новостях, шутили. Как вдруг, ни на кого не глядя, Нина заявила:

- Люблю грузин!

- И правильно делаете, - засмеялся я. - Людей красивых, веселых и щедрых - грех не любить!

Она резко качнула головой:

- Нет, я к ним так отношусь, потому что Сталин грузин!

- Послушайте, - спросил Джемал, - что вам известно о Сталине? Когда он умер, вы наверное в первый класс ходили.

- Действительно, - подхватил я, - почему вы его любите? Ведь не могли не слышать, скольких людей он погубил, сколько зла принес миллионам семей?

- Погубил? - переспросила девушка. - Ну и что же! Может,правильно сделал! Может, без этого наша страна не стала бы такой могущественной! И вообще, - категорически заключила она, - русским нужен кнут!

- Но вы знаете, что по его приказу уничтожали наших лучших полководцев, ученых, писателей? В тюрьмах и лагерях пытали людей, издевались над ними... И над женщинами тоже.

- Не агитируйте меня! - закричала она. - Говорите, женщин мучили? Ну и пусть мучили! Да я, если бы Сталину понадобилось, грудь себе дала бы отрезать! Ясно?

Мы молчали. Выйдя из машины, Леван Гогоберидзе сказал:

- Если у вас в Москве попадаются такие, то что же удивлятся нашим националистам?

Но вернемся к тбилисским событиям. В 1956 году первый секретарь ЦК КПСС Грузии Мжаванадзе запретил отмечать день смерти Сталина траурными митингами. Не думаю, что это решение исходило от него лично, ибо он никогда не отличался самостоятельностью. Ставленник Хрущева, даже его родственник, кажется, шурин, он всю жизнь прожил на Украине, был кадровым армейским политработником. Несмотря на неплохой вообщем характер, грузинам он не полюбился. Во-первых, Мжаванадзе стал наместником Грузии после антисталинского XX съезда. Во-вторых, его жена, украинка, слишком откровенно наживалась - за казенный счет строила особняки для себя и своих детей. В третьих, Мжаванадзе почти не знал родного языка и, общаясь с каким-нибудь чаеводом или виноградарем через переводчика, возбуждал язвительные насмешки. Наложенное им "вето" на траурные митинги вызвало неожиданно бурную реакцию. В Тбилиси начались массовые демонстрации. Целую неделю не работали, не учились, а митинговали. По улицам текли колонны демонстрантов с траспарантами: "Слава великому Сталину!", "Ленин и Сталин - навеки с нами!". Студенты университета несли портреты Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. На площади имени Ленина (раньше - имени Берия) не прекращались выступления ораторов,поднимавшихся на широкую правительственную трибуну и провозглашавших Сталина великим продолжателем ленинского дела, кричавших, что не позволят Хрущеву и Микояну поссорить русский и грузинский народы. Среди ораторов находились и искренние глупцы, и хитрые,знавшие, чего хотят, сталинисты, которые отлично понимали, что Сталина следует поднимать только вместе с Лениным и попрежнему делать упор на нерушимую дружбу народов.

Волнения усиливались. Центральная площадь не утихала и по ночам. На набережной Куры,возле гигантской статуи Сталина установили сильные прожекторы, и здесь постоянно толпились возбужденные тбилисцы. Студенты вытащили из автомобиля проезжавшего мимо генерала и заставили его поцеловать постамент. Демонстранты направились к дому Мжаванадзе и потребо-

вали, чтобы он вышел на балкон и выслушал их, так сказать, внял гласу народа. А народ хотел, чтобы сменилось руководство ЦК КПСС и советского правительства, чтобы наказали тех, кто оклеветал Сталина, а также, чтобы была гарантирована неприкосновенность всем участникам демонстрации.

Растерявшийся Мжаванадзе метался в поисках решения, а из Москвы шел приказ за приказом принимать самые крутые меры против бунтующих. Пронесся слух, что в Тбилиси прилетел маршал Малиновский и что именно по его распоряжению, санкционированному Хрущевым, сюда нагнали батальоны штрафников. События разворачивались стремительно. Выбранная на митинге делегация отправилась на центральный телеграф, чтобы отбить в Москву телеграмму ЦК и правительству с требованием убрать Хрущева и Булганина, поставить во главе государства Молотова, Маленкова, Кагановича и Ворошилова. Делегацию задержали, а когда демонстранты кинулись выручать товарищей, весь телеграф был оцеплен солдатами, началась свалка, грянули выстрелы. В это время подъехал грузовик со студентами, пытавшимися прорваться к зданию, по ним стреляли почти в упор, но смельчаки не сворачивали. Шеренга солдат ощетинилась штыками. Вдруг вперед выбежала очень красивая девушка, обернувшая себя знаменем с портретами Ленина и Сталина, и бесстрашно бросилась вперед. Ее подняли на штыки. Обезумевшая молодежь, не помня себя, рванулась на помощь и, безоружная, легла под непрекращающимся автоматным огнем. Штрафники, и без того не отличавшиеся мягкостью, совершенно озверели и косили не только толпу, но и взобравшихся на соседние деревья мальчишек. Окровавленные детские тела падали вниз. Непрерывно подъезжавшие машины скорой помощи не успевали отвозить убитых и раненых.

Вскоре все было кончено. Улицы обезлюдели. По ним для устрашения прогромыхали мощные танки. Власти установили комендантский час. Раздавленный город смирился, умолк, и лишь порой движимые отчаянием люди выбегали из домов и бросались на солдат. Рассказывали, что одна старая женщина, потерявшая в тот день двух

сыновей и, очевидно, сошедшая с ума, подсторожила проходящий мимо патруль и топором размозжила офицеру голову.

Я приехал в Тбилиси через месяц после трагедии. Мой приятель, армянин, не принимавший участия в демонстрации,но пошедший к телеграфу из любопытства и раненный в ногу, с ужасом и негодованием рассказывал о случившемся:

– Зачем было стрелять? Убивать безоружных? Применять против них автоматы? Расстреливать школьников? Пустили бы в ход брандспойты... Вполне достаточно,чтобы разогнать толпу.

Город оделся в траур. Не звучали песни, забавные шутки. Замолк неунывающий веселый его голос. Мрачно глядели и знакомые антисталинисты. Один из них, инженер, с горечью заметил:

– Для возвеличения Сталина, который убивал втихую, ничего лучше, чем эта открытая бойня, придумать было невозможно.

После событий 1956 года в народе, который обычно не делает различия между отдающими приказы и их исполнителями, нелюбовь к России перешла в ненависть. При малейшей возможности русских избивали. Моего товарища по школе однажды окружили, повалили, но он стал кричать: "Я еврей! Я еврей!" Тогда его сразу отпустили, извинились и повели в ресторан угощать. Меня на Пушкинской два незнакомца сбили с ног, но, помня рассказ товарища, я быстро достал паспорт, и грузины, помогая мне подняться, стали просить прощения. Я пытался объяснить, что не могут же русские отвечать за действия штрафников. Я втолковывал:

– Если в Москве русские пойдут брать штурмом Главпочтамт, в них тоже начнут стрелять.

Но ребята хмурились:

– Тебе нас не понять: мы под оккупантами.

В том же году в Тбилиси произошло еще одно событие, связанное со Сталиным, и тоже закончившееся выстрелами. Я имею в виду судебный процесс над теми сподвижниками Сталина и Берия, которые с середины тридцатых и почти до середины пятидесятых годов вырезали

в Грузии неугодных их столичным покровителям и им самим лиц. На скамье подсудимых оказались начальник КГБ республики Рухадзе, министр ее внутренних дел Рапава и более мелкая сошка из органов государственной безопасности. В качестве обвинителя выступал генеральный прокурор СССР Руденко.

Небольшое здание на проспекте Плеханова, где при закрытых дверях проходил процесс, плотным кольцом окружили солдаты. В зал допускались только свидетели обвинения и защиты, родственники подследственных и родственники погибших за двадцать лет террора. По свидетельству очевидцев, ежедневно присутствовавших на заседаниях, атмосфера в суде все больше и больше накалялась. Рассказы вернувшихся из сибирских концлагерей старых большевиков, интеллигентов, военнопленных, прошедших через гитлеровский и отечественный ад, о диких обвинениях, варварских методах допросов, чудовищных пытках и издевательствах,сопровождались обмороками в зале, криками и рыданиями при виде звезд, багрово краснеющих на спинах недавних заключенных.Казалось, никогда не кончится зачитанный Руденко список расстрелянных и замученных. Среди них оказался и бывший председатель Совнаркома Грузии Мамия Орехолашвили, человек большой культуры, переписывавшийся с известными русскими поэтами, в том числе и с Борисом Пастернаком. В 1937 году он стоял рядом с Берия в почетном карауле у гроба матери Сталина (вождь, ее не любивший, на похороны не приехал - поступок для грузина святотатственный). По словам одного из выживших работников Совнаркома, когда Орехолашвили вышел на улицу, взявший его под руку Берия заботливо произнес:

- Осторожно, Мамия, вечер прохладный, не простудись, - и накинул на него свою шинель.

А через несколько часов, глубокой ночью,Берия самолично прибыл арестовывать председателя Совнаркома, которого вскоре благополучно расстреляли.

Всех потрясла страшная судьба жены Нестора Лакобы, первого секретаря ЦК ВКП(б) Абхазии. Он умер незадолго до начала массового террора тридцатых годов при

весьма странных,таинственных обстоятельствах, вернувшись домой после пиршества, на котором за ним ухаживал Берия. Тогда партийного босса Абхазии похоронили с почестями. Но вскоре Лакобу объявили врагом народа, сторонником присоединения Абхазии к Турции. Труп вырыли из могилы и осквернили, вдову арестовали и потребовали, чтобы она признала вину мужа и отреклась от него. Отважная женщина выдержала все пытки,но не поддалась палачам. Ей стали по кусочкам выкалывать булавками глаза. Выкололи один - она молчала. В камеру привели маленького сына, и следователь прорычал:

- Пока ты, сука, еще видишь, гляди, как мы будем вырывать глаза твоему щенку!

Вдову Лакобы убили. А тридцати девяти беременным женам "врагов народа" по приказу Рухадзе взрезали животы - "чтобы не продолжался поганый род врагов народа"!

В отличие от Рапавы, который трясся от страха,бормоча нечто нечленораздельное, Рухадзе вел себя на процессе вызывающе, зная, что терять ему нечего. Глава КГБ, кровавый палач с многолетним стажем, отвечал прокурору четко и жестко:

- Да, пытал! Да, расстреливал! Но мне приказывали сверху. Из Москвы. Теперь вы меня судите, - ткнул он пальцем в сторону Руденко, - а когда-нибудь будут судить и вас!

По приговору суда Рухадзе, Рапава и их приспешники были расстреляны.

Эту главу о Великом Грузине мне хочется закончить имеющим широкое хождение в СССР трагикомическим анекдотом.

Идет XYII съезд партии, так называемый "Съезд победителей", впоследствии почти полностью истребленный. Сталин читает отчетный доклад. Неожиданно в зале раздается звонкое "апчхи"!

- Кто чихнул, товарищи? - неторопливо спрашивает вождь.

Все замерли.

- Первый ряд, встать - расстрелять! Кто чихнул,товарищи?

Похолодевшие от ужаса делегаты молчат.

- Второй ряд, встать - расстрелять! Я спрашиваю, кто чихнул, товарищи?

Снова нет ответа.

- Третий ряд, встать! - расстрелять! Я спрашиваю, кто чихнул, товарищи?

- Я, чихнул,Иосиф Виссарионович, - откликается виновато-дрожащий голос.

Будьте здоровы, товарищ!

Да, умел пошутить великий грузин!!

ЗАЧИН

"Когда начинаешь варить кашу, не жалей масла"
Русская народная пословица

Устраивая выставки в московском клубе "Дружба" и собирая репродукции, я впервые услышал, что не только многие писатели, но и многие художники, как зарубежные, так и русские, и, даже целые художественные течения, находятся у нас под запретом. Лишь в букинистических магазинах можно купить альбомы сюрреалистов, абстракционистов, кубистов и других направлений живописи XX - го века. Кстати, после погрома в Манеже, по распоряжению сверху, они исчезли и у букинистов. Услышал я и о том, что в Москве есть молодые живописцы, которые работают вопреки общепринятым канонам, и чьи картины поэтому не выставляются. Только в конце ноября 1966 года я познакомился с одним из них, Эдуардом Штейнбергом, чьи лирические, в теплых белых тонах натюрморты с цветами, камнями и рыбами мне очень понравились. Примерно тогда же я случайно встретился на улице с директором "Дружбы" Львом Вениаминовичем Лидским. Он обрадовался:

- На ловца и зверь бежит! Давно тебя ищу. Скучно в клубе. Не возобновишь ли "Наш календарь"?

– Но я же теперь на месте не сижу, гоняю то в Тбилиси, то в Уфу.

– Ничего, будем проводить вечера не ежемесячно, а реже, как сумеешь.

– Подумаю, – ответил я, но в душе уже согласился. Это же отличная возможность помочь тем, кого не экспонируют. Я заранее строил планы, хотя никого из "отверженных", кроме Эдика, не знал и, не имея представления об их положении, наивно предполагал организовать цикл персональных выставок. Неожиданно Штейнберг, с кого намечалось все начать, от моего предложения отказался. Уговоры не подействовали. Тут припомнилось, как еще в 1962 году итальянский переводчик Крайский рассказывал об интереснейшем, по его словам, русском художнике Оскаре Рабине и обещал съездить со мной к нему куда-то за город. Но как-то не вышло, а сам я, постеснявшись, не выбрался. Кого же выставлять? Кто-то посоветовал обратиться к известному шекспироведу Леониду Ефимовичу Пинскому.

В его кабинете, лишь только мы с женой переступили порог, нас буквально пригвоздил к месту сравнительно небольшой холст: одинокий темный барак с единственным, мягко озаренным окном. Это убогое жилище сжимало сердце светом человечности, теплом очага и пронзительной беззащитностью бедности.

– Нравится? – с гордостью спросил хозяин. – Это Рабин.

Ах, вот он какой! Мы долго не могли оторваться от картины. Я спросил:

– Он, кажется, где-то за городом...

– Сейчас уже в Москве, на Преображенке.

Назавтра мы шли к Рабину, не подозревая, что встреча с ним будет переломной в нашей судьбе. И я, всю жизнь мечтавший обрести настоящего друга, не чаял столь неожиданно найти его. Найти, чтоб больше уже не потерять. Найти так, что даже государственная граница СССР, разделившая нас, не ослабит нашу дружбу, основанную на духовном родстве и общем деле, на доказанной жизнью готовности, рискуя собой, выручать друг друга в беде, каждому отражать удары, направленные в другого. Но это все будет потом, потом...

Человек, который открыл нам дверь, вовсе не походил на художника, каким он должен выглядеть по общему представлению, то есть с небрежно встрепанной шевелюрой, мягкими чертами лица, некоторой богемностью облика. Перед нами стоял сухощавый, сутуловатый, с абсолютно голым черепом и впалыми щеками мужчина в непритязательном, ширпотребовском пиджаке и таких же брюках. В его внешности было что-то аскетическое и он напоминал протестанского проповедника или ученого, а может просто бухгалтера, исправно надевающего по утрам черные нарукавники и педантично отщелкивающего костяшками счетов.

Но едва мы зашли в комнату, одновременно гостиную и мастерскую, посреди которой находился мольберт,едва по суровому лицу скользнула теплая улыбка, едва она заиграла под стеклами очков в глубине близоруких, голубых,рассеянно-внимательных глаз, как мы увидели художника. А руки? Это были руки мастерового и творца. Жестковатые, с крепкими, длинными, чуткими пальцами и сильным запястьем, они поражали скрытой мощью и неуловимой гармоничностью линий.

Безусловный лидер нонконформистов - живописцев,не входящих в официальный Союз Художников СССР, не исповедующих принципов искусства социалистического реализма, единственный, способный сплотить если не всех, то многих из них независимо от возраста, меры таланта и его направленности, Оскар Рабин родился в Москве в 1928 году. Двенадцати лет осиротел. Испытал в войну лишения,одиночество и голод."Все время хотелось есть, - вспоминает он. - Больше ничего из детства не помню". И все-таки заброшенный, никому не нужный парнишка жил не только хлебом единым. Рано пристрастившись к рисованию,он почти не расстается с альбомом и карандашами, и его рвение вознаграждается: в 1942 году Оскар встречается с художником и поэтом Евгением Леонидовичем Кропивницким.

Этот носитель подлинной культуры и прирожденный педагог, никогда не навязывавший ученикам своих взглядов, дающий вольно развиваться их способностям,выпестовал группу одаренных живописцев и поэтов, которые

впоследствии пополнили отряд творческой инакомыслящей интеллигенции Самого Евгения Леонидовича в 1963 году, когда ему было уже 70 лет, исключили из Союза художников за формализм. Через два года его решили восстановить. А гордец не оценил милости. На вопрос: "Кто ваши любимые художники?" ответил:

- Рублев, Суриков и Кандинский.

- Рублев и Суриков - это хорошо,но причем абстракционист Кандинский?

- Сурикова я для вас назвал, - рассердился старик, - А если честно, то люблю Рублева и Кандинского.

Конечно, его не восстановили. Он продолжал обитать под Москвою в ветхом домике с женой-художницей, существуя на мизерную пенсию школьного учителя рисования, но не отчаивался - попрежнему радушно привечал гостей, радовался природе, писал стихи и картины. И быть может, именно Евгений Леонидович не только преподал Рабину первые серьезные уроки живописного мастерства, но и поделился с ним то силой духа, которую сохранил до глубокой старости.

Проучившись у Кропивницкого три года, Оскар уезжает на родину матери в Ригу и поступает в Рижскую академию художеств, профессора которой придерживались тогда довольно свободных для нашей страны взглядов на искусство. Ностальгия по Москве срывает его с места. Он уходит с четвертого курса и пытается продолжить образование в столичном художественном институте имени Сурикова,но не выдерживает здесь и полугода, ибо атмосфера подозрительности и паники (наступила пора очередного ниспровержения "западных авторитетов и их советских подголосков") раздражает, а выхолащивающие жизнь бездушные каноны наводят адскую скуку, которая может лишь отвратить от живописи.

Так Рабин вновь оказывается у своего первого учителя, в 1951 году женится на его дочери,художнице Валентине Кропивницкой, и поселяется на подмосковной станции Лианозово в длинном, мрачном, многонаселенном бараке. Они живут в небольшой, отапливающейся допотопной печкой комнате, живут впятером с дочкой Катей,сыном Сашей и недвижно лежавшей в постели парализован-

ной Валиной бабушкой. В течение восьми лет Оскар служит то посыльным, то грузчиком, то десятником, руководящим погрузкой и разгрузкой железнодорожных вагонов. Последняя должность такая,что сутки работаешь, а двое - трое отдыхаешь. И кое-как отоспавшись,он стремится использовать каждую возможность, чтобы заниматься живописью, пишет пейзажи, этюды на пленере. Приходом к самостоятельному творчеству художник считает конец 1956 года, когда он внезапно перешел от строго реалистических построений к гораздо более свободным композициям. По словам Оскара это готовилось в нем давно, но толчок дали внешние обстоятельства Хрущевской эпохи оттепели.

Перед фестивальной выставкой 1957 года по Москве проходили молодежные отборочные композиции. На выставком одной из них Рабин принес несколько натурных вещей. Их равнодушно просмотрели и забраковали. В то же время, он увидел как приняли буквально на ура примитивные, как тогда ему показалось, неумело раскрашенные натюрморты Олега Целкова: кусок стены плоский, кусок стола плоский и два три плоских круга, изображающие фрукты. "Я,- рассказывает Оскар, - обиделся и подумал: раз вас нормальные, честные, со вкусом выполненные с натуры работы не устраивают, преподнесу вам что -нибудь экстравагантное". Дома он перелистал альбом с рисунками семилетней дочери и перенес их, орудуя мастихином, в увеличенном виде на холсты. На выставкоме они произвели сенсацию. Спорили до хрипоты, битый час обсуждая яркие, декоративные, очень условные полотна, на которых или прогуливались причудливые человечки, разряженные в красивые узорчатые одежды, или цвели в горшках и кадках перед домами экзотические невиданные цветы.

В общем, хотя и одобренные выставкомом картины почему-то не экспонировались, художник,уже однажды отойдя от чисто натурных произведений, не мог да и не жёлал к ним возвращаться. И вскоре трансформируя детское творчество, он нащупывает дорогу к самому себе. "Я ощутил, в какой степени присущая детскому рисунку деформация позволяет экспрессивно выражать чувства и

настроения", - говорит он. В 1957 году один из его натюрмортов все же попадает на выставку Всемирного фестиваля молодежи и студентов и даже отмечается почетным дипломом. Но это было первое и последнее признание на Родине.

Спустя всего лишь год,опубликовав фельетон "Помойка № 8", газета "Московский Комсомолец" поносит художника за искажение советской действительности.Гнев был вызван не только одноименной картиной Рабина, но и тем, что к нему началось паломничество любителей живописи. И приезжали не только отечественные, но и зарубежные, которые видели зловонную лужу возле платформы, здесь же пивной ларек, окруженный валяющимися пьяницами, всю вопиющую нищету лианозовских рабочих бараков. Валя признавалась, что в ту пору визиты иностранцев,с одной стороны, были приятны, да и наконец Оскарова живопись стала приносить какие-то деньги; с другой - наводили страх - сталинское-то время только что минуло. Все чаще наведывался участковый, под окнами маячили фигуры настороженных незнакомцев. Но постепенно этот страх выветрился: тут и привычка, которая, как известно, вторая натура, тут и появившееся имя, которое, конечно, защищало. И все-таки хотелось перебраться из Лианозово в Москву. И жить там поспокойнее - не как на глухой станции, и людям добираться к ним легче,и Оскару, который с 1959 года работает на декоративно-оформительском комбинате, не надо будет из-за города мотаться на электричке.

В 1964 году приобрели наконец кооперативную квартиру,а в 1965-ом у Рабина состоялась персональная выставка в Лондонской "Grosvenor Galery", после чего газета "Советская культура" посвящает ему подвал под названием "Дорогая цена чечевичной похлебки". Выставка объявляется провокационной, картины - спекулятивными, автор - продавшимся буржуазной пропаганде. "Смутным, перепуганным, неврастеническим мирком" обзывает журналист творчество Рабина. На самом деле его полотна, представленные в "Grosvenor Galery", - это окружающая художника действительность, спроецированная на холсты особым видением большого

мастера: скособоченные бараки; скрюченные, словно в судороге, провода; кривые заборы; бредущие в никуда телеграфные столбы, горбатые крыши, на которых или высокомерно восседают или шныряют черными призраками булгаковские коты. А на переднем плане, как олицетворение быта, торжествующе заполняя собой пространство - бутылка водки, недоеденная селедка, консервные банки с уродливыми кактусами. И все это отмечено остро-выраженной экспрессивностью линий и красок. Пока еще вся экспрессия на поверхности и сливается то с беспощадной иронией, то с какой-то щемящей нежностью.Поздний Рабин строже и сдержаннее. Экспрессия остается, но уходит вглубь, подчеркиваясь толстыми,черными контурами, которыми обводятся все предметы. Тяжелеют краски. Яркие - голубые и красные - вовсе исчезают с полотен.

Всю жизнь художник изображает только Россию, и чем дальше, тем все с большей горечью,ибо его судьба и судьба русской культуры, да и всей земли русской, оставляют все меньше места для нежности и все больше для боли. Она и в отраженной в пруду церкви, которой нет в пейзаже (ибо, хотя храм здесь и разрушен,но Бог - остался!),и в разорванной багровой десятке с ликом советского святого Ленина на фоне словно придавленной, со стелющимися дымами рабочей окраины, и в тревожных, будто пророчащих беду, букетах цветов,и в скорбной скрипке, за которой высятся молчащие обелиски.

Бытовая символика попрежнему остается в арсенале эмоционально-выразительных средств художника, но становится острее и колючей. В начале 70-х годов рождается цикл картин с газетами. Общипанная тощая курица - на "Советской России", грубые башмаки - на обрывке "Правды", натюрморт с "Правдой", на которой валяются селедка, бутылочные осколки, одинокая рюмка и четко прочитываются стереотипные заголовки "Чувство локтя", "Вперед к расцвету во имя блага людей!". Один из французских искусствоведов назвал Рабина "Солженицыным в живописи". Каждое сравнение хромает. Но, подобно писателю, Оскар Рабин пишет и пишет Россию, пи-

шет ее с любовью, скорбью и надеждой.

"Он - антисоветчик и его картины антисоветские!" - ярятся партработники и гебисты. Рабин это обвинение отвергает. В интервью с московским корреспондентом газеты "Вашингтон Пост" Антони Астраханом он сказал: "Я - советский гражданин, родился и живу в Советском Союзе, и в этом смысле мое искусство - советское, точно так же, как искусство американских художников - американское, а французских - французское.Каждый знает об американских, советских, французских картинах, но никогда никто не слышал об антиамериканских или антифранцузских. Тем не менее есть люди, использующие термин "антисоветский художник". Для чего? Лишь для того, чтобы обругать, запугать, поставить на колени. Это духовные банкроты, взращенные сталинским временем. Существует хорошая и плохая живопись, хорошая и плохая музыка, хорошая и плохая литература. Других мерок быть не может. Что же касается клички антисоветский, то она носит политический характер, не применимый в области искусства".

Вот почему отнюдь не выглядит причудой и попытка Оскара вступить в 1969 году в Союз художников, где его картины встретили недвусмысленным: "Вот этот проклятый Рабин!" Не все, не все, конечно! Либерально настроенные члены бюро живописной секции трижды добивались нового голосования, ссылаясь на отсутствие кворума, а тем временем лихорадочно обзванивали недостающих сторонников. Оскар даже не дождался конца бумажной битвы. Ушел. А на другой день его поздравляют: "За тебя большинство в два голоса!" Казалось, дальше будет легче. Ведь живописная секция - наиболее реакционная. В приемной же комиссии и оформители и монументалисты, и графики, народ попрогрессивней. Но начальство тоже это понимало. Зачем допускать Рабина в Союз, когда ясно, что такой человек никогда не переменится? Потом выгоняй его с шумом и треском.Куда проще - не принять. Так что по указанию сверху Оскарову кандидатуру на приемной комиссии просто не обсуждали. "Раньше надо было соглашаться к ним идти", - шутила Валя и поведала, что в 1963 году Оскару намекали,что-

бы подавал заявление,видимо с расчетом его приручить, переломить. Но в то время он наотрез отказался: моего учителя выгнали, а меня зовут! Ее открытое,наредкость доброе лицо располагает с первого взгляда. В тот памятный декабрьский день 1966 года она, одетая чрезвычайно скромно, в темных брюках и кофточке, сидела в уголке дивана, задумчиво опершись на руку. Оскар прежде всего показал нам ее "зверей", как сама художница окрестила населяющие ее работы неведомые существа. У них тело человека и милая грустная не то ослиная, не то лошадиная голова. В сменяющих друг друга рисунках разворачивалась их жизнь, простая и мудрая, среди девственной русской природы, в сказочных лесах и на берегах раздольных рек, где поднимаются в отдалении купола старинных церквей. В этом царстве чистоты и бескорыстия не знают, что такое злоба и ложь, зависть и ненависть. Свифт привел своего Гулливера в страну гуингмов, умных и благородных лошадей, презирающих грязное и порочное племя человекоподобных. Не им ли сродни "звери" Кропивницкой? Отличие, может быть, в том, что создания художницы, подобно ей самой, настолько мягки и душевно-беззащитны, что не могут кого бы то ни было презирать. Их главный закон - Любовь, их главное состояние - благоговейное созерцание храма, возведенного Творцом.

А своих картин у Рабина почти не было.Всего семь. Ведь к нему хвост покупателей, и он оставляет для своего собрания "золотого фонда" по одной в год. Но и семь отборных холстов дают полное представление о его творчестве. Не успел Оскар убрать с мольберта последний, я вскочил:

- Давайте, устроим Вашу выставку!

Он присел, перекинул ногу на ногу, закурил.

- Это нереально.

Что они все, словно сговорились? И Эдик то же самое твердил. Рассказываю о клубе. Убеждаю, что все зависит лишь от его согласия. Колеблется.

- Вам я верю. Не понимаю почему - вокруг нас столько шушеры, столько провокаторов, и просто болтунов вертится, - но верю. И все-таки дальше благих на-

мерений не пойдет. Пресекут. Несколько лет назад, в более либеральные времена, пригласили нас устроить выставку в Дубне, в доме ученых. Привезли картины. А из Москвы примчались инструкторы горкома партии, и все сорвалось. Не солоно хлебавши плелись мы обратно. На месяц вперед настроение было испорчено.

- То Дубна, а то шоссе Энтузиастов. На энтузиазме и выедем. Почему не попробовать?

Ему передался мой азарт.

- А что, может и вправду получится!..

- Обязательно получится!

- Да вы же не знаете, как нас не любят!

- Все равно получится!

- И никаких передряг не боитесь?

- Нисколько.

Я и не ведал,о чем он. В худшем случае прихлопнут "Наш календарь". Но овчинка-то стоит выделки. Не из -за Пикассо, не из-за Модильяни прихлопнут, а из-за своих, гонимых, современников, соотечественников.А Оскар мне объясняет, что о цикле выставок и речи быть не может. Не допустят. Дай Бог, чтобы одна состоялась. И не его персональная, а коллективная, так как о хорошей выставке все ребята мечтают. Договорились, что он обсудит с остальными художниками идею. Если согласятся, поедем поглядеть помещение.

Кроме нас с Рабиным на смотрины подался ставший позднее тоже моим другом Володя Немухин, исключительной доброты человек и виртуозно владеющий кистью мастер.Недаром художники называют его маэстро. Немухинское необычайное чувство цвета и неизвестно откуда взявшийся у крестьянского сына артистизм вызывают восхищение. В конце 50-х - начале 60-х годов он - абстрактный экспрессионист. Но постепенно в нем крепнет потребность вернуться к фигуративности, к предмету. Будет ли последний традиционным яблоком, комодом или пододеяльником - неважно.Однажды перед глазами внезапно (вспомнилась чья-то азартная игра в электричке) предстали игральные карты. Он отбросил видение, а летним днем, забытые кем-то на пляже, карты вновь подстерегли его. Взаимодействие розового песка,желтого солнца

и пестрых прямоугольников родило новое представление о колорите и плоскости. А дома жена раскладывала пасьянс на столе карельской березы, и сочетание карт с фактурой и цветом дерева, и ритмика движений, карты, аккуратно разложенные, организованные и небрежно перемешанные, - все это укладывалось на холстах в геометрические формы, где каждая карта находила определенное место, и создавало цельную группу. Так Немухин окончательно обрел себя и свой ПРЕДМЕТ. Для него карты - не только основа решения чисто живописных задач, но и - динамика жизни, ибо когда в них не играют, они мертвы. И еще карты - загадка. И - рок.

Мои спутники нашли клубный зал подходящим. Оба прикидывали, как развесятся картины, но я чувствовал, что они не уверены в благополучном исходе задуманного. Еще и еще напоминает Володя, что ни одна предыдущая выставка толком не удалась. Сделают где-нибудь в научно-исследовательском институте или клубе, как правило, полутайком, без рекламы, без приглашений и, значит, почти без зрителей. Пройдет такая выставка, а будто ее и не было.

- Пригласительные билеты мы непременно приготовим и распространим! - заверяю я.

- Увидят цензоры наши фамилии, - усмехается Оскар, - руками и ногами отбиваться станут. Тем все и кончится.

Предлагаю:

- А почему бы не обойти, не перехитрить цензоров? Напишем в макете билета, что состоится встреча с художниками, фамилии же не укажем. Потом впечатаем их в билеты пишущей машинкой. Все обошлось как нельзя лучше. Цензора обвели вокруг пальца, Лидский же, жаждущий воскресить молодежный клуб, всполошился только утром в воскресенье 22 января, когда художники принялись развешивать работы. Звонит мне:

- Приезжай и забери эти картины!

- Что-нибудь случилось?

- Не случилось, но случится. Ты хоть видел, что они привезли?

Беру такси - и в "Дружбу". Лев Вениаминович раздражен до крайности:

– Я не допущу выставлять абстракцию! – он заглядывает в блокнот, – Мастеркову,Потапову...

– Так всего двое из двенадцати.

– И двух не разрешаю!

Надо же! Полотен Рабина не страшится, а из-за безобидных композиций нервничает. На всю жизнь застращали горемыку абстракцией. Все-таки с подоспевшим Оскаром уговорили его не срывать выставку, гарантировали, что через час после открытия абстрактные холсты перевесим в отдельную комнату и будем показывать лишь специалистам.

И в 17.00 началось столпотворение. Ничего подобного я не ожидал. Народ валом валил. За два часа – две тысячи человек: ученые, писатели, артисты, инженеры, иностранные журналисты, дипломаты. На улице, несмотря на сильный мороз, внушительная очередь. Настроение у всех приподнятое. Один из искусствоведов МОСХа крепко пожимает руку польщенному Льву Вениаминовичу.

– Спасибо! Такой выставки пятьдясят лет не было!

КАК В СССР ЗАКРЫВАЮТСЯ ВЫСТАВКИ

"Единственная политика в области искусства – это политика непримиримой борьбы с абстракционизмом, формализмом и другими упадническими буржуазными течениями". Никита Хрущев

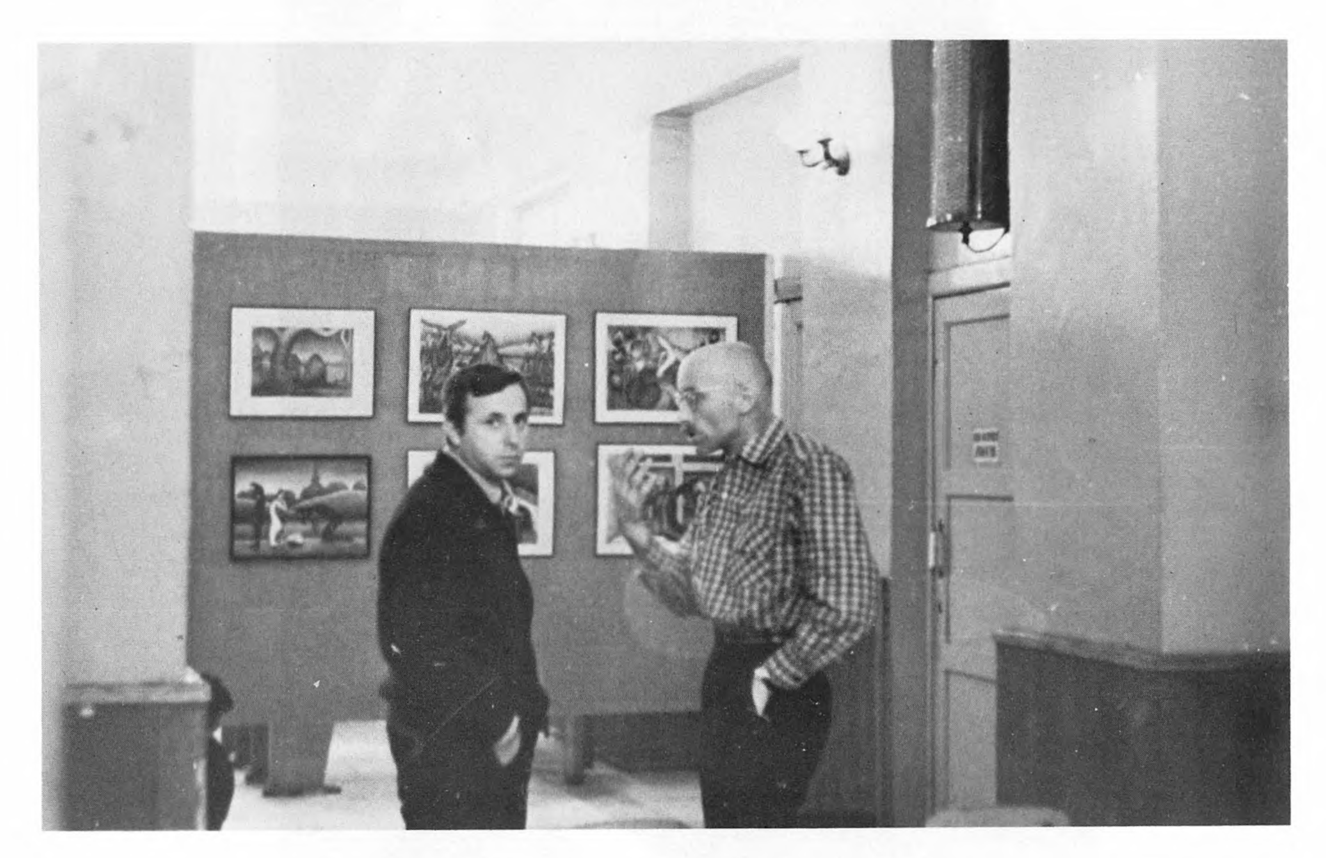
Кто-то положил мне сзади руку на плечо. Я обернулся и увидел коренастого мужчину с испуганными глазами.

– Пойдемте в кабинет, – сказал он, показывая удостоверение работника райкома партии.

– Что-нибудь случилось?

– А вы не видите? И иностранную речь не слышите?

Мы вышли в забитый людьми коридор. Лидский, всего лишь час назад гордо выслушивавший поздравления с выс-



Москва. 22 февраля 1967 года. Перед открытием выставки в клубе "Дружба". Александр Глезер и Оскар Рабин.



Дмитрий Плавинский и Борис Свешников. 1967г.

тавкой, теперь, словно побитая собака, сгорбившись, сидел в углу.

– Лев Вениаминович, вам плохо?

Он укоризненно посмотрел на меня и отвернулся.

– Входите, входите, – скороговоркой бормотнул коренастый, открывая двери в директорский кабинет.Оттуда из-за письменного стола поднимался майор КГБ:

– Посмотрите, что за окном!

Я пожал плечами:

– Темно. Да и мороз. Ничего не видно.

– Тридцать дипломатических машин и столько же корреспондентских! – Майор почти кричал. – Эта выставка – дело рук ЦРУ!

– Она – дело моих рук.

Майор сел и шумно выдохнул:

– Значит, вы – агент ЦРУ!

Раздался скрип пружин, словно кто-то поворачивался на старой кровати. Это заерзал в обширном мягком кресле поэт Борис Слуцкий. Во время войны он был комиссаром. В сталинские годы ходил в опальных.Ему принадлежат строчки из, конечно, неопубликованного стихотворения "Допрос пленного":

– Вы верите Геббельсу?
– Нет, господин комиссар,
– Это пропаганда.
– Вы верите Герингу?
– Нет, господин комиссар,
– Это пропаганда.
– Вы верите Гитлеру?
– Нет, господин комиссар,
– Это пропаганда.
– А мне вы верите?
– Нет,господин комиссар,
– Это пропаганда.

Давным-давно написал такое Слуцкий. Ныне он всеми уважаемый член партии и Союза писателей. Его отрывистый голос серьезен, без тени юмора:

– Товарищ майор, Глезер молодой поэт. Скоро мы будем принимать его в Союз. С ЦРУ у него никаких связей.

– Значит он – слепое орудие в их руках! – упорствует кагебешник. В этот момент дверь распахивается. Входят двое – толстый и тощий. Тощий взвинчен до предела. Веки подергиваются от нервного тика:

– Типичная провокация! Идеологическая и политическая! Сегодня же все радиостанции будут вопить,что вот, мол, несмотря на преграды, прорвались подпольные художники! Организовались!

А лицо у него желтое и кривое, будто то ли зубы, то ли язва его мучает. Он, словно выстреливая, протягивает руку майору:

– Абакумов, инструктор отдела культуры горкома партии по изобразительному искусству.

Зловещая фамилия! Такая же была у сталинского заплечных дел мастера, расстрелянного в 1953 году министра КГБ. Фамилия толстого поспокойнее – Пасечников.Он заместитель заведующего этим же отделом, важная птица.

– Позовите Лидского! – властно распоряжается он.

Появляется уже совершенно разбитый директор. Три пары глаз глядят на него с отвращением, как на вредное насекомое.

– Придумайте что-нибудь, черт возьми! – выкрикивает Абакумов.

Директор прижимает руки к груди и пятится к двери:

– Конечно, конечно! Я сию минуту!

– Впрочем, не лезьте! Хватит, уже наломали дров! Пусть кто-нибудь из художников объявит, что осмотр выставки на сегодня окончен, а послезавтра, как и намечалось, состоится публичное обсуждение,дискуссия по поводу картин.

Я не утерпел:

– А эта дискуссия в самом деле состоится?!

Молчание. Снова скрипят пружины старого кресла. В разговор вступает Слуцкий:

– Саша, позовите сюда, пожалуйста, Оскара Рабина. У него большой авторитет. Его послушают.

Насупившийся Оскар резок:

– Вы хотите, чтобы я сам закрыл выставку, которую мы ждали пятнадцать лет! Нет уж! Мы, художники, пишем картины. А выставки закрывать ваше дело!

Пасечников поворачивается ко мне, и я улавливаю в его голосе молящие нотки:

– Закройте выставку, а во вторник мы ее продолжим и проведем обсуждение.

Абакумов порывается возразить, но Пасечников торопливо перебивает:

– Гарантируем! Только сейчас поскорее закройте. – Он вытирает платком взмокший лоб: – Такое хорошее воскресенье сегодня на даче выдалось, и вдруг на ночь глядя в Москву срочно вызвали. Ну что ж, пойдем и мы картины посмотрим.

Вернувшись, Абакумов окинул меня взглядом с ног до головы и жестко бросил:

– Устроили черт знает что! Если затевали ради скандала, то скандал будет!

У меня в голове молнией: "Не допустят обсуждения"! Спрашиваю:

– Так вы, товарищ Пасечников, приказываете совсем закрыть выставку?

– Я этого не говорил...

– А вы, товарищ Абакумов?

– Поступайте, как хотите!..

А в клуб непрерывным потоком шел народ. Лидский то и дело выключал свет. Его включали снова. Раздавался смех. После короткого совещания с художниками я с трудом добился тишины и объяснил, что выставка до вторника закрывается. Кто-то фыркнул:

– Держи карман шире! Дадут они тебе вторник! – Люди недовольно загомонили, однако направились к выходу. Когда зал опустел и начальство уехало, директор кинулся ко мне:

– Снимай картины!

– Зачем? Во вторник опять, что ли, развешивать?

– Какой еще вторник? Ты с ума сошел!

– Да ведь они же сами сказали...

– Сказали, сказали, – передразнил он, – тебе вслух сказали одно, а мне на ухо: "Старый дурак, немедленно все убирай, не то худо будет!"

На следующее утро, приехав в горком партии на Старую площадь, я услышал от дежурного, что создана специальная группа по выставке:

– Вот телефон товарища Яковлевой.

– А пройти к ней нельзя?

– Вы же беспартийный!

Звоню. Слышу взволнованный голос:

– Товарищ Глезер! Как вам не стыдно! Что вы натворили! Вот придут рабочие прославленного Калининского района к первому секретарю райкома и упрекнут его: "Как вы дошли до жизни такой!"

– Извините! Причем тут рабочие? Они про выставку ничего не слышали, не знают и знать не хотят! А если бы даже узнали, то плевать им на нее с десятого этажа! Не прикажете, никуда они не пойдут и первого секретаря не тронут.

Яковлева почувствовала, что повела не туда, и перестроилась:

– А вы слышали, что Би-Би-Си передало, будто на вторник назначено обсуждение, но художники в этом сомневаются?

– А вы разрешите – вот и конец будет всяким сомнениям.

Несколько секунд в трубке что-то потрескивало. Наконец, чиновная дама произнесла:

– Ну ладно. Посмотрим. А пока поезжайте-ка в клуб.

Директорский кабинет жужжит, как потревоженный улей. Здесь почти в полном составе райком партии. При моем появлении все замолкают. Ко мне подходит невысокий полный человек и качает головой:

– Что же вы со мной, товарищ Глезер, сделали! Ведь я, секретарь райкома, и понятия не имел о вашей выставке. Лицо у него расстроенное, глаза грустные. Вижу – не притворяется, искренне переживает. (Позже я узнал, что он получил выговор за отсутствие бдительности). Секретарь поворачивается к сухощавой в

в строгом черном костюме женщине:

- Злата Владимировна, займитесь этим делом,а я... - он махнул рукой и направился к двери. Райкомовская свита за ним. Злата Владимировна,секретарь парторганизации завода, которому принадлежит клуб "Дружба", усаживается за директорский стол, Лидский - сбоку у телефона. Рядом со мной на диване - молодой смешливый инструктор райкома комсомола. Художники с картинами ждут в соседней комнате.

Я бодро начинаю:

- Давайте, Злата Владимировна,договоримся со Слуцким, что он будет председательствовать на дискуссии. Приедут крупные искусствоведы - Саробьянов,Каменский, Мурина...

Аскетичное лицо Златы Владимировны недвижно.Губы едва шевелятся.

- Приедут ли?

- Конечно! Сегодня же с ними поговорю...

Я воодушевляюсь. Слабая надежда на чудо вспыхивает во мне. Вдруг в кабинет заходят трое - парень и двое пожилых, видно муж с женою.

- Лев Вениаминович, - спрашивает парень, - можно выставку посмотреть?

- Какую выставку? - удивляется директор.

- Вчерашнюю.

Лидский пожимает плечами:

- У нас никакой выставки не было.

- Но я же сам ее смотрел, и вот сегодня родителей привел.

- Наверно, ошибся адресом.

Парень краснеет.

- Я пока еще не спятил. В этом клубе пять лет в самодеятельности выступаю!

- Знаешь что? Если ты спрашиваешь,была ли выставка, то я отвечаю - нет! Спорить мне с тобой некогда!

Дверь за ошарашенным семейством захлопывается.Непрерывно звонит телефон. Директор автоматически твердит:

- Не было! Не было! Не было выставки!

Появляется еще один посетитель. Идет с палкой, уверенный в себе, немного прихрамывая. Говорит вежливо, с небольшим иностранным акцентом:

- Могу ли я посмотреть выставку?

- Какую? - вновь неподдельно удивляется Лидский.

- Которая состоялась вчера.

- Да говорю же я, не было у нас выставки!

Иностранец гневно стучит палкой об пол.

- Я - корреспондент газеты "Юманите"! Вчера ее посетили мои коллеги из буржуазных газет. Опять вы закрываете выставки, идиоты! А расхлебывать нам! - Он резко поворачивается и выходит.

Злата Владимировна нервно теребит бумажку. Я снова иду в наступление:

- Уверяю вас, лучшего выхода нет! И обещанное выполним, и все на высоком уровне проведем (их языком говорю, может дойдет).

- Попробуйте, - выдавливает она.

Комсомольский инструктор глядит на меня сочувственно. Позже, выйдя со мной в коридор, он говорит,что проблема с выставкой решается не в горкоме уже, а в ЦК, и низовым работникам необходимо дотянуть до завтра - дождаться приказа.

- Может, умный дадут приказ?

Инструктор усмехается.

Наутро дома жду звонка Златы Владимировны. Проходит час за часом - молчание. Звоню в партком на завод - прячется. Наконец, поймал:

- Слуцкий и искусствоведы будут! Согласны! Что с обсуждением?

- Обсуждение отменяется!

- Что?!

- У меня нет времени объяснять!

Ах,так!

- Сегодня же вечером, когда люди придут на обсуждение, прямо на ступеньках клуба устрою пресс-конференцию для иностранных журналистов!

Через десять минут звонок. Слуцкий басит в трубку:

- Саша! Не надо скандала! Какая еще пресс-конфе-

ренция? Сейчас выставку закроют, зато, когда поутихнут страсти, месяца через два-три снова откроют. Мне в горкоме твердо обещали. И дискуссию проведут!

- И вы им верите?

- Я - коммунист!

Эх, Слуцкий, Слуцкий! За утро перестроился человек! Недаром недавно эпиграмма родилась:

"- Слуцкий ты или советский?
- Я - советский Слуцкий.
- Русский ты или еврейский?
- Я - еврейский русский".

Снова еду в клуб, где в кабинете меня встречает Злата Владимировна,Лидский и дружинники с завода.Злата Владимировна смотрит куда-то в сторону:

- Не торопитесь, не торопитесь... Еще подумаем,согласуем... - К телефону не подпускает никого. Жадно хватает трубку при каждом звонке, похожая на солдата, ежеминутно отдающего честь. Монотонно повторяет: - Не знаю, не знаю, не знаю...

Догадываюсь, ждет распоряжения из ЦК. Дождалась, наконец. Выпрямилась, сжала узкие губы - вся готовность и подобострастие:

- Конечно! Хорошо! Понимаю! - И ко мне:

- Художникам немедленно взять картины и уехать! Машина во дворе (какая молниеносность действий, впрочем, всем понятная, время за три часа, и боятся, нахлынут зрители; потому-то с черного хода нас выпроваживают).

- А что произошло? - невинно, будто ничего и не ведаю.

- Ничего. Уезжайте!

Иду к художникам. Они в клубе с утра и сльшали, что есть такой план: отправить их домой, а пришедшей публике объявить, что модернисты испугались обсуждения и увезли картины. Дубовый вариант. Неужто кто поверит? За пятьдесят лет не поумнеют никак. А с другой стороны, ведь впервые за полстолетия закрывать выставку приходится публично, на глазах у всего мира.Что ж, прохлопали открытие, так позорьтесь, коль нравится.

Возвращаюсь и вежливо:

– Дайте нам справку, что обсуждение не состоится, и мы уедем.

– Никаких справок! Обойдетесь!

Как обычно, вежливость принимают за слабость.

– Без справки с места не сдвинемся.

И тут же низколобый дружинник:

– Злата Владимировна! Ну тогда мы картины поломаем и выбросим! – И к двери.

А я, не повышая голоса:

– Злата Владимировна, если вы хотите, чтобы сегодня вечером все радиостанции передали, что советские х у н в е й б и н ы у н и ч т о ж и л и к а р т и н ы, благословите эту операцию.

Она,видно, что-то поняла:

– Петр, не смей!

Замер Петр,как собака послушная, и остальные дружинники переминаются с ноги на ногу. Да и Злата Владимировна не знает, как поступить. Почти как в песне Галича – и дать справку нельзя, и не дать – нельзя.Но сообразила, кому несогласованный с начальством документ подписывать, и вкрадчиво:

– Александр Давидович, вы организатор, вам и поручаем подписать справочку.

– А печать поставите?

– Поставим (выхода-то у них нет!).

Отдаю художникам бумажку, честь по чести составленную, круглой печатью заверенную, и дружинники, уже не озверевшие нелюди, а услужливые лакеи, так и сяк нас обхаживают:

– Давайте поможем, тяжело, наверное.

– Нет, ничего.

– Тяжело, тяжело.

И несут дружинники картины в два грузовика,и загружают их, и конвоируют, то-есть сопровождают нас, до последней квартиры, чтобы кто-нибудь случайно не вернулся.

Но на том история не кончилась. Районные власти стянули вечером к клубу милицию и тех же дружинников. Взялись молодцы за руки и никого к дверям близко не подпускали. Изобрели новую версию: обсуждение не сос-

тоится,так как в зале встреча избирателей с депутатом райсовета. Люди не верят, стараются прорваться внутрь, но тщетно. Насмерть стоят дружинники плечом к плечу, каменные лица, только желваки под скулами ходят. Иностранные журналисты, конечно, не зевают - фотографируют. Запечатлевает события кинокамера. В эти дни улетал в Италию Подгорный. И ему, поднимающемуся по трапу гордого лайнера, дотошный римский журналист вдогонку подкинет коварный вопрос:

- Господин президент, вы знаете, о чем вас прежде всего спросят в Италии - почему в СССР опять закрывают выставки?

- Какие выставки? - возмутится президент и вызовет в аэропорт тогдашнего министра культуры Фурцеву. Но и она ничем не сможет ему помочь. Работники КГБ и партаппаратчики,закрывавшие 22 января 1967 года в клубе "Дружба" экспозицию картин неофициальных живописцев, ничего министерству культуры об этом не сообщили. Впоследствии в горкоме партии мне скажут: "Из-за вас на два часа задержался самолет с Подгорным".

Задержался так задержался. А почему вы и ваши старшие коллеги на письма трудящихся не отвечаете? 25 января мы сочинили послание, в котором просили разрешения на организацию выставки. Почте его не доверили. Вдвоем с Оскаром разнесли в три инстанции - в ЦК КПСС, министерство культуры и горком партии. Художники договорились гласности письмо не предавать, чтобы не устраивать шумихи и выглядеть лойяльными: авось, пробьем выставку. Однако ни один из трех адресатов никогда не снизошел до письменного общения с нами. Вместо выставки устроили взбучку: на комбинате декоративно-оформительского искусства,где работали Рабин,Лев Кропивницкий и Вечтомов, провели заседание партийного бюро и творческого актива.

Оскар попросил меня, если позволят, выступить,отвлечь внимание, принять часть огня на себя. И вот экзекуция началась. В зале партийные и художественные руководители комбината. Пышет гневом парторг МОСХа от горкома партии Бережной. Ему бы в кино изображать фашиствующего молодчика. Здоровенный, бритоголовый, с

тяжелым подбородком и злыми кабаньими глазками, он, кажется, готов растоптать стоящие у стены отвратительные картины, а заодно и их авторов. Сыплет докучливо:

- Провокация... Антисоветский поступок... Подпольная выставка...

Вмешивается Рабин:

- Никакая не подпольная! Здесь находится ее организатор поэт Александр Глезер.

Я поднимаюсь. Со всех сторон чувствую взгляды - настороженные, недружелюбные, ободряющие. Э, не все тут против нас! Бережной недоволен:

- Мы его сюда не приглашали!

Но для зала мой приход хоть какое-то развлечение. Даже партийцы кричат:

- Пусть говорит!

Ребятам на руку, чтобы я трепался как можно больше - меньше времени останется на погром. Поэтому танцую от печки. Рассказываю, как не любил живопись, как впервые ее почувствовал, как поразился,увидев полотна Рабина, как организовал экспозицию.В руках у меня книга Роже Гароди "Реализм без берегов". Им будет полезно кое-что услышать. Но едва успеваю прочесть две фразы, парторг вскакивает:

- Где вы взяли книгу, изданную только для научных библиотек (это значит, что ее в магазинах не продавали и в библиотеках выдают лишь избранным)?

- Купил на черном рынке.

А он меня теснит, загоняет в угол:

- Ленина читали?

- Институт кончил. Конечно,читал.

- Следовательно, что такое соцреализм, знаете?

- Знаю. Но при чем тут Ленин?

- Тычет жирным пальцем в картину Оскара:

- По-вашему, это соцреализм? - И высокомерно глядит: податься,мол, тебе некуда!

А я, не запнувшись:

- Безусловно.

- Тогда мне не о чем с вами разговаривать!

Постой, Бережной, постой:

- Теперь у меня есть вопросы.

Парторг вне себя:

– Здесь вопросы задаю я! – и рукою рубит воздух, словно шашкой.

Апеллирую к залу:

– Товарищи, тут суд что ли? – И к Бережному: – Вам известно, что декретом Ленина Кандинский и Малевич в тысяча девятьсот восемнадцатом году были назначены главными художниками Петрограда? – Ты, парторг, ссылаешься на вождя, и я на него сошлюсь. Так и тебе, и твоим соратникам понятнее.

Его передернуло:

– Всему свое время!

О, да ты сам бок подставляешь! Укусим:

– По-моему, сейчас ленинское, а не сталинское время. – И с достоинством усаживаюсь. Смотрю на часы. Неплохо. Более получаса оттарабанил! Попозже еще раз вылезу. Куда там! Меня просят покинуть помещение. Дескать, у нас собрание, вас, хоть и не звали, выслушали. Спасибо и до свидания. Обидно, но подчиняюсь. В соседней комнате, где отчетливо звучит каждое сказанное в зале слово, толпятся художники-оформители.

Директор комбината искренне взволнован – страшится неприятностей. Голос дрожит:

– На кого мы только что тратили драгоценное время? Лежит такой интеллигентик на диванчике. Сзади него горит торшерчик. Попивает он кофеечек. Почитывает Роже Гароди. А потом нам цитирует. И к Оскару: – Товарищ Рабин! Если вы не патриот нашей социалистической отчизны, будьте хотя бы патриотом России или... родного комбината!

Директор почуял, что запутался. Закончил без воодушевления. И другие ораторы не блещут и больше на случайно затесавшегося Глезера накидываются вместо того, чтобы долбать модернистов. И вообще выступают почему-то одни партийцы. Художественные руководители отмалчиваются. Пуще того, Бережной четко выдал: станьте советскими гражданами и художниками, а потом претендуйте на членство в Союзе художников! Устраиваете провокацию, а потом пишете в ЦК! Ждете ответа? Не дождетесь!

А председатель художественного совета комбината семидесятилетний Роскин выкидывает фортель: принимается защищать обвиняемых, дескать, он против того,чтобы примитивно судить о психологии, о тонком аппарате художника... Через несколько месяцев Роскину припомнят неблаговидную адвокатскую роль, уберут с высокого поста. Но сегодня-то, сегодня как извернуться парторгу? За такой разброд начальство по головке не погладит!

Начальство и вправду разозлилось. На той же неделе мне удается попасть на прием к заведующей отделом культуры горкома партии Соловьевой. Справа от нее восседает Пасечников, слева Абакумов. Она даже не пытается скрыть раздражение. Неужели эта расплывшаяся баба с истерически-визгливым голосом руководит столичной культурой? На мое замечание: художники подали заявление о приеме в Союз, их еще не рассматривали, на каком же основании Бережной предваряет решение коллектива, - она реагирует возбужденно:

- Мало ли что говорит какой-то болван (это о своем-то горкомовском парторге)! А затем: - Мы вам впредь запрещаем заниматься какими бы то ни было выставками!

- Я не член партии, и вы ничего мне запретить не можете.

Оперлась руками о стол,будто приготовилась к прыжку:

- Пока предупреждаем по-хорошему!

Не помня себя, я заорал:

- Вы расстреляли моего дядю! Гноили в лагерях тетю! Ссылали родных! Я не боюсь ваших лагерей, тюрем и психушек, потому что не боюсь смерти!

Эта вспышка ее ошеломила, а Пасечников добродушно-успокаивающе коснулся моего плеча:

- Что вы, Александр Давидович! Никто вас не пугает. Товарищ Абакумов,поговорите с ним.

И выходим мы, и усаживаемся за столом на просторной лестничной площадке, и он беседует со мной, как с закадычным приятелем. Я стараюсь завести речь о художниках, а он все на бытовую тематику соскальзывает, на плохие квартирные условия - это-то у работника гор-

кома партии! - на трудности жизни.

- Зато, - витийствует, - душа чиста. У меня вот друг был, вместе Академию художеств кончали. Теперь церкви расписывает, большие деньги загребает. У него и дом свой, и машина. Но, вижу, плохо ему. Да, не в деньгах счастье!

Естественно, не в деньгах, а в партийной службе. И опять, я перевожу разговор на художников, на необходимость выставки. Он отмахивается:

- Среди них только Рабин умеет рисовать.

А я словно приклеился, и на мгновенье Абакумов становится жестким, как в клубе "Дружба":

- Если такие картины вам нравятся, то покупайте их и вешайте у себя дома! - Однако моментально спохватывается и вновь превращается в обаятельного милягу: - Все бросить бы и заниматься живописью! Но кто-то же должен и здесь работать!

Так мирно он со мной калякал, что один из горкомовцев принял меня за своего, подошел и спрашивает у Абакумова:

- Ты слышал, что произошло в Минске?

А в Минске на съезде писателей белоруссы устроили обструкцию редактору журнала "Знамя" Вадиму Кожевникову. Надоели им понукания и поучения из Москвы. Напрасно увещевали из президиума расходившихся делегатов, напрасно ссылались на исконное белорусское гостеприимство. Не помогло. Но не в горкоме же партии давать Глезеру об этом информацию! Спохватился соловьевский инструктор по живописи:

- Потом, потом расскажешь! - И мне: - Обязательно звоните и заходите.

На улице вспоминаю абакумовский совет: "Вешайте картины у себя". Знать бы ему, что они уже висят. Я еще до выставки хотел купить несколько работ, после же ее закрытия подумал: "А не создать ли постоянную экспозицию дома? Как станут ликвидировать такой музей?" Художники горячо поддержали мою идею. Многие продали картины в рассрочку, кое-кто и подарил. Когда в конце февраля я уезжал в командировку, стены нашей комнаты были уже сплошь увешаны живописью и графикой.

В командировку? От чьего имени, кто после случившегося отважился меня послать? Молодежно-комсомольский журнал "Смена"? Да еще для устройства в редакции выставок армянских и грузинских художников? Невероятно! А как же запрет Соловьевой? Не знали, не знали в "Смене" о моих прегрешениях, а когда узнали, то взвыли. Звонит в Тбилиси Майя, в голосе слезы. На каком-то Всесоюзном совещании редакторов Фурцева назвала меня "враждебным элементом". Майин шеф, заведующий редакции русской советской поэзии в издательстве "Советский писатель", Егор Исаев, пришел с совещания и сформулировал четче: "Классовый враг". Прибежали, с трудом переводя дух, из "Смены" за моим тбилисским адресом. Будут отправлять телеграмму, отзывать обратно. Никакие выставки не нужны! Мы с вами незнакомы. Вы с нами.

Ну, кто кого обгонит! Шлю в "Смену" телеграмму, что вылетаю с грузинским художником и его картинами и прошу на аэродроме нас встретить. А на завтра притаскивают телеграмму редакционную. Но мои тбилисские родственники ее не принимают. Объясняют почтальону, что я остановился не у них, а где-то. Перехитрил я комсомольцев!

Однако до отлета нужно вновь заглянуть в Союз художников Грузии. Тут, кажется, наклевывается занятная штука. Зашел я, как только прибыл в Тбилиси, к председателю Союза Зурабу Лежава, а он спрашивает:

– Что это за скандальная выставка у вас в Москве была? Двадцать четвертого января на Всесоюзном пленуме Союза художников только о ней и спорили. Вучетич и Томский[1]) набросились на Шмаринова[2]), мол, его либерализм привел к модернистской выставке. Чуть не подрались... Мы ничего не поняли.

---

[1])Вучетич и Томский - скульпторы. Академики-сталинисты.

[2])Шмаринов - тогдашний председатель МОСХа.

Что ж, из первых уст и послушайте. И фотографии картин при мне – посмотрите. Ничего не утаивая, рассказал о московских событиях и был несказанно удивлен, когда Лежава и его заместители единодушно:

– Надо устроить выставку вашей коллекции в Тбилиси?

Снова напоминаю им о возможных осложнениях. Не страшатся грузины. Смеются в черные усы. Если так, я согласен. Лишь выдвигаю условие: необходим каталог, напечатанный в типографии. Колеблются, не дорого ли обойдется.

– Без репродукций. Только укажите, что моя коллекция, фамилии художников и названия работ.

На это идут без колебаний. А для меня и ребят каталог крайне важен. Тбилисская экспозиция будет их первой официальной выставкой в СССР. До сих пор показывали их картины в научно-исследовательских институтах или клубах при предприятиях, и начальники от искусства задирались: "Вас выставляют непрофессионалы, которые ничего в живописи не смыслят". Что эти начальнички скажут, коли не кто-нибудь, а Союз художников организует выставку? Насчет каталога есть и другая мысль. Вполне могут в случае надобности пришить, что я самочинно захватил зал. Тогда-то и суну под нос им каталог!.. Чудак! Как будто поможет! Скажут, что сам напечатал, изловчился, обошел цензуру. Но это случится позже. Пока же я лечу в Москву с художником Джемалом Хуцишвили, его картинами и планом тбилисской выставки. Между тем в столичных журналах уже начали сгущаться тучи. В "Смене" переводы напечатали, но мою фамилию сняли. Редактор извинился, мол, произошла ошибка. Из корректуры мартовского номера "Знамени" сняли и переводы. То были как бы первые предупредительные красные сигналы опасности. Но я ими пренебрег и в мае повез коллекцию в Тбилиси.

Выставку вначале открыли в помещении при Союзе художников на четвертом этаже старого дома на проспекте Руставели. По замыслу организаторов она была закрытой, то есть только для живописцев. Но Тбилиси – это Тбилиси. У художников есть братья, сестры, родители,

друзья, друзья друзей... Так что термин "закрытая" служил лишь дымовой завесой. Приходили все, кому не лень. А когда экспозицию увидел парторг Союза художников скульптор Гульда Каладзе, он воскликнул:

– Замечательные картины! Почему мы их прячем здесь?

И выставка на второй день переехала и очутилась, как ни смешно, напротив ЦК и Совета министров Грузии. При этом меня попросили унести и спрятать одну работу. Заместитель Лежавы указал на рисунок Вали Кропивницкой "Затопленные церкви". Он навеян действительным происшествием, когда при строительстве Волжской плотины безжалостно затоплялись старинные церкви. В 1971 году мне довелось плыть пароходом по Волге,и я видел, как над водой одиноко и печально, словно взывая о помощи, подымались верхушки колокольни, столь знакомой по рисунку Кропивницкой. На нем два ее обычных фантастических существа с грустью и горечью глядят на церковь, медленно погружающуюся в пучину вод.

Спрашиваю:

– Почему?

Он на ухо:

– Сам понимаешь.

– ?

– Не притворяйся. Все об этом только и твердят.

– Честное слово, не понимаю!

Заместитель рассердился, придвинулся еще ближе:

– Да ведь это Кремль и кремлевские ослы!

Ну и восприятие! Невольно припомнишь слова Пикассо: "После того, как картина написана,она живет своей собственной жизнью в зависимости от того,кто ее смотрит". Лишь советский человек, которому с детства достопочтенная "Пионерская правда" и не менее достопочтенные поэты-песенники, и вся прочая печать, радио и телевидение вбивают, вталкивают, вгоняют небылицы о мудрости и величии хозяев Кремля, – может до такой степени отталкиваться от них, чтоб усмотреть их образы в рисунке Кропивницкой.

Картины висели в небольшом зале, за которым был другой, просторный, с экспозицией грузинского портре-

та. Ее широко рекламировали, и зрители сперва утыкались в картины москвичей. Тбилисские живописцы изумлялись:

– Вот не думали, что в России такое возможно! Оказывается, у вас есть настоящая живопись!

Один из них даже принес свой холст и в знак солидарности повесил его рядом с немухинским. Большинство зрителей приходило дважды и трижды, и не только восторженная молодежь, но и титулованные народные и заслуженные художники. Вдобавок, главный редактор грузинского журнала "Советское изобразительное искусство" вдохновился дать хвалебную статью о русских модернистах. Уже приходил от него фотограф, уже снял картины и на цветную, и на черно-белую пленку, но...

На четвертый день после открытия передо мной возникает осанистый армейский полковник (в Тбилиси расположен штаб Закавказского военного округа) и в крик:

– Мало грузинам своих формалистов! Еще и наших тянут! Сегодня же пошлю телеграмму в Москву в КГБ!

Знаменательная реакция! Не в министерство культуры, не в Союз художников, даже не в ЦК, а именно в КГБ как в некий культурный центр. Я, признаться,не поверил вояке. Не станет же он действительно телеграфировать на Лубянку! Поорет и отойдет. И ошибся.Наутро, проезжая мимо, гляжу, зал открыт. А час-то неурочный. Захожу и вижу: холеный красавец Лежава сам дрожащими белыми руками снимает со стен картины. Повернувшись ко мне, шепчет:

– Нужно сейчас же все это забрать и увезти!

Полковник не обманул, и отклик Лубянки был молниеносным. Но тбилисская выставка свою функцию уже выполнила. Художники торжествовали. А орган партийного бюро и правления МОСХа, газета "Московский художник" громко тявкнула, поместила 26 мая сразу два материала: "Быть достойным почетного звания страны Советов" и "Не извращать советскую действительность!" Почти четыре месяца прошло со времени судилища на комбинате,и, наконец, разродились – допекла их тбилисская вылазка. Второму материалу сопутствует длинный подзаголовок: "Из решения совместного заседания партийного бюро и

местного комитета комбината декоративно-оформительского искусства с творческим активом".

Что же они сварганили? Прежде всего припомнили Оскару его лондонскую двухгодичной давности персональную выставку:

"Как советский гражданин и художник О.Рабин не нашел мужества выступить в печати с протестом против устроенной без его ведома выставки его работ.Такое отношение следует рассматривать, как беспринципность, политическую близорукость и притупление бдительности у Рабина, а также как отсутствие чувства гражданского долга и патриота за свою Родину. В своих работах Рабин искажает образ нашего общества. Они порочат завоевания советского народа, его быт и культуру.Творчество Рабина... накладывает тень на советский строй, дезинформируя зарубежного зрителя о нашей действительности и давая повод для разнузданной болтовни капиталистической пропаганды против нашего государства".

Пнули Кропивницкого и Вечтомова: "Так называемое "творчество" Кропивницкого и Вечтомова также является чуждым нашей идеологии и не может быть приемлемым для советского общества и изобразительного искусства. Их безидейные произведения не нацеливают советского человека на выполнение задач, поставленных перед советским народом партией и правительством,а наоборот,идут вразрез с этими задачами изобразительного искусства в деле пропаганды идей партии".

Не забыли и про меня:

"Партбюро, местный комитет и творческий актив обеспокоены тем, что в рабочем клубе официально подвизается в роли организатора всевозможных выставок некий "поэт" Глезер, который собирает вокруг себя "непризнанных гениев" типа О.Рабина и ему подобных, скупает абстрактную живопись и устраивает подпольные выставки. Глезер организовал и выставку двенадцати художников, явившуюся в прямом смысле политической и идеологической диверсией. ... Партийный актив считает опасным и недопустимым дальнейшее влияние Глезера, проповедующего буржуазные идеалы среди молодежи, и строго осуждает его вредную "идеологическую" деятельность".

Вот так-то. Рабин,Кропивницкий,Вечтомов не художники, а я не поэт. Мы не больше не меньше как идеологические и политические диверсанты.

Второй материал не лучше, и выдержан в том же воинственном тоне:

"Некий Глезер, именующий себя "поэтом", пытался организовать в клубе "Дружба" выставку двенадцати художников, пропагандирующих чуждое нам абстрактное, формалистическое искусство... Всем, собравшимся на обсуждение этого вопроса, стало ясно, что организаторы и устроители частно-предпринимательской выставки преследовали цель апелляции к мировому общественному мнению. Только этим и нужно объяснить, что приглашение на эту выставку в первую очередь получили десятки аккредитованных в Москве корреспондентов западно-буржуазных газет и агентств,а также представители различных посольств буржуазных стран. Все они не замедлили появиться в залах клуба "Дружба", едва Глезер и его компаньоны закончили развеску своих полотен".

Тут уж наша выставка стала не только идеологически вредной,но и частно-предпринимательской. Но ведь на ней картины не продавались. Неважно. Зато звучит впечатляюще. Торговцы Рабин и Глезер!

Еду в редакцию "Московского художника",захватив с собою еженедельник "Литературная Россия", в котором как раз в этот день - подборка моих стихов.Швыряю его на редакторский стол:

- Почему ваша газета печатает клевету? Вот мои стихи, а вы пишете, что "я именую себя "поэтом"? Кто вам сказал, что выставка была предпринимательской?

Флегматичный, медлительный редактор обеспокоен, оправдывается:

- Это передано нам партийным бюро комбината. Мы обязаны были опубликовать.

- А если они вам завтра пришлют информацию о революции на луне? Вы ее тоже тиснете, не проверяя факты? И какой хамский тон!

Он ерзает на стуле:

- Вы можете составить опровержение.

- Напечатаете?

– Да-да! Пишите, что хотите. И про клевету, и про тон... Только выразите сожаление, что организовывали идейно-вредную выставку. – И, хлопая ресницами, смотрит, как невинный младенец.

Ах, ты, прохвост! Тебе нужно мое раскаяние? Потому соловьем и разливаешься? Нет, с тобой разговаривать бессмысленно. Ты в самом низу чиновно-партийной лестницы. Двинем повыше. В горком партии к заведующему отделом пропаганды и агитации.

За столом желтый высохший человечек, чем-то напоминающий головастика. Пока я выкладываю претензии, он упорно молчит и лишь порою нервно облизывает длинные тонкие губы. Хотя стоит жара, его руки затянуты в черные кожаные перчатки, и до меня не сразу доходит, что под перчатками не живые пальцы, а протезы. Разволновавшись, он сует в рот сигарету. Зажигаю спичку, чтобы дать прикурить. Отказывается:

– Не надо!

Принять от идеологического врага услугу – никогда! Достает большую, специально для безрукого изготовленную зажигалку. Она выскальзывает из негнущихся пальцев и падает на стол. Он с ней долго возится. В конце концов закуривает. Несколько раз быстро пересекает туда-обратно кабинет. Неожиданно останавливается и выкрикивает:

– Мы вас не боимся, мы вас арестуем!

Ненормальные все у них в горкоме что ли? Соловьева визжала. Этот вопит.

– А чего вам меня бояться? У вас армия, полиция, почта и телеграф. У меня лишь картины и ручка с бумагой.

Он вновь лихорадочно забегал взад-вперед. Еще чуть-чуть – и забьется в припадке падучей. Замирает, и:

– Я не только вас лично имел в виду, но и художников. Всех арестуем!

Псих, честное слово! Да у него это какая-то навязчивая идея! Не из команды ли он Шелепина-Семичастного?

Шефы проиграли в борьбе за власть на самых верхах, а бедняга попрежнему руководит столичной пропа-

гандой и живет их заветными мыслями. Помните крылатое Шелепинско-Семичастновское изречение? "Дайте мне арестовать тысячу московских интеллигентов, и я покончу с инакомыслием".

НОНКОНФОРМИСТЫ

" - Что такое соцреализм? Это
искусство "чего изволите".
Оскар Рабин.

Связавши свою судьбу с русским неофициальным искусством, не должен ли я объяснить, что это такое, откуда оно взялось, почему с ним столь отчаянно борется советская власть, используя партийных чиновников, гебистов и прессу?

Английский искусствовед Камилла-Грей в книге "Великий русский эксперимент" говорит о художниках России, оказавших влияние на развитие всего современного мирового изобразительного искусства, - о Кандинском, Малевиче, Лисицком, Татлине, Поповой... Парадоксально, что в Советском Союзе они известны лишь элите интеллигенции, их картины пылятся в запасниках, и если и поминаются в какой-нибудь книге, то обязательно в отрицательном контексте. А ведь именно эти художники с первых дней революции встали на ее сторону. Революция показалась им, пролагателям новых путей, чем-то родственным, открывающим неограниченные возможности для экспериментов. В 1918 году Кандинский и Малевич становятся главными художниками Петрограда. Именно "Левые" оформляют революционные праздники. В их руках оказывается институт художественной культуры, отдел изобразительного искусства народного комиссариата просвещения и его газета "Искусство коммуны".

Но где же были реалисты? Куда они спрятались? Отчего не сражались с засилием модернизма? Реалисты, не

верившие в окончательную победу большевиков, выжидали. И лишь убедившись, что советская система – это надолго, принялись наверстывать упущенное. Созданный ими в 1922 году АХРР (ассоциация художников революционной России) объявляет авангардистам смертельную войну. Один из ахрровских идеологов художник Кацман заявляет: "Учителя "левых" – Пикассо, Сезанн, Матисс, Маринетти и другие – это идеологи маленьких групп буржуазной интеллигенции периода капиталистического накала, нервозности, противоречий".

С ним перекликается теоретик АХРРА Перельман: "Для будущего историка искусства полотна Пикассо, наших Кандинского, Малевича и иже с ними будут очевидным и бесспорным доказательством того сумасшедшего ужаса перед тупиком, который охватил мировую буржуазию".

Эти прямые политические обвинения очень понятны большевикам. Для их лидеров ахрровцы, услужливо предлагающие свою закостеневшую, всем понятную живопись делу пропаганды коммунистических идей, были бесконечно ближе, чем какие-то заумные экспериментаторы. Поэтому, хотя на протяжении 20-х годов авангардисты упорно сопротивляются, они обречены. Атаки на них ожесточаются. За формализм осуждаются не только кубофутуристы, супрематисты и конструктивисты, но все испытавшие влияние французского искусства, в первую очередь Сезанна, а также немецкого экспрессионизма.

В 1932 году постановлением ЦК ликвидируются все художественные объединения, а с ними и жалкие остатки творческой свободы. Живописцы загоняются во вновь образованный Союз художников. Теперь они обязаны "творить" только по методу социалистического реализма, "правдиво изображать действительность в ее революционном развитии". Смотреть на эту действительность полагается глазами партии большевиков. Отныне выставки заполняются портретами вождей, историко-революционными сценами, героическими рабочими, сооружающими Днепрогэс, а в перерыве читающими газету "Правда", обряженными в праздничные наряды колхозниками, сидящими за столами, ломящимися от яств, комсомольцами и пионерами, клянущимися в верности партии.

И что примечательно. Уже подавили формалистов, уже одни (Кандинский, Шагал, Гончарова, Ларионов,Сутин...) эмигрировали. Уже оставшиеся затаились.Уже их и не выставляют, и не допускают преподавать. А борьба с модернизмом не утихает. Перерыв, вызванный войной, с лихвой компенсируется после нее.Охота за ведьмами возобновляется - никто из художников не застрахован от того, что на него навесят ярлык формалиста. Мало того, в 1947 году в Москве закрывается Музей нового западного искусства (зачем нам импрессионисты, Сезанн, Пикассо?), а в 1949-м - Государственный музей изобразительного искусства имени Пушкина, где демонстрировалось классическое западное искусство. Апологеты мертворожденного соцреализма могли ликовать. На обширных просторах СССР, на одной шестой части земного шара, он властвует безраздельно, и, похоже, что навсегда.

Но вдруг все меняется. Сталин умирает, железный занавес приподнимается, и на вытоптанной ниве отечественной культуры появляются ростки явления, которое впоследствии назовут неофициальным искусством, или нонконформизмом. Толчок ему дали многочисленные выставки современной зарубежной живописи, продолжавшиеся в течение всего хрущевского правления и окончившиеся вместе с ним.Они, и прежде всего гигантская экспозиция в 4500 работ на Международном фестивале молодежи и студентов 1957 года, были для молодых советских художников, внутренне созревших для самостоятельного,не подневольного творчества, катализатором, ускорившим процесс их становления.

Этому способствовала и русская интеллигенция, изголодавшаяся по подлинным культурным ценностям и морально поддержавшая нонконформистов своим вниманием и неподдельным интересом. Вошли в моду "домашние" выставки. Их устраивали прославленный пианист Святослав Рихтер, композитор Андрей Волконский, некоторые писатели и искусствоведы. С начала 60-х годов ученые стали организовывать выставки в научно-исследовательских институтах. Ревнители чистоты соцреализма, академики-

догматики и партийные чиновники от культуры с беспокойством следили, как возрождается казалось бы навек похороненное истинное искусство, как умножаются ряды художников,вставших на путь независимого творчества.

Особенно тревожило, что не только какие-то никем не признанные живописцы занялись черт знает чем (это можно было бы и пережить). Но даже в официальном, за три суровых десятилетия отменно вымуштрованном МОСХе закопошились безответственные либералы, забывшие о том, что на идеологическом фронте никакие послабления немыслимы. И когда в декабре 1962 года руководство МОСХа протащило в крупнейший столичный зал Манеж на выставку XXX-летия своей организации полотна молодых экспериментаторов, членов Союза, консерваторы нацелились дать решительный бой отступникам.

Чтобы действовать с уверенностью в полной и безусловной победе, многоопытные в интригах академики-сталинисты с провокационной целью предложили показать в Манеже работы также и нескольких нонконформистов,но не для широкой публики, а в закрытых помещениях, так сказать, для избранных. Академики не ошиблись в расчете. Эта экспозиция окончательно вывела Хрущева из себя. Окруженный подобострастно хихикающей свитой,шествуя от картины к картине, он неистовствовал:

- Глядя на вашу мазню, можно подумать, что все вы педерасты! А у нас за это десять лет дают. - Иногда он останавливался и кричал: - Не искусство, а ... твою мать!

Выглядывая из-за его плеча, президент Академии художеств СССР А.Серов поддакивал:

- Истинно ленинские слова! Истинно ленинские слова!

В заключение Хрущев посоветовал модернистам убираться на Запад.Остервенелый наскок главы ЦК и премьера правительства, естественно, имел продолжение. Через три дня общее собрание Академии художеств СССР единогласно осудило тенденции формализма на выставке XXX-летия МОСХа. Академик Дейнека, в конце 40-х годов сам обвиненный в формализме, провозгласил: "Существовали когда-то Кандинский и Фальк. Это художники,

без которых мы живем и неплохо работаем, создаем наше искусство".

17-го декабря на встрече руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства и позже на страницах газет "Советская культура","Известия" и других, на заседаниях Союза художников торжествующие сторонники соцреализма набирают силу. Пригвождается к позорному столбу творчество все новых и новых живописцев. Шельмуются за поддержку формализма писатели и искусствоведы. Но хотя весь этот растянувшийся на несколько месяцев шабаш выглядел страшным, остановить процесса высвобождения искусства от ослабевших тисков он уже не мог. Художники в большинстве своем не сдались и не сошли с однажды выбранной дороги, и вскоре, как ни в чем не бывало, институты и клубы вновь начинают проводить их выставки. Время-то не сталинское - никого не расстреляли,не посадили, со службы не выгнали и даже не запретили художникам продавать картины иностранцам, а последним не запретили их вывозить. Ставят в Третьяковской галерее с обратной стороны холста штамп "художественной ценности не имеет" - и вези, куда хочешь. Правда, вскоре возникли неудобства. Пишешь "художественной ценности не имеет", а картину за границей музей выставляет и вдобавок приобретает. Поэтому изменили штамп в сторону лаконичности: "разрешено".

И лишь в 1967 году спустили на таможню черные списки. Картины наиболее известных нонконформистов вывозить запретили. Потому, видите ли, что "они искажают представление о советском изобразительном искусстве". Но, слава Богу, у иностранцев разнообразные возможности для переправки работ за рубеж. А то художники лишились бы основных покупателей. И как, спрашивается, жить? Многие, конечно, иллюстрируют в издательствах книги и журналы, иные прирабатывают оформительством зданий и объектов; совсем молодые работают кто дворником, кто почтальоном,кто сторожем. Но самые-то талантливые сложившиеся мастера ничем не занимаются, только картины пишут. Благодаря этому, они экономически не зависят от государства (ил-

люстратора или оформителя ничего не стоит лишить заказов), и на них труднее воздействовать – принуждать менять манеру письма, заставлять отказываться от организации экспозиций на родине и участия в неофициально устраиваемых выставках за рубежом. Если бы исчезли покупатели иностранцы, то ведущие нонконформисты тут же стали бы уязвимы. У советских-то граждан и зарплата не та, чтобы живопись приобретать, а кроме того вешать у себя картины преследуемых властями изгоев страшновато. Однажды наша соседка попросила, чтобы художник Зверев написал ее портрет. Поехали к нему, обо всем договорились. А вечером ее муж, научный работник, услышал об этом и с ужасом:

– Ты рехнулась! Ходишь к Звереву и полагаешь, что КГБ ни о чем не знает. Меня из-за твоих фокусов со службы выкинут!

Тем все и кончилось.

Долгие годы почти все журналисты называли неофициальных русских художников абстракционистами и путем аналогий с нынешним западным авангардом и великим русским экспериментом 20-х годов старались уложить их творчество в рамки привычных понятий, доказать его вторичность и отсутствие в нем самобытности.

Параллели и сравнения подобного рода неправомерны. В то время как западные живописцы, которым никто не мешал, занимались формотворчеством, их советские сверстники в условиях губительной несвободы перекидывали мостки к насильственно прерванным традициям 20-х годов, возрождали растоптанную культуру. Если на волнах надежд, которые, казалось, несла грозная революция, когорта русских мастеров совершила кардинальную реформацию в искусстве, то на такую роль современные русские нонконформисты не претендуют и претендовать в условиях подавления личности и почти полного отсутствия информации о последних тенденциях в живописи, не могут. Да у них и задачи другие: как сохранить лишь недавно воссозданное? Как устоять против непрерывных атак соцреализма? Как правильно выбрать позицию в борьбе Добра и Зла? Глубокой,

напряженно-духовной жизнью, рожденной реальной российской ситуацией, живут нонконформисты. И лишь в какой-то степени осознав эту ситуацию, ее многостороннее влияние на их творчество, можно без предубеждения вглядеться в полотна, раскрывающие совершенно особое мироощущение, связанное с условиями работы и самого существования, с решением моральных и нравственных задач, которые на Западе не ставились вовсе.

Что касается термина "абстракционисты", то он совершенно не точен. Русское неофициальное искусство намного разнообразнее: тут и экспрессионизм, и концептуализм,и поп-арт,и сюрреализм,и примитивизм...

Владимир Вейсберг. Он старше остальных, ему за пятьдесят. Первый период своего творчества, где ощущается прямое влияние Сезанна и Матисса, художник называет "чувственно-эмоциональным". Но уже давно он пришел к выводу, что цвет как фактор психологического воздействия на зрителя, исчерпал себя, что мастера прошлого извлекли из него все возможное.Будучи по натуре философом-исследователем,Вейсберг научно обосновывает свое воззрение и стремится добиться в картинах полного отсутствия цвета. Новый период, раскрывающийся в стиле "белого на белом", автор определяет словами "чувственно-рациональный".Эмоции обузданы разумом. В его натюрмортах не предметы, а лишь нюансы. Кубы, шары, рюмки, свечи как бы только угадываются. С помощью всей палитры он создает действительно стерильно-белые холсты. Ощущение такое, словно находишься в пустой больничной палате, где не то чтобы живого существа, но и грамма нестерилизованного воздуха нет. И в то же время эта чистота напоминает храм - что-то умиротворяющее и высокое. Вейсберг - одна из наиболее бесспорных величин среди нонконформистов. Если о достоинствах тех или иных спорят, то о нем двух мнений не существует. Олег Целков, мастер тоже крупный, но абсолютно иной, прямо противоположный по отношению к форме и выбору объектов изображения, сказал:

- Вейсберг выдерживает почти бесконечное вглядывание в него. И это удивительно, ибо встречается край-

не редко. В отличие от нежных построений Вейсберга сам Целков ошеломляет режущими глаз красками. Он обычно использует всего лишь две-три, а часто его огромные композиции заполнены только огнедышаще-красной. В течение пятнадцати лет художник во многих картинах практически пишет одну - социальную и одновременно философскую, потому и прибегая к элементарным лекальным линиям и минимально несложной цветовой гамме, чтобы мысль его достаточно легко воспринималась. На всех полотнах - люди с низкими лбами, тяжелыми подбородками, облысевшие, с перекошенными мордами фанатиков, которые, раззевая пасти с остатками полусгнивших зубов, то ли восторженно кричат, то ли поют.

В этих уродах - и мерзость, и неистребимая уверенность в собственном могуществе. Художник вроде бы и отвращается от них, и любуется ими - силища-то какая! В основе подобной двойственности философия неприятия человека и человечества и в то же время факт признания неотвратимости его существования. Целков признается: "Я не испытываю к людям ни презрения, ни жалости, ни сострадания. Они для меня олицетворяют физическую жизнь, и я даже отношусь к ним со странным восторгом, как путник, который, глядя на кипящий вулкан, восклицает: "Ух, ты!"

Социальный протест художника направлен не против конкретного, скажем, советского общества, не какой-нибудь нации или расы, но против человечества вообще - вне времени и пространства. Гении типа Достоевского или Эйнштейна - для него выродки, которые тщетно пытаются удержать неисправимое племя от самоуничтожения. Они кричат ему: "Опомнись!" Но это все равно, что предостерегать собак или кошек - бессмысленно.

"Любимцем московской интеллигенции" называют Дмитрия Краснопевцева, натюрморты которого отличаются сдержанным колоритом, строгостью линий и лаконизмом. Вся его квартира заполнена старинными книгами и кувшинами, высушенными морскими звездами, раковинами, причудливой формы камнями. Эти предметы, в зависимости от своего эмоционального состояния, он видит каж-

дый раз по-иному и неустанно включает в композиции, поражающие редкой пластической завершенностью.

Краснопевцев выбрал камерный жанр натюрморта неслучайно: последний предоставляет наибольшую независимость от погоды ли, от настроения ли модели. И, конечно, аскетичные натюрморты - не ломящиеся под яствами столы, не символы быта, а нечто отрешенное, вечное, - это уход от лживо-оптимистических будней соцреализма, жажда замкнуться в сфере излюбленных тем и незыблемых вещей. Если Олег Целков ведет непрерывный диалог с человечеством, то Дмитрий Краснопевцев предпочитает его не замечать.

Прекрасному художнику Борису Свешникову поначалу не только выбирать, но и задуматься не дали,привлекательнее ли контакты с себе подобными или предпочтительней уход в себя. В 1946 году его, тогда студента первого курса Московского института прикладного и декоративного искусства, ложно обвиненного в антисоветской пропаганде, бросают в кафкианский мир сталинских лагерей. Но - вот она, диалектика жизни! - в то время, как на воле художники захлебывались в омуте соцреализма, бесправный зека Свешников, чудом уцелевший на общих работах,ставший ночным сторожем в деревообрабатывающем цехе и прилепившейся к нему небольшой художественной мастерской, оказывается творчески раскрепощенным. "Это было совершенно свободное искусство, - вспоминает он. - Я получал пайку хлеба и занимался живописью. Никто меня не направлял. Никто мной не интересовался". Писать приходилось по ночам, во время дежурства.Краску, бумагу, холсты сторож получал от трех подневольных художников, которые изо дня в день штамповали копии для продажи трудящимся, "Утро в сосновом лесу" Шишкина и Васнецовских "Трех богатырей" и "Аленушку". Свешникова тоже приспосабливали к этому труду, но не добившись толку, оставили в покое. И фантасмагорическая лагерная жизнь, смешавшись в подсознании с фантасмагориями Гофмана и Босха, царила на картинах и бесчисленных рисунках. Любопытно,что очутившись в 1956 году на свободе, Свешников растерялся и почти восемь лет плутал в поисках пути.

Для него творить, - всегда было переживать действительность. И потребовалось время, чтобы в нее, иную, вписаться, тем более, что холодное дыхание лагерей вновь и вновь настигало его, и на холсты опять ложились зябкие бескрайние северные равнины и затерявшиеся в них человеческие фигурки.

В нынешних картинах серо-блеклые тона сменились голубовато-зелеными, техника старых фламандцев - пуантелистической. Появилась символика нереальной реальности, выражающая философию тщеты существования, неотвратимости конца, осознание непреложности одиночества каждого человека. Отсюда и сюжеты: "Люди с портфелями", неправдоподобно толстые или тощие, сгорбленные, бессмысленно бредущие с кладбища на кладбище; мрачная "Прогулка" - она с мертвым цветком, он - с вцепившейся в палец крысой; безумное "Утро", где крысы (свешниковский символ распада) копошатся рядом с улыбающейся женщиной, которая смотрится в зеркало-луну, не понимая, что в ней уже отражается череп мертвеца. И почти на всех картинах - едва заметное чужое сытое лицо соглядатая, его всевидящие хищные глаза. Даже горький сюрреалистический мир не принадлежит себе - и он поднадзорен!

Возможно, более всего к Свешникову относится вопрос другого значительного современного московского живописца, Лидии Мастерковой: "Нужно ли говорить о надрыве русского человека?" и ее слова о чувстве гибели планеты, постоянном ощущении рока, наполняющем сознание и становящемся неотъемлемой частью бытия. Мастеркова в полной мере испытала влияние этих факторов. Обреченная обществом на изоляцию, она отворачивается от него, погружаясь в свой внутренний мир. Первый этап - абстрактный экспрессионизм. Тяга к открытым цветам и композициям. Большие полотна, на которых художник сладострастно орудует всей палитрой. Позже формальные задачи волнуют все меньше и меньше. Привлекает духовное начало. Рождаются картины-коллажи со старинными богатыми тканями, кружевами и парчой из заброшенных храмов. Энергичные композиции одеваются в теплые тона с мягкими переходами золотого

в коричневый и хрупкими плетениями серебряных нитей. Чудится, что все это проникнуто мистикой веков.

Осенью 1967 года период относительной душевной удовлетворенности обрывается как под влиянием личной жизненной ситуации, так и общественных катаклизмов. Холодные белые и черные цвета с модуляцией фиолетового и синего знаменуют время, когда Мастеркова целиком замыкается в себе. В последних ее работах чувствуется просветление. Стремительно пересекаются плоскости, коричневые, зеленые, белые, смутно напоминающие русские просторы, проносящиеся за вагонным окном, наталкиваются на устойчивые белые круги с цифрами - выстроенными в схему планетами. Величины или бесконечно малые, или бесконечно великие. Средних нет. Темные формы воплощают чувственное восприятие, светлые - стремление к высшей духовности, к Богу.

Люди, не знакомые с положением вещей в СССР, недоумевают, когда узнают о запрещении выставлять холсты этих или им подобных художников. В их картинах ведь нет ни социального протеста (исключая Оскара Рабина), ни призыва к свержению строя, ни антисоветских лозунгов. Но дело не в тематике картин, не в их сюжетах, а в чем-то, с точки зрения власть предержащих, большем, отчего модернистская живопись представляется крамолой, которую необходимо искоренить. Суть проблемы в том, что СССР - своего рода "религиозное" государство. Его единственная чудовищно-нетерпимая "религия" - марксизм-ленинизм. Выражение последнего в литературе и искусстве - социалистический реализм. Отказ от его догм немедленно рассматривается как несогласие с руководящей идеологией, а это категорически недопустимо.

Кроме того, власти опасаются цепной реакции. Сорок лет повторялось, что социалистический реализм - высшее достижение человеческого духа в области искусства, что никаких других течений в СССР нет и не может быть. В 1963 году во время выставки Леже в Москве "Литературная газета", предостерегая молодых живописцев, писала, что такой модернизм у художника-

коммуниста в буржуазной Франции естественен, так как капиталистическое общество полно противоречий и катаклизмов. В нашей же стране в атмосфере всеобщей дружбы и братства столь механизированная живопись смотрится как подражание, как кривляние. Для нее пригоден лишь соцреализм.

И что же, вот теперь опровергать собственную пропаганду и выставлять нонконформистов? А что потом?Композиторы скажут:

- Если возможна иная несоцреалистическая живопись, значит, возможна и другая музыка.

Писатели скажут:

- Значит, возможна и другая литература.

Философы скажут:

- Значит, возможна и другая философия.

Последствия неисчислимы. И верно ведь: после измайловской 1974 года выставки, о которой разговор особый, ко мне обратились музыканты московского диксиленда (разрешенные было концерты советских джазовых ансамблей три года назад опять запретили) и просили организовать их выступления. Тогда же ленинградские поэты потребовали дать им право провести вечер поэзии без предварительного просмотра стихов цензурой.

И, наконец, последнее, самое элементарное. У нас, у хозяев, сила! Нам эта живопись не нравится! Неужто же мы уступим кучке бунтовщиков? А эти настырные своевольники (гонишь в дверь, а они - в окно) не унимаются, умудряются открывать выставки. Едва это безобразие пристукнешь, разражается скандал. Весь мир кричит: "Несвободная страна!"

Так разве ж всех этих причин недостаточно, чтобы понять, что горстка свободных художников оправданно вызывает звериную злобу коммунистических заправил, вынужденных сдерживаться из-за нынешней внешней политики мирного сосуществования, но временами срывающихся, как это случилось 15-го сентября 1974 года в Москве, когда вынесенные для показа на открытом воздухе картины уничтожались бульдозерами.

АТМОСФЕРА НАКАЛЯЕТСЯ

"Было бы величайшим заблуждением верить, что власть насилия может существовать вечно"
Александр Солженицын

"Московский художник" - многотиражка.В киосках она не продается. Поэтому я надеялся, что широко ее не прочтут. Но кто-то находчивый разослал номер от 26 мая по всем редакциям центральных газет и журналов.Это было руководство к действию. Отныне в столичной периодике меня не печатали. До сих пор остается загадкой, почему обошли стороной издательства - основные мои гонорары шли от них. Во всяком случае,это нужно было использовать.

Я трудился во-всю, торопясь, пока передо мной не захлопнули все двери. В сентябре 1967 года впервые полетел в Ташкент. Мне чудилось, что чем в больших местах я буду брать переводы, тем устойчивей будет подо мной почва. И еще был расчет.Зная, что неизбежна расплата за выставки и за постоянную домашнюю экспозицию, я спешил по возможности максимально расширить коллекцию, включая в нее все достойные имена, и, конечно,купить кооперативную квартиру. В одной комнате и не развернешься, и соседи ворчат, что, мол, за музей устроил, с утра до вечера чужие люди шляются, а среди них вдобавок иностранцы.

Ко мне зарубежные корреспонденты и дипломаты начали наезжать с весны 1967 года, то-есть с появлением коллекции. Да и я бывал у них часто.

Мои активные контакты с иностранцами обеспокоили Лубянку, и там подстерегали лишь удобный случай, чтобы прицепиться. Он вскоре представился. 9 октября мы с Майей отмечали годовщину свадьбы. Среди гостей был

и американский дипломат Джон, очень молодой, очень веселый и непосредственный. Он извинился, что без жены, ей пришлось остаться с ребенком, так как няня,наша соотечественница, напилась. И, понизив голос, с огорчением добавил:

– За мной хвост. Не смог оторваться.

Велика новость!

– А банджо с тобой?

– А как же!

Никто из нас не сообразил, что американцы привыкли пить виски с содовой, а на столе – семидесятиградусная домашняя грузинская водка – чача. Джон чувствовал себя хорошо, вместе с нами пел,подыгрывал на банджо, но вдруг ни с того ни с сего поднялся и отчетливо произнес:

– Кажется, я пьян! – и упал. Его уложили, и он уснул. К двум часам ночи все гости, кроме Оскара и Вали, разошлись, а Джон спит, как младенец. Будим – не просыпается. Может,под холодный душ его и кофе покрепче приготовить? Не помогает.Американец пьет кофе и жалобно посматривает на кровать. Глаза у него слипаются. И, как нарочно, он начисто забыл русский. Упрашиваем позвонить домой, предупредить жену, что задерживается. Не понимает. Позвонили бы сами, да английского не знаем. В 6 утра стук в дверь. За дипломатом приехал его коллега. Оказывается, уже в третий раз.Жена Джона беспокоилась и послала приятеля на поиски. Ночью он не достучался. Протрезвевший Джон выглядел подавленным.

А в 11 ко мне пришли двое из органов госбезопасности. Один помоложе, отъевшийся битюг. Второй постарше, поинтеллигентней.

– Что это вы, Александр Давидович, такой сабантуй устроили? Ваши соседи нам позвонили, мол,всю ночь иностранные машины спать не давали.

Не считая происшествия в Тбилиси, я с КГБ никогда носом к носу не сталкивался. Не оступиться бы!

– Как же соседи в темноте с четвертого этажа могли разглядеть, чьи машины на улице? Всем известно,что вы за каждым дипломатом ездите. Чего зря хитрить?

Заходят с другого конца.

- У вас ночевал американский дипломат?

- Да.

- Напился, что ли?

Я простодушно:

- Нет, не напился. Всего рюмку чачи выпил.Но она крепкая. Вот я его и не отпустил.Еще разобьется на машине.

- А с какой стати он вообще у вас был?

- Так у нас же семейный праздник! Вот и пригласили. Свой парень. На банджо здорово играет.

- А все-таки соседи видели, как его с трудом спускали по лестнице.

- Честное слово, ерунда!Утром он был трезвей нас с вами.

Встрепенулся:

- Выходит, что вечером был пьяный?

Осторожней, осторожнее с ними надо! И сухо:

- Он одну рюмку выпил.

Мой "следователь" с остервенением что-то пишет. Потом протягивает бумагу:

- Прочитайте и подпишите.

- Ничего подписывать не буду.

- С ваших же слов записано!

- Все равно.

- Но почему, если это правда?

- Потому что я против своих гостей показаний не даю.

Отступился. А начальник:

- Мы вам советуем американских дипломатов к себе не пускать. Они шпионы.

- У меня же не секретный завод.Люди картины смотрят.

Веско:

- Вы не забывайте про идеологический шпионаж.

Лавирую:

- А французов?

- Французов, пожалуйста! Они же наши друзья.

- А завтра приедет бразильский посол в сопровождении американского дипломата.

- С послом пустите.

Он, кажется, верит, что убедил меня.

- Я так не могу. Всех принимать, а американцев нет. Что за дискриминация?

- Вы им и не отказывайте.Они же,прежде чем ехать, звонят. Объясните, что сейчас заняты.Освободитесь,тогда позвоните. Сами же не звоните. Дипломаты народ вежливый. Второй раз напрашиваться не станут.

Строю оскорбленную мину:

- Значит, они вежливые, а я должен быть хамом? Лучше вы изложите мне письменно, чтобы американцев не пускал.

Он резко отодвигает стул, на котором сидел:

- Мы вам дружеский совет даем. А вы поступайте, как хотите.

Молодой многозначительно:

- До свиданья. Мы еще зайдем...- И к выходу друг за другом, как волки. Сущие волки!

До чего ж они американцев невзлюбили! Как хотели заполучить мою подпись! Подходящий был бы для них документик. Пристроили бы в прессу, дескать, какой позор! Приехал дипломат США в советский дом, вдрызг напился и набуянил. На черную краску не поскупились бы! С американской корреспонденткой и похуже поступили.Подошел к ней на улице скромный юноша. Попросил выслушать. Присели в кафе, взяли лимонад. Очнулась она уже у себя в постели. Ничего не помнит. А произошло вот что: юноша подкинул ей в лимонад снотворное (это позже показал анализ), отвез заснувшую женщину в вытрезвитель, кинул рядом с пьяными проститутками, сфотографировал, а потом позвонил в американское посольство:

- Приезжайте и посмотрите на вашу журналистку!

К счастью, провокацию во-время разоблачили,и гебистские попытки опубликовать дискредитирующие фотоснимки в западных газетах оказались несостоятельными.

Первая встреча с посланцами Лубянки не привела к каким-либо видимым последствиям. Скорее всего в ту пору гебисты полагали, что живописцы не первостепенный объект для подавления. Коллекционера чуть-чуть приструнили, и достаточно. Они даже припугнули меня еще и

окольным путем. Вызвали на допрос по какому-то поводу Эдика Штейнберга и будто между прочим: "Вы - художники. Вы должны продавать свои картины.Поэтому иностранцев принимаете и к ним ходите. А Глезеру что надо?Пропагандой занимается? Мы, кстати, недавно установили, что все его переводы - плагиат." Глупость,конечно. Зато меж художниками поползет слушок,достигнет ушей Глезера, и сообразит он, что с нами лучше не связываться. Но меня эти акции только раззадорили. Все шире и шире я показывал коллекцию и, мало того, стал собирать материал для книги о неофициальном искусстве.

Наступил 1968 год.Десять лет назад затравили до смерти Пастернака, и не раздалось ни одного протестующего против этой гнусности писательского голоса.Слишком свежа была в памяти сталинская эпоха, не исключалась вероятность возвращения к ней, и среди писателей считалось геройством уже не притти на собрание-судилище, не подписаться под осуждением великого русского поэта, под крикливым настоянием выгнать его из России.

"... Наша общественная жизнь, - писал в 1836 году в письме к Чаадаеву Пушкин, - грустная вещь... Это отсутствие общественного мнения,это равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью и истиной, это циническое презрение к человеческой мысли и достоинству - поистине могут привести в отчаяние."

Сто с лишним лет спустя никому не пришло бы в голову поверять бумаге подобные самоубийственные мысли. За гораздо меньшие грехи совсем недавно людей арестовывали и уничтожали. В пушкинской России была неполная свобода. В Советской - полное рабство. Пастернак не мог рассчитывать на поддержку общественного мнения. Такового не существовало. Но уже в 1965 году власти с неудовольствием и страхом обнаружили, что,казалось бы, навсегда стертое с лица русской земли,оно возродилось.

Так как общественность выступала с правовых позиций, обвиняя власти в нарушении собственной конституции и ими установленных порядков, то ради того, чтобы поставить преследования диссидентов на рельсы законности, в "Уголовный кодекс СССР" еще 16 сентября 1966 года были внесены новые статьи - 190^1 и 190^3. Первая

из них гласила: "Систематическое распространение в устной форме заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно изготовление или распространение в письменной, печатной или иной форме произведений такого же содержания - наказывается лишением свободы на срок до одного года или штрафом до ста рублей." Вторая предупреждала: "Организация,а равно активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок или сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, или повлекших за собой нарушение работы транспорта, государственных, общественных учреждений или предприятий, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет или исправительными работами на срок до одного года, или штрафом до ста рублей."

Весьма удобные,с туманными формулировками статьи, которые сильные мира сего способны толковать, как им заблагорассудится.

Наряду с судебными преследованиями, венчающимися отправлением наиболее активных инакомыслящих в концлагеря, тюрьмы и психбольницы, в 1968 году начинают широко применяться и внесудебные. Подписантов, привязанных к определенной службе, - редакторов, научных сотрудников, журналистов, учителей - выгоняют с работы. Нашей знакомой, талантливому биологу,не дали защитить уже подготовленную докторскую диссертацию, уволили из научно-исследовательского института. Несмотря на высокую квалификацию, ни на какое другое место не принимали. Вынудили пристроиться где-то в Туле,и каждый день около пяти часов она проводила в дороге.

Подписантов писателей и ученых по-одиночке привлекают на беседы в кабинеты с тяжелыми плотно прикрытыми дверями, требуют публичного раскаяния, преграждают доступ к издательствам. По два, по три года маринуют уже набранные книги.

Эта тактика имела успех. Легальная оппозиция среди писателей и ученых быстро таяла. В 1969 году вместо сотен протестующих остались десятки. И как раз тогда оживился наш локальный фронт.Для надзирающих за ху-

дожниками это было полной неожиданностью.

В 1967 году после выставки в клубе "Дружба" горком партии состряпал инструкцию, по которой все выставки должны были предварительно просматриваться и одобряться МОСХом. Ни одной экспозиции модернистов Союз художников допустить не мог. А без его разрешения никто из директоров клубов организовывать выставку не дозволял. У всех перед глазами была судьба Лидского. Его вышвырнули из "Дружбы" с волчьим билетом, иными словами, с запрещением пребывать на самом ничтожном руководящем посту. Наверху представлялось, что гайки закручены намертво. Однако однажды сорвать их удалось. В феврале приезжают ко мне гости из Института мировой экономики и международных отношений:

- Хотим устроить выставку.

- Опасно же!

- Знаем.

И откуда они взялись, такие храбрецы! Не сдрейфят ли в последнюю минуту? Но в нашей ситуации подолгу размышлять не приходится. Рискнем. А экономисты-международники нацелились показать пять художников.

- Больше не поместится. Зал у нас маленький.

Отобрали Рабина, Свешникова, Немухина, Плавинского и Льва Кропивницкого. 10-го марта утром выставка открывается. Институтские на нее валом валят. И знакомые художников, в том числе и зарубежные корреспонденты, тут. Проходит сорок пять минут, и влетает секретарь организации.

- Прошу срочно очистить зал и унести картины! Мы проводим партийное собрание.

Стандартная оговорка. О чем же ты раньше думал, незадачливый парторг? Тебя же заранее уведомили о выставке. Прошляпил! А твой же подчиненный позвонил, куда следует, и сейчас ты должен выкручиваться, из кожи вон лезть, чтобы отделаться всего лишь партийным выговором. А мы не унываем. Мы и не рассчитывали, что экспозиция продлится на много дольше. У нас другая в запасе, которую не закроешь. Я говорю о выставке в день новоселья, у меня на дому, на кооперативной квартире, которую мы все-таки нашли.

Конечно, хоть и первый этаж, без приплаты, без взятки начальнику одного из строительных управлений не обошлось. Принимая деньги, он как бы оправдывался:

– Это не все мне. Я с председателем вашего кооператива делюсь.

А дом-то у нас композиторский, а председатель романсы на слова Пушкина пишет. Да романсы нынче не ходкий товар, вот он и прирабатывает. Ну, Бог с ним! Очень уж мы в этот дом стремились попасть. Он ведь в одном дворе с Оскаровым, на Преображенке.

Мы перебрались сюда в апреле, а в начале мая я устроил новоселье-вернисаж, на который пришло двести с лишним человек – художников, поэтов, зарубежных дипломатов и журналистов. Во дворе дежурили сумрачные гебисты. Близок локоть, да не укусишь! Иностранцы хай поднимут.

Только через три месяца, и то в чужом обличье, наведалась тайная полиция. Ни свет ни заря, как полагается, двое, мужчина и женщина, разбудили меня звонком.

– Мы фининспекторы.

И за вопросом вопрос: – Сколько у вас картин? Какова их стоимость! Откуда у вас деньги для покупки?

Поясняю. Предъявляю справки о гонорарах.

Мужчина враждебно:

– Не могут картины так дешево стоить!

– А вы проверьте у художников.

Подает голос и баба:

– Народу много у вас бывает?

– Много.

– Вы, случайно, не берете деньги за вход?

– Случайно, не беру.

– И картины не перепродаете?

Я уже раздраженно:

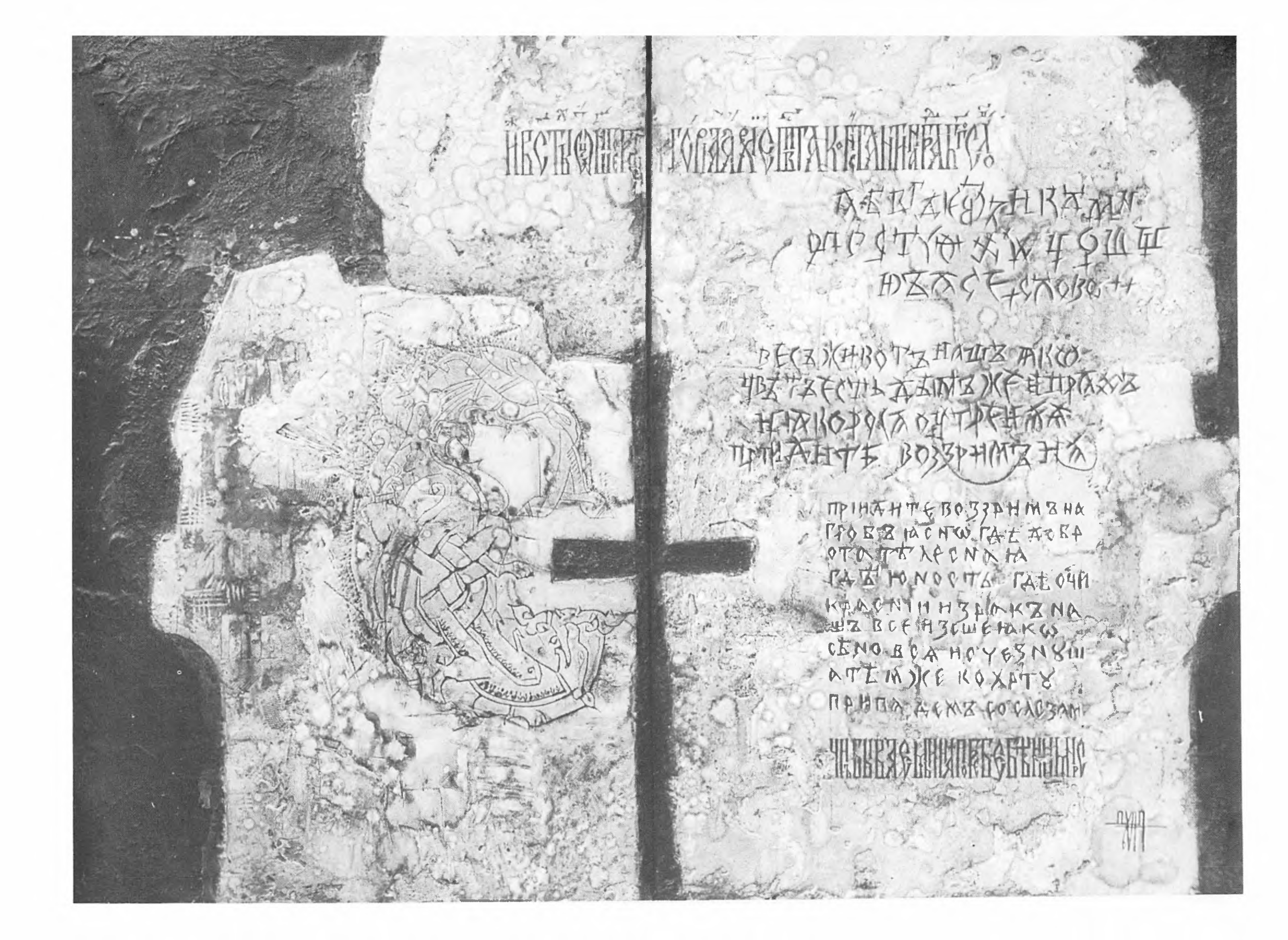
– Спекуляцией не занимаюсь!

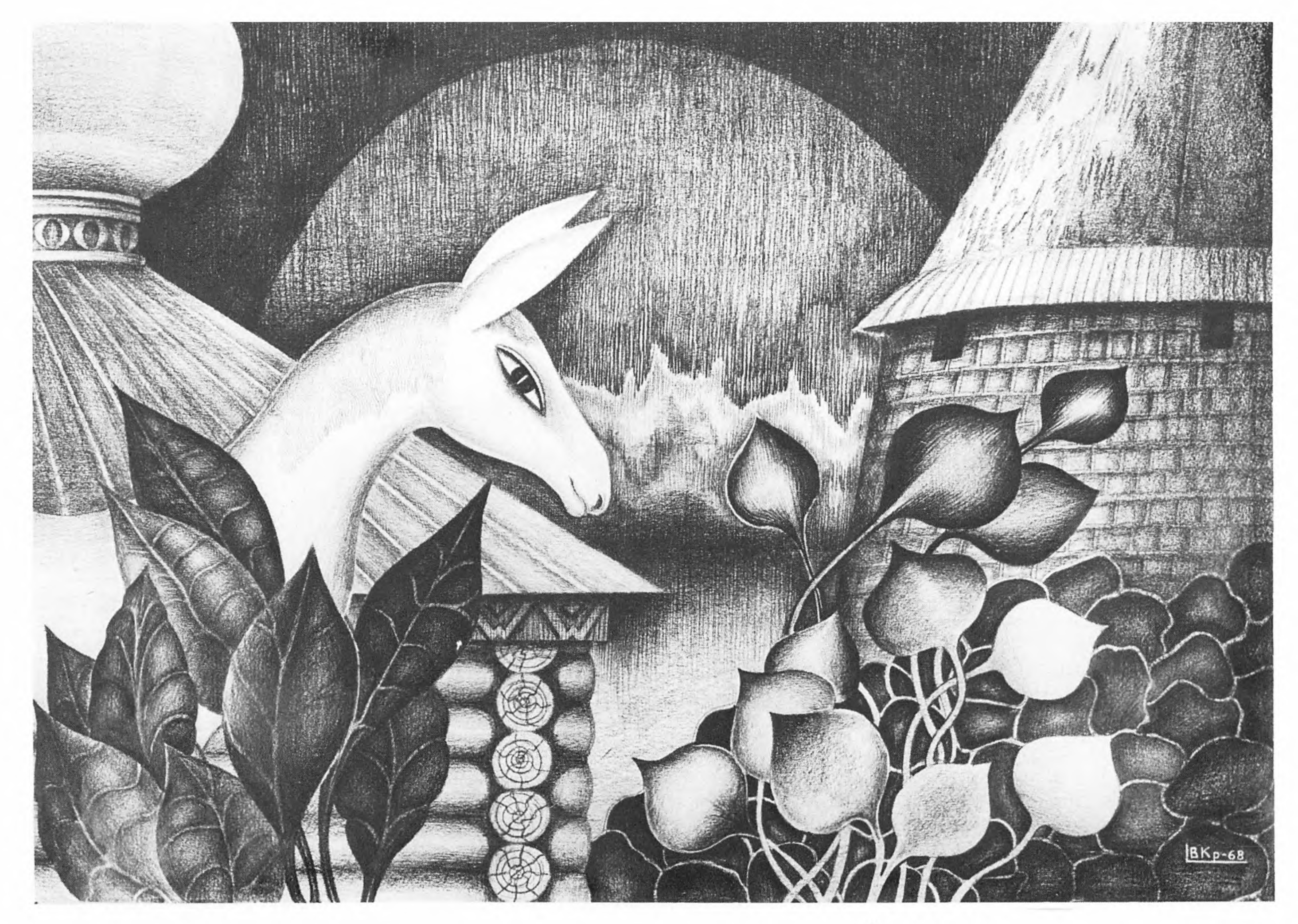
Мужчина, спуская на тормозах:

– Зачем нервничать? Мы на службе. Мы обязаны учесть ваши возможные доходы. – И после паузы: – Телефона у вас, кажется, нет. Через кого же вы со зрителями договариваетесь, о времени их приезда уславливаетесь?

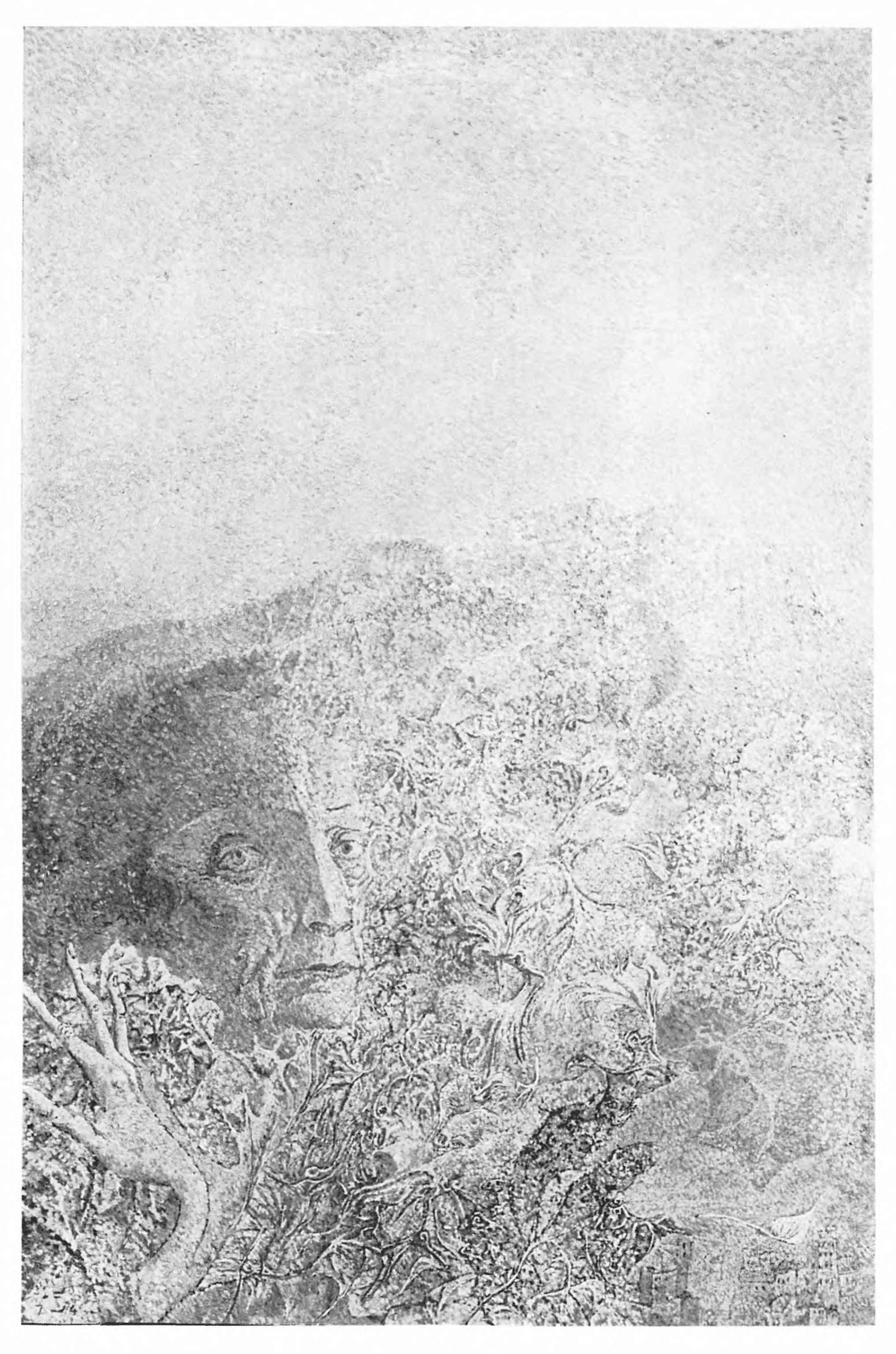


Вячеслав КАЛИНИН "Поминки"

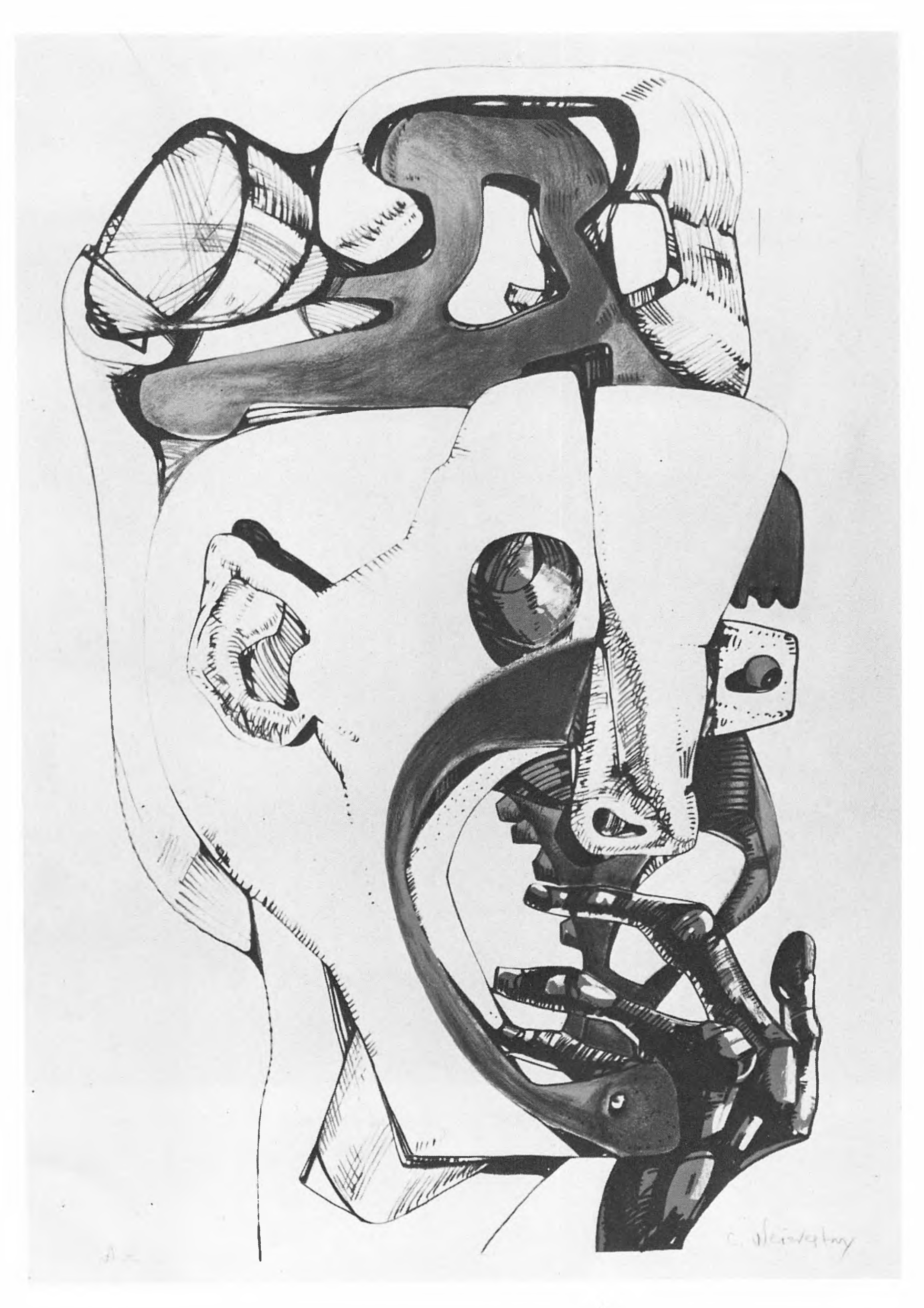




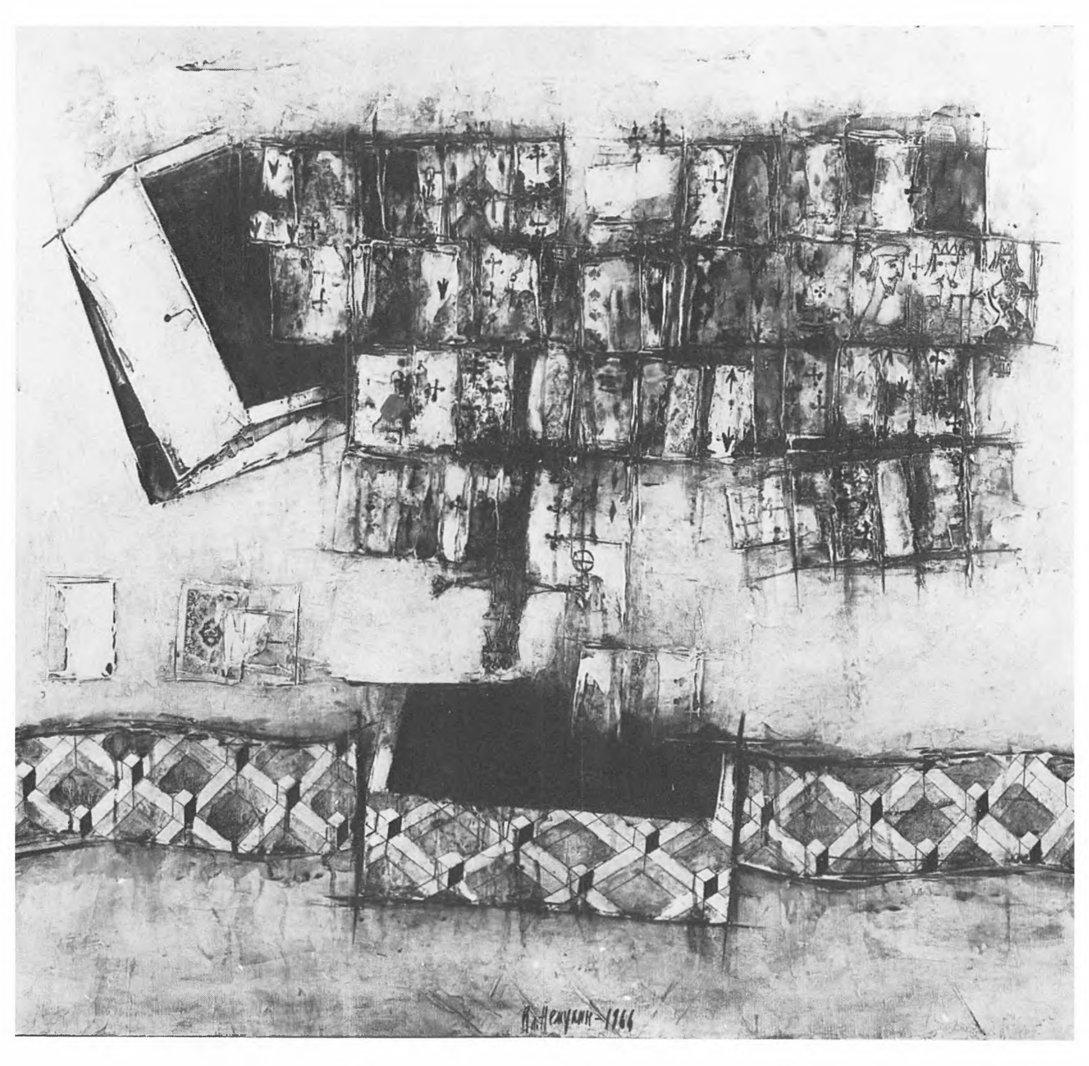
Валентина КРОПИВНИЦКАЯ "Белая лошадь"



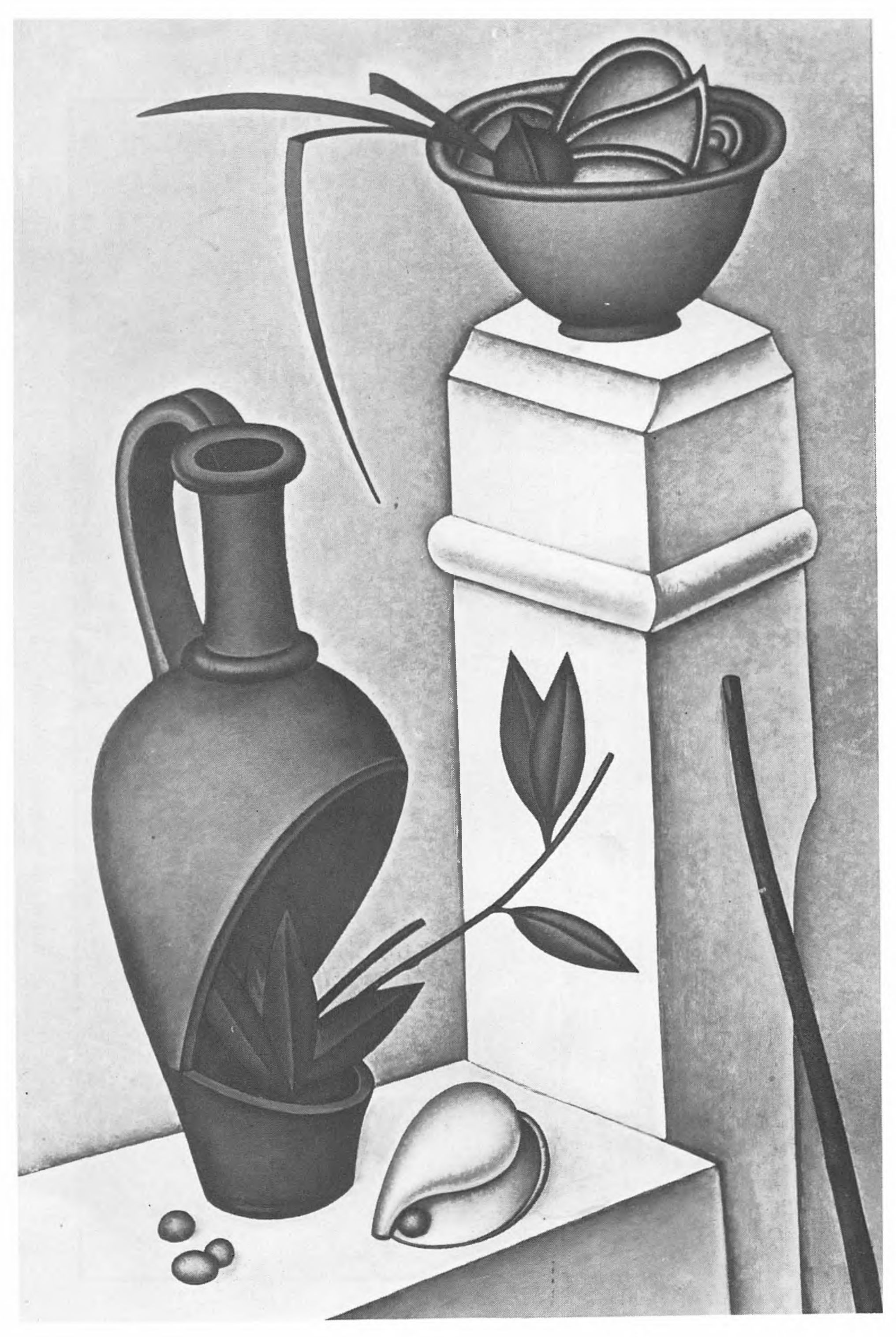
Борис СВЕШНИКОВ "Соглядатай"



Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ "Голова"



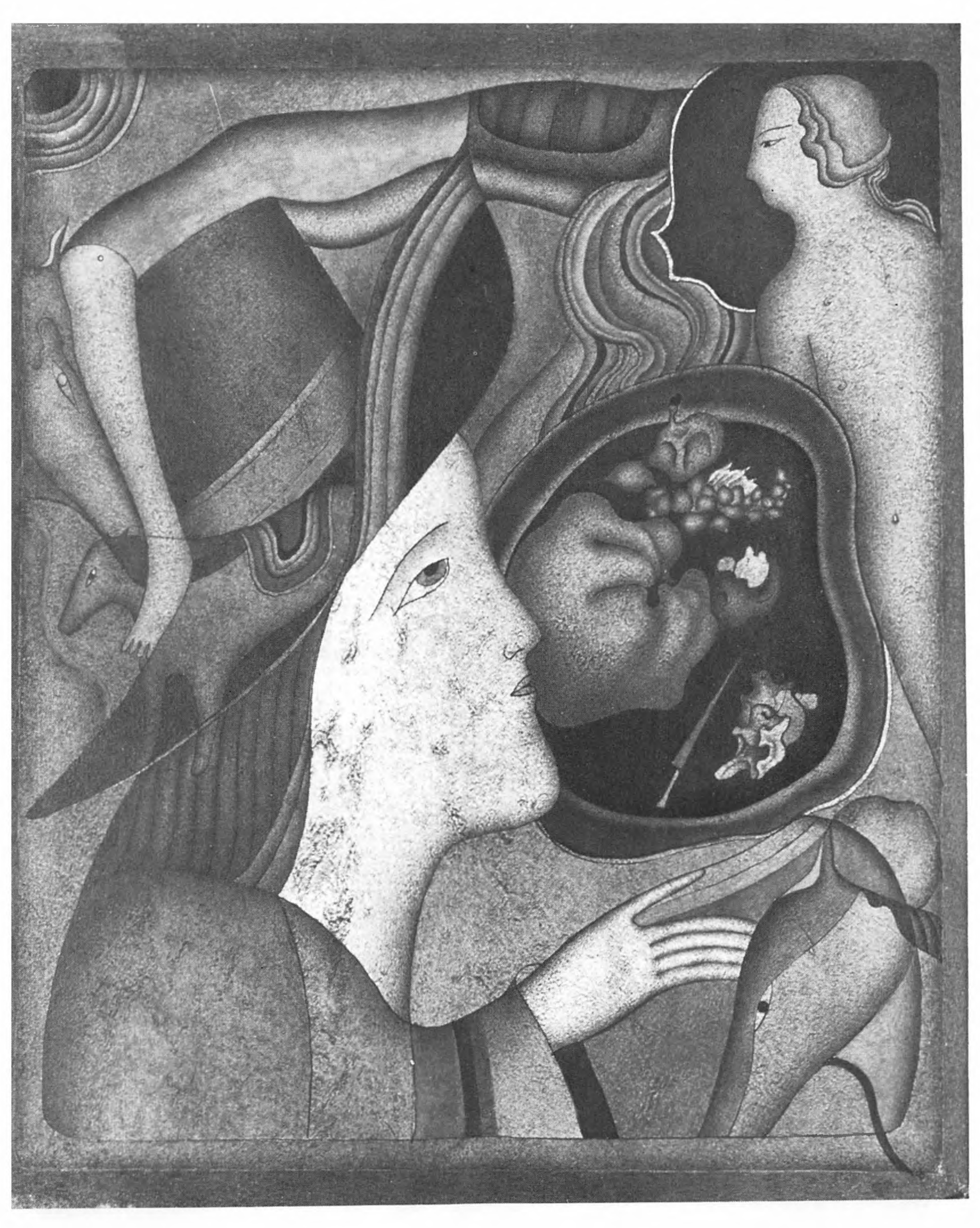
Владимир НЕМУХИН "Незаконченный пасьянс"



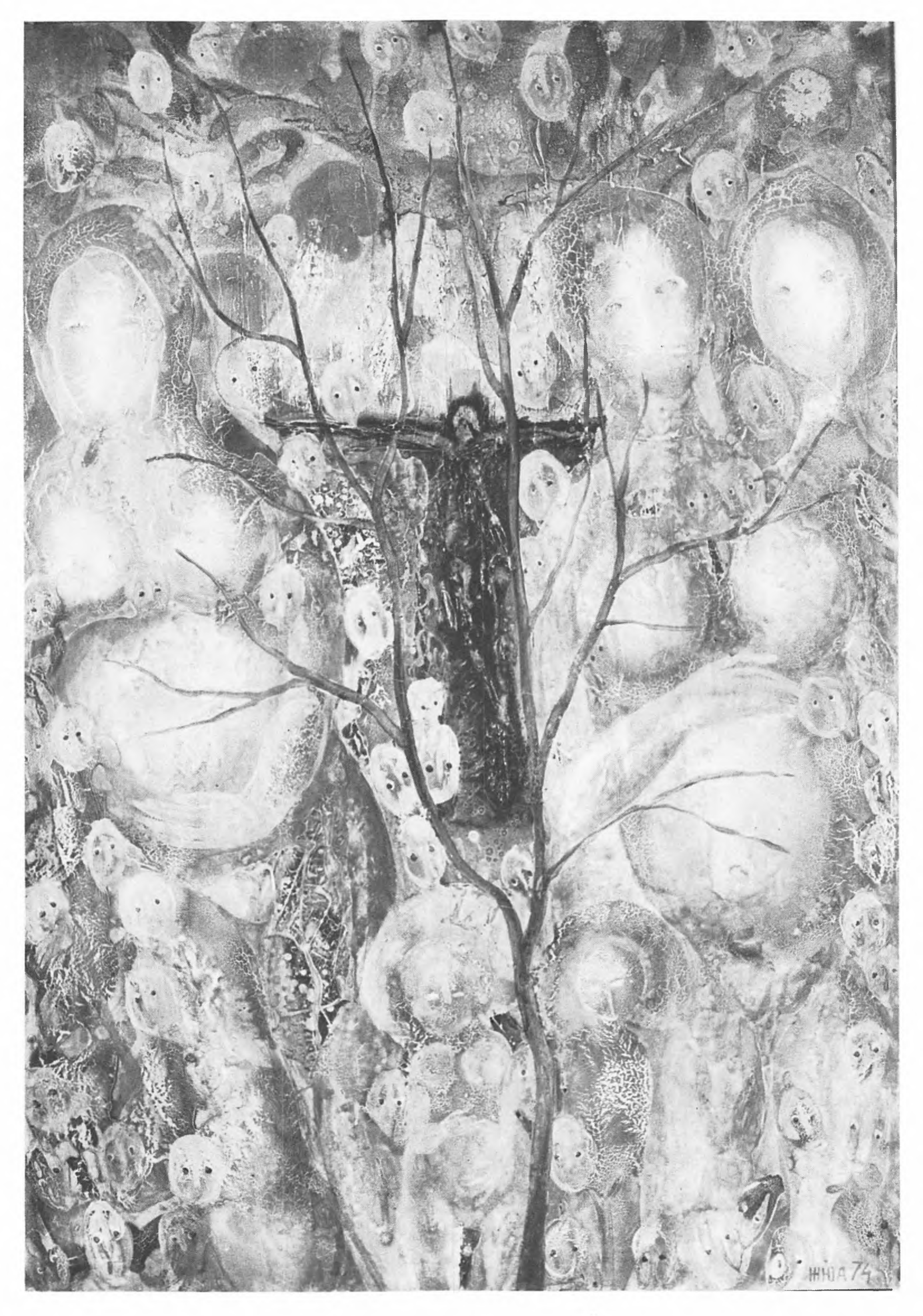
Дмитрий КРАСНОПЕВЦЕВ "Натюрморт"



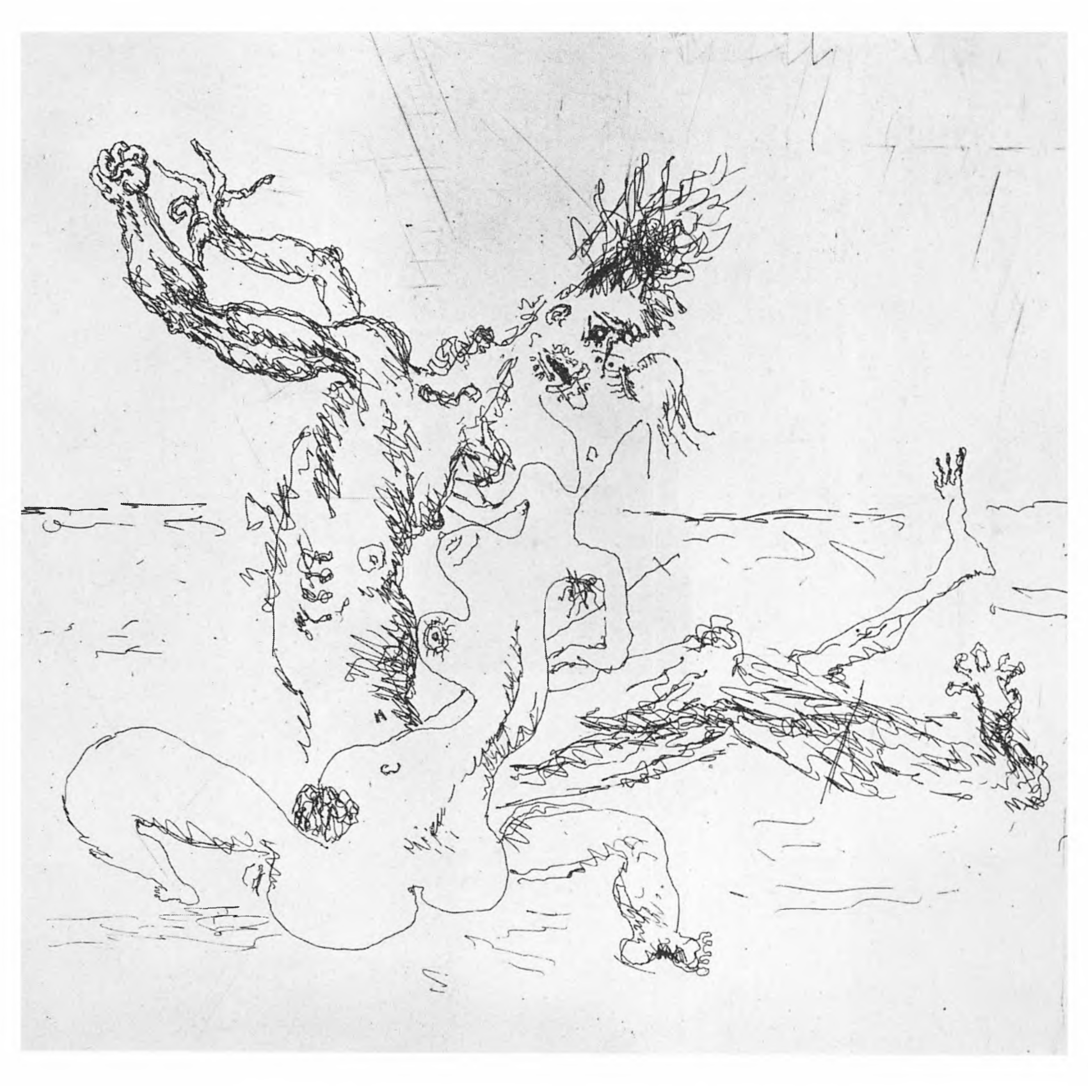
Анатолий Зверев "Портрет Александра Глезера"
2 января 1975 года



Михаил ШЕМЯКИН "Воспоминание о Петербурге"



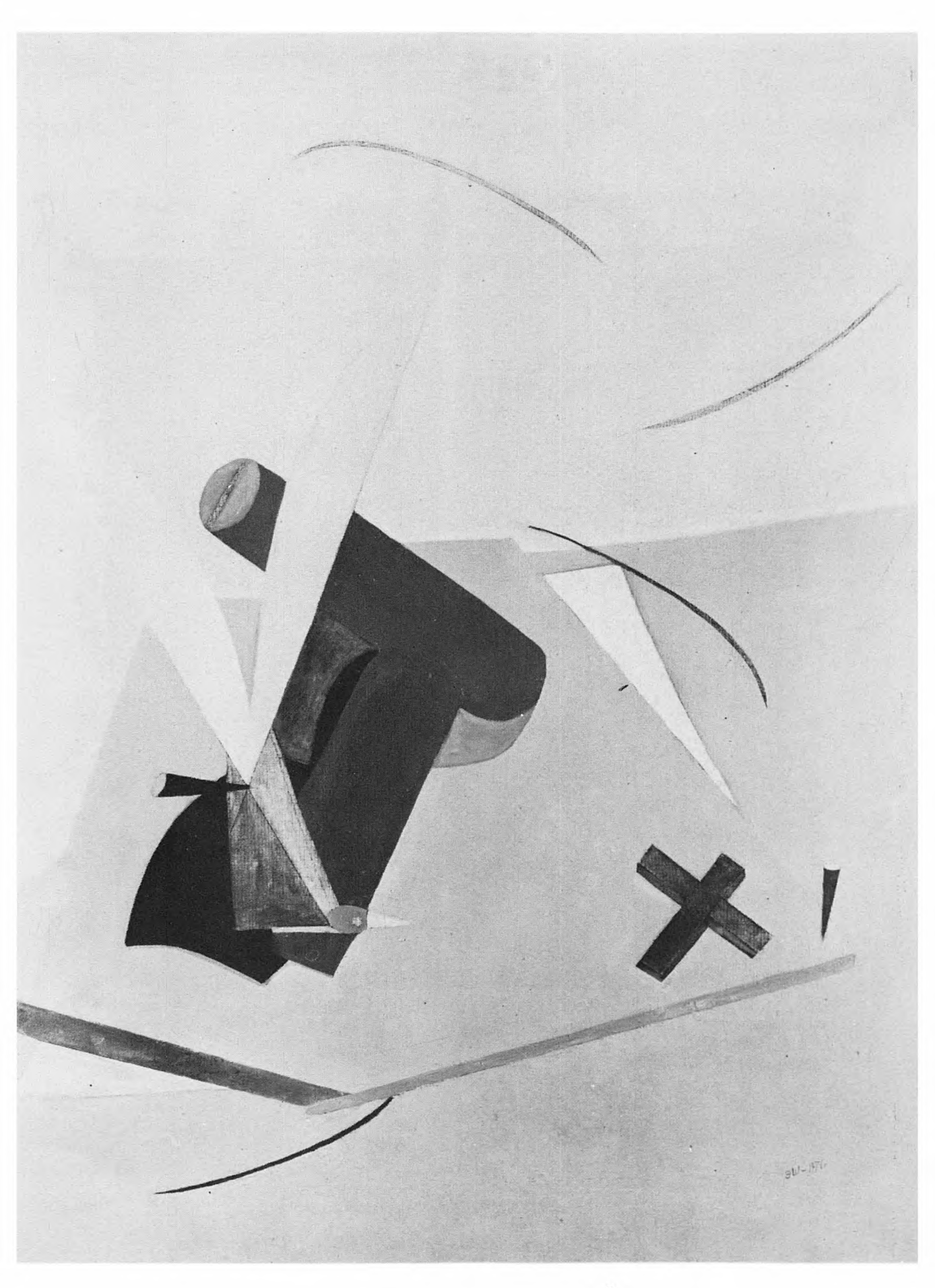
Юрий ЖАРКИХ "Беременные"



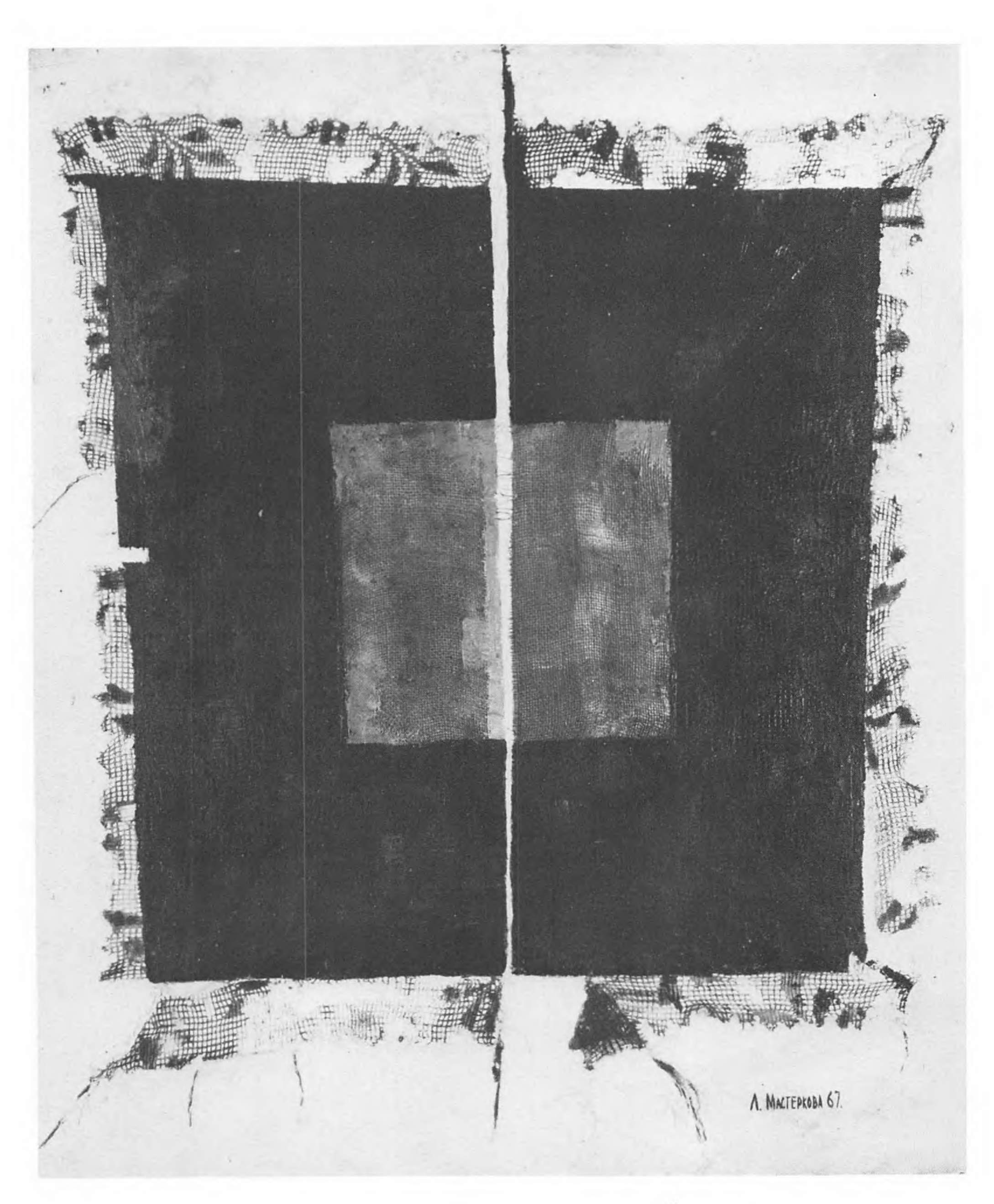
Владимир ЯНКИЛЕВСКИЙ. Из цикла "Анатомия чувств"



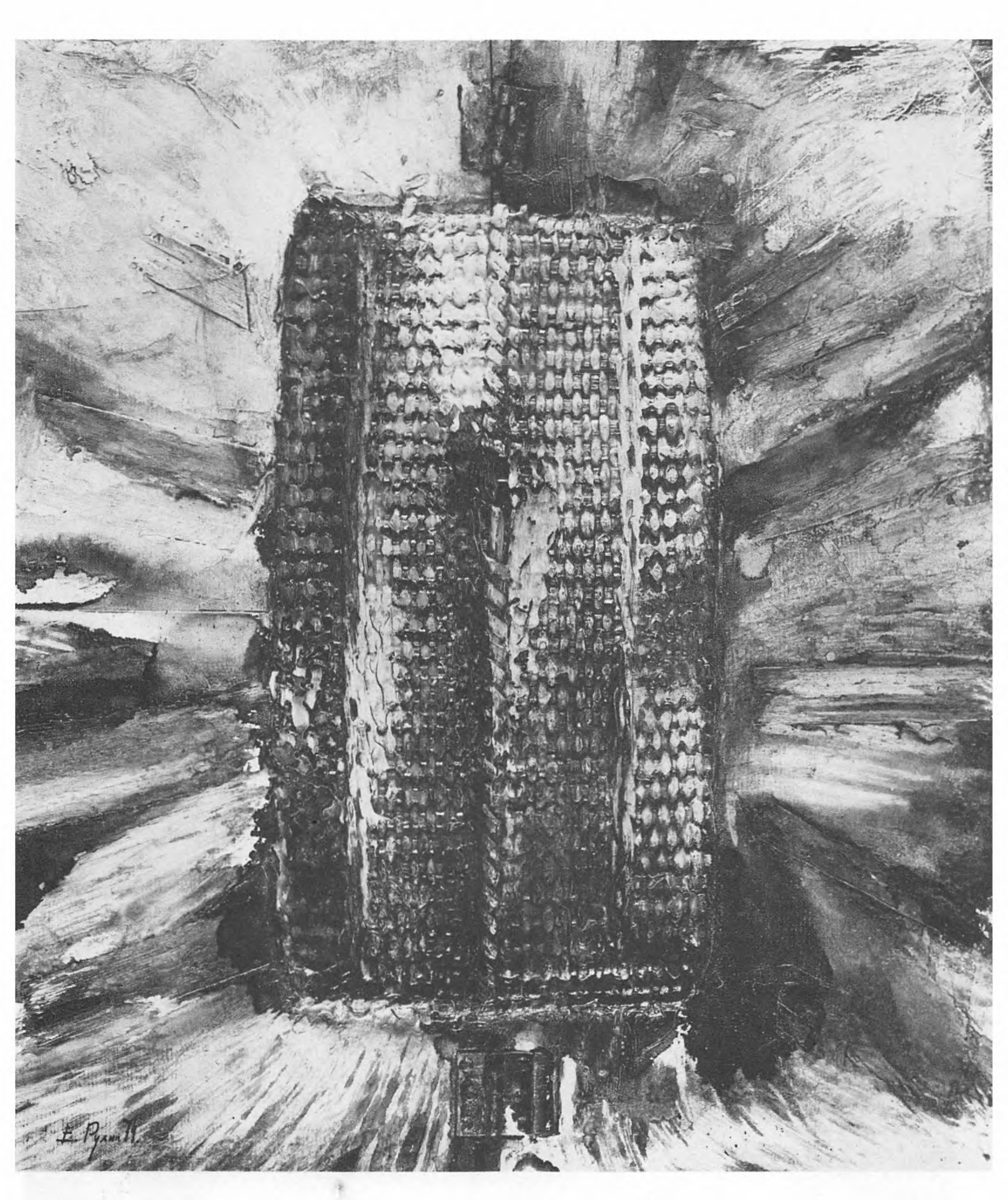
Илья КАБАКОВ "Разбитое зеркало"



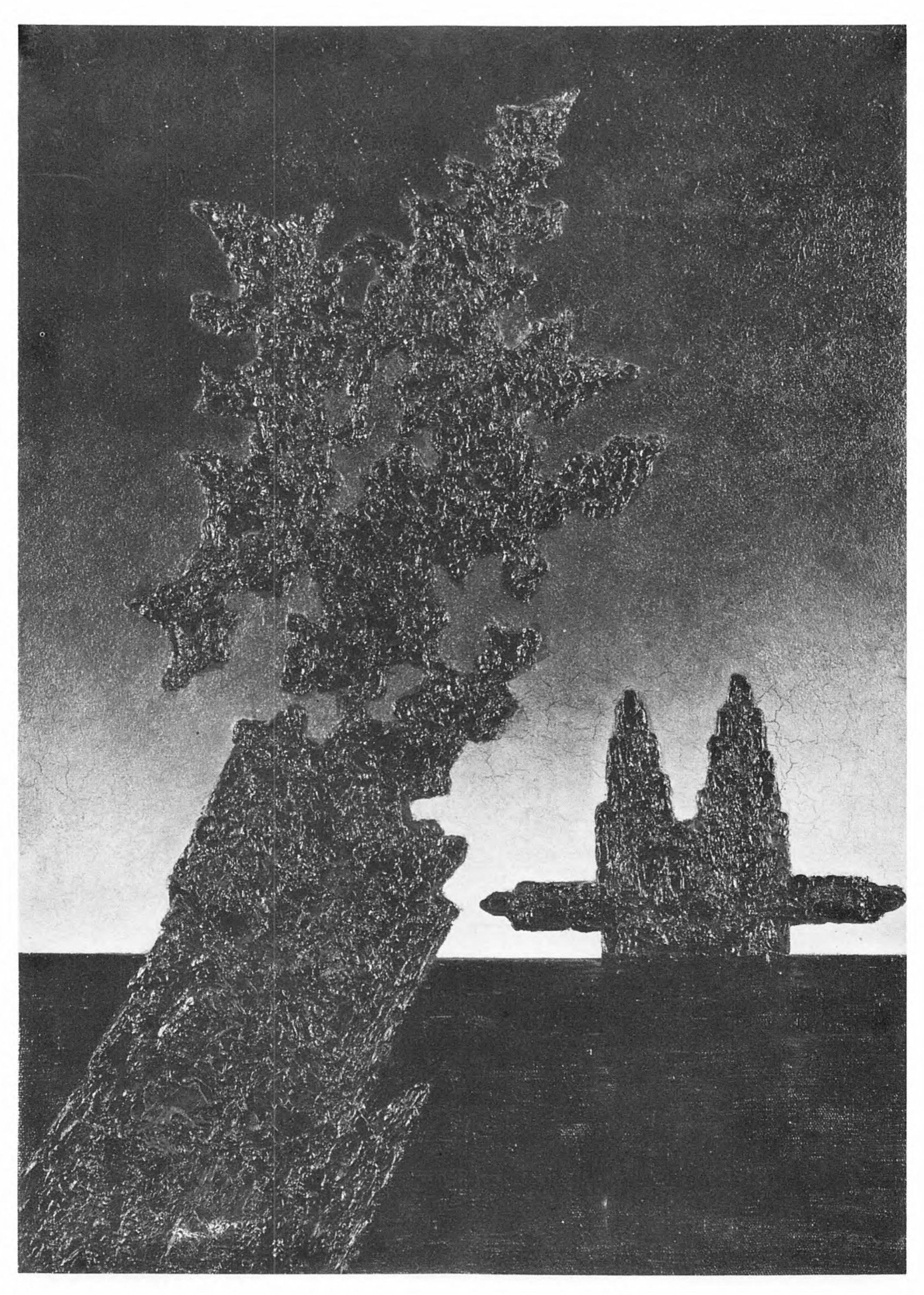
Эдуард ШТЕЙНБЕРГ "Композиция"



Лидия МАСТЕРКОВА "Композиция"



Евгений РУХИН "Композиция"



Николай ВЕЧТОМОВ "Две скалы"

Тут-то вы себя и разоблачили!

- По-моему, этот вопрос не входит в компетенцию фининспектора. Видимо, вы из более солидной организации.

К такому выпаду он не подготовлен:

- Я вас не понимаю... - И, словно кот, закидывающий свое дерьмо песком, спешит загладить промах и быстро о другом:

- Вам придется составить для нас список картин с ценами.

- У меня для этого времени нет. Сами картины перепишите, а стоимость укажу.

Убрались они, а я вспомнил. К художнику Боруху Штейнбергу тоже под видом фининспекторов двое товарищей в штатском не так давно заходили.

- Картины продаете?

- Продаю.

- А почему налоги не платите?

- Вы мне разрешите повесить на дверях табличку: "Здесь живет и работает художник-абстракционист Штейнберг", тогда все официально будет.Тогда и платить начну.

Лжефининспекторы ретировались. А как им из положения выбираться? С одной стороны, и впрямь непорядок - неофициальные художники не обложены налогами. С другой - разве можно им позволить вывешивать вывески?Это же означает легализацию модернистского искусства! Нет уж! Пусть лучше не платят. Это на гнилом Западе деньги превыше всего, а у нас во главе угла идеология. По этой линии уступок никаких! Никогда! Никому!!!

Я - ЧЕЛОВЕК С ДВОЙНЫМ ДНОМ

"Советская пресса - это не только коллективный пропагандист и агитатор, но и коллективный организатор".
В.И.Ленин

14 февраля 1970 года я получил странное письмо. Заведующий сектором фельетонов газеты "Вечерняя Москва" А.Руссовский писал:

"Александр Давидович!

Мне хотелось бы встретиться с Вами и побеседовать по некоторым вопросам..."

Меня удивило и то, что ко мне обращается фельетонист (я в этом жанре никогда не работал), и сама форма обращения без общепринятого "уважаемый". Почему-то в голову не пришло, что это и есть возмездие за все мои грехи - выставки, квартиру-музей, новоселье-вернисаж и передачу за границу статьи о художниках. С легкой душой 17-го февраля отправляюсь в редакцию "Вечерней Москвы". Руссовский, средних лет упитанный товарищ, с наигранным радушием здоровается со мной:

- Заходите, заходите, садитесь напротив меня.Сейчас кое-какие дела закончу, и мы начнем.

Смотрю, в углу за столиком пристроилась стенографистка. Но все равно ни о чем не догадываюсь. И лишь когда, пробежав глазами несколько лежащих перед ним бумаг, Руссовский заговаривает,я понимаю,что вот оно, началось! Три года торопился, собирал коллекцию, ждал, что грянет гром и - он грянул! этим серым пасмурным февральским днем. Я много рассказывал о почти трехчасовом рандеву в "Вечерке", и вскоре наша с Руссовским "дружеская беседа" попала ко мне в виде "материалов Самиздата". Все там было изложено точно,подробней мне сейчас и не вспомнить. Поэтому целиком привожу самиз-

датский текст.
РУССОВСКИЙ: У меня на вас лежит материал. Я, как заведующий, обязан проверить факты. Поэтому и решил с вами поговорить. Я задам некоторые щепетильные вопросы; если не захотите, можете не отвечать.
ГЛЕЗЕР: Мне нечего скрывать ни в личной жизни, ни в общественной деятельности. Я готов откровенно разговаривать.
РУССОВСКИЙ: У вас было три жены?
ГЛЕЗЕР: Да.
РУССОВСКИЙ: У вас есть коллекция картин?
ГЛЕЗЕР: Да.
Р. Вы устраивали три выставки?
Г. Не три, а семь, и, наверное, даже больше.
Р. Как так?
Г. К примеру, выставка грузинской керамики и чеканки в Музее искусств народов Востока, выставка Д.Хуцишвили в журналах "Юность", "Смена", "Сельская молодежь" и вновь выставка керамики и чеканки в Доме Литераторов...
Р. (обрывает Глезера). Меня не эти выставки интересуют!
Г. А какие?
Р. Выставку на шоссе Энтузиастов в клубе "Дружба" организовывали?
Г. Да.
Р. На этой выставке, кстати, наших дружинников "советскими хунвейбинами" называли?
Г. Напомните, при каких обстоятельствах. Прошло уже три года.
Р. Позже напомню. А вы скажите, почему вы не согласовали выставку с МОСХом?
Г. Знаете, за работу в этом клубе, будучи еще инженером и внештатным инструктором райкома комсомола,я был награжден грамотой райкома ВЛКСМ. Почетными председателями клуба были Эренбург и Хикмет.В те годы,то есть в шестьдесят первом-шестьдесят втором, я организовал там как председатель правления молодежного клуба "Наш календарь" выставку Эрнста Неизвестного, Бориса Кштымова, Владимира Яковлева, репродукций с картин Пикас-

со и Модильяни. На эти выставки приезжало много народа, но никто не говорил, что надо разрешение МОСХа. Я об этом понятия не имел.

Р. А почему на выставку приехали в первую очередь иностранные корреспонденты?

Г. У вас неточная информация. Первым на выставку в три часа, то есть за два часа до открытия, приехал поэт Борис Слуцкий, вслед за ним переводчица, бывший секретарь Эренбурга Столярова, а потом уже пришло столько народа, что и разобраться было трудно. Я вам скажу только, что на тридцать или сорок иностранцев (такое число мне назвали в горкоме партии) было около двух тысяч советских граждан: инженеры, писатели, например, Евтушенко, художники, академики, например, академик Мигдал, ведущие критики МОСХа - Каменский, Саробьянов, Мурина. Кстати, последние поздравили директора с замечательной выставкой.

Р. А как же все-таки иностранцы попали?

Г. Знаете, в отделе культуры горкома партии заведующая сказала, что знает, что приглашал не я, и знает, кто именно приглашал.

Р. И кто же именно?

Г. Мне об этом в горкоме не доложили. Скажу только, что представительница группы по делу о выставке, созданной при горкоме партии, сказала мне, что послать пригласительные билеты иностранцам могли как художники, участвующие в выставке, так и враги этих художников, с целью скомпрометировать первых.

Р. Теперь о хунвейбинах. Это вы сказали, когда дружинники хотели вынести работы из клуба "Дружба". Вы назвали их хунвейбинами и сказали, что об этом напишет вся мировая печать. Откуда такая осведомленность?

Г. Дружинники и секретарь парторганизации, некая Злата Владимировна, находились в кабинете директора клуба. А художники с картинами сидели в соседней комнате. Один из дружинников воинственно заявил: "Злата Владимировна! Раз не хотят они уходить, то мы сейчас пойдем, картины сломаем и выкинем на улицу". Тут я и вмешался, спокойно сказав парторгу завода: "Что ж, Злата Владимировна, если вы хотите, чтобы вся мировая печать

писала о бесчинствах советских хунвейбинов, то благословите этот акт." И надо вам сказать, Злата Владимировна остановила их, ибо каждому дураку было понятно, что если в первый день были представители зарубежной прессы, то о "сломанных" картинах, валяющихся на снегу, они напишут! По-моему, здесь я действовал разумно. И вообще, я говорил в райкоме партии, чтобы выставку не закрывали, что председательствовать на обсуждении будет Борис Слуцкий, выступать - Каменский,Саробьянов, Мурина (все они дали согласие). Шум получается тогда, когда выставки закрывают. Если бы их не закрывали, не было бы и шума.

Р. Ну хорошо. Скажите, как была организована выставка в Грузии?

Г. По предложению Союза художников Грузии.

Р. И вы говорили там,что вам разрешил показывать свою коллекцию Союз художников СССР?

Г. А вот это - ложь и клевета. К тому же абсурд. Почему Союз художников СССР должен разрешать Союзу художников Грузии выставлять частную коллекцию? И если бы Союз художников Грузии интересовался разрешением, то не меня бы слушал, а запросил Москву.

Р. Кто же захотел в Грузии организовывать эту выставку? Вы можете назвать фамилии?

Г. Первый секретарь правления Союза художников Грузии, заслуженный художник республики Зураб Лежава, его заместитель Мадзмереашвили, другие члены правления. Они заранее видели фотографии работ и даже выпустили официальный каталог.

Р. Ничего они не выпускали.

Г. Да этот каталог есть у меня, я могу вам его показать!

Р. Это вы сами напечатали.

Г. Простите, но вы работаете в печати и знаете, что без цензуры ничего опубликовано быть не может, тем более с таким грифом: "Союз художников Грузии".

Р. Ну, хорошо. А выставка в Институте мировой экономики?

Г. К этой выставке я не имею никакого отношения. Единственно, что некоторые художники взяли у меня из кол-

лекции свои работы для выставки.
Р. Да, но ведь у вас были представители месткома института?
Г. Они у меня были: согласитесь, что проще поехать к одному человеку и из тридцати художников выбрать пять, чем ездить ко всем тридцати. Так что, как видите,я облегчаю работу советским людям. А как травили Фалька и Неизвестного, а потом устроили выставку Фалька и повесили его картины в Третьяковской галерее, а Неизвестный принял участие в конкурсе в честь арабо-советской дружбы и завоевал там Гран при. Времена меняются, из всех художников, представленных у меня, только человек пять не выставлялись на официальных выставках.
Р. Но именно этих вы выставили на шоссе Энтузиастов!
Г. Это неправда.Выставленные там Штейнберг и Воробьев участвовали в молодежных выставках, семидесятипятилетний Евгений Кропивницкий также принимал участие в выставках; в институте гигиены и охраны труда выставлялся Лев Кропивницкий;на официальной выставке были представлены офорты Плавинского. Что же касается Рабина и Немухина, то они члены Горкома художников Москвы,а Рабин даже рекомендован живописной секцией МОСХа в Союз художников.
Р. Не может этого быть!
Г. Тем не менее это так.
Р. Знаете ли, от приема до принятия - дистанция огромного размера. Вас ведь тоже рекомендовали в Союз писателей.
Г. Конечно, но рекомендовала-то Рабина не секция портных, а художники, бюро живописной секции.
Р. А вот есть такая картина у Рабина: на ней - желтая "Правда" и тухлая вспученная рыба.
Г. Я же вас приглашал приехать ко мне. Фельетон надо писать со знанием дела. "Правда" - не желтая, а белая, и рыба написана так мастерски, что голодным людям хочется ее съесть.
Р. Я видел фотографию. Разве не все равно - картину или фотографию?
Г. Нет, не все равно. На фотографии многое пропадает.
Р. Но Рабин вклеивает в "Правду" заголовки из других

газет. А вклеивая, можно придать антисоветское содержание, всякие ассоциации...

Г. Рабин - мой ближайший друг. Это человек редкостно честный, прямой и правдивый. Безусловно, вклеивая заголовки, можно придать разный смысл, но сколько я видел его картин - антисоветского содержания не усмотрел. Это кто как смотрит.

Р. Ладно. А за границу статьи вы писали? Вот рядитесь в тогу защитника русского искусства, а защищаете его почему-то с той стороны. Писали или нет?!

Г. Писал. Одна статья, например, у Марка Шагала.

Р. Кто это?

Г. Выдающийся русский художник, который, к сожалению, живет за границей.

Р. А с кем вы передавали статьи?

Г. Та статья написана очень давно, я не помню.

Р. А еще вы писали?

Г. Да, писал.

Р. И с кем передавали?

Г. Мне нужно припомнить...

Р. Эта статья у меня, я вам сейчас напомню.

Достает из сейфа статью Глезера с приклеенной к ней оборванной бумажкой, на которой что-то написано от руки печатными буквами.

Р. Вы передали материал на квартире Оскара Рабина француженке Паскаль Гато.

Г. Никакой Паскаль Гато я не знаю, хотя у меня бывает много народа, может приходила и она, но статьи я ей не передавал,тем более,на квартире Рабина.У меня есть своя квартира. А статью, которую вы держите в руках, я передал редактору голландского журнала "Музеум журнал", выходящего в Амстердаме. Это - не политический журнал, и я писал об искусстве.

Р. Разве вы не знаете, что все материалы надо передавать через АПН? И вообще, почему бы не потребовать у нас статью напечатать, а не сразу же посылать статью за границу?

Г. Я пишу и для АПН, но шестнадцать голландских художников и редактор журнала были в Москве всего два дня. Меня попросили написать статью о коллекции, и я не ви-

дел причин для отказа.
Р. Но что вы пишете в своей статье? Вот о картине Олега Целкова: (зачитывает): "На переднем плане - медаль с изображением бабочки и безобразные, можно сказать, человекоподобные морды четырех идиотов. Рты у них широко открыты. То ли они пьют, то ли что-то восторженно кричат. Полубеззубые пасти, именно пасти, а не рты, маленькие глаза фанатиков... Страшно, что такими видит художник людей. И это ведь не случайная картина. Разуверился ли он в человеке или просто на окраине Москвы, где он живет, попадается ему много таких бессмысленных, отупевших от пьянства лиц?" Не искажаете ли вы облик советского человека?
Г. Я пишу о пьяницах. Сейчас часто о них пишут. Больше ничего я в этом тексте не вижу.
Р. Ну а дальше? Вы пишете о письме Замятина к Сталину и сравниваете положение современных художников с положением Замятина, которого не печатали. Разве этим вы не порочите наш строй?
Г. Дальше у меня написано, почему их не выставляют, и я ссылаюсь на группу художников - Вучетича, Кербеля, Кацмана и Томского, которые, как и в сталинские времена, руководят Союзом.
Р. А вам не кажется, что раз им доверили такие посты, то надо их слушать?
Г. Не кажется. Фалька не давали выставлять именно они. Эренбурга с трибуны Кацман назвал сволочью. С ними боролся и академик Шмаринов, который пытался открыть выставку Штеренберга, будучи руководителем МОСХа. Но со Штеренбергом можно и подождать, а мне ждать некогда. Предположим, сменят этих товарищей. И решат делать выставку Немухина. А в СССР всего четыре зрелых его полотна, и все у меня. Я бы не купил - ушли бы за границу.
Р. Так вы считаете, что делаете полезное дело?
Г. Да.
Р. А вот что вам пишет Гато: "Александр! Как вы могли дать мне такой материал? Он носит явно пропагандистский характер против вашей страны, которая оказала мне временное гостеприимство. Возвращаю его вам."

Г. Во-первых, это не похоже на стиль иностранки, а походит на стиль фельетонистов. Во-вторых, почему письмо, адресованное мне, попало к вам?
Р. Так уж получилось.А вы скажите мне, ведь вы не специалист в живописи, откуда вы знаете, что картины, собранные вами, действительно хороши?
Г. О них высоко отзывались и зарубежные, и наши искусствоведы, картины этих художников выставлялись в крупнейших мировых музеях. Кроме того, ко мне непрерывно ездит много народу, чтобы посмотреть эти картины. Это говорит само за себя.
Р. Понимаете ли, у нас есть люди,которые настроены не антисоветски, нет, но фрондируют. Запретный плод сладок. Они с ухмылкой и едут к вам.
Г. Я не думаю, что дело обстоит так. Ко мне приезжают достаточно серьезные люди, приезжают по несколько раз. Например, репродукции с моих картин были напечатаны в журнале общества Итало-советской дружбы, в номере, посвященном пятидесятилетию советской власти, а я думаю, что итальянские коммунисты знают, что полезно для нас.
Р. Мы сами знаем, что полезно для нас.
Г. Кто это "мы"?
Р. Те, кто руководит нашим искусством.
Г. Простите, я уже приводил пример с Фальком и Неизвестным.
Р. А чем вас так уж не устраивает скульптура Кербеля "Карл Маркс"?
Г. По-моему, Карл Маркс достоин лучшей скульптуры. И почему-то на последние международные выставки посылают работы не Вучетича и других, а Неизвестного и Попкова, например?
Р. Но, по-моему, Вучетич тоже получал первые призы!
Г. Да, при Сталине, и на каких выставках!
Р. Хорошо. А если на одну чашу весов положить всех,кому нравятся эти картины, а на другую тех, кому не нравятся? Какая чаша перетянет?
Г. Во-первых, для этого надо сначала показывать картины на больших выставках, а, во-вторых, вопросы искусства никогда не решались большинством голосов.
Р. Но ведь искусство делается для народа!

Г. Конечно, но народ приобщается к высокому искусству постепенно, а на сегодня, уверяю вас, гораздо большее число людей слушает "Мишку-Мишку", чем симфонии Шостаковича, и гораздо больше людей читало Эдуарда Асадова, чем Велемира Хлебникова.

Р. А что, Хлебников такой уж большой поэт?

Г. Представьте себе, что очень большой. Его даже называют "поэтом для поэтов".

Р. Это еще не звание. Вот если бы он был народным поэтом...

Г. Так у вас один Исаковский останется, ибо и Пастернак, и Марина Цветаева, и Ахматова званий не имели.

Руссовский достает из сейфа конверт, в котором оказываются фотографии работ Бориса Свешникова.

Р. Вы можете объяснить, например, эту картину?

Глезер объясняет.

Р. (Указывая на снимок с картины "Ателье Гробовщика"). А это что?

Г. А такие картины Свешников имеет право писать. Он отсидел восемь лет в сталинских лагерях по обвинению в заговоре с целью убийства Сталина! Как вы сами понимаете, чушь.

Р. Ну, если у него надломлена психика, то пусть пишет картины для себя.

Г. А он для вас и не пишет.

Р. Еще один вопрос. Вы построили трехкомнатную квартиру, устроили новоселье для двухсот гостей, а деньги откуда? Вы, кажется, даже внесли в кооператив сразу сто процентов?

Г. Нет, я внес только первоначальный пай и заплатил за год вперед. Что касается денег, то только за одну переведенную мной книгу Алио Адамия я получил три тысячи рублей, а у меня вышло восемь книг с шестьдесят пятого года.

Р. Не может быть!

Г. Перечислить?

Р. Да.

Глезер перечисляет.

Р. Но после выставки на Шоссе вас в периодике стали меньше печатать?

Г. В какой-то степени меньше, но печатался в двух номерах альманаха "Поэзия", в "Литгазете", в "Смене", "Известиях", "Неделе", и даже в "Правде", без подписи, правда. А кроме того, в республиканских журналах.

Р. Но все же многих возможностей вы лишились?Можно лишиться и остальных.

Г. Все можно, только я не пойму, причем тут три жены?

Р. А вы представьте себе, мы смотрим на вас со всех сторон: в быту - неустойчив, провокационные выставки - устраиваете, дом в музей - превратили, и еще статьи передаете. Какой, по-вашему, облик получается?

Г. По-моему, получается винегрет. Я сам работал в газете и знаю, что насчет жен и любовниц вы очень любите вспоминать. Но ничего хорошего из этого не получится.

Р. Кстати, я, конечно, не ОБХС,но фининспекторы у вас были?

Г. По-моему, один из них был не фининспектор, слишком уж странные вопросы задавал и странную осведомленность проявлял.

Р. Да нет же, фининспектор был, фининспектор!

Г. Ваша горячность только подтверждает мои предположения.

Р. Вот вы им сказали, что ваша заработная плата в чистом виде вместе с женой - в месяц примерно рублей триста.

Г. Иногда и больше, жена тоже переводит.

Р. Но будем исходить из трехсот рублей. Я сам столько имею. Но в кооператив вступить не могу, а картины покупать - тем более, и новоселья такие устраивать - тем паче.

Г. Новоселье мое было в стиле а ля фуршет,выпивка вся была прислана друзьями из Грузии, осталось только сделать бутерброды. Так что все обошлось рублей в сто. А я вам уже сказал насчет восьми книг,переведенных мной полностью. Кроме того, еще есть книг пятнадцать,в которых я выступал, как один из переводчиков, иногда довольно широко.

Р. И все-таки мне кажется, что иногда вы картины продаете.

Г. Если вы, как сказали вначале, хотите узнать правду, то не говорите, что вам кажется, а выслушайте собеседника. Картин я никогда не продавал, хотя бы по трем причинам.

Р. По каким?

Г. Во-первых,если картина какого-нибудь художника мне разонравилась, то я (у меня есть такая договоренность с художниками) имею право ее обменять на другую такого же размера, во-вторых, художники продают мне картины немного дешевле, и продавать картины после этого - недостойно. В-третьих, не могу я давать вам в руки столь желанный факт. Так что, слышите, ни одной картины я не продавал.

Р. И все же мне кажется...

Г. Но если вам "кажется", я ничего не могу сделать. Кстати, недавно у меня был парторг министерства культуры РСФСР, а вслед за ним приезжал замминистра культуры РСФСР, и оба одобрительно отозвались о коллекции.

Р. Назовите фамилии!

Г. Фамилий замминистров не запоминаю.

Р. Но с кем он приезжал?

Г. С работником министерства культуры.

Р. Позвоните этому работнику и узнайте фамилию!И завтра же сообщите мне!

Г. Завтра не обещаю, у меня дела.

Р. Для вашей же пользы говорю, отложите дела и узнайте!

Г. Я отложить дела не могу, что же касается появления фельетона, скажу: конечно, можно лишить меня работы, но кое-кто прочтет его, по вашему же выражению,с ухмылочкою, с довольной ухмылочкой.

На этом разговор закончился.

А уже 20 февраля "Вечерняя Москва" опубликовала занявший целый подвал фельетон "Человек с двойным дном".

"Полная биография А.Д.Глезера еще не составлена. В жизнеописании его будем останавливаться на фактах, имеющих, так сказать, этапное значение. Пропустим детство и отрочество,первое увлечение и первые три официальных брака (много, прямо скажем, для тридцатишести-

летнего мужчины), среднюю школу и занятия в вузе.

В 1956 году он заканчивает нефтяной институт. Молодой специалист недолго радовал выбранную им промышленность, довольно скоро он усомнился в призвании. И вот инженера-нефтяника Глезера не стало. Появился, как он сам себя именует, литератор Глезер. Он, что ж, бывает, увлекся переводами. С грузинского языка на русский, с узбекского на русский - стихи иногда даже появлялись в газетах, журналах.

Помимо литературной деятельности, предприимчивый переводчик решает вырядиться и в тогу покровителя живописи. Впервые его имя на этой ниве промелькнуло в январе 1967 года, когда Глезер, введя в заблуждение администрацию клуба "Дружба", организовал там выставку картин.

Москвичи любят живопись, охотно посещают выставки, и Союзы художников СССР и РСФСР, Московская организация устраивают их достаточно часто: в выставочных залах, в рабочих клубах, дворцах культуры, домах творческой интеллигенции, в институтах и библиотеках, в музеях и крупнейшем демонстрационном зале страны - Манеже. Но выставка, которую самолично придумал Глезер, была особого рода. Экспонировались "произведения" О.Рабина, Л.Кропивницкого, В.Немухина, Д.Плавинского, и других, то-есть оказались представленными работы только тех авторов (кстати, не членов Союза художников), кои неоднократно подвергались критике со стороны своих коллег - людей бесспорно компетентных в живописи.

Первыми до открытия "выставки" к клубу прибыли некоторые иностранные корреспонденты. Сработала личная служба оповещения организатора экспозиции. Разумеется, пришли и москвичи - истинные любители живописи. Они-то с чувством глубокого возмущения и задали администрации клуба вопросы: "А зачем это? А для кого это?" И по их требованию выставку закрыли. Представьте, это входило в расчеты Глезера. Как истинный купец, он точно оценил, чего стоит выставленный им товар. Ему надо было прослыть покровителем творчества "непризнанных". Тактика была верной: выставку закроют, это получит огласку в некоторых странах (не зря же приглашались

корреспонденты) и вот уже Глезер - герой, эдакий борец за свободу творчества. Правда, особенной сенсации за рубежом не было. Вопреки прогнозам Глезера "все радиостанции мира" не прекратили своих передач. Из-под нечистых заборов тявкнули какие-то бульварные газетки, как всегда, обрадованно откликнулись "Голос Америки" и "Би-би-си", и все. Собственно, те же и Глезер.

Тогда он вновь без ведома и согласия Московской организации художников организовал очередную выставку. На этот раз в другом клубе. Результат тот же.Видя,что деятельность его не находит успеха в Москве, Глезер упаковывает чемодан и уезжает в Грузию. Делец-авантюрист организует якобы с согласия Союза художников Грузии выставку в Тбилиси. Для местного колорита он приобщает к своей коллекции картины нескольких грузинских художников, того же, своего "непризнанного" плана. И невооруженным взглядом было видно, что картины эти ничего общего не имеют с грузинским национальным искусством, да и весьма далеки от искусства вообще. Тенденциозный характер выставленных полотен и здесь вызвал возмущение посетителей. В письме на имя секретаря Союза художников СССР они писали: "Гидом на этой выставке был какой-то поэт из Москвы, любезно поясняющий "содержание" (ибо они непонятны) картин. Он заявил, что сам не художник, но коллекционирует подобные произведения и показывает их с согласия Союза художников СССР. Подобная версия неправдоподобна, так как Союз художников не будет пропагандировать формализм и трюкачество."

Глезеру пришлось убраться восвояси. Но он не успокаивается. 10-го марта прошлого года в одном из московских институтов он снова принимает участие в открытии очередной "выставки". На представленных полотнах было все, что угодно, кроме того, что называется искусством. На одном изображена рваная и грязная газета, на которой лежит вздувшаяся рыба.Копируя шрифт газеты, "художник" вписал в нее несколько фраз явно антисоветского содержания. На других так называемых картинах - мертвые, искаженные маски вместо лиц, гипертрофированные, дистрофичные тела, болезненно-по-

хотливые и уродливые женщины, помойные ямы, задворки грязных дворов и тому подобное."Это злонамеренная идеологическая диверсия", - так справедливо характеризовали выставку посетители. По требованию посетителей и эта выставка была закрыта. Но вот что показательно - уже на следующий день лондонская газета "Таймс" опубликовала статью об этом. По всей видимости, не без чьей-то помощи была проявлена подобная "оперативность".

Спрашивается, зачем понадобилась Глезеру и эта выставка? Из любви к искусству?Если это можно назвать искусством. Нет. Задача его иная: прослыть покровителем непризнанных талантов, привлечь к своей "смелой" и "инакомыслящей" персоне внимание падких на всякую грязную провокацию нечистоплотных людишек, корреспондентов иных зарубежных газет, а затем повыгоднее распродать доставшиеся ему по дешевке картины из собственной коллекции.Бывший нефтяник создал для себя весьма красноречивую формулу: "Нефть пахнет, деньги - нет". А деньги Глезеру нужны позарез. Без них же не построишь трехкомнатную кооперативную квартиру, не приобретешь мебель, не создашь коллекции из двухсот картин, не изготовишь для них передвижных стендов, не устроишь, как это он сделал, новоселье,пригласив 200 с лишним гостей (!) . А ведь он сам говорит,что месячный доход его семьи, включая заработную плату жены и исключая алименты, составляет немногим более 300 рублей.

После новоселья делец от живописи решил несколько расширить сферу своей коммерческой деятельности. А для этого, естественно, нужна реклама. Кто же, спрашивается, как не сам Глезер, может рекламировать Глезера? И он пишет опус в защиту подопечных, эдакую "исследовательскую" статью о творчестве "непризнанных",об атмосфере недружелюбия, которая, якобы, окружает их. Этот свой труд он дает обучающейся в Москве на курсах русского языка француженке Паскаль Гато, чтобы та, по возвращении домой, передала его дальше, по назначению. Тут уже, кроме желания повыгоднее себя преподнести, ожидается и гонорар в валюте.

Знаний русского языка Паскаль вполне хватило на то, чтобы разглядеть в этой статье злобную клевету на

Советский Союз. Французская девушка оказалась дружелюбнее к стране, предложившей ей гостеприимство, нежели Глезер к той же стране, в которой он родился и вырос. Возмущенная Гато возвратила статью автору. Такие, как Глезер, не находят поддержки у честных людей, они по душе только нашим идеологическим противникам. Они им дороги, как пятнышко на солнце.

Вот так и живет Александр Давидович Глезер.Живет, перебиваясь сделками и антисоветчиной, живет не чисто, живет, забыв о чести и достоинстве советского человека. Кстати, А.Д.Глезер является членом группкома литераторов при издательстве "Советский писатель".Членство это служит ему ширмой, за которой он пытается спрятать свои весьма нечистоплотные коммерческие дела, свои дурно пахнущие настроения. Но ведь за ширмой можно прятаться день-два, не отсидишься же за ней всю жизнь..."

Читатели, я надеюсь, вы не забыли, какая "общественность" - майор КГБ и два работника горкома партии - закрывали выставку в Москве в 1967 году, и как армейский полковник посылал из Тбилиси на Лубянку телеграмму, чтобы прикрыли экспозицию в столице Грузии. А вы заметили, что фельетонист почему-то не осмелился написать, что я торгую картинами. На встрече с Руссовским я опроверг все обвинения, но Р.Строков на это начхал. Что велели, то и сочинил. Даже изобрел и вложил в мои уста новый афоризм: "Нефть пахнет, деньги - нет". Насчет же продажи картин напустили тумана. Глезер - делец, ибо думает впоследствии "повыгоднее распродать доставшиеся ему по дешевке картины". Ну почему же не назвать меня и убийцей, к примеру,на том основании, что я думаю впоследствии кого-нибудь убить.

А вы обратили внимание, как много строк фельетонист посвятил глезеровской жажде наживы? Это не случайность, а опробованный прием. Как еще объяснить широким массам побудительные мотивы деятельности инакомыслящих, да так, чтобы удобнее втоптать их в грязь?! За истину они? За искусство? За свободу? Нет - луже-

ными глотками орет пропагандистский аппарат. - Продались! Продались за большие деньги! За валюту! Простое, привычное, затверженное обывателем понятие.

Оскар закупил пятьдесят экземпляров "Вечерки" с фельетоном и принялся меня поздравлять. Я ему:

- Ты что, с ума сошел? Теперь не то что картины покупать, - жрать не на что будет!

Аскетическое лицо Оскара освещается улыбкой:

- Умереть с голоду не дадим. Но зато от тебя все сплетни отхлынут. - И рассказывает, что ему осточертело выслушивать бесчисленные соображения о том,что Глезер наверняка сотрудничает с КГБ. Как же иначе - выставки устраивает, к иностранцам в гости ходит, они к нему таскаются - и как с гуся вода. Его не только не трогают, а еще позволяют печататься в газетах и журналах. Как пить дать, сотрудничает! И так рассуждали не одни злонамеренные стукачи-слухачи,сознательно сеющие в нашей среде подозрительность и недоверие, но и искренние доброжелатели, особенно из старшего, прошедшего сталинскую науку, поколения. Ведь и впрямь странно! Человек общается с зарубежными дипломатами и журналистами и не получает по заслугам. А то,что государственная машина порою медленно ворочает маховиками, что на согласования по инстанциям уходят годы, они в расчет не брали. Лишь боялись за доверчивых художников, которые угодят с этим Глезером в западню.

- Теперь так тебя расписали, - радостно потирал руки Оскар, - что волей-неволей заткнутся все говоруны!

Вот какая у нас удивительная страна! Ее пресса для общественности, как кривое зеркало. Окатила меня грязью с головы до ног, обвинила в антисоветской деятельности - и тем самым выдала свидетельство о честности и порядочности. О своем, о сексоте, такого ведь не напишут. Жил я в счастливом неведении об опутывавших меня сплетнях, а если б знал, то даже страшно подумать, каково бы пришлось? Чем, действительно, докажешь, что не замаран? Ну, ладно, спасибо "Вечерке", с этой проблемой покончено. А дальше-то что?Как мне все-таки реагировать на фельетон? Неужто проглотить? Заго-

релось: подам за клевету на газету в суд! Друзья высмеяли:

– Спятил, что ли? Какой-растакой судья примет твой иск? Раз печатный орган горкома КПСС утверждает, что ты авантюрист,спекулянт и антисоветчик,стало быть так и есть. Не оспоришь. И редактор газеты, и судья получают указания от одних и тех же организаций – партийных и карательных.

– Не прожектерствуй, не мудри,а ложись-ка ты лучше в больницу и лечись от бессонницы. Принимаешь по пятнадцати таблеток на ночь... Докатишься до наркомании! – наседал Марат. Он уже давно склонял меня к этому. Ныне же, по его мнению, скрыться на месяцок – сразу двух зайцев убить: и подремонтироваться, и пережидать, посмотреть, как развернутся события.

В общем, 23 февраля Марат и Майя привезли меня в больницу, и не в простую,а в психиатрическую,ибо лишь там имеются чудодейственные аппараты электросна. Кстати, попасть в психушку (если только насильно тебя здорового не доставляют туда по приказу КГБ) в СССР нелегко. Больные самые разнообразные – от тихих шизофреников до запойных пьяниц – месяцами ждут очереди. Не хватает мест. Но у Марата в этом мире профессиональные связи, потому-то и удалось столь быстро меня пристроить. И как удачно – в двух шагах от дома.

Одна из исторических достопримечательностей нашей Преображенки психбольница № 3, широко известная в народе под названием "Матросская тишина". В царские, чуть не Петровские времена, ее построили как тюрьму для бунтовавших матросов и солдат.Потому-то угрюмо набычившееся здание окружено почерневшей в полметра толщины кирпичной стеной.

В приемном отделении сестра не церемонится:

– Снимайте все!

Сбрасываю тулуп, пиджак и в нерешительности останавливаюсь. Злится. Устала от психов.

– Скорее!

– Ну, не могу же я при вас...

Она с досадой к Марату:

– Совсем сумасшедший?

Боже мой, куда меня занесло! С отвращением натягиваю несвежий больничный халат,тоскливо гляжу на пришедшего за мной дежурного врача. Майя протягивает газеты, бумагу, ручку. Сестра категорическим жестом отклоняет:

– Нельзя! Принесете, когда дадут свидание.

Да когда же его дадут! Сейчас из-за вирусного гриппа карантин, и свидания редкость. Без работы, без чтива, среди психов и сам стану психом. Пробую пошутить:

– Это все советские газеты: "Литературка","Правда"...

Но здесь шутить опасно. Каждое слово воспринимается всерьез. Доктор встрепенулся. И вправду, не сумасшедший ли?

Марат забеспокоился:

– Ты поосторожней остри...

Доктор распорядился, в какое отделение меня доставить, и я побрел вслед за сестрою. Из-за того, что мы явились в неурочный час и какие-то двери уже перекрыли, пришлось итти через женское отделение. Большая полутемная после отбоя комната, скорее зала, полна безумных. Одна, растрепанная, обнаженная до пояса, встает в постели на колени и, простирая руки, плотоядно кричит:

– Дайте мне его сюда!

Невольно ускоряю шаг. В мой правый кулак, в котором зажата пачка сигарет, впиваются чьи-то зубы. Это охотница за сигаретами. Схватила упавшую пачку и метнулась прочь. Наконец мы выбрались и скорее на третий этаж. Сестра сама поеживается, а меня утешает:

– Ты будешь сидеть среди тихих, почти нормальных. – Заводит в палату и указывает на пустую постель.

Оглядываюсь. Все уже улеглись. Ну да, условия здесь как раз для сна. Двенадцать душ свели воедино. Кто храпит, кто кашляет, кто ворочается с боку на бок – пружины поют. Три кровати справа у стены. Три – слева. По центру, вплотную друг к другу два ряда – шесть штук. На одной из них мое место. Сосед время от времени вскрикивает во сне и опускает на меня тяжелую ногу.

О, бесплатное отечественное медицинское обслуживание! Недаром, все, кто с деньгами, бежит от тебя,как от огня в платные поликлиники, к врачам-частникам. И я бы отсюда удрал, но Марат заранее предупредил, что курс лечения месяц, и раньше не отпустят.

Наутро знакомлюсь с обитателями палаты. В них - ничего от психов. В основном, хронические алкоголики, молодые и старые. Большую часть дня они дремлют. Бодрствуя, треплются о бабах, смакуя пикантные подробности, или пытаются уломать сестер принести четвертинку. И не только моя палата - все отделение забито пьяницами, которых привозят на принудительное лечение, настоящую филькину грамоту. Полечится алкаш, а на воле опять за старое. Многие из больных тут старожилы, попадают по четвертому, пятому разу. Одутловатый тип - нос в сизых прожилках - развалившись на постели, хвастает:

- Плевал я на их принудиловку! Стращают антабусом... А лимоны на что? Слопал несколько штук - и нет его! Пей опять сколько влезет!

Точно такие же, иногда похожие на красномордых идиотов с картин Целкова, иногда с печатью обреченности, как на некоторых холстах Свешникова, толкутся у двери магазина "Вино-воды", что напротив выхода из метро "Преображенская". Но за водою редко кто сюда заворачивает. За водкой же прут косяком, благо выбор большой - от изысканной "Столичной", на которую алкаш не очень клюет, слишком дорого, до поганого "сучка", который, как говорится, гонят из табуретки. Однако тоже недешевый товар: поллитра - два шестьдесят. Главная задача завсегдатаев магазина, они угадываются сразу (изможденные фигуры, трясущиеся руки,ищущий взгляд - с кем бы сообразить на троих),стоять по возможности прямо, не качаться и, не дай Бог,не свалиться. Не успеешь упасть - подкатывает воронок, и везут бедолагу в вытрезвитель. А там мало того,что изобьют - пятнадцать рублей сдерут за услуги.

Пропаганда твердит, что пьянство - тяжкое наследие царской России, родимое пятно капитализма. Но вот что странно: больно долго, более полувека не мо-

гут от этого наследия коммунисты избавиться. Коллективизацию провели, то бишь, миллионы крестьян, державшихся за дарованную революцией землю, уничтожили,а остальных загнали в колхозы. С индустриализацией,закрепостив рабочих, привязав их к заводам и фабрикам (самовольный переход с места на место карался, в соответствии с мудрым сталинским законодательством, лагерными сроками) и использовав на строительстве отдаленных объектов бесчисленную армию заключенных, - справились.

А пьянство - бессмертно. Ничего с ним поделать не могут. Как-то в "Литературной газете" проскочила курьезная статья. Автор удивлялся, почему в сибирской деревне нынче столько пьют - намного больше,чем до великого Октября. Раньше понятно: серая жизнь, нищета, бескультурье, отсутствие идеалов толкали на пьянку.Но теперь-то понастроили повсюду домов культуры, у всех телевизоры, всем даровано колхозное счастье - и опять тянутся к водке! Да чего там тянутся, хлещут,как воду. Отчего бы? - недоумевал журналист, однако от ответа воздерживался. Не мог же он написать, что именно в советское время довели деревню до ручки, что полнокровная дореволюционная жизнь сибирского крестьянства обернулась беспросветным бесцельным существованием в насильственно обобществленном хозяйстве и полной бесперспективностью перемен к лучшему.А телевизоры,по которым демонстрируют бесстыжие фильмы о всеобщем благоденствии и повсеместном изобилии, только еще пуще угнетают. А дома культуры, в которых самодеятельный хор поет о прекрасной колхозной доле, только еще сильнее погружают в пучину непролазной тоски. И где оно, спасение от этой безысходности, этой ежедневной, ежечасной лжи? В водке, товарищ журналист, в водке! Упьешься и забудешься.

Нудной чередой текли мои больничные дни. Спозаранок уколы, скудный завтрак, процедуры,прогулка по замкнутому кругу унылого двора, так называемого "психодрома", угнетающее безделье и оторванность от мира. А главное - в сидении здесь не видел я никакой пользы. Разрекламированный электросон ничуть не помогал засыпать в перенаселенной душной палате. Тайком принимал

снотворные таблетки, которые Майя ухитрилась мне передать, и раздумывал, как бы поскорее смыться. Нежданно подсобили гебисты.В первых числах марта вызывает к себе старший врач отделения, пожилая сухонькая Маратова знакомая:

- Хочу вас профессору показать, посоветоваться.

А профессор, крупноформатная самоуверенная женщина, притворно улыбается и приглашает присесть:

- На что жалуетесь?

- Бессонница замучила.

- А галлюцинаций у вас не бывает?

- Нет.

- А угнетенного состояния духа?

- Нет.

... а того, а этого?.. И длинный сумбурный разговор. Старший врач,такая не похожая на себя, хмурая,неприступная, отгородившаяся от меня словно невидимой стеной, сидит в сторонке. Выхожу в недоумении.Лишь назавтра, когда Марат примчался на свидание, все разъяснилось.

- Ты знаешь, - спрашивает, - кто тебя вчера смотрел?

- Понятия не имею.

- Помнишь Тимашук?

Еще бы не помнить! Это она в 1953 году давала ложные показания против "врачей-убийц", "врачей-сионистов" и была за столь доблестное поведение награждена орденом и всенародным признанием.Однако не Тимашук же меня навещала. Оказывается, была еще у нее сподвижница, не столь прославленная, но тоже начальством не обойденная. Дослужилась до профессора (к сожалению,фамилия из памяти выскочила) в печально-знаменитом институте судебной психиатрии имени профессора Сербского, пользующегося особым благоволением КГБ. Туда Лубянка отправляет на экспертизу диссидентов, и ни разу еще не случалось так, чтобы не признали продажные эксперты-психиатры, врачи-клятвопреступники нормальным того, кого гебисты мечтают спровадить в гиблую пасть спецпсихлечебницы. Марат взволнован: "Ее к тебе несспроста подослали!.."

Нужно, срочно нужно драпать из "Матросской тишины"! Пока на Лубянке не пришли к выводу, как со мной поступить. Перевести из больницы в больницу все-таки проще, чем гнать санитаров на дом к человеку, который никогда в сумасшедших не числился.

А тут еще у нас в отделении взрыв антисемитизма. После телевизионной передачи. Причем, эмоционально взрыв вполне оправданный. Представьте себе: на экране возникает какой-то председатель колхоза из Биробиджана, потом еврейского происхождения генерал Драгунский, известная киноактриса Быстрицкая и сверхпопулярный Аркадий Райкин. Ему-то тошно, он-то через силу три коротких фразы пробормотал, но все равно некрасиво. Отказался бы выступить, не посадили бы. Остальные же разливались, выслуживались. Разоблачали и проклинали Израиль и сионистов, и поддерживающих эти реакционные силы американских империалистов. Прославляли партию и правительство, которые даровали евреям небывалое счастье жить в дружной и равноправной семье народов СССР.

– Тьфу, жиды поганые! – ругались психи. – Своих же пинают. И все они такие, предатели! За деньги мать родную продадут!

Хоть отвратно слушать антисемитов, но и самого мутило от краснобайства верных холуев. 9-го марта иду к старшему врачу:

– Я себя чувствую значительно лучше. Завтра у меня день рождения. Не отпустите ли досрочно? – И вижу, что она рада-радешенька избавиться от неприятного пациента. Для вида немного поссылалась на незаконченный курс лечения, но уступила.

И вот я на свободе. Больничные бастионы скрылись за поворотом. Бегу по улице и вдыхаю свежий морозный воздух. Вваливаюсь к Рабину. Новостей немало. Сменив кисть на перо, он написал фельетон "Человек не чемодан" (это чемоданы у революционеров бывали с двойным дном для провоза литературы и оружия) и в виде открытого письма отправил его в "Вечернюю Москву". Наверное плевались и чертыхались, когда читали:

"Я никогда не писал фельетонов. И не думал писать. Открою карты. Я художник. Я пишу картины. У меня есть

друг - поэт Александр Глезер. Он пишет стихи. И много переводит. Кроме того, Глезер уже давно собирает картины современных художников: московских,ленинградских, грузинских, армянских.

20 февраля в газете "Вечерняя Москва" (в той самой газете, которая по иронии судьбы расположена на бульваре) - появился фельетон "Человек с двойным дном", подписанный Р.Строковым. Кто такой этот Строков, судить трудно, да и существует ли он вообще? А вот заведующий отделом фельетонов Руссовский - существует. И не только существует, но за три дня до появления фельетона два с половиной часа беседовал с А.Глезером для "уточнения фактов"... Правда, уточнил он их своеобразно.

Ну, раз уж Руссовский факты уточнял,то я буду обращаться к высказываниям Руссовского, используя фельетон.

Состязаться с Руссовским в остроумии мне трудно. Он приходит на работу к восьми часам и пишет фельетоны.Каждый день.О пьянстве.Но об одном пьянстве писать скучно. Хочется фельетонисту писать и о духовном. Пишут же другие! Тем более, и причину сообщили.Дескать, дал Глезер француженке Паскаль Гато (кстати,Глезер ее не знает) статью о своей коллекции с просьбой напечатать ее, и эта самая Гато увезла статью за границу и только там разглядела "злобную клевету на Советский Союз". Ну, а разглядев, она написала гневное письмо рукой и стилем Руссовского. И статью потом возвратила.

Все бывает. Бывает и то, что Глезер этого письма не получил. А получил его Руссовский и даже показал его Глезеру издали, достав из сейфа.

Наивный поэт задал вопрос:

- А как попало к вам письмо, адресованное мне?

На что фельетонист, изумившись наивности поэта, ответил:

- Ну, знаете... так получилось...

Меня интересует, почему письма, адресованные Руссовскому, не попадают к Глезеру? Или фельетонист имеет преимущество вскрывать чужую почту, как бы от скуки? Конечно, тайна переписки у нас, как и во всяком

обществе, которого коснулась цивилизация, гарантируется... Но вечно фельетонисты любопытствуют...

Кстати, еще о Гато. Руссовский говорит, что разглядела Гато "злобную клевету". А вот сам Руссовский, повидимому, не разглядел, так как ни строчки не привел из статьи Глезера, и даже сказал Глезеру: "Нам вашу статью цитировать не нужно".

А цитировать нечего. Статья о художниках, о том, что их картины не выставляют, а когда с большим трудом удается выставить, то сразу же выставку закрывают. В таком случае и Руссовского-Срокова-Гато следует обвинить в злобной клевете на Советский Союз.

Да, - пишет Руссовский-Строков, - не выставляют картины, да, закрывают выставки.Это очень злобная клевета.

А выставки закрывают, - пишет Руссовский, - "по требованию публики". "Публики" - это неопределенно.Народ она, что ли? Может и народ. Только получается,что один народ закрывает выставку, чтобы, не дай Бог, не увидел другой народ. Самое удивительное, с какой молниеносностью выполняется "требование публики". В клубе "Дружба" выставку закрыли через два часа после открытия. Выставку в Тбилиси в залах Союза художников с официальным каталогом закрыли, правда, через четыре дня, потому что расстояние большое. А закрывающий народ, повидимому, находится в основном в Москве.

А в Институте международных отношений был установлен рекорд. Выставку закрыли через 45 минут после открытия, несмотря на то, что ее видел секретарь партийной организации института. И не только закрыл народ выставку, но еще и строгий выговор секретарю объявил! Не хлопай ушами! Будь бдителен! Не подумал, что три жены было!

- А у вас точно три жены было, - завистливо спросил Глезера предводитель фельетонистов. - И коллекция у вас есть?

Теперь Глезеру ничего не поможет.Аморальность доказана. Каждый нормальный фельетонист бросит в него камень. Все-таки три жены и одна коллекция! Ладно.Пускай три жены. А коллекция? Говорят, неплохой парень.

Вышло в советских издательствах восемь книжек переводных стихотворений. Но вдруг только прикрывается коллекцией, а коллекционирует жен? Чтобы отвлечь от преступного коллекционирования картин.

Жены были. Три. Не о чем и фельетон писать. Но опытного фельетониста это не смутит. Он насквозь видит.

И что Глезер думает, и что Глезеру в голову придет - фельетонист заранее знает.

И фельетонист рядится в тогу пророка и говорит: "Конечно, Глезер с большой выгодой для себя распродает картины, купленные по дешевке".

Но ведь Глезер за четыре года не продал ни одной картины! Так от особой хитрости. Провокация. Квартиру трехкомнатную купил, мебель кое-какую (два дивана и один шкаф), и новоселье устроил, двести с лишним гостей!

Рассказывают, что за одну изданную книгу - (из 8) он получил 3000 рублей. А если посчитать стихотворения в газетах и журналах? Хитрит. Это Глезер нарочно книги издавал, чтобы фактов для фельетона не было.Так и фельетонист хитер. Хитрому писателю зачем факты?

А жалко, что не пьет Глезер.Пьют же другие!О пьяницах и писать легче. Или, к примеру, женами бы торговал. Как бы остроумно было написать, что Глезер продал очередную жену, на вырученные деньги купил картину, которую потом пропил. Вот это факт!

Но опытный фельетонист может и без фактов. За то и деньги платят;а деньги, признавался фельетонист, не пахнут. Одним проникновенным словом добил Глезера. Лежит теперь Глезер с нервным расстройством. Не зря намекнул Руссовский: "То-то после выставки в клубе "Дружба" вас меньше печатать стали!".

"Мы, - говорит Руссовский, - фельетонисты. Народ серьезный. Захотим - и вовсе печатать вас не будут."

Нервная, тонкая душа у поэта. Легко ранимая. Вот уже и в больнице.По такой немаловажной причине я взялся за фельетон, первый раз в жизни, и, надеюсь, в последний.

Фельетонисту, конечно, премию теперь. За Глезера.

За меня Руссовский скоро премии не дождется. Я - художник, человек мастеровой, нервы у меня - канаты. Гастрит, правда, но воспаления не будет от фельетонов Руссовского. Пусть не надеется.

Но Глезера донял. Одними словами и выражениями. А дать бы фельетонисту ружье, он и стрелять начнет. Сначала, правда, в воздух. А потом и так, по движущимся мишеням.

Было время, в 30-40 годы вопросы русского искусства решали фельетонисты с оружием в руках. И порешили. Ни искусства, ни литературы. Одни фельетоны.

В 60-е годы первые ростки пошли во время оттепели, только фельетонисты тут как тут зелень, извините, поедают. Но стрелять пока стесняются. Вызывают, беседуют.

- Но ведь Марк Шагал... - заметил Глезер на прощанье.

- Шагал Марк? Кто это?

- Ну, всему миру известный...

- Я вашего Марка не читал, - оборвал Руссовский и начал писать фельетон. А мне пора кончать. Мне за фельетоны денег не платят. Я - Художник."

Использовав цитаты из Оскаровского сочинения, газета "Вашингтон Пост" опубликовала статью своего московского корреспондента Антони Астрахана "Фельетоны о советском искусстве совершенно серьезны". Он сразу же обобщил: "Некоторые из современных московских живописцев оказались мишенями в нынешней кампании подавления советской культурной жизни... Газета "Вечерняя Москва" опубликовала фельетон, напав в сатирической форме на Александра Глезера, поэта и переводчика, чья квартира служит своего рода галереей для многих лучших художников, не признаваемых в Советском Союзе... Это первая атака в печати на оппозиционно настроенных людей из мира искусства, начиная с 1967 года. Пока она не состоялась, казалось, что культурная кампания обойдет живописцев и сосредоточится вокруг представителей литературы, таких, как писатель Александр Солженицын и ре-

дактор Александр Твардовский."

Как всегда,отклик Запада заставлял надеяться,что, остерегаясь огласки, власти не прибегнут к крайним мерам, и уж во всяком случае за свое мужество Рабин не поплатится. Тем не менее Руссовский не преминул пригласить его в редакцию. Обиженно бубнил:

- Что вы, Оскар Яковлевич, нашу газету "бульварной" называете?

Пикантная ситуация. Орган горкома партии окрещен "бульварным". Съесть бы им этого проклятого Рабина с костями за наглый эпитет. Приходится же терпеть, разговаривать на равных. Вот он и распускается:

- Почему вы печатаете сплетни?

Руссовский, игнорируя замечание:

- Мы против вас выступать не будем, Вы поступили эмоционально, защищая друга.

Какое рыцарство! Какое благородство! Прощают врагу колкие, едкие, бьющие не в бровь, а в глаз строки, да еще их передачу за рубеж, потому что вступился за друга. Словно сбылось предсказание пророка и волки стали мирно пастись с ягнятами. Нам подоплека этого преображения ясна. Тронь Рабина - за перо возьмется Немухин, стукни Немухина, не удержится Мастеркова ... И начнется... Нет, широкая шумная война с художниками не входит в планы карателей. А расправиться с коллекционером-пропагандистом необходимо. Это и легче. Живописцев много; а он,такой дурак, один. Художники материально от государства не зависят, а он кормится в наших издательствах. Перво-наперво лишим его работы.Для того достаточно всего лишь фельетона (и действительно, едва его опубликовали, как в разных городах сняли с производства пять книг моих переводов) . Потом изгоним из Профкома литераторов, и он окажется нигде не работающим, нигде на учете не состоящим паразитом-тунеядцем.Тогда суд насильственно трудоустроит его на службу где-нибудь подальше от Москвы - и конец осиному гнезду модернистского искусства!

Задуманное неукоснительно проводилось в жизнь. Профкомовцы еле-еле дождались, пока я выйду из больницы, и ко мне пожаловала комиссия во главе с предсе-

дателем Профкома Прибытковым. Ходят они по квартире, глазеют на картины и возмущенно рокочут. Все, дескать, непонятно, все это кривлянье, а не искусство.Рабин же, и спорить нечего, неприкрытый антисоветчик. А ухватистый, расторопный, лицемерный Прибытков разговаривает со мной, как с младшим, любимым, да вдруг нашкодившим братом.

– Картины еще ладно. Нравятся вам, висят у вас в квартире, и пусть висят.Но как вы умудрились передать за границу статью с антисоветским душком?

– Нет в ней никакого душка! Статья о художниках.

У него с собой копия:

– Вы утверждаете, что авангардистов не выставляют на Родине, обрекают на молчание, и цитируете эмигранта Замятина, писавшего в тысяча девятьсот тридцать втором году Сталину, что для творца такое молчание равносильно высшей мере наказания, то есть расстрелу. Вы осмеливаетесь сравнивать положение ваших художников с положением Замятина, которого не печатали и не печатают, потому что он проповедовал чуждые нашему обществу взгляды.

– Замятин – большой русский писатель... Художников же и вправду не выставляют.

Прибытков разочарован моей несговорчивостью. Усаживает всю компанию, зачитывает статью. Общее мнение – крамольная. Только двое среди этой восьмерки – нормальные люди: старик Романовский и Юра Дмитриев.Не то чтобы они одобряли мое поведение. Ни в коем случае! Но они считают, что основное – проверить, соответствуют ли изложенные в фельетоне факты истине. Последовательно и доказательно опровергаю обвинения. Однако ни на кого, кроме тех же Романовского и Дмитриева, мои доводы не производят никакого впечатления. Им и слушать их скучно. Наша газета всегда права. Чего тут еще копаться! Но дипломатичный Прибытков прощается дружелюбно. Обещает, что вскоре соберется большое бюро профкома и актив секций, заслушает меня, все обсудят и вынесут решение. Про себя я отметил "приговор".

Бюро назначили на 25-е марта. Утром того же дня встречаюсь с Прибытковым. Объясняет, что положение

сложное, что требуют (кто требует?) немедленного моего исключения из организации. Но не все еще потеряно. Мы вас попробуем спасти. Для этого нужно,чтобы вы раскаялись. И торопливо:

– Перед товарищами на собрании, в узком кругу!

Меня оклеветали, и я еще должен раскаиваться!Протестую, но как-то вяло. До сих пор глотаю таблетки,которые мне дали в больнице, а они, как позже узнал,рассчитаны на подавление активности.

Прибыткову же чудится, что я растерян:

– Проводите меня. По дороге продолжим разговор.– И в метро успокаивает: – Не стоит расстраиваться. Все образуется. Нет ничего зазорного в том,чтобы признать ошибку перед собратьями по перу.

Доезжаем до станции "Дзержинская". Взгляд рассеянно скользит по черному бордюру, окаймляющему мрамор стены. Нарочно ли,нечаянно,безвестный архитектор украсил символичной траурной каймой станцию возле зловещей Лубянки. Прибытков посматривает на часы:

– Начало у нас сегодня в шесть,а вы приходите на полчаса пораньше. – И к выходу. Побежал за распоряжениями. Интересно, куда. Прямо через площадь, на Лубянку, или направо, в горком партии.

А в 17.30 он совсем другой. Наверное доложил,куда надо, что Глезер, кажется, нетверд, и получил указание добиться от меня максимума. Сейчас ему недостаточно устного раскаяния. Сейчас Прибытков хочет, чтобы я признал свою вину черным по белому, написал бы заявление в бюро Профкома. И уже тащит лист бумаги и ручку:

– Я вам продиктую. – И тут же, склонившись надо мной, как демон-искуситель:

– А может быть, вы пошлете письмо в "Вечернюю Москву"? Это самое лучшее. Тогда отделаетесь выговором.

Наконец добрались до сути. Начиналось с малого – раскаяния в узком кругу товарищей, заканчивается обычным требованием прилюдно посыпать себе голову пеплом и молить о прощении. Открылись вы, зарвались вы, товарищ Прибытков!

– В газету, меня оклеветавшую, писать не буду!

И он смягчается,отступает, как опытный фехтовальщик:

– Пойдемте, пойдемте на бюро. Время поразмыслить у вас еще есть.

Самая большая комната издательства "Советский писатель" набита битком. Лица братьев-литераторов исполнены значительности.Родина поручила им судить преступника, и нужно оказаться достойными доверия. За минуту до открытия прибегает секретарша:

– Звонили из горкома партии, просили выступления стенографировать.

Это нечто вроде допинга. Теперь-то все поэты и прозаики, и без того находящиеся в состоянии боевой готовности, рванутся в атаку с утроенной энергией. Высокое начальство оценит их рвение. И, опережая карьеристых молодых, поднимается Гейгер.У него славное прошлое. Служил в войсках НКВД. Венгр по национальности, открыто одобрил введение в Будапешт советских танков. Ликовал, когда подавляли Прагу. Ему понукания ни к чему. Он свой партийно-чекистский долг знает. После его исполненной праведного гнева речи и другим полегче выступать в том же ключе. Клеймят и клюют,клеймят и клюют. Заместитель Прибыткова, седенький, маленький,словно навек чем-то пришибленный, Корнблюм сегодня витийствует:

– Видел я, товарищи, эти, с позволения сказать, картины. Если на заводе имени Лихачева Глезер устроил бы выставку, рабочие уничтожили бы их все до единой! И побили бы авторов!

– А в институте имени Курчатова такую выставку приветствовали бы! – смело парирует Дмитриев. Ему на подмогу спешит Романовский. Покашливая, зачитывает:

– Наша юридическая комиссия проверила факты, изложенные в фельетоне, и считает, что большинство из них не соответствует действительности. Глезер виновен лишь в организации новоселья-вернисажа без предупреждения о том Союза художников, и в передаче в обход АПН статьи за границу. Последнее неэтично.

Милый Романовский! Как хорошо сформулировано-то: "неэтично". Это я еще могу признать. Хоть и противно,

но на какие-то уступки ради коллекции пойти придется. А тут для отхода предложили такой роскошный мостик. Эту вину я за собой признаю и еще признаю, что когда приглашал гостей на новоселье, обязан был заручиться санкцией МОСХа. Я бы порадовался, если бы мое раскаяние по сему поводу напечатали. То-то было бы смеху!

Теперь Дмитриев поддерживает Романовского:

- По поручению бюро я заходил к Руссовскому, сказал, что использованные для фельетона факты ложны. Думаете, он стал меня переубеждать? Ничего подобного. Только спросил: "Ну и что?"

Когда выступали Дмитриев и Романовский, у меня на мгновение мелькнула шальная мысль: "А вдруг ход собрания переломится? А вдруг найдутся новые смельчаки?" Нет, непоколебимы ряды борцов за коммунизм! Упрекают заблудших коллег в близорукости и постыдном либерализме. Да читали ли они статью Глезера? Читали! Так о чем же разговаривать? Это же типичная антисоветчина. Нет, гнать его взашей! Мы не можем дышать с ним одним воздухом. Председатель секции прозы от негодования сотрясается:

- Я три года провел в окопах. Воевал с фашистами. А к нему немецкий посол картинки смотреть приезжает!

Я не утерпел:

- А что бы вы сделали, если б посол к вам приехал?

- Грудью б встал в дверях! Не пропустил!

Собрание длится четыре часа. Двух мнений быть не может - выгонят. Прибытков предлагает высказаться мне. Ох, врезать бы им правду-матку! Но приходится локально выступать. Опровергаю пункт за пунктом фельетон. Шумят, прерывают. Отстаиваю статью - ревут. Такая злоба в их криках, в их словах, в их глазах, будто я оскорбляю лично каждого. Но Прибытков чуть-чуть гасит страсти - дирижер он умелый - и подбрасывает вопросик:

- Александр Давидович, хоть в чем-то вы себя признаете виновным?

Кое в чем? Как робко спрошено. Кое в чем могу и признать:

- Я ведь сказал уже о неэтичности поступка и но-

воселье-вернисаже без ведома МОСХа...

— Так напишите об этом в "Вечернюю Москву".

Что он, спятил? Кто же это напечатает? Не идиоты же там! Да и сам Прибытков не дурак. А он настаивает. Он апеллирует к своему стаду. И стадо мычит:

— Пусть напишет!

Снова витийствует Прибытков. Все больше об идейном воспитании. О высоких материях. И неожиданно, как бы между прочим:

— Я считаю, что если Александр Давидович в письме чистосердечно признает вину, кое о ком из художников...

— Я не обещал каяться и писать о художниках!

Укоризненно глядит, дескать, я вас не прерывал. И, словно защищая меня от меня самого и будто спасая меня от вновь расшумевшейся аудитории:

— Если такое письмо появится (и в мою сторону — без художников, без художников!), то можно не исключать Глезера, а временно снять с учета.

Жаждущие крови удивляются, но покоряются.Раз Прибытков занял столь примирительную позицию, значит на то есть основания. Значит, все согласовано с верхами. И те,кто еще секунду назад предлагали не только гнать меня вон, но и составить коллективное письмо с просьбой передать суду антисоветчика и махинатора, проголосовали за снятие с учета.

Я же, как вареный (чертовы таблетки!), туго соображаю. Но и в этом состоянии сознаю, что теперь-то за кулисами и начнут мне выкручивать руки, выбивать письмо с покаянием на все сто процентов. Подобные послания очень по сердцу нынешним хозяевам страны. Ты подписался в защиту диссидента,ты осмелился выразить собственное мнение, не совпадающее с партийным, ты напечатал свое произведение на Западе — вались на колени! Хочешь жить — покайся на страницах родной прессы!Трудно самому себе в душу плевать?.. А ты плюнь, коль позволил себе своевольничать! Поешь землю, гад, растопчи свою совесть! Не во имя самоуничижения лишь, хотя и ради этого, но и для острастки другим.Поглядите,мол, умники, как кается гордый Булат Окуджава или чудом вы-

живший в сталинских лагерях (двадцать лет на Колыме!) Варлам Шаламов. Уж если сломили их, то вас согнем в два счета. Не хотите потом позориться, так сейчас сидите и молчите.

Так-то, "прогрессивные" западные писатели. Вам нравится роль ваших советских коллег в жизни общества, организованность в СССР издательского дела! А как насчет цены за эти роль и организованность? Может быть, и вы уже готовы отказаться от личных взглядов и пристрастий и слепо повиноваться партфункционерам? Вот и Прибытков выполняет их непреклонную волю.

– Жду от вас письма через два дня.

А через два дня читает мои двадцать строк и только что не плюется. Ему, видите ли, обидно, что он меня выгораживал, а я отвечаю черной неблагодарностью. Все не нравится председателю. И тон, и стиль, и нежелание признать ложь истиной. И главное – о картинах,о художниках – ни слова. Как будто трудно было, к примеру, написать, что будучи в эмоциональном состоянии,заблуждался и собирал работы фрондирующих непрофессионалов, неумелых модернистов.

– Не мог же я четыре года пребывать в эмоциональном состоянии.

Эх! – вздыхает он, – трудно с вами столковаться! Вот товарищ Корнблюм хочет вам помочь.Поезжайте в ближайшие дни к нему домой и спокойно обсудите текст письма.

Старый коммунист Корнблюм встречает меня приветливо, шутками да прибаутками. Жена и взрослая дочь накрывают на стол. Типично еврейская кухня – рыба фиш, кнедлики... Хозяин поглаживает себя по животу:

– После сытного обеда и разговаривать веселее. – И непринужденно, как нечто вполне обыкновенное: – Я, конечно, понимаю. Вам трудно написать такую бумагу самому. Дружеские чувства. Ложное самолюбие.Но мы ее составили за вас. Распишитесь и все.

Это означает на их языке "обсуждение текста". Ну-ка посмотрим, что им от меня надобно. О, очень много-го! Виноват. Раскаиваюсь. Больше не буду. Грязь в адрес художников. И блистательная, вся в сослагательном

наклонении концовка: "Если бы моя статья была бы напечатана на Западе и недобросовестно прокомментирована бы, то она могла бы создать превратное представление о положении части творческой интеллигенции в нашей стране". Значит, художников-модернистов не запрещают выставлять, значит, их не травят в прессе, значит, перед ними открыты все дороги. И под этим бесстыдством подписываться?!

Но Корнблюм не теряет надежды. С терпением,участливо:

– Я старше вас на много лет. Гожусь вам в отцы. Советую – не губите себя и семью! Здесь лишь полстранички. – И затем, указывая на этюд, вульгарную рыночную поделку, стоящую за стеклом книжного шкафа: – Поглядите! Шесть сосен. Все они отражаются в пруду. И еще лебедь плывет. Тринадцать предметов! И за это я заплатил всего лишь три пятьдесят. А на картине Рабина нарисована только рыба и подклеена газета.Он же содрал с вас триста рублей! Друг называется! Вы наивный человек. Вас обманывают!

А телефон звонит уже не в первый раз, и мгновенно покрывающийся испариной жалкий человечек повторяет слово в слово:

– Нет, пока не подписал. Мы обмениваемся мнениями. – И осторожно положив трубочку, снова ко мне, душевно, с надрывом даже (партзадание-то хочется выполнить):

– Вы еврей, и я – еврей. Какое вам дело до русского искусства! Подпишите!

Однако не откликнулся я на зов Корнблюма, и родился на свет документ:

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9
ЗАСЕДАНИЯ БЮРО ПРОФКОМИТЕТА ЛИТЕРАТОРОВ ПРИ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ "СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ"

От 8 апреля 1970 года

СЛУШАЛИ: О пересмотре решения Бюро Профкомитета литераторов от 25 марта 1970 года, снимающего А.Д.Глезера с учета в Профкоме.

ПОСТАНОВИЛИ: Бюро вновь подтверждает, что важнейшие

факты, приведенные в фельетоне, соответствуют действительности. Осуждает деятельность А.Д. Глезера, выразившуюся в популяризации произведений живописи, носящих абстрактно-формалистический характер и полностью не соответствующих требованиям, какие предъявляются к искусству, как средству идеологического и эстетического воспитания масс в духе партийности и советского патриотизма. Считает несовместимой с честью советского литератора попытку А.Д. Глезера опубликовать в зарубежной прессе статью, носящую заведомо лживый характер, искаженно рисующую действительное положение творческой интеллигенции в СССР.

Поскольку Профком литераторов при издательстве "Советский писатель" объединяет профессиональных литераторов, считающих своим долгом проводить в области искусства политику, соответствующую требованиям партии и советского общества, Бюро Профкома не может иметь доверия к А.Д.Глезеру, чья деятельность противоречит этим принципам.

В связи со всем вышесказанным, а также в связи с тем, что А.Д.Глезер не выполнил данного им членам бюро обещания, не написал статьи в "Вечернюю Москву" с чистосердечным раскаянием о своей деятельности "коллекционера" картин, часть которых не имеет ничего общего с искусством и отдельные из которых являются политическим хулиганством, статьи, с осуждением собственной антисоветской выходки; в связи с тем, что А.Д. Глезер продолжает обманывать организацию, делает вид, что ему не ясно существо его поступков, БЮРО ПОСТАНОВИЛО: Александра Давидовича Глезера ИСКЛЮЧИТЬ из профсоюза работников культуры.

КАК ВЕРБУЮТ НА ЛУБЯНКЕ

"Вербовка - в самом воздухе нашей страны".
Александр Солженицын

Когда я приступал к этой главе, мой приятель уже здесь, на Западе, засомневался, стоит ли ее писать.

- Как-то странно получается, - сказал он. - Ты сам идешь в КГБ. Если б ты пошел в ЦК или Горком партии...

- Да какая разница?

- Выходит, ты признаешь руководство Лубянки литературой и искусством.

"Факты - упрямая вещь", - говорил товарищ Сталин. Можно от них отворачиваться, можно ими пренебрегать. Но это же самообман. Кто способен увидеть, где кончается ЦК КПСС или ЦК ВЛКСМ и начинается КГБ? Кто уничтожил Мандельштама, Бабеля, Пильняка? Кто посадил Синявского и Даниэля? НКВД - КГБ или ЦК КПСС?Справились они с этим дружными совместными усилиями. Одни распорядились - другие исполнили. И вообще у них общие кадры. Сперва первый секретарь ЦК ВЛКСМ Семичастный становится министром Госбезопасности. Потом его сменяет секретарь ЦК КПСС Андропов. По-моему, все равно, куда идти. Важно, как себя там вести.Превратиться в подлеца можно и не выходя из дому.

А если я не напишу эту главу, что подумают на Лубянке? Испугался. И что придумают?Пустят в оборот собственную версию моего поведения в их замечательной организации. Коль они даже Солженицына пробовали дискредитировать тем, что, якобы, Александр Исаевич когда-то был недостаточно стоек в отношениях с ними, то со мной и вовсе церемониться не станут. Наплетут с три

короба. Потом поди доказывай, что ты не верблюд. Они же действуют по геббельсовскому принципу: ври больше - что-то в мозгах останется.

Однажды оговорить меня уже пытались. Подбросил аноним в конце 1973 года в Шведское посольство записку. Признался в ней в любви к Швеции и посетовал на то,что аккредитованные в Москве неосмотрительные шведские дипломаты встречаются с плохими людьми - Глезером и Жарких, которые называют их, то-есть дипломатов, шпионами. Где называют? - аноним-доброжелатель умолчал. Но не на базаре же! Естественно, на Лубянке.Значит, Глезер и Жарких - стукачи. Держитесь, иностранные граждане, от них подальше!

Но все предыдущее, так сказать,предисловие к главе. Перейдем к ней самой. Итак, я оказался изгнанным из Профкома литераторов, без работы, без средств к существованию. Типичный тунеядец, которого при желании власти могут насильственно трудоустроить или выселить из Москвы. Почти все поэты, коих мне довелось переводить, немедленно отказались от моих переводов. Вдобавок кто-то распустил слух, будто я уже арестован (после подобного фельетона почему бы и нет?), так что меня вроде бы уже и не было. Что оставалось делать в моем положении? Оскар одолжил тысячу рублей, я положил их в сберкассу. Глядите,мол,не тунеядец - скопил деньги. Летом по настоянию Майи мы отправились отдыхать не куда-нибудь, а на Черное море, причем знакомые достали путевки в писательский Дом творчества в Гаграх. Специально туда, чтобы пишущая братия убедилась, что еще жив и на воле. Вспоминаю выпученные глаза председателя Союза писателей Башкирии Назара Наджми, столкнувшегося со мной на пляже:

- Это ты?! Ты не арестован?

- А за что меня арестовывать?

- Но в фельетоне всякое писали...

- Мало ли о чем пишут фельетоны?

Он согласно кивает, но предпочитает держаться подальше. Непонятная история: человека назвали многоженцем, дельцом, антисоветчиком и не посадили,пустили гулять на Черноморское побережье. Начальника башкирских

поэтов и прозаиков даже слегка оскорбляет,что ему приходится нежиться под одним и тем же солнцем, на одном и том же песке с этой подозрительной личностью.

И с неменьшим удивлением встречали меня через месяц в Тбилиси. Все пребывали в полной уверенности,что я давным-давно за решеткой. Между тем я отправил два почти идентичных письма: секретарю ЦК по идеологическим вопросам Демичеву и шефу КГБ Андропову. В обоих я доказывал, что фельетон - клеветнический, прося разобраться в фактах и либо опровергнуть ложь, либо арестовать меня. Своеобразным ответом было появление в сентябре в нашей квартире милиционера, который с места в карьер потребовал, чтобы я прекратил тунеядствовать и шел на службу. Ни книжки мои, ни объяснения, что я отложил деньги и живу на них, ни демонстрация единственного, не разорванного со мной договора нисколько на него не повлияли. Твердил, как попка:

- Обязаны трудоустроиться.

Да, свои планы Лубянка осуществляла четко. После второго и третьего милицейского захода стало ясно,что необходимо действовать.Попытки устроиться куда-нибудь инженером успеха не имели.Кто же возьмет еврея,да еще с клеймом антисоветчика? В ночные сторожа или истопники с высшим образованием не брали. Оставалось последнее: определиться фиктивным секретарем без жалованья, лишь для справки, что работаю, к писателю или ученому. Несколько лет назад это не представляло особой сложности. Многие считали за честь помочь попавшему в опасное положение диссиденту. Но теперь на дворе стоял не 1967, а 1970 год.

Напрасно друзья стучались в двери писателей,напрасно надеялись на, якобы, более независимых ученых. Люди снова научились бояться. Когда, наконец,милиция ультимативно предложила в двухнедельный срок подыскать работу, я отправился за советом к известному адвокату Дине Каменской, которая прославилась смелыми выступлениями в защиту диссидентов на процессах шестидесятых годов. Ей потом запретили защищать такого рода обвиняемых. Мне хотелось узнать, могу ли я как-нибудь отбиться от милицейских, опираясь на закон.

Вот, дескать, переведенные книги, вот публикации в журналах, живу на то, что заработал, говорить о тунеядстве не приходится. Адвоката моя логика рассмешила:

– Вы живете в бесправовом государстве! Невзирая на законы, с вами сделают все, что угодно. – Она задумалась и вдруг сказала: – Лучше всего пойти на Лубянку самому.

От неожиданности я подскочил на стуле:

– Зачем?!

– Это единственная организация, которая в таком частном случае, как ваш, не побоится взять на себя ответственность за самостоятельное решение.

– Они меня станут вербовать!

– Наверно. Но завербоваться или нет зависит от вас.

– Какой же им смысл идти мне навстречу, если я отказываюсь с ними сотрудничать?

– Они иногда делают непонятные вещи. – И Каменская рассказала,как мыкалась Ирина Жолковская, жена Алика Гинзбурга. Его арестовали за несколько дней до официального оформления их брака и, хотя существовали доказательства, что Алик и Ира давно живут как супруги, эти доказательства использовались лишь для того, чтоб испакостить ей жизнь. Ирину преследовали, увольняли со службы, мол, она жена Гинзбурга, и в то же время не пускали на свидания с ним, так как их брак не зарегистрирован в ЗАГСе и, следовательно,она ему не жена. С просьбой оформить брак с заключенным Гинзбургом Жолковская обращалась к председателю Президиума Верховного Совета СССР, к председателю Совета министров, в ЦК КПСС. И всюду наталкивалась на категорическое "нет". Она поехала на Лубянку. И там,неясно почему, посчитали нужным ей помочь. Не выдвинув никаких условий, словно это было заурядным явлением, Ирину доставили в лагерь, где и зарегистрировали с Гинзбургом.

– Вы можете объяснить поведение КГБ в данном вопросе? – спросила Дина. – И пошутила: – Действия тайной полиции таинственны и необъяснимы.

Оскар поддержал идею адвоката:

- Терять тебе нечего.

А меня то охватывает нерешительность, то лихорадочная жажда сразиться с ними в их логове. И в конце октября, миновав стоящего при входе на страже молоденького солдатика, я вошел в приемную КГБ,что на Кузнецком Мосту, и двинул к ее начальнику. Он сидел за массивным письменным столом. Невыразительное лицо какого-то странного кирпичного оттенка. Маленькие бесстрастные глаза. Говорит резко, отрывисто:

- Что у вас?

- "Вечерняя Москва" напечатал обо мне клеветнический фельетон...

- При чем тут мы?

- В фельетоне использованы материалы,которые могли быть получены лишь от вас. Я обвиняюсь в передаче на Запад антисоветской статьи.

Он переходит на крик:

- Имеется Комитет по делам печати!Идите жаловаться туда!

Забурлило и во мне. Направляясь к двери:

- Я пойду в прямо противоположную сторону. - Фраза внешне бессмысленная. Однако он понимает, что грожу обратиться к иностранным корреспондентам. Это ему не нравится. Срочно меняет тон и любезно просит подождать две-три минуты в зале перед кабинетом.Там на моих глазах разыгрывается любопытная сценка. В приемную небрежной, развинченной походкой вступает молодой человек, судя по внешности - кавказского происхождения. Просто и буднично, словно пришел на завод,бросает солдату:

- Здесь берут на работу?

Тот отсылает его к начальнику. Очень быстро кандидат в стукачи выскальзывает из кабинета и, задержавшись на мгновение возле часового, разочарованно ухмыляется:

- Не взяли...

Лубянка стала разборчива. Очевидно, желающих сотрудничать больше, чем вакансий. Не всякий им нынче подходит.

А начальник, приглашая меня в кабинет, сам удаляется.Двое неведомо как очутившихся здесь гебистов (двери, как будто, одни) поднимаются из-за длинного полированного стола. Представляются:

– Андрей Григорьевич и Михаил Вячеславович. – Интересуются причиной моего прихода.

Повторяю о фельетоне. Не читали не слышали. Ну,конечно, они не знают! Самая удобная позиция. На всякий случай их хата с краю. Пересказываю и одновременно опровергаю стряпню Строкова. Сетую на приставания милиции.

Андрей Григорьевич, смуглый, с мягкими чертами лица, пышными усами, отменно поставленным бархатным голосом задает по ходу уточняющие вопросы. Он прямо-таки удивлен: как это "Вечерняя Москва" не разобралась и опубликовала откровенную ложь! Он сочувствует. Он рвется помочь. Всплескивает в недоумении руками. Понимающе кивает. Этакий бесплатный театр.

Михаил Вячеславович, с грубоватой крестьянской внешностью, безусловно старший по рангу, помалкивает – изучает меня. Порою перехватываю его быстрые напускно равнодушные взгляды. Наконец и он раскрывает рот:

– Вы кому-нибудь сказали, что идете к нам?

Коварный вопросик – первая ласточка вербовки. Но будто ни о чем не догадываюсь:

– Жене и друзьям.

Вижу – раздосадован. Насколько спокойнее было бы, если б я никого не предупредил. Безусловно, человек может рассказать, о чем с ним беседовали в КГБ, что предлагали. И все же, когда он приходит туда скрытно от всех, надежд на его благоразумие и готовность сотрудничать гораздо больше. Михаил Вячеславович постукивает пальцами по столу:

– Необходимо письменно изложить ваши аргументы.Мы изучим, доложим.

Андрей Григорьевич протягивает номер своего телефона: 224-20-43:

– Как напишите – позвоните.

Я накатал опровержение,чуть не на двенадцати страницах, и через неделю мы встречаемся вновь.На этот раз непосредственно на Лубянке, в здании КГБ Москвы и Мос-

ковской области.Сегодня они меня ждали, подготовились. Михаил Вячеславович воинственен:

- По-вашему, газета кругом на вас клевещет.

- Я уже объяснял.

- Но статью за границу вы передали?

- Да.

- И считаете этот поступок нормальным?

Понимаю, что они перешли в заранее подготовленное наступление, и стремлюсь его сорвать:

- Вы прочтите мною написанное. Там сказано обо всем. Кстати, милиция не оставляет меня в покое. Нельзя ли ее остановить?

А он гнет свое:

- Газета не может во всем заблуждаться.Так не бывает.

- Обвинений в фельетоне много, и каждый я опровергаю.

- Антисоветской статьи не опровергнете.

- Она не антисоветская.

- Александр Давидович, с вами не столкуешься!

- Прочтите, пожалуйста, то, что я написал.

Недовольно передергивает широкими плечами. Кажется, сейчас даст волю гневу. Нет, задача у него другая. Перестраивается. Дружески поясняет, что в принципе я в КГБ обратился не по адресу. В их компетенцию не входит разбор подобных происшествий. Но мне хотят помочь, так как "Вечерка" переборщила.Смущает лишь одно: слишком широко оповещаю обо всем друзей. Лучше, чтоб никто не подозревал, что продолжаю бывать здесь. Тогда госбезопасность не обвинят, что вмешивается не в свои дела.

Можно подумать, что нахожусь не в КГБ, а в благотворительной организации. Вот какие они замечательные! Даже закон нарушают, чтобы выручить из беды человека. Только пустяковое условие: держать все в секрете. Могущественная Лубянка кого-то страшится! Кто-то скажет, что она превышает полномочия. Явный блеф. Продолжение прелюдии к вербовке. Сперва выудят обещание никому о моих посещениях не сообщать. Потом потребуют отвечать на щекотливые вопросы.И в конце концов последует спец-

задание новому агенту. Схема немудреная. Михаил Вячеславович глядит выжидающе-поощрительно. Глезер и с художниками связан, и с писателями. И диссиденты к нему захаживают, и дипломаты и журналисты иностранные заезжают. Какой простор для работы, какие широкие горизонты открываются,если этот тип согласится сотрудничать!

Притворяюсь, что попадаю в ловушку.Посмотрим,кто кого перехитрит-переиграет. Опасно? Поймают на обмане - отомстят? Будь что будет! Делаю вид, что объят сомненьями:

- У меня от Рабина секретов нет.

- Так появятся, - осторожно, ненавязчиво и в то же время цинично - чудится мне, что даже подмигивая,- констатирует Михаил Вячеславович. И, дабы не спугнуть добычу, не настаивает - дело-то вроде уже в шляпе, - а знакомит меня со своими подчиненным, Вячеславом Сергеевичем, хмурым, худым блондином с вытянутым лошадиным лицом. Волосы у него будто выжжены перекисью. Белые прилизанные пряди падают на лоб. Под ними тусклые глаза сексота. Этот их сотрудник впоследствии не раз попадался мне в коридорах "Советского писателя".Наверно один из стражей низшего разряда,приставленный к советской литературе. Дней через десять я должен ему позвонить и узнать, какое решение вынесли по прочтении моего опровержения. Неужели Михаил Вячеславович или Андрей Григорьевич не сумеют ответить сами? Для чего все-таки подключили к игре третьего? О,роль у него была элементарная - пугать. И короткая - мы с ним встречались всего два раза. Звоню через десять дней, и он просит немедленно приехать.

- А по телефону нельзя?

- Не шутите.

На Лубянке же налетает коршуном:

- Вы посылали письма товарищам Демичеву и Андропову?

Подтверждаю.

- И теперь на каждом углу болтаете об этом?

-Издательство "Советский писатель" не каждый угол.

- Да вы понимаете, чьи имена упоминаете?

В изумлении уставился на него.

– Нет! Вы не понимаете! Вы не имеет права их произносить!

– Почему?!

– Если до вас и это не доходит... – не договаривая, безнадежно машет рукой.

У евреев в древности под страхом смертной казни запрещалось произносить тайное Божье имя. Но при чем тут Демичев и Андропов? С какой целью разыграна эта комедия? Чтобы сбить с толку? Внушить страх нелепыми запретами? Да ну к черту разгадывать головоломки лубянщиков!

– Опровержение прочли?

– Читают...

– Сколько можно?

– Сколько нужно, столько и можно. – Заглядывает в календарь. – Жду вас через неделю.

Тактика на измор. Над КГБ не каплет. Гебисты не торопятся. Они любят потомить человеческую единицу неизвестностью. Спустя неделю Вячеслав Сергеевич пускает в ход шантаж:

– Вы обещали никому не говорить, что бываете у нас, а сами обо всем информируете Рабина.

– Это ложь.

– Мы точно знаем, что правда.

Ни хрена они не знают! Берут на пушку. Я не только с Оскаром обсуждаю ситуацию, но и еще с двумя-тремя друзьями. Однако всегда на улице, чтобы не засекли магнитофонами. Повышаю голос:

– Вы вторично позволяете себе вести себя со мной некорректно. Я протестую!

– Некорректно? – злобно цедит он и, выделяя каждый слог: – Бывает и по-ху-же!

А я с неменьшей злобой, как когда-то в горкоме партии:

– Вы расстреляли моего дядю! Держали в лагерях тетю! Ссылали родных! Я не боюсь ваших лагерей, тюрем и психушек, потому что не боюсь смерти.

Дверь кабинета тут же раскрывается, словно за нею кто-то подслушивал, и появляется Михаил Вячеславович. Он торжественно улыбается:

– Александр Давидович! С милицией все в порядке. Правда, трудновато пришлось. Сначала они и слышать ни о чем не желали. Тунеядец вы – и точка! Но мы их все-таки переубедили.

Представил себе, как милиция, обычно покорно выполняющая распоряжения КГБ, вдруг засопротивлялась. Что это вы, мол, то посылаете нас к Глезеру, то приказываете его не трогать. Так засопротивлялась, что Лубянка еле-еле с ней справилась... А Михаил Вячеславович еще не закончил. Он буквально рвется осыпать меня благодеяниями. Внушает, что победа над милицией лишь первый шаг. Необходимо восстановиться в Профкоме, необходимо, чтобы издательства возобновили расторгнутые договора, и в итоге никто не мог обвинить меня в тунеядстве. Мы в состоянии сделать вас полноправным членом общества, вернем положение и работу, но ради этого нужно на нас потрудиться. Однако покамест он ничего не требует. Лишь просит разрешения вместе с Андреем Григорьевичем посмотреть коллекцию. Ну, почему бы не позволить? В музей вход свободный. И наверняка немало их коллег там перебывало.

– Конечно, приезжайте.

Думал – галопом прискачут. И тут уж заведут о сотрудничестве. Ничего подобного. Спешить не стали. Дотянули до зимы. До декабря 1970-го. И лишь тогда пожаловали. Бродили по комнатам веселые, довольные. Андрей Григорьевич, специалист в области живописи (он по образованию то ли художник, то ли искусствовед) разъяснял напарнику что к чему. Тот играл в снисходительного начальника:

– Что страшного в этом искусстве? Почему Союз художников против него?

Союз, значит, против, а ЦК КПСС и КГБ – за. И не в состоянии ничего предпринять. Вспоминаю, как летом 1969 года заместитель министра культуры РСФСР здесь горестно вздыхал. Ему искренне нравились картины:

– Я бы все это показал, – негромко говорил он – но впутается отдел культуры ЦК. И выставку закроют, и меня на улицу выкинут. – И еще тише: – Вы не боитесь, если я привезу к вам Солженицына? – Чего же мне боять-

ся? Это у вас на службе неприятности будут.

Странный заместитель министра! Не случайно Руссовский так мечтал заполучить его фамилию.

Гебисты же поглазели на картины и осудили безоговорочно лишь Рабина, особенно его "Натюрморт с рыбой и "Правдой".

- Эту антисоветчину нужно снять! - безапелляционно заявил Михаил Вячеславович.

Попробовал поспорить. Дескать,покупаете вы "Правду", читаете. А потом, что с ней делаете? Вечно храните? Нет же! И заворачиваете в нее что-то, и на стол стелете, и, простите, в туалете употребляете. Вот и Рабин положил на газету селедку и поставил стакан с водкой.

Не подействовало. Гебист повел головой, как бык:

- Уберите ее лучше сами!

Насладившись живописью, Михаил Вячеславович стремится побеседовать. Внутренне ежусь. Накануне с Оскаром мы рассмотрели все возможные варианты и не отыскали ни одного утешительного. Какую-то подлость совершить от меня потребуют. Безусловно, откажусь.И все повторится заново: милиция, тунеядец... Поэтому, едва присели, бросаюсь в атаку. Сначала льщу:

- Обратился к вам в поисках справедливости...

Оба кивают.

И заканчиваю непоколебимо:

-... Стукача из меня не выйдет!

Михаил Вячеславович раскатисто хохочет:

- Кем, кем вы не можете быть?Ну и фантазия у вас! Кто же, ха-ха-ха, собирается вам, Александр Давидович, такое предлагать? Неужели мы? Давайте разговаривать серьезно.За границей картины ваших художников используются с антисоветской целью. Это надо пресечь. Каким образом?

- Абсолютно простым. Пусть их выставляют на Родине. Пусть откроют музей современного искусства, которому я с удовольствием передам свою коллекцию. Тогда крики об антисоветской живописи прекратятся.

- Наша организация музеями и выставками не занимается. Приказывать министерству культуры мы не имеем

права.

– Так пускай вмешается ЦК!

– Вы, Александр Давидович, максималист. Сразу переворот вам подавай. А нельзя ли помедленней, потише? Может, придем и к выставкам, и к музеям.Начинать же лучше с малого. – И вкрадчиво:

– Не согласятся ли художники составить коллективное письмо с протестом против использования их имен с антисоветской целью?

– У меня много каталогов их зарубежных выставок, журнальных и газетных статей о них. Нигде нет антисоветчины. Пишут только, что в СССР эти картины не выставляются. Кто же станет опровергать правду?

– Всякое попадается в статьях и каталогах, о которых вы говорите, – вступает Андрей Григорьевич.– Было бы желание, а написать можно.

Вот что затеяло КГБ! Художников только на Западе и выставляют, а они в благодарность его же и оплюют!А какая роль в этом спектакле уготована мне? Авторская? Организаторская? Но Михаил Вячеславович уже почувствовал, что я в таком деле не союзник.Зачем же открывать карты? Сердито замкнулся. У меня же мелькнула мысль. Издаются в АПН журналы на зарубеж: "Soviet life", "Sputnik digest". Там во всей красе иностранцам преподносится то, чем отечественного зрителя не балуют – российские храмы и монастыри, узбекские мечети, формалистические фотографии, репродукции картин советских живописцев, изображающих ню (ах, какая у нас свобода! Кому же за границей ведомо, что в СССР эти журналы не продаются?). Почему бы не дать там статью о ребятах, да еще поместить репродукции их картин? Это было бы маленьким плацдармом для движения вперед, для легализации неофициальной живописи.

Утаив насчет плацдарма, высказываю свое предложение. Смотрю, восприняли идею хорошо. Но обязаны согласовать с начальством. А их начальство наверняка будет вверх-вверх по служебной лестнице – согласовывать с партруководителями. И так до бесконечности. И все-таки Михаил Вячеславович повеселел. Видно, приятно ему, что я не отмахнулся от них, а проявляю какую-никакую

инициативу. И преподносит сюрприз: большой гебистский чин срочно хочет со мной повидаться. Это очень нужно, очень важно для восстановления в Профкоме.

И вновь я в снаружи наряднененьком,с легкими колоннами, внутри же угрюмом и сумрачном здании, только теперь уже не на первом этаже,а на втором.В прямоугольной просторной комнате за столом сидит крупный, в меру упитанный, лет сорока мужчина. Позади его на стене - карта мира. Впечатляюще это выглядит на Лубянке - все к рукам приберем! Хозяин кабинета приветствует меня, как дорогого, желанного гостя. Посматривая в сторону примостившихся поодаль Михаила Вячеславовича и Андрея Григорьевича, заботливо расспрашивает о жизни, о трудностях, беспокоится, не пристает ли опять милиция, говорит, что уже беседовал с председателем Профкома Прибытковым о моем восстановлении:

- Тяжелый человек! Против вас настроен. Упорствует. Но не волнуйтесь - мы его уговорим.

Смешно слушать. Готовый распластаться перед любым начальничком Прибытков, не сюда ли бегавший за указаниями, когда меня исключали, спорит с КГБ.Ну,брешите, брешите! Что дальше? А дальше - основное.

- Александр Давидович, мы вас просим помочь нашим органам в борьбе со шпионами.

Не веря собственным ушам, гляжу на него.

- Вы после фельетона не пускаете к себе иностранцев?

- Не пускаю.

Не совсем правда, конечно, но и не полная ложь. Продолжать держать двери дома настежь открытыми я теперь не мог. Друзья советовали переждать, не дразнить собак, не то меня вышлют из Москвы как тунеядца,а коллекция погибнет. Но зарубежные журналисты и искусствоведы, то-есть люди, которые намереваются писать о художниках, придти ко мне могли всегда. Лишь плохая работа помешала гебушке увидеть, как дважды за короткое время американцы и швейцарцы по нескольку часов фотографировали картины в моей квартире. Причем,некоторые холсты даже выносили на балкон и снимали там. А ведь при первой же встрече, еще в приемной на Кузнецком Мо-

сту, Михаил Вячеславович потребовал, чтобы я порвал все контакты с иностранцами. Но не проследили гебисты, не проследили! Впрочем, может, и проследили и сейчас на мое "не пускаю" приведут два-три примера. Нет, никаких упреков, никаких запретов. Более того:

– Пускайте к себе иностранцев, как прежде.

– Я вас не понимаю. Из-за этого у меня были неприятности, а теперь...

– Теперь мы вас просим нам помочь. Иностранные дипломаты хотят посмотреть вашу коллекцию. Пожалуйста! Вы договариваетесь о времени посещения и заранее сообщаете их фамилии Михаилу Вячеславовичу. Вы знаете его телефон?

Машинально отвечаю:

– Двести двадцать четыре, двадцать пять, семьдесят один.

– Да вы уже наши номера, молодец, наизусть помните! – Он сияет. Сияют и Михаил Вячеславович, и Андрей Григорьевич. Меня завербуют, а им благодарность за доблестный труд. Идиоты! Я шутил, что ли, когда честно предупреждал, что в стукачи не гожусь. Сейчас краснейте перед шефом.

– Я не могу делать это.

Он еще не верит. Не твердо сказано.

– Почему же?

– Я уже объяснял, что стукачом не буду.

Он тяжело откидывается на спинку стула.

– Александр Давидович! Мы же не посылаем вас подслушивать разговоры и собирать кухонные сплетни (вот спасибо!). Речь идет о борьбе с врагами нашей Родины. В иностранных посольствах в Москве служат и честные дипломаты, и шпионы. Вы не знаете, кто есть кто, а мы знаем.

– Если знаете, зачем нужна моя помощь?

– Шпиона надо поймать на месте преступления. Иначе нет доказательств. Лучше всего их ловить,когда они обмениваются информацией.

– И это должно происходить обязательно у меня? Больше нигде они не обмениваются?

– А где им обмениваться? У себя в квартирах? Не-

мыслимо. Следят. В театр они едут - следят. На прием идут - следят. На прогулку - тоже. А приходят поглядеть вашу коллекцию - и мы бессильны.

Бред какой-то! Как же они раньше, без меня ловили шпионов? Однако молчу. Молчу. Его же несет:

- Если вы нас предупреждаете, кто к вам направляется, то другое дело. Едут обычные дипломаты - пусть любуются картинами. Едут шпионы - мы присылаем к вам своего человека. Может же у вас в гостях находиться друг, Александр Давидович? Он и схватит лжедипломатов.

- Извините, я помочь вам не сумею.

Все трое изумляются. Шеф, кажется,просверлил меня взглядом насквозь:

- Почему не сумеете?

- Я не могу приглашать к себе людей, чтобы их в моем доме ловили как преступников.

Большой гебистский чин медленно поднимается и с плохо скрываемым раздражением:

- Обдумайте спокойно то, что я вам сказал, и позвоните нам в ближайшее время. Мы пока свяжемся с Прибытковым.

Напоследок поманили пряником.Провожавший меня Михаил Вячеславович вдогонку без стеснения спросил:

- А нельзя так сделать, чтоб и мы,и ваша совесть были довольны?

- Не получается.

- Попробуйте, попробуйте.

И через десять дней на той же Лубянке неутомимая двойка принимается обрабатывать меня вновь. Битый час провозились. Насилу отвязались, да и то не совсем. Решили прихватить меня по-иному. Перескочили на зарубежные выставки. Крайне их волнует, кто эти выставки организовывал.

- В Риме...

- Не знаю.

- Во Флоренции...

- Не знаю.

- В Лугано...

- Не знаю.

- Александр Давидович, вы неискренни. Не может

быть, чтобы вы ничего не знали. Ведь художники - ваши друзья.

Конечно, я знаю, конечно, я неискренен.

- А вы знакомы с Таней Колодзей?

И тут меня осенило. Про копенгагенскую выставку они не спросили. Почему? Ах, Леня Талочкин,Леня Талочкин, простецкий парень, бородач,ночной сторож на складе, любитель живописи. Как ты до ночи вкалывал, развешивал картины перед моим новосельем! Как, не жалея себя, ты таскаешь картины от художников к фотографу и обратно - и все ради того,чтобы получить экземпляр фотографии (зато теперь у тебя коллекция в тысячу снимков), как ты радовался, когда привез ко мне датчан,пожелавших организовать экспозицию в Копенгагене. И вдруг Женя Рухин намекает мне, что ты - стукач. И я вспоминаю, что Руссовский показывал мне во время нашей беседы в "Вечерке" фотографии работ, сделанные опытной рукой твоего приятеля фотографа. А совсем недавно один из членов бюро Профкома рассказал мне, что в конце 1969 года в Профком явился гебист и заметил, что придется принять меры против Глезера, который не только собирает модернистов, но еще и книгу о них пишет, и первую главу уже передал за границу.

А ты помнишь, Леня, как в мае того же года я позвонил тебе и срочно попросил привезти несколько фотографий. Они понадобились для статьи, которую я написал для амстердамского журнала "Museum journal" и должен был срочно передать находящемуся в Москве его редактору. Ты привез фотографии и хотел почитать статью. О,нет! Я ни в чем тебя тогда не подозревал. Но времени оставалось в обрез, и я ответил:

- Это первая глава моей книги. Потом прочтешь.

Извини, я сказал неправду. Статья не имела никакого отношения к книге. Так кто же, Леня, эту ложную информацию поспешил передать в КГБ?

- Таня Колодзей? А-а-а... Бывшая жена Лени Талочкина. Михаил Вячеславович, а вас не интересует,кто организовал выставку в Копенгагене?

Пропускают вопрос мимо ушей.Но я не успокаиваюсь:

- Леня Талочкин ее организовал.

И снова будто не слышали. Вот теперь-то сомнений никаких. Теперь понятно,на чьи деньги в последние три года ночной сторож умудрился начать собирать,наряду с фотографиями картин, и оригиналы. И понятно,почему сошла ему с рук не скрываемая им роль устроителя копенгагенской экспозиции, благодаря которой он еще теснее связался с художниками и ко многим из них стал привозить иностранных покупателей. Стукач выполнял задание, завязывал контакты с дипломатическим корпусом.Некоторые ребята, подобно Рухину, смекнули, что здесь что-то нечисто. Однако не пойман - не вор. Ничего. Теперь я его поймал. Нужно будет предупредить и зарубежных друзей, и художников.

А Михаил Вячеславович упрекает меня в нежелании ничем помочь. Обращается к Андрею Григорьевичу:

- Эх, сколько я с этим Прибытковым бился! Доказывал, что Глезер - наш, честный советский человек. Кое в чем ошибался, заблуждался, так не век же за грехи корить! Но Александр Давидович не ценит моих усилий.- И ко мне: - Кстати, позвоните и подъезжайте к Прибыткову. Там все утряслось.

Совсем запутали. На кой черт я им нужен? Для чего хлопочут, если не поддаюсь?Или хотят благородством купить: ты нам не помогаешь, а мы тебе поможем. Лишь позже раскрылся их коварный расчет.Профком - он Профком, зарплаты не платит. Майя же хоть мизерную, сто рублей, за вычетом налогов - девяносто, - домой приносила. Может, если и жена работу потеряет, Глезер посговорчивей станет. Так встречался я с Прибытковым,заполнял и перезаполнял анкеты, писал заявления о приеме, а дни текли, и наступил май.

Утром 11 числа Майя ровным голосом, словно ничего не значащее, произнесла:

- Меня уволили из издательства.

Я обалдел. Ну, курвы-нелюди, как поет о вас Галич, в глаза улыбаетесь и тут же, по-своему, по-бандитски, бьете под дых. Как же я раньше не догадался об этом ходе противника! Недавно же Лесючевский втолковывал секретарю комсомольской организации "Советского писателя":

- Удивляюсь, Елена Аршалуйсовна,как вы терпите в своих рядах жену идеологического диверсанта?

- Но что мы можем сделать, Николай Васильевич?

- Как что? Вы же комсомольцы! Повлияйте на нее... Намекните... Если она работает на таком ответственном идеологическом участке, то не должна якшаться с людьми вроде ее мужа.

Да он не постеснялся Майе то же самое и в лицо сказать. А после нарочно при ней разорался в издательском буфете:

- Будем гнать антисоветчиков поганой метлой!

Не вняла она, и вот расплата.

Левые западные писатели, сочувствующие СССР, не тянет ли вас познакомиться поближе с низкорослым, извечно хранящим на жабьем лице одновременно злобу и подобострастие, тридцать лет восседающим в директорском кресле издательства "Советский писатель" Николаем Васильевичем Лесючевским. Легендарный стукач,по доносам которого оказался в лагере не один русский писатель, в том числе знаменитый Николай Заболоцкий и Борис Корнилов, - несмотря на общеизвестность черной деятельности, а, может, именно благодаря ей, наслаждается властью в полной мере и посейчас. После XXII съезда КПСС на партийном собрании в Союзе писателей обсуждалось его персональное дело. Припомнили все. Казалось, закатилась звезда упыря-директора. Но высокие покровители из ЦК (лично Суслов) и КГБ спасли верного ставленника, который в свое время согласился печатать "Один день Ивана Денисовича", лишь получив письменный приказ за подписью Хрущева. Впоследствии Лесюк публично хвастал:

- Мой нюх сразу почувствовал в Солженицыне врага.

Майю директор изгнал под предлогом сокращения штатов, хотя за неделю до того в соседний отдел на ту же должность принял двух новых сотрудников (по закону он был обязан перевести на вакантное место сокращаемого работника). Изгнал в течение нескольких минут. Пригласил к себе и:

- Я вас вызвал, чтобы сообщить, что с сегодняшнего дня вы уволены.

А как же профсоюзы? - сомневается читатель.-Ведь

руководитель обязан минимум за семь дней предупредить работника об увольнении, чтобы тот занялся поисками другой службы. Лесючевский моей жене насчет профсоюза объяснил так:

– Сейчас члены месткома (местного профсоюзного комитета) сюда придут, все уже предупреждены и проголосуют, как я распорядился (это вам не Англия, где бедные премьер-министры не знают, как угодить профсоюзам).

Он не обманул. Восемь человек несмело вошли в директорский кабинет и присели на краешки стоявших у стены стульев. Николай Васильевич произнес несколько слов, и руки месткомовцев резко вскинулись в едином порыве, словно сработала отрегулированная, тщательно смазанная машина.

На следующий день иду в издательство. В узком длинном коридоре толпятся авторы. Лесючевский, исполненный чувства собственного достоинства, – все от него зависят – как раз выплывает из кабинета. Подхожу:

– Разрешите с вами поговорить.

– Я занят. Иду пить чай.

– Можно подождать?

– У меня нет времени.

– Вы уволили мою жену, которая работала в издательстве двенадцать лет, за пятнадцать минут и не в состоянии уделить мне две-три?!

Диалог был недружественным, но велся вполголоса. А тут Лесюк вдруг завопил как ошпаренный:

– Не устраивайте в коридоре митингов!

Горячая волна бешенства ударяет в голову.Не помня себя, бросаюсь на него. Меня ухватывает за плечи пришедший со мной приятель композитор Валера Ушаков. Кричу:

– Сталинский выкормыш! Убийца русских поэтов! Если тебе не отомстили дети Заболоцкого и Корнилова, то я за всех отомщу! Я – твой кровник! – устремляюсь с девятого этажа вниз, к телефону-автомату. Набираю номер. Слышу самоуверенный голос Михаила Вячеславовича и в приступе ярости бессвязно ругаюсь:

– Суки! Сволочи! – и крою его матом.

С той стороны провода увещевания:

- Успокойтесь, Александр Давидович! Успокойтесь и перезвоните.

Бросаю трубку. Жадно выкуриваю одну за другой три сигареты и звоню снова. Гебист - воплощенная вежливость и предупредительность:

- Что случилось? Почему вы так нервничаете?

- Мою жену вчера выгнали с работы, и не притворяйтесь, что вам об этом ничего не известно.

- Но мы действительно не всевидящие!

- И вы, конечно, не можете повлиять на Лесючевского?

- Уверяю вас, вы переоцениваете наши силы. У Лесючевского большие связи.

- В вашей организации?

- И не только в нашей (от неожиданности, что ли, он такое ляпнул!). Но прошу вас, Александр Давидович, не наломайте дров! Что-нибудь придумаем.

А, испугались скандала! Прерываю разговор,не прощаясь, и поднимаюсь в издательство за портфелем, который швырнул на пол, когда обрушился на Лесюка. Но что это?! Грозный директор не пошел пить чай, и я застал его на прежнем месте. Будто и не было у нас никакого столкновения. Предлагает пройти в кабинет.

Нужно знать Лесючевского, чтобы понять, как дорого обходится ему видимое спокойствие. Мини-Сталин, не терпящий от подчиненных ни малейшего возражения, владыка, которому маститые авторы присылают угодливые письма с мольбами об издании, он вынужден надеть маску перед люто оскорбившим его каким-то Глезером. Значит, гебисты уже успели вмешаться, уломали его. Любопытно, на чем они поладили. Скоро узнаю.

У него в кабинете полный синклит: секретарь партийной организации, главный редактор, заведующие отделами. Собрал на всякий случай свидетелей. И задушевно с другого конца длинного стола:

- Какой же вы эмоциональный человек!

- Столько травят - станешь эмоциональным!

- Ничего же трагического не произошло. Вашу жену я уволил, но переведенную вами книгу Заура Болквадзе

в издательском плане восстановил.

Я - ошарашенно:

- Когда?!

Он - невозмутимо:

- Сегодня. В итоге вы можете заработать политический капитал... Вы меня понимаете?

- Нет.

- Когда о вас опубликовали фельетон,западные журналисты его комментировали?

- Да.

- О том, что вас лишили заработка, - писали?

- Да.

- А теперь сообщат, что вашу жену уволили?

- Понятия не имею.

- Постарайтесь, чтоб сообщили... -И прищурившись, глядит на меня. - Они напечатают, вы же отправите в "Литературную газету" письмо и разоблачите их: какое это, мол, преследование,когда "Советский писатель" выпускает мою книгу? А сокращение штатов в каждой стране бывает.

И все вокруг согласно кивают старому провокатору. Вот о чем он сговорился с гебистами! С паршивой овцы хоть шерсти клок. Ловцом дипломатов-шпионов стать отказался, пускай тогда иностранных журналистов в лужу посадит. Ловко замыслили, да без толку. Не нужен мне ваш политический капитал!

Но все равно книгу Заура Болквадзе вскоре опубликовали. Очевидно. рассудили так: деньги за перевод Глезер получил еще в феврале 1970 года. Давным-давно проел. Значит, финансовой подмоги ему никакой.Зато если поднимет шум по поводу гонений не только на него, но и на жену, ткнем в нос книжкой. Что зря врете? Кто вас трогает?

А с Профкомом литераторов история затянулась.Весна прошла. Промелькнуло лето. Осень настала.Прибытков ни мычит, ни телится. На вопросы отвечает нечленораздельно. В соответствии с приказом тянет волынку. Вполне естественно: гебистам не по нраву, что я на их крючок никак не попаду. В конце сентября они вновь засуетились:

- Вы слышали, - спрашивают по телефону, - что во французском журнале "Jardin d'arts" вас называют подпольным коллекционером, а ваших художников - подпольными?

- Нет.

- И вообще журнала не видели?

- Не видел.

- Ну, здесь такое написано!.. Необходимо опровергать. Мы уже окончательно договорились с Прибытковым о вашем восстановлении. Но если вы отмолчитесь, не дадите отпора враждебным инсинуациям, то это все затруднит.

Бойкие торговцы с Лубянки! Во что бы то ни стало им хочется купить меня.

- Я же не читал статьи. Как мне ее опровергать?

- Вы что, нам не верите?

- Верю, но должен сам прочесть.

- Мы пришлем вам перевод.

Ну, уж нет! Ведь подсунут Бог знает что.

- Лучше оригинал.

И снова:

- Александр Давидович, мы вам доверяем. а вы нам - нет.

- Михаил Вячеславович,как говорится,-доверяй,но проверяй.

Привезли фотокопию. Статья известного французского искусствоведа Мишеля Рагона, который недавно был у меня. Никаких "враждебных инсинуаций" в ней нет. Но термин "подпольный" употреблен, конечно, неточно, да и легкомысленно, учитывая наше положение.Только по поводу этого термина и возможно с ним дискутировать. Сажусь сочинять. Вначале выписываю из словарей значение слова "подпольный" и доказываю, что ни ко мне,ни к художникам он не относится: свою коллекцию я не скрываю, художники пишут свои картины открыто. Плохо лишь то, что их на Родине не показывают. И подробно описываю трудности, с которыми сталкивался, организовывая экспозиции неофициальной живописи.

Оскар смеется:

- Такую статью даже КГБ нигде не протолкнет.

Но это их забота. С двумя тоненькими школьными тетрадками, исписанными моим кошмарным почерком, еду на Лубянку. Михаил Вячеславович и Андрей Григорьевич заранее поздравляют:

- Скоренько справились, Александр Давидович! Почитайте, пожалуйста, вслух. В вашем тексте не разберешься.

Заход насчет подпольного им понравился. Потом нахмурились:

- Где же вы намерены это публиковать?

Прикидываюсь дурачком:

- Я думал - вы уже договорились с "Советской культурой" или "Литературной газетой".

Смотрят, будто впервые видят: то ли издеваюсь,то ли идиот. Видно, первое предположение отбрасывают как для себя оскорбительное. Втолковывают, что такое при всем желании не пробить. Надо переписать заново.

- А почему бы не направить статью в виде письма в тот же самый французский журнал?

Михаил Вячеславович с трудом сдерживается:

- Вам что, трудно сделать настоящее опровержение?

- Так что же там опровергать? Мелкие ошибки? По существу же все верно.

Андрей Григорьевич со вздохом берет мои тетрадки, не иначе как для отчета о работе перед начальством.Сухо прощаемся. Не к концу ли подходит наша своеобразная шахматная баталия? С первой же встречи обе стороны маневрировали. КГБ старалось меня завербовать. Я - избежать цепких лап тайной полиции,ввести ее в заблуждение и, сохраняя в гебистах надежду,что быть может,и сдамся, - заставить их помочь мне. Эта игра-схватка,в которой любой неверный ход вел или в капкан сотрудничества, или к возмездию, на какое-то время даже меня захватила.

Оскар боялся, что где-нибудь да сорвусь,подведут нервы, не выдержу напряжения:

- Пойми, ты всего-навсего человек из плоти и крови, а против тебя громадный, механизированный аппарат. Ты психуешь, ночами не спишь, а они отработали положенные часы и думать о тебе забыли. - Он считал, что

тупик неизбежен: отказался помогать ловить шпионов, отказался провоцировать журналистов, отказался назвать организаторов зарубежных выставок, написал вместо опровержения - антиопровержение. Когда-нибудь, по его мнению, как бы я ни был для них желанен в качестве агента, они перестанут со мной возиться, и тогда расквитаются.

Но я тешился иллюзией, что у меня достаточно сил для изматывающего единоборства. За год они ничего не достигли. Я остался в Москве и сохранил коллекцию. Книга Болквадзе денег не принесла, однако благодаря ей со мной заключили (раз в Москве Глезера издают, значит и нам можно) договор на новую - в Тбилиси. Правда, пока в Профкоме не восстановили - вишу на волоске. Ничего не стоит его обрезать, особенно после сегодняшней так разозлившей их истории.

На волоске... На волоске... Целый год на волоске! Измотался. Осточертело лавировать, осторожничать. И накатило на меня. Да пропадите вы пропадом! И впервые за последние пятнадцать месяцев я наплевал на правила игры. Отправились с Майей в иностранный дом, где был прием, устроенный по случаю приезда нашей парижской знакомой. Звенели гитары, зарубежная гостья была в ударе, пела цыганские романсы, художники, а их собралось немало, подпевали, и в шумной веселости казались нереальными нетопыри с Лубянки. Но вскоре пришло отрезвление. Подарил я им козыря! Звоню Прибыткову. Он ни слова о Профкоме, а ни с того ни с сего:

- Вас просит срочно связаться с ним Михаил Вячеславович.

До сих пор ни разу не упомянул, что знает его. С чего бы вдруг так разоткровенничался? И зачем ищет меня гебист? Впрочем, я уже понял, что цыганские романсы выйдут мне боком. На войне как на войне. А я проявил слабость, непозволительно поддался настроению. И они тут же ударили:

- Что-то вы нас забыли, - пошучивает Михаил Вячеславович, - сменили на иностранцев. - И сурово: - Мы ведь просили воздержаться от контактов с ними. Вы обещали и обманули. Что же там было завлекательного? Пе-

сенки Дины Верни (старый метод ошеломлять осведомленностью)? - И кто еще из ваших друзей туда пожаловал?

- Не помню.

- А с ленинградским художником Шемякиным ведь там вас познакомили, Александр Давидович. Тоже забыли? (Да, стукачи у них поработали на славу!). В наказание за нарушение уговора напишите, кто приезжал на этот вечер, и через час привезите мне.От этого зависит многое.

Бегу к Оскару. Он спокойно выслушивает, прихлебывая чай:

- Составь бумагу здесь. Назови меня и Валю. Нам без разницы. И Шемякина, раз застукали вас при знакомстве.

- А не лучше ли послать их подальше и никуда не ездить?

- Отступать рано. Может,эта бумажка - путь в Профком? Выгнать оттуда опять потом хлопотно, если,конечно, чего-нибудь не выкинешь.

- Так они же этой бумажкой шантажировать будут!

- И пусть шантажируют! А ты не поддавайся.

Вспоминаю ту поездку на Лубянку, как самое страшное событие в жизни. Никому я не повредил, никого не подвел, в сущности сделал новый ложный ход, но до сих пор от него коробит.

А Михаил Вячеславович с удивлением читает мою куцую записку:

- Вы что, больше никого не помните?

- Нет.

Он перечисляет фамилии художников, присутствовавших на вечере.

- Вы их не видели?

- Нет.

- Как же так?

- Народу было много.

Конечно, он мне не верит, но и не жмет.Вполне доволен достигнутым. Бумажка невинная. Ничего не дающая. Но важен факт - написал ее человек. Возможно, сломился, возможно, преодолел психологический барьер.Теперь-то и нужно бы его с одной стороны поощрить, а с дру-

гой - зажать в кулаке, и таким образом подтолкнуть на последующие шаги.

И столь долго топтавшийся на месте Прибытков во весь опор устремляется к цели. Профком литераторов вновь принимает в свои ряды заблудшего сына, с единственным условием: не пропагандировать коллекцию. И в то же время в смысле получения работы передо мной по-прежнему стена. Более того, ее укрепляют, так как восстановление в Профкоме могут неправильно воспринять на периферии. Вот нетерпеливый болван Сайяр (а еще член партии!), моментально отказавшийся от переводов Глезера после фельетона, сейчас с такой же скоростью переориентировался - прислал редактору письмо, что раз с переводчиком все в порядке (кто сказал, что в порядке?), то пора выпускать готовую книгу. Потому и в Тбилиси, и в Ташкенте, грузинским и узбекским поэтам, из издательства "Советский писатель" кому устно, а кому и письменно доверительно сообщили: с Глезером связываться не рекомендуется. Как бы он ваши книги не перевел, не напечатаем. Местные издательства безусловно тоже сторонятся опального переводчика. Заколдованный круг, из которого, по замыслу КГБ, есть только один выход - к ним в объятия.

Тогда-то во мне и родилось желание эмигрировать.

КРУГОМ ОДНИ ЕВРЕИ

"От брака по расчету тоже рождаются дети".
Анна Ахматова

Уезжают из СССР евреи. Бедные и богатые уезжают, мыслящие и благомыслящие уезжают, бросают комнатенки в многонаселенных коммунальных квартирах и шикарные дачи, оставляют книги и автомобили, прощаются с друзьями и с родными - и уезжают. Уже заранее в их сердцах, как у автора этих строк, возникает, рождается злая, как мачеха, ностальгия. Но уезжают.

Ностальгия по России,
Ностальгия у еврея,
Ностальгия, ностальгия,
Безысходной тьмы чернее.

Но уезжают.

Пятьдесят лет твердила советская власть, что еврейского вопроса в Советском Союзе не существует. Так почему же, скажите, - почему бегут оттуда евреи?

Есть такой анекдот. В ОВИР"е, где выдают визы на выезд за границу, у еврея спрашивают:

- По каким причинам вы уезжаете?
- Знаете, - я забыл.
- Быть может, у вас неинтересная работа?
- Ну, что вы работа у меня прекрасная!
- Быть может, у вас плохая квартира?
- Ну что вы, у меня замечательная квартира!
- Быть может, вы далеко живете от места службы?
- Нет, совсем близко, и к тому же у меня есть машина.

- Но, может быть вам негде отдыхать?

- Что вы, что вы! У меня в Подмосковье двухэтажная дача.

- Так что же тебе, проклятый жид, нехватает?!

- А, вспомнил!.. Вот из-за этого я и хочу уехать.

Грустный анекдот.

Слова, вынесенные в эпиграф этой главы, произнесла Анна Ахматова, выходя из ЦК ВКПб, где группе советских писателей разъясняли сущность неожиданного, и, казалось бы, противоестественного /хотя, почему?/ пакта между коричневой Германией и красным СССР. "Это брак по расчету" - втолковывали недоумевающим поэтам и прозаикам.

Предсказание мудрой Ахматовой сбылось удивительно быстро. От брака Сталина с Гитлером родилось безумно-кровавое дитя - антисемитизм. Едва-едва успела отгрохотать Великая Отечественная война, как арестовали и уничтожили Еврейский антифашистский комитет, убили из-за угла великого еврейского артиста Михоэлса, и дальше - пошло-поехало. "Безродные космополиты", "врачи-отравители", "сионисты"...

Мне впервые довелось столкнуться с антисемитизмом во втором классе начальной школы. Единственный еврей среди армян и русских /дело происходило в тбилисской школе/, я часто вступал в драку с обидчиками, встречавшими и провожавшими меня песенкой о старушке-еврейке, не желающей, платить милиционеру штраф:

"А я говорю - не дам!
Что скажет мне Абрам?..

Все исполнялось с приплясыванием, одесским прононсом, лихим ударением на "Абраме". О, наивный, хотя жестокий антисемитизм снизу! В 1971 году, т. е. год спустя после публикации обо мне фельетона, жена и я оказались без работы. Пришло лето. Хотелось выбраться из жаркой, душной Москвы. Но на какие деньги?По счастью, мой приятель кинооператор предложил вместе с ним и съемочной группой поехать на Волгу.

В деревню Густомесово прибыли на студийном автобусе ночью, кое-как разобрались по избам. Самая удобная досталась, конечно, руководителям, и ежевечерне компанией в пять-шесть человек мы сходились в их уютной горнице, где посвистывал самовар и старуха хозяйка встречала гостей вареньями да печеньями. Ей было за шестьдесят. Властная, но приветливая, в неизменном черном платке, она неторопливо передвигалась по дому, пила с нами чай, прислушивалась к беседам и время от времени, как правило, интересно, вступала в них. У меня сложились с ней добрые отношения. Однако на пятый день подходит ко мне мой оператор. Он очень смущен.

- Смешная история получилась!.. Понимаешь, хозяйка узнала, что ты еврей, и ужаснулась. Лучше давай встречаться у вас.

А через два часа отыскивает меня бабка:

- Послушай, Саш! Ты такой хороший человек - и вдруг еврей. Тебе обязательно надо креститься. Я уже с батюшкой из нашей церкви договорилась. За пять рублей он тебя сегодня же и окрестит. Недорого!

Или уже не столь добродушный антисемитизм советской творческой интеллигенции.

К примеру, в музыкальной среде СССР много евреев, в том числе хорошо известных, а значит, и богатых. Богатство вызывает зависть, а богатый еврей тем паче. А если к этому примешивается и зависть к таланту? Молодой композитор Владимир Пикуль, наш сосед, сравнительно недавно перебрался в столицу из Орла. Будучи человеком незлым, он остается таким и в своей нелюбви к евреям. Неприязнь у него ленивая:

- Смех и грех! У нас в издательстве, где я работаю, и русских-то почти нет. Считай, один я да мой приятель Сережка. Очень нелегкая ситуация!..

Зато жена тихого Володи, в детстве вундеркинд, несостоявшаяся пианистка, ныне вынужденная отсиживать положенное время на осточертевшей педагогической службе, прямо-таки исходит ненавистью, задыхается:

- Евреи бездарны! Они никогда ничего истинно великого не создали. Ни в литературе, ни в музыке. Хваленый Ойстрах все взял кожанным задом. И Стерн. И Ко-

ган тоже... Или, к примеру, Израиль... А что Израиль? Ни разу сами не воевали! Американцы за них сражаются. Потому арабы и отступают. От евреев никто никогда не бегал! Вручи этакой музыкальной даме осиновый кол и только позволь – пойдет громить, да еще других с собой позовет.

Но антисемитизм снизу не страшен. Рядовых антисемитов можно игнорировать, как делают одни, можно с ними драться, как делают другие, можно встречать их ироническими песнями:

Говорят, Хемингуэй тоже кое в чем еврей,
А генерал Пын Ден Хуэй –
Просто в сущности еврей.
Евреи все, евреи, кругом одни евреи.

Но когда антисемитизм становится оружием в руках тоталитарного государства, евреям приходится туго. В 1949 году моего отца сняли с должности главного инженера Туркменнефти, так как в условиях ожесточенной борьбы с космополитами иудей не имел права занимать столь заметное место. Переехали в Уфу, где в течение четырех лет /то-есть, до смерти Сталина/ его опускали все ниже и ниже по ступенька служебной лестницы. Он тяжело переживал несправедливость, невозможность посвятить себя любимой работе. Мне, мечтавшему о Литературном институте или историческом факультете Московского университета, пришлось срочно приналечь на постылую математику,чтобы попасть в Нефтяной институт.В МГУ и Литинститут евреев не брали.

Как уже писалось выше, меня специально воспитывали в полном неведении, незнания кафкианской советской жизни. Поэтому я не понимал того, что происходит, не верил в причастность советской власти к антисемитской кампании. И когда в разгар крикливых выступлений против "убийц в белых халатах" у нас на курсе произошло столкновение с группой антисемитов, я, сам того не ведая, ходил по лезвию ножа. Еще бы три-четыре недели прожил Иосиф Виссарионович, и, думаю, не миновать мы нам ГУЛАГа.

История вкратце такова. Комсорг группы Инна Федосеева собирает после каникул 1953 года комсомольское собрание. На нем почему-то – член институтского бюро. Федосеева зачитывает полученное ею анонимное письмо: комсорг забыла, что она русская. Дружит с евреями. Одумайся, пока не поздно, не то расправимся. А в заключение четыре стихотворных строчки, антисемитских и, конечно, хулиганских.Бесконечно длилось собрание. Анонимы не признавались. Наконец поднимается член факультетского бюро Зоя Руднева и грозно глядит в мою сторону:

– Федосеева, неужели ты не чувствуешь, что эта бумажка состряпана сионистскими провокаторами? Кто у нас поэт? Глезер. – И тычет в меня негодующим перстом.

Не успел я среагировать на неожиданный выпад, как вскочил мой приятель Коля Мазуров:

– Зоечка, а не ты ли, часом, письмо сочиняла? Тоже ведь стишки пописываешь!

Руднева покраснела и молча села. А через несколько минут одна из студенток закричала:

– Они, они написали! Я сама слышала, как шепчутся!

Выяснилось: авторы анонимки – командная верхушка: комсомольский вожак Руднева, староста группы и их окружение. Решение собрания было единодушным: за подлое письмо, угрозы в адрес Федосеевой и четырехчасовой обман товарищей исключить авторов из комсомола.

Спустя два дня факультетское бюро ограничилось вынесением им общественного порицания, то есть, мягко, по-родственному пожурило, а Федосеевой... дало строгий выговор за нарушение устава комсомола. Студенты запротестовали и выбрали пятерку, которой поручили добиваться выполнения принятого на собрании решения. В нее вошел и я. Поначалу мы попытались отыскать правду в институтском бюро ВЛКСМ. Нас там и слушать не стали. Тогда неразумные правдоискатели надумали обратиться в райком партии. Это вызвало праведный гнев коммунистов института.

Требуют меня в кабинет декана факультета профессора Дунаева, приземистого мрачного человека с окладистой бородой и фанатичными глазами. Он оголтелый антисемит и неистовый борец с буржуазной псевдонаукой. Рядом с ним щуплый секретарь партийной организации.

– Вы понимаете, что собираетесь делать? – вкрадчиво спрашивает парторг.

– Мы устава не нарушаем.

– Да, по уставу можно жаловаться вышестоящей организации в обход нижестоящей /о, бедный русский язык!/, но в истории комсомола такое случилось только один раз. И не забывайте, чем оно закончилось!

Известно, кровью оно закончилось, Ленинградское дело /тогда, правда, я об этом понятия не имел/.

Парторг еще хочет сказать, но не успевает. Декан яростно бросается вперед. Изо рта у него чуть не вырывается пламя:

– Идите, Глезер! И помните – в нашей стране умеют наказывать виновных!

– Не только виновных, но и тех, кто их покрывает! – парирую и резко хлопаю дверью.

Никакого геройства в моем поведении не было. Это лишь сейчас ясно предствляю, чем бы кончилось наше хождение в райком. Но Бог от беды избавил. Усатый батька кувыркнулся в черную пасть, и антисемитская кампания, грозившая перейти в черносотенные погромы, начала затухать. Они готовы были вот-вот разразиться.

К евреям приставали на улицах, издевались, избивали. Меня однажды выкинули на ходу из трамвая. В вагон влезли три здоровенных молодчика, которые принялись надсмехаться над беззащитной старушкой. Один из них почему-то обратился ко мне:

– Эй, парень, гляди, жидовка расселась! А мы,молодые русские, должны стоять!

– Сволочь! – не выдержал я, – и через мгновение распластался на мостовой. Хорошо, что на Крымском мосту трамвай двигался еле-еле. Я провожал его глазами, полными слез. Не от боли и не от страха, а от обиды: ведь вагон безмолвствовал хотя в нем находилось много

народу, в том числе мужчин и даже офицеров /рядом-то Генеральный штаб армии!/.

В те же дни трагикомическая история приключилась в коммунальной квартире на Фрунзенской набережной,где жила моя тетя, перенесшая расстрел мужа и лагеря - с дочерью и вторым мужем, архитектором, азербайджанцем, человеком глубоко культурным, но по-кавказски вспыльчивым. С ними соседствовала шумная супружеская пара: он водитель самосвала, она - толстая краснощекая домохозяйка. Едва моя двоюродная сестра или тетя появлялись на кухне, как поднимался визг:

- Опять вы, евреи, две конфорки заняли! Убирайте ваши кастрюли, жиды! Кончилось ваше время!

Как-то я заглянул в гости к родственникам.Мы сидели и мирно беседовали. Наташа вышла на кухню поставить чай. Вдруг оттуда донесся пронзительный крик.Выбегаем и видим злобно ощерившуюся подвыпившую соседку, сжимающую в могучей руке мясорубку. Ею она и ударила сестру по лицу. У той из разбитого носа текла кровь.

- Хулиганка! - чуть не с кулаками бросился на бабищу дядя.

- Жид! Жид! - вопила та.

Вскоре появился участковый милиционер.

- Что случилось,граждане!?

- Да вот, жиды расшумелись!

- Вы слышите?! - еле сдерживая негодование, проскрежетал дядя. - Она оскорбляет национальное достоинство! Вы обязаны привлечь ее к ответственности в соответствии с законом!

- Жид! - снова вскрикнула соседка, а милиционер хладнокровно попросил дядю предъявить паспорт.

- Для чего? Вы же видите, что она вытворяет?!

- Предъявите паспорт, гражданин! - сухо возразил представитель власти. Заглянув в него, милиционер с удивлением воскликнул: - Вы же азербайджанец!

- Да какое это имеет значение?

- Азербайджанец?! - изумилась соседка. - Так чего же он волнуется?

- А вы зачем оскорбляете человека, не разобрав-

шись? - повернулся к ней участковый.

Тем дело и кончилось.

Но не будем придираться к примитивному антисемитизму и даже к насаждаемому сверху в послевоенные годы. Спишем его на злосчастный культ личности. Однако промелькнуло метеором маленковское время, прогромыхало хрущевское, наступило серое, бесцветное, коллективное, с незаметным переходом в брежневское, а еврейский вопрос разрастался и разрастался, как раковая опухоль.

"Все изменяется под нашим зодиаком,
Лишь Пастернак остался Пастернаком".

написал когда-то знаменитый пародист Архангельский. То же можно сказать и о еврейской проблеме в СССР. "У, жиды!" - шумят обыватели. "Ату их, ату!" - кричат руководители.

Пытаясь доказать, что евреи равноправны, советские боссы на упреки сующих повсюду свой нос иностранцев, восклицают:

- А Ойстрах? А Ботвинник? А Гилельс? А...?

Рассказывают даже то ли как анекдот, то ли как действительную историю, следующее. Когда Хрущев приехал в Англию, его спросили насчет антисемитизма в СССР. Эмоциональный премьер возразил:

- У нас в оркестре Большого театра восемнадцать евреев! А у вас сколько?

- А мы не считаем, - ответили англичане.

Но стоит ли говорить о нескольких сотнях евреев, которые не столь остро, как остальные, испытывают на своей шкуре государственный антисемитизм? Ведь и Гитлер изгонял или уничтожал не всех евреев. Попадались и такие, у которых в паспорте стояла отметка "Ценный юде". Подобными ценными, или полезными, евреями является та незначительная часть иудеев, на коих любят ссылаться советские бонзы, толкуя о равноправии наций в СССР. Принадлежность к еврейству лежит на человеке, как позорное несмываемое пятно. При поступлении в институт или на службу еврей, внутренне содрогаясь, заполняет обязательную анкету, где пятый пункт вопро-

шает о национальности. Заполняющий заранее ждет неотвратимого - провалят, не пропустят, придумают любую отговорку, чтобы не принять.

По окончании уфимской школы мой однокашник Москович послал документы на физико-математический факультет Московского университета. Так как он был золотым медалистом, то вступительные экзамены не сдавал, но проходил так называемое "собеседование", проверку знаний в непринужденном разговоре с профессором. Последний, стремясь завалить нежелательного абитуриента, забросал его вопросами. Но Москович отменно знал физику и математеку. Придраться было не к чему. Тогда находчивый преподаватель подкинул неожиданный вопрос:

- В каком году родился Каганович? - спросил так обыденно, словно речь шла об известном ученом, а не члене сталинского Политбюро. Москович даты не знал и, несмотря на выдающиеся способности, в университет не попал.

Так было в 1952 году. Так продолжалось и через двадцать лет. Только появился некий нюанс. Прежде начальники не пускались в объяснение причин отказа, зная, что запрещено превышать положенную норму приема "нерусского элемента" - и баста! Теперь те же руководители в кругу друзей и знакомых рассуждают:

- Я его, стервеца, пущу, а он подаст через полгодика заявление с просьбой о выезде на "историческую родину, в государство Израиль". И замарает весь наш коллектив. А отвечать мне! Ты кого принимал? Ты куда смотрел?

Окаянный пятый пункт неотступно преследовал меня и после института. Попав по распределению в Уфу и проработав почти год сначала на заводе, а потом в нефтяном техникуме, я как-то встретился с приехавшим в командировку Сашей Бучиным. Он был старше меня, успел окончить аспирантуру. Нас сближала общая любовь к шахматам. Бучин предложил мне перебраться в столицу:

- У тебя же сохранилась московская прописка, а я не только кандидат наук, но и секретарь парторганизации научно-исследовательского института. Устроишься хорошо, не сомневайся.

Я колебался недолго. Угнетала медленная духовно-тусклая провинциальная жизнь. Кроме того, меня невзлюбили уфимские карательные органы. Так что получив от Бучина еще и дополнительную телеграмму - "Все в порядке, выезжай", я в сентябре 1958 года возвратился в Москву. Сразу же направился к Бучину. Он знакомит меня с заведующим лабораторией, объясняет, чем придется заниматься.

- Пока отдыхай, - говорит, - а за неделю твои бумаги оформят, приступишь к работе.

Через неделю звоню, слышу какое-то невразумительное бормотание и просьбу перезвонить завтра. Дней примерно пять или шесть я названивал; потом - приехал в институт. Навстречу смущенный Бучин. Отводит глаза, отмалчивается. Спрашиваю прямо:

- В чем загвоздка?

- Отдел кадров не пропускает.

- Как же ты давал телеграмму, не проконсультировавшись в отделе кадров?

- Да говорил я с ними! - Он заводит меня к себе в партком и шепотом разъясняет:

- Понимаешь, я им не называл твоей фамилии. А теперь увидели документы и ни в какую! Ссылаются на то, что у нас в институте собралось слишком много людей одной национальности.

- Черт подери, Саша! - вспыхиваю я. - А русских у вас набралось мало?

- Он уязвлен:

- От меня разве зависит? Мне стыдно, но ничего сделать не могу. Отдел кадров сообразуется с указасвыше.

Не помню, как мы расстались. Но не забуду своего состояния. До каких же пор меня будут попрекать национальстью? Как выяснилось позже, покуда не покину братскую семью народов СССР. Ибо когда с конца 1961 года я занялся литературной деятельностью, первое, что мне предложили - взять псевдоним.

- Вы Александр Давыдович? Ну и прекрасно! - бодро сказал ответственный секретарь газеты "Московский комсомолец".

Подписывайтесь "Александр Давыдов".

То же самое вскоре я услышал от известного поэта, заведующего отделом поэзии журнала "Молодая гвардия" Владимира Цыбина. Нет, Володя не был антисемитом.

- Ничего не попишешь, - злился он. - Наш редактор не переваривает евреев. Недавно принес ему замечательную подборку стихов Юны Мориц. А в ответ:

- Не понимаю, почему тебя все время тянет публиковать жидовские стихи?

Махровый черносотенец, бывший летчик-истребитель /для комсомольского литературного журнала лучшего главного редактора не подыщешь!/, Никонов продержался на этой должности до конца шестидесятых годов. Однако чаша терпения переполнилась. Группа видных писателей и поэтов, в том числе В. Цыбин, В. Амлинский, и даже лауреат Государственной премии Чингиз Айтматов, послали в ЦК КПСС письмо с просьбой убрать шовиниста из журнала. Не помогло Никонову и заступничество ЦК ВЛКСМ. Сняли его. Но ныне он служит поблизости в том же здании, главным редактором другого комсомольского журнала "Вокруг света". Вообще ЦК ВЛКСМ и его издательство особенно славятся антисемитизмом. Один из работников разоткровенничался с моей знакомой:

- Мы их, голубчиков, знаем! Зря прячутся! И тех, кто под псевдонимами, и у кого половина еврейской крови, и даже у кого четвертинка. Все в списочек занесены!

А посмотрите на Вадима Кузнецова, заведующего отделом поэзии издательства "Молодая гвардия", - типичный охотнорядец! Представитель, так сказать, антиеврейского заградительного отряда ЦК ВЛКСМ /прежде он служил в этой мощной организации, которая, кстати, и поставляет руководителей для подведомственного издательства/. С его приходом в планах выпуска почти исчезли не только откровенные еврейские фамилии, но и вполне по-русски звучащие псевдонимы.

А загляните в светлые глаза просталинца и черносотенца, главного редактора издательства "Современник" поэта Валентина Сорокина. Несколько лет назад тихий и скромный провинциал приехал в столицу из да-

лекого Саратова, разобрался в обстановке /надо же строить карьеру!/, поработал в журнале "Молодая гвардия" и, зарекомендовав себя железным борцом с либералами и евреями, быстро шагнул вверх.

Лауреат Государственной премии писатель Давид Кугультинов рассказал моему другу следующую историю:

-Пришел к нему в журнал молодой калмыцкий поэт и попросил посмотреть его стихи. Сорокин разложил их на две пачки:

- Эту - возмем, а эта пусть останется. Зайдите через неделю.

- Но, может, здесь стихи лучше. Вы же не прочли.

- А вы посмотрите, кто переводчик.

- Юлия Нейман.

- Вот именно.

- Но она отлично переводит Давида Кугультинова!

- Пускай нейманы, липкины, козловские и переводят Кугультинова, Гамзатова, Кулиева ... /то-есть крупных национальных поэтов, которым свою волю не продиктуешь/. А вы, молодые, идите к русским людям!

Безусловно, Сорокин заработал право на пост главного редактора "Современника"!

Забавно, что еврейский вопрос сорокины используют в схватках с литературными противниками. Сижу как-то в "Молодой гвардии". Два редактора, не обращая внимания на свидетелей /чего, в самом деле, стесняться у себя дома!/, шумно обсуждают разразившуюся недавно скандальную историю.

- Что это Васька Журавлев натворил?

- Да опубликовал в "Известиях" как свое ахматовское стихотворение. Ну, ошибся человек! С кем не бывает? А его сразу плагиатором обзывают.

- Конечно, это все евреи! Мы их не печатаем, вот и набросились, падлы!

- Как не печатаете? - ввязываюсь я. - Недавно вы Слуцкого издали.

Они озадаченно глядят на меня:

- Да он не еврей...

- Борис Абрамович Слуцкий?! Простите, кто же тогда еврей?

Одного из них прорывает:

- Вознесенский и Евтушенко, вот кто!

- Что за чепуха?

Но редактор тяжело ударяет кулаком по столу:

- Они жидовствующие русские,а это значит - еще хуже!

И такое почтенное издательство, как "Советский писатель", естественно, старается от молодогвардейцев в столь животрепещущем вопросе не отставать. Ну, про Егора Исаева, заведующего отделом русской поэзии,слава широко разнеслась. Антисемит. Убежденный и пристрастий не скрывает. Он и жене моей, проработавшей с ним двенадцать лет, однажды заметил:

- Эх, Майка, как ты песни русские поешь! А ушла от русского мужа к еврею...

Но есть в отделе у Исаева тишайший старший редактор поэт Владимир Семакин. Никогда он, вроде бы, еврейской темы не касался. И вдруг раскрылся! Приходит в 1973 году в редакцию узбекский поэт Сайяр, книгу которого я перевел и которая на три года застряла в типографии из-за "антиобщественной деятельности"переводчика, и спрашивает:

- Когда же моя книжка выйдет? Кажется, с Глезером разобрались, начали его печатать.

И тут вступает в разговор Семакин:

- А зачем вы выбрали такого переводчика?

- Но я же не знал, что Глезер собирает запрещенные картины и передает на Запад статьи!

- Не об этом я! Почему вы, национальные поэты, тянетесь к Глезеру, Козловскому, Липкину... Неужели не можете найти русских переводчиков?

Вот трогательное единодушие у Семакина с Сорокиным, выпестованное в задушевных беседах во время обильных возлияний вкупе с Исаевым да Фирсовым, Борисом Куликовым, тем же Вадимом Кузнецовым и иже с ними.

Когда началась массовая эмиграция в Израиль, положение евреев, и не помышляющих об отъезде, еще более ухудшилось. В отделы кадров спустили специальную инструкцию. Правда, не написали черным по белому:

"Гнать евреев!", а сформулировали похитрее: "Не брать на работу и не принимать в высшие учебные заведения лиц, чьи национальности имеют буржуазную государственность". Например, англичан, шведов, французов и евреев. Однако, так как англичан, шведов и французов в СССР почему-то нет, то само собой указание свыше оборачивается лишь против евреев. Мой знакомый профессор МГУ признался мне, что если в 1973 году из оканчивающих математический факультет чуть ли не треть были евреи, то в том же году на первый курс этого факультета ни одного еврея не приняли.

А чего стоят злоключения моего соседа-инженера ! У них ушел на пенсию начальник отдела, и Леве обещали сей пост. Попросили ради этого вступить в партию.

Вступил.

Отдел кадров в должности по-прежнему не утверждает. Проходит полгода, семь, восемь месяцев...Не выдерживает Лева, спрашивает у приятеля, парторга:

- Почему отдел кадров тянет резину?

Парторг выясняет, что да как, и назавтра же режет моему соседу правду-матку:

- Не задавай дурацких вопросов! Ведь у тебя же отец еврей!

- Послушай! - взмолился Лева. - Причем мой отец? Он ушел из семьи, когда мне и двух лет не было. По паспорту я - русский.

Парторг только плечами пожал.

А как мучилась моя жена, когда больше года безуспешно пыталась искать работу. Куда ни придет, начинают за здравие:

- У вас большой опыт. Вы нам подходите.

Едва заглянут в документы, и заканчивают за упокой:

- Позвоните через недельку.

А через недельку:

- Извините, мы не знали, что место уже занято.

Как-то прибежали к нам приятели:

- Майка, нашли тебе службу! Издательство паршивое, Профиздат, но отдел все-таки художественный.

- А меня возьмут?

- Конечно, конечно! Мы уже договорились.

- А вы предупредили, что я еврейка?

- Ты - еврейка? Да у тебя русская фамилия!

- Ну и что же?

- И в паспорте записано? Значит, бесполезно. Нам так и сказали : "Все данные подходят, лишь бы не была еврейкой".

Тогда и отправляюсь я в ЦК КПСС к завотделом культуры Шауро. Меня, не коммуниста, в ЦК не пропускают. Говорю из приемной с референтом Шауро.

Так по телефону из наглухо закрытой будки и разговариваем. Лето 1972 года, адская жара, а открывать двери не разрешают, не приведи Господь - разгласится государственная тайна! Вкратце передаю референту нашу историю.

- А причем тут мы?

Ну до чего же одинаково все высокие советские организации выражаются! Точно такими же словами встретили меня в КГБ. Спрашиваю:

- Скажите,пожалуйста, какой у нас год, тысяча девятьсот тридцать седьмой или тысяча девятьсот семьдесят второй?

- Что за странный вопрос?

- Совсем не странный. Как раз в тысяча девятьсот тридцать седьмом вошло в моду заставлять жен отрекаться от мужей.

Мы не можем отвечать за каждого дурака!

Мою жену уволили не из пивного ларька, а из крупнейшего советского издательства.

- Но почему ваша жена не пробует найти другую работу?

- Нигде не берут!

- Интересно! Если я пойду, то меня сразу возьмут.

- Вас - безусловно.

- Но я не буду ссылаться на то, что служу в ЦК.

- Нет, вы меня не поняли. Ведь по паспорту вы русский, а она - еврейка.

- Как вам не стыдно говорить об этом на пятиде-

сятом году советской власти!

- Мне очень стыдно! Но приходится.

Чем закончилась моя беседа с референтом заведующего отделом культуры ЦК партии, расскажу ниже, так как дальнейшее не имеет отношения к еврейской проблеме.

Уезжают из СССР евреи, сионисты и просто боящиеся за будущее своих детей, диссиденты, отсидевшие и не отсидевшие в лагерях и уставшие от неравной борьбы с всесильным режимом, и те, кто надеется дорваться на Западе до сладкой жизни. Остающиеся делятся на две категории: желающих как-нибудь приспособиться,ассимилироваться, прожить /уезжать-то неведомо куда страшно!/ и участников демократического движения, борцов за свободу России, таких, как Александр Гинзбург, Лариса Богораз, Юлий Даниель. Всех - не назовешь,не перечислишь.

ДРУЖБА НАРОДОВ

"Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки великая Русь..."
Гимн Советского Союза

По исходу евреев из социалистического отечества, по их мытарствам на земле, где они родились и выросли, по антисемитизму, захлестнувшему города и веси страны Советов, как будто видно, чего стоит разрекламированная идиллическая дружба народов СССР. Но я понимаю, что читателю трудно удержаться и не спросить ?

– С евреями всегда сложно. А вот остальные народы друг с другом как?

Мао Цзе-дун однажды сказал, что национализм маленького народа – защита против шовинизма большого. Для Советского Союза с его многочисленными Союзными и автономными республиками, автономными областями и национальными округами вопрос взаимотношений между входящими в него народами и народностями всегда был и остается трудноразрешимым.

Правда, по официальной версии эта проблема, тяжкое наследие царизма, давным-давно похоронена.Однако, мало ли что утверждают или отрицают официальные источники. Например, отсутствие ныне в лагерях политических заключенных или наличие свободных выборов в Верховный Совет СССР.

Подпольный фольклор, анекдоты, за которые при Сталине сажали, при Хрущеве только выгоняли со службы, а при Брежневе сажают опять, ибо истина,приправленная насмешкой, для коммунистов страшнее танков, – красноречиво опровергает выступления партийных агитаторов , почтенных романистов-соцреалистов и орды разноплеменных служителей муз. "Армянское радио", созданное во-

ображением философствующих острословов,на вопрос, что такое дружба народов, ответствует:

– Это, когда армянин берет за руку узбека, узбек латыша, латыш русского, русский казаха, казах украинца... и все вместе идут бить грузин.

А вот образец грузинского юмора:

"На станции Самтредиа в вагоны грузят ящики с апельсинами и мандаринами. Подбегает грузин:

– Постойте! – кричит. – Хоть один ящик оставьте! Здесь русские тоже живут"!

О сколько хлопот с тобой дружба народов!

Народному поэту Калмыкии Давиду Кугультинову это невдомек, и он настаивает напечатать в "Правде" свою поэму, в которой дедушка Ленина фигурирует как калмык, что вроде бы соответствует архивным документам. Кугультинова уговаривают не рыться в божественной родословной. Какая разница для революции и пролетариата, кто по национальности дедушка вождя?! Но поэт упрямится: если нет разницы, то зачем скрывать? Не шовинизмом ли это пахнет?

– Не шовинизмом – успокаивают его работники "Правды", возвращая ему поэму.

Тут надо бы напомнить читателю о тосте за в е л и к и й р у с с к и й н а р о д, провозглашенном Сталиным на банкете в честь победы в Великой Отечественной войне. Нет спору, роль русского народа и русского солдата в годы войны огромна, более того – решающая. Но выдающийся специалист по национальным делам Иосиф Виссарионович, никогда не отличался деликатностью и забыл, что каждое его слово пишется большими буквами на красных знаменах, и что кровь, пролитая украинцами или белоруссами тоже отнюдь не вода.

Так или иначе, его фраза о русском народе как равном, но старшем брате, подхваченная стоустной пропагандой, вызвала с одной стороны приступ великодержавного шовинизма, а с другой – тот самый национализм, о котором говорил китайский диктатор. В период борьбы с космополитами и низкопоклонства перед Западом /1948–1953 г.г./ мощный хор в честь всего русского приобрел явно ненормальный характер. Я читал,что Рос-

сии родились самолеты, пароходы и паровозы, что здесь было изобретено радио и электричество, что пусть Европа рукоплескала Паганини, зато в это же время у нас играл гениальный скрипач крепостной крестьянин Хандошкин. А в 1951 году мы узнали из нового учебника истории, что национальный герой Кавказа Шамиль, сражавшийся в XIX веке против царских войск за независимость своей земли, вовсе и не герой, а наемный турецкий агент. Настоящие русские интеллигенты относились к этой унижавшей Россию кампании с отвращением и сочинили едкое: "СССР - родина слонов".

Я впервые столкнулся со взрывом национальных чувств в 1952 году в общежитии Московского нефтяного института. Мы праздновали тридцатипятилетие октябрьской революции. Кто-то помянул нашумевшую тогда пьесу Константина Симонова "Русский вопрос". Захмелевший смоленский паренек высокомерно похлопал по плечу азербайджанца Дадашева и с издевкой пробормотал:

- Я твой старший брат, и ты должен мне подчиняться. Ясно? Хи-хихи!

Дадашев был человеком скромным, даже робким. Но ударила ему в голову кавказская кровь, и, закатив "старшему брату" по морде, он закричал:

- Ты сволочь! Ты сволочь!

В наступившей тишине горестно прозвучал голос чеха Милоша:

- А я думал, что у вас дружба народов!

Пожалуй, в наиболее неприятном и сложном положении находятся те русские, которые, печалясь о доле своего закабаленного коммунистами народа, сочувствуют и другим. Ведь последние считали их, русских, поработителями. Вспомните, как сталинский сподвижник, лихой кавалерист маршал Буденный под предлогом борьбы с басмачами вырезал и сжигал туркменские кишлаки. Вспомните, как огнем и мечом Одиннадцатая красная армия присоединяла к будущему СССР Грузию и Армению. Вспомните, как после войны Сталин, якобы, за предательство выселял из отчих краев на гибель в Сибирь всех поголовно, от малых детей до седых стариков, чеченов и ингушей, балкарцев и калмыков, крымских татар... И еще

запомните, что все акции против украинцев, грузин, литовцев... осуществляются руками русских солдат, и наоборот, против русского населения - руками солдат среднеазиатских, кавказских и иных иноязычных, в соответствии с испытанным принципом: "разделяй и властвуй". Чему же удивляться, если в нынешних советских концлагерях среди заключенных - сотни активистов национальных движений за независимость - украинцев, армян, литовцев, крымских татар...

Но может быть, предложить грузинскому националисту посмотреть, как холодно и голодно по сравнению с грузинскими живут русские деревни и захолустные города, где в магазинах уныло пылятся пакеты с солью и макаронами. Но,может, попытаться убедить его, что во всем виновны не русские, которых самих миллионами истребляли в ГУЛАге, а режим. Напрасный труд! Я тщетно доказывал это, неизменно слыша в ответ:

- А кто установил этот режим в России? И кто навязал его нам? Кто нас будет подавлять, если мы восстанем? Кто в нас стрелял на проспекте Руставели в 1956 году?

Лет десять назад, когда в Тблиси проходил Всесоюзный съезд архитекторов, сижу как-то с грузинскими поэтами в ресторане. Шота Н. приглашает потанцевать молодую женщину-архитектора. Недалеко от нашего сто - лика заводит с ней разговор:

- Вы откуда?

- Из Москвы.

Как вам нравится наша колония?

Она вначале озадачена, потом оскорбляется:

- Ну как же, - объясняет Шота, - Грузия дает доход государству сорок миллионов рублей в год, а выделяется ей из этой суммы всего лишь два. Не верите - посмотрите в бюджет. Ни одна колониальная держава из своих колоний таких средств не выкачивает.

Однажды в Тбилиси я присутствовал при споре двух братьев, инженера и писателя.

Инженер:

- Без России мы не построили бы столько заводов, не имели бы передовой техники.

Писатель:

– А почему ты ушел с женой из удобной тещиной квартиры в центре города, где тебя кормили и поили, и предпочитаешь снимать две жалкие комнатушки, к тому же на окраине? Наверное, потому, что лучше жить без удобств, чем зависеть от чьих-то прихотей. Грузия достаточно богата, чтобы существовать как самостоятельное государство. Даже крохотный Люксембург и тот независим! – И войдя в раж, он окончательно доканывает инженера:

– А почему Москва утверждает планы выпуска литературы на грузинском языке? А почему Москва проверяет репертуар наших театров? А почему Москва устанавливает ставки редакторам грузинских журналов? А почему, когда Грибачев пишет о России, это патриотизм, а когда я пишу об истории Грузии – это национализм?

На Украине, где антирусские настроения выражаются особенно открыто и сильно, я был только раз. В 1965 году приехал в Луганск от издательства "Молодая гвардия" на всесоюзную неделю молодежной книги. Приехали туда и поэты из Киева от издательства "Молодь". Вечером сошлись вместе в нашем номере. Один из киевлян заговорил на украинском языке.

Я ему:

– Извините, пожалуйста! Мы впервые на Украине. Очень просим вас говорить по-русски.

Он выслушал... и продолжает на украинском. Позже я спрашиваю у редактора "Молоди":

– Он что, стесняется? Плохо знает русский?

– Нет, что вы? Он просто националист. Говорить по-русски может, но принципиально не хочет.

В Литве, Латвии, Эстонии и того хуже. Почти все отдыхающие на Прибалтийских пляжах сетуют на то, что местные жители их терпеть не могут и, нередко, услышав заданный по-русски вопрос, не отвечают и демонстративно отворачиваются.

Росту национализма в СССР на протяжении последних десятилетий способствует проводимая им политика по отношению к бурно развивающимся на различных континентах и островах так называемым национально-осво-

бодительным движениям. Она диктуется вовсе не справедливостью или интернационализмом, а лишь корыстным желанием расширить свое влияние, проникнуть в Америку, на Ближний Восток, в Индокитай. Советский Союз, если это ему выгодно, поддерживает любых мятежников, ратует за независимость всех племен и народов.Эта политика бумерангом ударяет по советской империи. Читая в газетах яростные статьи, осуждающие капиталистические страны за неоколониализм, латыш или армянин задумывается: "Чем мы хуже этого острова с населением в полмиллиона?"

А что должен испытывать тот же сорокамиллионный украинский народ, фиктивно представленный в ООН, но практически во всем зависящий от руководящих указаний Москвы? А богатый цветущий Узбекистан? С ростом культуры и в некогда отсталой Средней Азии национальное самосознание развивается все больше и больше,принимая иногда крайне националистический оттенок. Русский поэт В, долго работавший в Ташкенте, рассказывал мне, как сильно выпивший узбек, преподаватель марксизма-ленинизма, кажется кандидат наук, злобно выкрикнул:

- День придет - русской кровью крыши мазать будем!

А я помню, как жаловались узбекские поэты:

- Нас руссифицируют! Во многих районах Ташкента на десять школ русских одна узбекская. Дети забывают родной язык!

Мне довелось в этом убедиться, когда разговорился в самолете с двумя узбечками, студентками филологического факультета Ташкентского университета.Прочел им переводы стихов великолепного поэта Абдуллы Арипова:

- Вы по узбекски эти стихи читали?

Смущаются:

- Мы узбекского не знаем.

И еще такая сцена в Ташкенте. 1968 год. Традиционный зеленый чай. Узбекские поэты спорят с рязанским писателем. Рассказывают иб истории своей древней страны, о Тамерлане, который не проиграл ни одного сражения:

– Он был не только великим полководцем. Он также и просвещенный государственный деятель, обменивавший пленных на редкие книги.

– Все это так, – отвечает рязанец. – Но Тамерлан – завоеватель! А что было бы, если бы ему захотелось направить войска на Россию?

– Ничего страшного, – откликается Захипов, – как пишут теперь в газетах, воссоединение Узбекистана с Россией, только сильной, захватывающей стороной, выступал бы Узбекистан. Но какая разница?

Это ироническое замечание, встреченное одобрительными репликами, недвусмысленно свидетельствовало о о настроениях узбекской интеллигенции.

Да что там украинцы, грузины или узбеки, когда малюсенькие северные народности, еще тридцать лет назад полудикие, тяготеют к независимости. Поэт Анатолий Парпара разглагольствует в Союзе писателей:

– Сидим с партийным секретарем Нанайского национального округа. Он секретарь, он же и рифмоплет. Я его перевожу. Подвыпив, нанаец разоткровенничался:

– Вы,русские, эксплуатируете наши богатства!

А? Каков стервец! Я так психанул, что уже переведенные стихи разорвал – и в корзинку! Не нужны мне такие деньги!

Писатель из коренных пролетариев, партийная шишка Падерин поощряюще:

– Правильно!

Парпара воодушевляется:

– Все они нас ненавидят! Я по стране поездил,я-то уж навидался. Все хотят отделиться. Разница лишь в том, что грузины, армяне, латыши – народы культурные, они в случае чего резни учинять не станут. А азиаты – те станут!

И, повернувшись к Падерину:

– Точно вам говорю, Семен Афанасьевич, надо быть колонизаторами! Распустили мы их, сволочей! На свою шею распустили!

Нет,не случайно Политбюро относится с недоверием к национальным руководящим кадрам, к своим ставленникам на местах – первым секретарям республиканских

компартий. Дружба дружбой, а служба - службой: надсмотрщики над ними не помешают. Потому-то в каждой республике второй секретарь ЦК - человек из Москвы.

Справедливости ради нужно сказать, - вы наверное уже и сами это почувствовали по слова Парпары, - что русские большой любви к другим народам СССР не питают.

- С жиру бесятся черные! - ворчали в нашем доме на Преображенке на грузин, армян и азербайджанцев возвращающиеся с закавказских курортов соседи. - Живут, как у Христа за пазухой, а еще кочевряжатся!

Знакомый из Таджикистана переживал:

- Двадцать лет в Душанбе трудился, и пришлось уезжать. Теперь они о выдвижении местных кадров на руководящие посты, понимаете ли, заботятся. Повсюду русских выпирают таджики. Так они же, безмозглые, все развалят! Ничего. Зато свои.

Завотделом поэзии "Молодой гвардии" Вадим Кузнецов в 1973 году меня укорял:

- Что это вы тащите нам стихи грузинских поэтов? Их книги выпускать невыгодно. Никто не покупает. И вообще нам нужно печатать поэтов русских!

- Но у вас же издательство всесоюзное, а не российское. Что же касается продажи, то сборники Симона Чиковани или Лии Стуруа вы в магазинах не достанете , а Фирсова с Панкратовым дополна.

Оскалился:

- Вы меня не учите!

Нет, Вадим Петрович, где уж мне переучивать вас, когда прошли вы полный курс высшей комсомольской шовинистической учебы.

Весьма рельефно дружба народов СССР раскрывается на стадионах в ходе острых футбольных поединков. Конец то ли 1957, то ли 1953 года. На московском стадионе "Динамо" заключительный матч первенства страны между столичным "Торпедо" и тбилисским"Динамо". Победив, тбилисцы становятся чемпионами. Они выигрывают,а на стадионе - вакханалия. На трибунах избивают грузин. На зеленое поле высыпают разъяренные болельщики

и пробивают голову судившему матч ленинградскому арбитру. Сверху приказывают устроить переигровку. Тбилисцы на нее выходят как обреченные, а трибуны ревут:

– Дави чернозадых!

Но не ограничивается ли проявление национальных страстей в СССР отталкиванием остальных народов от России, их тягой к самостоятельности? Возможно, между ними самими царит мир да любовь? Наивные предположения.

В 1961 году Назым Хикмет, турецкий поэт, о котором я уже упоминал, жалуется:

– Звонят. Снимаю трубку. Ошиблись номером. Слышат мой акцент и кричат: "Пархатый жид!" Я не еврей, но все равно больно. Вот вы – молодой человек. Вы понимаете, откуда это? – Он расстроен и подавлен: – Недавно был в Баку на пленуме Союза писателей Азербайджана. Там азербайджанцы накинулись на армянских гостей. Потрясали кулаками: "Вы захватили наши земли! Мы их еще у вас отберем!" Как им не стыдно? Они же советские писатели, коммунисты! О каких землях речь?!

Через год же в Ереване, показывая мне музей, седовласый армянский ученый разражается тирадой:

– Нигде в Закавказье ничего подобного не увидите! Азербайджанцы – темные мусульмане. Грузины – ничтожный народ. У них ни науки, ни литературы, ни искусства нет. И никогда не было!

Осторожно закидываю удочку:

– А как же Шота Руставели?

Ответ следует незамедлительно:

– Его грузины присвоили. Он – армянин.

Постойте, постойте! Почему же этот великий поэт эпохи Возрождения, творивший на грузинском языке, с гордостью писал: "Я – месх" /одна из грузинских народностей/ и жил в Тбилиси!?

Однако рассудок ученого бессилен перед эмоциями:

– Он – армянин!

Да разве это важно? Вы два соседних братских народа. Вы построили социализм. Вы строите коммунизм. Пристало ли ссориться из-за поэта XII века? Но мало одного Руставели. Грузинские и армянские журналы, за-

хлебываясь, спорят из-за личности Спаласара,главнокомандующего войсками царицы Тамар. Тбилиси взбудоражен:

- Они пишут, что наш военачальник армянин! Нужно этих купчишек проучить!

Мне взаимная армяно-грузинская нелюбовь не в новинку. С детства слышал в тблисском дворе презрительное "грязные армяшки". Своими глазами видел кровавые схватки грузинских и армянских мальчишек. Неоднократно присутствовал при драках на трибунах тбилисского стадиона во время баталий между грузинскими и армянскими командами. Советские газеты с удовольствием расписывают побоища на стадионах Англии, Испании, Южной Америки. Об отечественных умалчивают. А они, хотя бы закавказские, по накалу страстей не уступают уругвайским. Наш тбилисский сосед, армянин, полетел в Ереван переживать за местную команду, встречающуюся с тбилисским "Динамо". Вернулся печальный, на лице кровоподтеки. Выигрыш грузин закончился чем-то несусветным. Болельщики избили их, разнесли попавшуюся под руки машину артиста тбилисской филармонии, гастролировавшего по Армении, нещадно поколотили тбилисских армян. Те орали: - Мы приехали болеть вместе с вами!..

Ереванцы злорадно:

- Почему же вы живете в Тбилиси?

И уж совсем мелочь. Инженер Гия Хундадзе провозглашает тост за грузинских женщин, осушает рог красного вина и заканчивает разговор:

- Никогда не женюсь на армянке!

- А если красавица? Если полюбишь?

- Я армянку полюбить органически не способен!

Сложен закавказский клубок. Грузины презирают азербайджанцев и враждуют с армянами. Армяне не терпят их и азербайджанцев. По Тбилиси гуляет анекдот:

"- Если мы тебя выберем мэром города, что ты сделаешь? - спрашивают армянина.

- В первую очередь выселю из Тбилиси всех русских.

- Ах, какой молодец! Ну а потом что сделаешь?

- Выселю из города всех армян.

- Ах, какой молодец! Ну а потом что сделаешь?

- Выселю из города греков, курдов, азербайджанцев.

- Ах, какой молодец! Ну а потом что сделаешь?

- Потом уеду и сброшу на Тбилиси одну большую атомную бомбу!"

А на черноморском побережье бунтуют абхазцы. Сидячие забастовки устраивают в Сухуми у здания обкома партии. Сто тысяч коренного населения в Абхазской автономной республике, входящей в состав Грузии.

- Какая-то горстка! - сердятся грузины, - и подавай им самостоятельность.

Так и вас же, щени чери ме , по сравнению с русскими не больше!

За много тысяч километров от Грузии - Башкирия. Но и здешняя суровая уральская зима не может охладить пыла националистов. В 1964 году поэты Шафиков и Гарипов затаскивают меня в Уфе в ресторан:

- Зачем ты перевел книгу Сайфи Кудаша?

- ?!

- Он не башкирин, а татарин, понимаешь?

- Но пишет-то по башкирски, и народный поэт Башкирии!

Физиономия Шафикова темнеет:

- Ты слушай, когда тебе говорят, не то рожу набьем! Ты в наших делах ничего не смыслишь. Заели нас татары! Куда не посмотришь, везде они!

А на страницах уфимской комсомольской газеты "Ленинец" Шафиков исправно славит дружбу народов.

И уж совсем странную разновидность национализма я обнаружил в Туркмении.

- Беда у нас! - изливается за рюмкой коньяка писатель Аннаберды З. Новый первый секретарь ЦК партии республики родом из Мары. Теперь он всю свою область в Ашхабад перетаскивает. Повсюду близких людей сажает.

- А они что, плохие?

- Тупые. Из самого отсталого племени.

Пока что редким /а что будет дальше?/ племенным национализмом заражен, бедняга.

Государственная пропаганда не жалеет средств на

воспевание дружбы народов. Партийные вожди всех рангов восхваляют ее со съездовских трибун. Ею клянутся комсомольские вожаки. А в это время во Львове человек сжигает себя с возгласом:

– За самостийную Украину!

А в это время в Ереване организуется подпольная Национальная объединенная партия, ставящая задачей создание самостоятельного армянского государства. А в это время в Каунасе КГБ арестовывает литовских националистов. А в это время в лагерях Потьмы объявляют голодовку протеста против издевательств бесправные зэка – украинские, армянские, литовские националисты.

Вот она, великая туфта, великая дружба народов СССР!

ШАБАШИ НА РУСИ

"Бывали хуже времена,
Но не было подлей".
Николай Некрасов

Моя идея об эмиграции была встречена Майкой в штыки:

– Ни за что! Никогда! Здесь ты во имя чего-то живешь, борешься, у тебя коллекция. А что там? Ну, хорошо, я брошу родителей, брошу все, что люблю,хотя не понимаю, как буду жить без России. Мы уедем. Куда и зачем?

– Я увезу с собой картины и, пропагандируя их на Западе, помогу ребятам оттуда.

– Не смеши! Кто позволит?

– Но здесь – конец! Художники сидять по углам, о выставках почти и не заикаются, кое-кто запил. Какая борьба? О чем ты говоришь? Я даже не могу показывать коллекцию.

– Наберись терпения. Пережди.

– А на что жить?

– Пойду на любую работу. Оскар поможет. Придется голодать – продашь, в конце концов, три четыре картины.

Несколько месяцев спорили до хрипоты. Я упирал на то, что Лубянка меня не оставит в покое. Майя успокаивала:

– Ничего не добились и не добьются.

"Может она права, – размышлял я. – Отобьюсь." И, как оправившийся от нокдауна боксер, заново примерялся к противнику.Вы рассчитываете, что приду к вам покорный, с нижайшими просьбами, и тогда захомутаете. А

если не просить, а требовать? И не с вас начинать поход, но так, чтобы до вас все доходило, чтобы вам стало ясно: довели до точки. Еще чуть-чуть - и предам гласности ваши гнусные предложения о дипломатах и журналистах, чем бы это ни грозило.

Друзья считали, что шансов на успех почти никаких, но попробовать стоит. Потому и состоялся описанный в прошлой главе мой телефонный разговор с референтом заведующего отделом культуры ЦК КПСС. В соответствии с задуманным под занавес пугаю собеседника:

- Я обращался в КГБ, обращаюсь в ЦК. Если все советские организации от меня отворачиваются, что мне делать?

Референт реагирует на угрозу, как и начальник приемной Лубянки /"Партия и Ленин - близнецы-братья", писал Маяковский. КГБ и ЦК - тоже/. Меняется тон. Призывает не терять голову и спрашивает:

- Вы знакомы с Виктором Николаевичем Ильиным?

- Нет, но знаю, кто он.

- Пойдите к нему на прием. Ему о вас позвонят.

Бывший, они не бывают бывшими, генерал-лейтенант КГБ, секретарь Московского отделения Союза писателей СССР по организационным вопросам В. Н. Ильин - личность известная. Лесючевский определяет, чьи книги и когда издать, какой заплатить горорар, какой поставить тираж. Ильин решает, кого принимать в Союз писателей, кому предоставить бесплатную путевку в санаторий, кого осчастливить квартирой, кого послать в командировку за границу. Очень надежная расстановка гебистских кадров. Во всех отношениях советские писатели под неусыпным наблюдением и контролем. Но в отличие от внешне отвратительного директора издательства "Советский писатель" Виктор Николаевич на вид мужчина хоть куда, несмотря на свои семьдесят лет. Рослый, широкоплечий, с породистым жестковатым лицом, гривой благородных седых волос и статной, чувствуется военная выправка, фигурой. Принимает меня благожелательно. Выслушивает, вникая в детали. Ему нравится моя стычка с Лесючевским /они друг друга не терпят - какие-то давние личные счеты/. С удовольствием пере-

спрашивает:

– Как, как вы его назвали? – Возмущается, что Майю из-за того, что она еврейка, не берут на службу. Встает, подходит к окну, сокрушенно вздыхает: – О, времена, о, нравы! Как же вам помочь? Может, с Нового года сумею вашу жену взять к себе на работу. Собираемся расширять штаты. Но до этого вам нужно как-то жить. И потом зарплата у нас небольшая. А у вас семья три человека. Сыну-то сколько лет? Десять?

– Хорошо бы вам письменно изложить все факты антисемитизма, с которыми вы сталкивались в литературной среде.

– Для кого?

– Для Секретариата Союза писателей. Передадите мне.

Очень мило. Главные антисемиты – ставленники начальства. Ну, напишу я о них. И что? Снимут их с занимаемых постов или повысят в должности? О,кей,составлю вам доклад. Приведу в нем примеры и не совсем из литературного мира.

Год назад с певцом Аскольдом Бесединым заглянули на телевидение. Принесли несколько песен/прирабатывал я тогда сочинением текстов для композиторов/. Одна из них шуточная про усы:

Кот у нас усатый,
Пес у нас усатый,
Младший брат усат, как гренадер.
Дедушка – с усами,
Дядюшка – с усами,
Только я безусый до сих пор.

Музыкальному редактору понравилось и литературному – тоже.

Но, говорят, не пройдет, не пропустят на экран.

– Цензура?

– Нет, у нас указания от самого Лапина /то есть шефа телевидения, по слухам – приятеля Брежнева/.

Мы с Аскольдом недоумеваем: что за чушь? Редакторы рассказывают, как приехал чешский эстрадный ор-

кестр, записали их концерт, заплатили им будь здоров сколько тысяч рублей, пленку же уничтожили,потому что все музыканты были усатые и бородатые.

Смеемся.

- Почему ваш Лапин настроен против усов и бород?

И в ответ шепотом:

- Считает их нетъемлемой принадлежностью сионистского обличья.

- Простите, как же быть с вождями? Сталин носил усы. Маркс и Ленин - усы и бороды.

Музыкальный редактор обиделся.

- Что вы это нам объясняете? Вы идите к Лапину!

Товарищ Лапин давно прославился своим антисемитизмом. Тщательно очищал редакции от евреев. Но этого ему казалось мало - запретил выступать по телевидению эстрадным певцам еврейского происхождения, исключая Иосифа Кобзона, с особым чувством исполняющего мужественные песни о Великой Отечественной войне, любимца министра обороны маршала Гречко.

Обойтись без выдающихся скрипачей Ойстраха или Когана трудно. Эстрадные же сочинения споют и без евреев. Табу Лапина поставило многих популярных певцов в унизительное и очень трудное положение. Они ощущали себя людьми второго сорта. Они лишались столь действенной рекламы, как телевидение. В итоге часть из них эмигрировала.Чем не материал для Ильина?Пусть борется против дискриминации.

Весь сентябрь и октябрь Виктор Николаевич изучал мои докладные. В начале ноября пригласил меня к себе:

- Жену вашу с января наверняка берем на работу в Союз. Вам же нужно сходить к Регистану. С ним беседовали. И вот еще. Михаил Вячеславович просил вас позвонить.

Зашевелились на Лубянке. Не сомневаюсь, что им там все известно, что я предпринимаю, и рано или поздно они о себе напомнят. На первый взгляд, в их распоряжении было два варианта. Первый удовольствоваться тем, что домашний музей на Преображенке не функционирует, то есть Глезер живет тихо, и пусть себе живет, лишь бы не гадил. Второй - завербовать меня во что бы

то ни стало, пойти на риск, презрев возможность скандала и разоблачения. Обещание предоставить Майе работу ничего не проясняло. Такой ход с малюсеньким пряником мог в одинаковой степени относиться к обоим вариантам. Но прежде заглянем к Регистану. В чем его, кругом зависимого от Лесючевского, убедили? Заведующий отделом поэзии нардов СССР хмур и неприветлив. Не обращаю внимания:

- Гарольд Габриэльевич, у вас уже два года лежит рукопись переведенных мной стихов Сайяра. Переводы одобрены автором. Почему не выпускают книгу?

- Вы знаете почему.

- Но в Профкоме литераторов меня восстановили...

Останавливает нетерпеливым жестом:

- Причем тут Профком? Если вы невиновны, пусть "Вечерняя Москва" даст опровержение.

Требует невыполнимого. У нас никогда ни одна газета с опровержением своих материалов, да вдобавок политического характера, не выступала. Позволить советским читателям усомниться во всегдашней правоте отечественной прессы нельзя. Это породит ненужные размышления.

- Да разве "Вечерняя Москва" напишет, что фельетон был клеветническим? Нереально.

- Не обязательно в такой форме... Может, они напечатают ваши переводы. Косвенно извинятся ... - Тоже сомнительно. На то и рассчитано. Регистан же добавляет: - Во всяком случае на этом настаивает Николай Васильевич. Меж двух огней, меж двух столпов, Лесючевским и Ильиным, очутился холуй. Сейчас сбросил груз ответственности и полегчало. И прорвало его:

- Вас мне не жалко. А вот Майка, баба хорошая, из-за ваших дел пострадала...

Ну, спасибо за откровенность. До сих пор ссылались на сокращение штатов и вдруг... ценное признание. Когда-нибудь пригодится. Однако надо бы позвонить на Лубянку. Голос Михаила Вячеславовича сладок, как мед:

- Снова вы о нас совсем забыли. Приходится вас через кого-то разыскивать. Некрасиво. У вас трудности?

Так пришли бы поделились. Пособили бы вам.

Отвечаю грубо и коротко:

- Я не намерен платить за вашу помощь стукачеством!

- Опять вы со своими странными предположениями! Приезжайте сегодня или завтра после обеда, когда удобно, и поговорим.

Когда я приезжаю на Лубянку, разыгрывает комедию:

- Александр Давыдович, вы пишете, что Мулерману закрыли дорогу на телевидение /не скрывает, что Ильин их ознакомил с моим докладом/. Это же любимый певец нашей организации! Не правда ли, Андрей Григорьевич ? Нужно Лапину разъяснить. А вам, Александр Давидович, Мулерман нравится?

Молчу. Гляжу на него в упор, и он вроде бы прекращает паясничать. Но тут же вживается в новую роль - друга и помощника.Жена, мол, по-прежнему не работает, вы переводов почти не имеете. Нужно что-то предпринять. А для чего я к вам пришел? Вы все можете,вот и предпринимайте. Год трепетесь, шантажируете, пытаетесь вербовать - хватит! Не точно эти слова, но,примерно, в таком духе крайне агрессивно из себя выбрасываю.

- Да все, что от нас зависит... - примирительно тянет Михаил Вячеславович.

У меня не хватает терпения дослушать его до конца.

- Не принимайте меня за ребенка! Вашу игру давно понял и ее пора заканчивать. Как написал Андропову: или арестовывайте, или дайте нормально жить, реабилитируйте.

О, мне тогда бы опыт 1974 года! Знал бы, что только так с ними и можно разговаривать. Вот и сейчас обескуражены. А я продолжаю наступать, интуитивно ощущая, что веду себя правильно. Возмущаюсь издевательской позицией Лесючевского, наперед уверенного, что "Вечерняя Москва" ни опровержения, ни моих переводов не поместит. А он, словно невзначай:

- Вы отнесите переводы в "Вечернюю Москву". Чем

черт не шутит! - На его топорно сработанном лице всплывает укоризненная улыбка: дескать, вы к нам недружелюбно относитесь, в ЦК бежите, сулите поднять шум. Зачем? Вы у нас - и, пожалуйста, - устроим вам публикацию в "Вечерке".

Жду очередного подвоха. Не пригласили же меня только для того, чтобы преподнести подарок! Но, судя по всему, пригласили как раз для этого. Значит, не ошибся я с планом: именно из-за угрожающего намека, высказанного референту Шауро, и собранного материала об антисемитизме /еще в запале передаст Глезер на Запад!/ гебисты решили расщедриться. Впрочем, не фальшивый ли это посул, не выигрывают ли они время? В газете могут по их указанию сказать: - Рады бы напечатать, но переводы слабые. И все. И возразить нечего. И апеллировать не к кому. И тот же Михаил Вячеславович сострoит огорченную мину: старались помочь, но не вышло. Но в редакции меня встретили с распростертыми объятиями. Оказывается, им дозарезу требуются переводы и я привез то, что нужно. Через три дня опубликовали. Удивлялись и друзья,и враги. Регистан смотрел с опаской: с этим типом держи ухо востро! За ним какие-то силы стоят, добился невероятного - заклеймившая его газета его же и напечатала. И заведующий отделом заверяет, что переговорит с Лесючевским и уладит вопрос с книгой Сайяра. И звонят мне из Ташкента.Скоро запускается в производство коллективный сборник стихов, который должен был выйти в 1971 году, но застрял после фельетона. Закрутилась карусель. Ну, подумалось, теперь-то самый лучший момент для заключительного аккорда, для прощания с Лубянкой. Позвоню в последний раз, поблагодарю и адью!

Однако наши замыслы, увы, не совпадают. Михаил Вячеславович вежливо настаивает на встрече. Дважды повторяет, что это крайне важно для художников. Придется пойти на разведку. Сижу в осточертевшем кабинете. Андрей Григорьевич напоминает о моем старом предложении - дать в одном из советских журналов,издающихся для заграницы, статьи о художниках с репродукциями картин. С АПН достигнута договоренность. Единственная

просьба - выбрать живописцев не с самыми нашумевшими именами, в общем ни Рабина, ни Немухина, ни Плавинского.

Оскар абсолютно не верил в реальность этой идеи. Наш общий приятель П. доказывал:

- Ты донельзя наивный человек! Сейчас у нас по-твоему, что - либерализация? Уже целую пятилетку непрерывно гайки закручивают. Модернизм поносят на чем свет стоит. И на́ тебе - ни с того ни с сего начнут его пропагандировать. Логика железная. Не возразишь. Тем не менее, как ни странно, в назначенный день из АПН приезжает фотограф Коля, молодой, белобрысый, худощавый парень. Объездили с ним три мастерские - Вити Пивоварова, Эрика Булатова и Отари Кандаурова. Я старался болтать с художниками поменьше, ибо не очень Коле доверял. И правильно делал. Когда были у Пивоварова, Витя, раньше обещавший продать в рассрочку картину, стал отговариваться:

- Пишу медленно. Пусть у меня побудет.

В шутку замечаю, что 22 января празднуем шестую годовщину выставки в клубе "Дружба" и хорошо бы его холсту украшать к тому времени коллекцию. И вот звоню Андрею Григорьевичу, чтобы узнать, каким журналом АПН заказана статья, а он спрашивает:

- Какой юбилей вы празднуете?

Кстати, фотограф-стукач снимки сделал неплохие, но они так и не пригодились. Приятель П. как в воду глядел: пропагандировать советских модернистов, пусть даже за границей, власти, в конечном счете, не пожелали. Я не огорчился, а скорее обрадовался. Такой поворот событий как будто позволял мне, избегая прямого столкновения с Лубянкой, попытаться вновь исчезнуть из ее поля зрения.

Наступил 1973 год. Книгу Сайяра сдали в производство, Майя стала работать в Союзе писателей, а я мотался между Москвой, Тбилиси и Ташкентом, норовя восстановить порванные связи с поэтами и местными издательствами. И те, и другие контактировали со мной неохотно, и я понял, что ничего интересного мне больше не переводить. Сочувствующие редакторы подбрасыва-

ли третьестепенные стихи, воспевавшие в примерно одинаковых выражениях коммунистическую партию, огромную, могучую Отчизну и маленькую Грузию или Узбекистан. У Лесючевского лишь при упоминании моего имени на губах выступала пена:

"Только через мой труп!" - распалялся он. Это разносилось со скоростью света и отнюдь не способст - вовало улучшению моих дел.

Если, переводя разную дрянь, хотя бы расширять коллекцию! Если раскрыть двери дома и, пусть хоть как в омут, броситься в прежнюю жизнь, борьбу! Но слишком ничтожен заработок и - нельзя рисковать картинами /мало их собрать - нужно еще и сохранить/. И во что превращается жизнь? В нудную, унылую тягомотину? В бега по редакциям ради куска хлеба? Но моя активность искала точек приложения, не находила, падала, как проколотый воздушный шар, и я погружался в мутную, засасывающую депрессию. В один из таких моментов, нарушив собственную конспирацию /а ежели в квартире гости!/, заявился без предупреждения Андрей Григорьевич. А у меня состояние полнейшего безразличия, и я даже не удивился его визиту. Он проскочил в дверь и огляделся:

- Извините, Александр Давидович, что так нагрянул. Но вы не звоните, а ваши картины хотел бы посмотреть генерал. Вы не возражаете?

Лениво соображаю: ну, что им неймется... Чего опять лезут... До гроба, что ли, не отвяжусь?Он спе - шит:

- Завтра вечером придем. Только просьба - чтобы дома никого кроме вас не было. Может, жену с сыном в кино ушлете?

Мямлю:

- Ну, хорошо. - Но уже какой-то моторчик во мне заводится. Про себя посылаю его к чертовой матери. Устрою вам завтра при начальстве бенц!

Наутро Оскар урезонивает:

- Ты или не пускай их, или веди себя нормально. Скандал ни к чему. Скажи лучше в двух словах, что больше видеть не желаешь. Они только по службе нас не-

навидят. Лично - каждому из них ты в принципе безразличен. Зачем же наживать на Лубянке личных врагов?

Как всегда бывало при встречах с гебистами, нервы напряжены до отказа. С криком или без крика я сегодня должен с ними развязаться. Вот и они. Не знаю уж, генерала, не генерала привезли, однако не ходил он по комнатам, а шествовал - маленький, сухой, с надменно вздернутым подбородком и скучающими глазами. Ни одного слова не вымолвил. Равнодушно выслушивал подобострастного гида - Андрея Григорьевича. Меня отзывает в сторону Михаил Вячеславович:

- Ваша грузинская чача славится. Организуйте,пожалуйста, на кухне что-нибудь скромное. Посидим, потолкуем.

Ну и обнаглели! Еще корми и пои их. К непринужденности тянет. Ладно. Ставлю на кухонный стол бутылку чачи, тарелку с тремя солеными огурцами и черный хлеб, как бы подчеркивая: я вас в гости не звал - жрите, что есть. Ноль внимания. Вызывающе не притрагиваюсь к рюмке - не пить же с вами! Словно не замечают . Генерал молчит. Двое работают - болтают о житье - бытье, о погоде, о международном положении. Почуяли мой настрой и о подлинной цели прихода ни звука. Кто-то стучится в дверь. Все трое, как разбойники, метнулись в глубь кухни. Оказалось, Алеша. Захотел в туалет.

- Нет! - машет головой Михаил Вячеславович.-Нет! Вы же обещали, что никого не будет. - Боятся. Вдруг - ловушка. Вдруг за Алешей прячутся художники или, чего доброго, иностранные корреспонденты. Попадешь в переплет!

Сын понял и ушел, а они едва присели. Пора, дескать, пора! И высокомерный индюк соизволил на прощанье фыркнуть:

- Эти картины народу не нужны.

И потянулась тройка к двери. И ушла. И так ничего я им не сказал. Не нашел момента. Ждал, что они с какой-нибудь мерзостью вылезут, и тут уж,при генерале, поглажу их против шерсти. Не вышло! Трижды идиот! Сбитый с толку нелепой болтовней, растерялся и упустил шанс. Высказался бы откровенно при шефе, скорей

бы отцепились, вербовщики. Отомстили бы, конечно. Но, ей Богу, надоело! Пусть мстят. А теперь... Теперь возвращается Андрей Григорьевич. Останавливается на пороге, ободряюще улыбается:

- Александр Давидович, вы ему понравились. Звоните! - И убегает.

Я ему понравился! Это меня доконало.Нервное возбуждение перешло в приступ. Катался по полу. Кричал. Потом, обессиленный, умолк. Кое-как поднялся. Спотыкаясь, бродил по квартире, и мысль о смерти как о желанном выходе, впервые замаячила в сознании. На другой день пришел в себя. О Господи, что я задумал? Из-за чего ? Безнадежно-пустая жизнь? Она может измени - ться. Майя не хочет уезжать? Сегодня - нет, а завтра - рада. КГБ ткет и ткет свою черную паутину? А ну-ка разорвем ее! Словом не сумел, так делом. Иду на вы, товарищи гебисты! Иду на вы...

Майя в отчаянии:

- Ты сумасшедший! Только-только что-то налаживается, и сам все ломаешь. Если вновь откроешь музей, они не простят.

Я и не намерен просить о прощении. Пойми,другого способа, чтобы бесповоротно послать их подальше, не существует.

- Но ты же всегда опасался за коллекцию!

Она права. Себе же противоречу. Но как ей втолковать, что внезапно понял неизбежность кардинального столкновения с этими выродками. Они от своего не отступятся до последнего. А так или иначе расплевываться с ними нужно. Либо открыть музей, либо сделать достоянием западных корреспондентов все, что они мне предлагали. Бесспорно - музей штука не такая страшная. Но Майя упорствует. Вынужден рассказать о попытке самоубийства. В ужасе отшатывается:

- Поступай, как знаешь...

И с конца апреля, после трехлетнего почти перерыва, в нашем доме снова ежедневно люди: москвичи,киевляне, ленинградцы, иностранные дипломаты, журналисты, туристы - все стремящиеся посмотреть русское неофициальное искусство. А Лубянка голоса не подает, ее

будто и не существует. Видно, и в голове не держали, что пойду на такое. Наверняка скинули со счетов как возможного агента. Размышляют о расплате.

Не мешало бы на тот случай, если прижмут до упора, иметь на готове документы, необходимые для ОВИРа. Что мне удастся вывезти тем или иным образом большинство картин, не сомневался и тайно от Майи просил друзей организовать для нас из Израиля, якобы, от родственников, вызов.

Заказывая его, я учитывал, что могут не пропустить /три первых и пропали, лишь на четвертый раз дошло/, что меня могут в отместку за все не выпустить /откуда было знать, что еще уговаривать будут убраться восвояси/, что Майе пойти на отъезд нелегко. Правда, в ее настроении постепенно происходили перемены. Этому особенно способствовала гнетущая атмосфера в епархии Ильина, пронизанная духом стукачества. На двадцать человек полезного персонала /секретарей, экспедиторов, бухгалтеров, машинисток/ - два специальных, ничем, кроме слежки, не занимающихся надзирателя с окладами по двести рублей /прочие получали по сто/. Главный - Смирнов, мужчина неопределенного возраста с кукольно-стертым лицом, отставной полковник КГБ. Его помощник, краснорылый любитель "Столичной" Никифоров, по кличке Долдон, тоже гебист на пенсии, капитан. Последний обладал удивительным даром вынюхивать все,что говорилось в ЦДЛ, в здании которого размещается Московское отделение Союза писателей. Несообразительный Смирнов только и умел что с утра до вечера околачиваться возле шахматных столиков, где играли писатели. А они народ тертый, о недозволенном на виду у публики и не заикнутся. У них языки развязывались в закоулочках, по узким коридорчикам, в тесной умывалке перед туалетом. И тут, становясь почти невидимкой, Долдон засекал двусмысленную фразу, неосторожно оброненное слово. И все с величайшей, отраженной в оловянных глазах преданностью, нес к Ильину. Третий, внештатный надсмотрщик - ведующая поездками писателей за границу Фомина, правая рука Виктора Николаевича, дослужившаяся в КГБ до чина майора.

Только от одной этой троицы с души воротило. А тут еще вокруг стукачи подпольщики. Откровенничала Майя с Иной Скарятиной, литературным секретарем секции прозы, черноволосой красивой женщиной. Я не раз предупреждал жену, чтоб придерживала язык, но она горячо отстаивала сослуживицу:

- И вообще она своя! Почти не таясь, называет ЦК, Обком и Горком комсомола фабрикой карьеристов.

- То-то и странно, что не таясь.

- А мало ли о чем ты орешь?

Но однажды Майя пришла домой расстроенной:

- Ина, оказывается, стукачка. Сегодня Дима, которого исключают из Союза писателей, после беседы у Ильина, уходя, кинул друзьям: "Будьте осторожны со Скарятиной! Она стучит".

Догадался по отдельным репликам Виктора Николаевича. Ему почти дословно передавались разговоры в пьяных, потерявших осторожность писательских компаниях за столиками в ресторане ЦДЛ. Недаром так любила в них участвовать черноволосая чаровница.

Майя называла Московскую писательскую организацию рассадником стукачей, порывалась уйти оттуда, но все из-за того же пятого пункта тщетно мыкалась в поисках какой-нибудь подходящей работы.

А тут еще художники, причем самые близкие, в том числе и Оскар, выступают за наш отъезд. Лейтмотив: здесь все глухо. На Западе устроишь музей, устроишь выставки. Ты же понимаешь, как для нас это важно. Но я оставлял вопрос открытым. Какая-то работа есть, живу опять вольно. Пока намертво тиски не зажали, зачем уезжать?

А обстановка день ото дня становилась все невыносимей. Готовился процесс-спектакль Якира и Красина, первый послесталинский суд над политическими, где они облегчая свою участь, признаются в преступлениях, которые не совершали, поставят под удар "Хронику текущих событий", объявят Демократическое движение, то есть оппозицию, борющуюся за осуществление в СССР демократических свобод, - фикцией. Дескать, нет такого, а его программа и тактические установки подброшены в

Советский Союз с Запада.

Этот процесс открылся 27 августа. Спустя день в печати разразилась двухнедельная свистопляска. Навалились в основном на Сахарова, по ходу лягали Солженицына. Знак к расправе подала "Правда". На ее страницах члены Академии Наук СССР осуждают недостойное сахаровское поведение.

Вслед за ними в "Известиях" выступают члены Академии медицинских наук:

"Мы,советские ученые-медики, оскорблены поведением академика Сахарова".

Члены Академии педагогических наук:

"Сахаров своими заявлениями роднит себя с реакционерами и поборниками войны".

Члены Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук:

"Сахаров встал на путь клеветника и отщепенца". Кое-кто из ученых, норовя выделиться из коллектива, чтобы сверху отметили их преданность, посылают в газеты самостоятельные гневные послания.

И на судебном процессе Якира-Красина подсудимые вносят свою лепту во всегосударственную травлю. Сообщают, что материалы, изготовленные академиком,использовались ими для антисоветской пропаганды, а Солженицын был чуть ли не главным руководителем и вдохновителем "Хроники текущих событий".

Хотя Лубянке в ту пору чуть ли не космических перегрузок - Сахаров, Солженицын, дело Якира-Красина - было вроде не до художников, гебисты нашли время подсуропить и мне. Почувствовал их руку, едва прилетел в Узбекистан. Книга Сайяра в "Советском писателе" только что вышла, теперь ташкентские издательства должны бы проникнуться доверием к столичному поэту. Но не проникаются. Чаем угощают, а с переводами туго. Ссылаются на сокращение планов. А я достоверно знаю, что как раз сейчас ищут переводчиков. Нечто похожее через две недели повторяется и в Тбилиси.

И в Москве передо мной почти все издательские двери закрыты. Но разве когда вновь занялся пропагандой "живописного Самизадата" - так окрестили мою кол-

лекцию на Лубянке - не ведал, чем это кончится? То-то же и оно! Чего теперь жаловаться? А я и не жалуюсь. Перезимуем, как-нибудь выкарабкаемся. С таким настроением под занавес года мы с Майей и поехали проветриться в Ленинград. Соблазнили нас Юра и Ира Жарких. Ленинградцы, они появились в кругу московских неофициальных художников лишь несколько месяцев назад и с первого же прихода к нам прочно вошли в нашу жизнь.

Юра Жарких писал картины с начала шестидесятых годов, но, во всем требовательный к себе, лишь спустя десять лет решил приехать в Москву и показать их широкому зрителю. Успех пришел сразу. Особенно поражали созданные им портреты. Обладающий даром чувствовать людей, он воссоздает не внешний облик, а как бы изображает на холсте рентгеновский снимок души. Что-то от этого ясновидчества ощущается и в развернутых социально-религиозных композициях, среди которых чаще всего варьируется тема борца-диссидента, окруженного сонмом стукачей и обывателей, - слепые пятна в ячейках сети, опутавшей героя, - и тема нравственного очищения, запечатленная в распятии Христа. Оно, коричневое, тоненькое, подобное мучительно изогнутому, ссохшемуся корешку, присутствует почти в каждой картине.

Когда мы приехали в Ленинград, Юра работал над полотном из цикла "Беременные", очень для него важном, так как обнаженная женщина с огромным, вздымающимся животом представляется ему символом плодоносящего света, немеркнущей, вечно продолжающейся жизни.

Он так и не смог оторваться от мольберта, и мы пошли бродить по Ленинграду втроем с Ирочкой. Забивая переходы, магазины и кафе, по улицам царственного города двигалась толпа, а дивные строения венчались крашенной фанерой лозунгов. И лишь на пространстве широкой реки не было ни людей, ни лозунгов. Только ветер.

Ленинград, как всегда, поразил меня несоответствием формы и содержания, то есть крылатостью архитектуры и приземленностью жителей. Несчастное творение Петра! Когда-то центр подлинной аристократии как по духу, так и по происхождению. Революция сожрала и тех, и других. В опустошительные сталинские чистки двадца-

тых, тридцатых и сороковых годов, и в блокаду погибли остатки чудом уцелевшей русской интеллигенции. Из окрестных городков и деревень хлынул поток обывателей , уже обработанных советской пропагандой. Они с гордостью именовали себя ленинградцами, чванились и свысока посматривали на приезжих. В этой массе тонут отдельные истинно интеллигентные лица. Вокруг лишь высокомерные, самоуверенные физиономии:

Нелепая спесь ленинградцев,
Давнишний и прочный недуг,
Уменье по-царски держаться,
Угодливость преданных слуг.

Я писал эти строки в супермодерной гостинице для иностранцев "Ленинградская", в которой по знакомству Ирочка сняла для нас номер. Архитектор, получивший Государственную премию за сию душегубку из бетона и стекла, не предусмотрел одной"мелочи" - установки кондиционеров. И теперь-то, в зимнюю пору, пришлось непрерывно держать открытым окно, так что в узком нашем ящике жара от батарей сшибалась с холодом соседней Невы. А изнуряющими летними ночами, бедных туристов,потерявших сознание от духоты, десятками увозила "скорая помощь". Не беда! Зато придя в себя и вернувшись в "Ленинградскую", они могут лицезреть находящийся неподалеку, на Неве, легендарный крейсер "Аврора", тысячекратно воспетый в школьных советских учебниках, романах и кинофильмах. Еще бы! "Аврора", как утверждают историки Октябрьской революции, положила начало новой социалистической эре. Это ее грозные залпы заставили сдаться окопавшееся в Зимнем дворце Временное правительство.

"Новый мир" Твардовского попробовал посягнуть на святыню. Некий смельчак внес уточнения и развенчал миф. Оказывается, знаменитая"Аврора" выпустила один залп, да и то холостой. О, какой шквал проклятий обрушился на бесстыжий журнал и на крамольного автора!.. "Аврора" так и осталась стоять неколебимо,фальшивая, как все советские легенды. И попрежнему, охва-

ченный священным трепетом, простой советский человек, приехавший полюбоваться городом на Неве, ступает на ее дряхлую палубу.

В "Ленинградской" мы прожили два дня, и в этой гостинице, предназначенной в первую очередь для иностранцев, выглядели бедными родственниками. Дежурные по этажу, предупредительные к каждому балакающему на чужом наречии, нас будто не замечали. Если же были вынужденны отвечать на вопросы, то весь вид их как бы говорил : "И когда ты только отвяжешься?"

Рано утром 30 декабря мне взбрело в голову спуститься в вестибюль за газетами. Иду к лестнице, а вослед - хамским тоном:

- Ключи оставьте! В номере надо убрать.

Не отзываюсь. Но дежурная упорна:

- Мне что, за вами бегать прикажете?!

Поворачиваюсь, подхожу к столу и, наскребываю в памяти жалкий запас английских слов:

На ее круглом лице сначала испуг - всех не упомнишь - потом приветливая улыбка.

Вспоминается, как французская журналистка,бывавшая в клубе "Наш календарь", в 1961 году спросила меня:

- Почему, когда я в магазине обращаюсь к продавщице по-русски, часто грубят. Перехожу на французский - вежливо обслуживают?

Забавно, что то же самое случилось в Москве, в гастрономе на Преображенке. Прошу бутылку "Боржоми".

Продавщица не глядя:

- Нету.

Уже направляюсь к выходу, но возвращаюсь. Почему не попробовать? И на ломаном русском языке обращаюсь ко второй:

- Мой хотел иметь бутылку "Боржоми".

Пожилая тетя с готовностью кивает и кричит отошедшей напарнице:

- Вера, а Вера, тут иностранец пришел. Принеси-ка "Боржоми"!

Через минуту двигаюсь к дому с двумя бутылками дефицитной грузинской воды.

Да, в 1951 году не смей преклоняться перед Фарадеем, потому что он американец. В 1961-ом не слагай стихов о Вагнере, потому что он немец. И то и другое-низкопоклонство перед Западом. Но никогда эта формулировка не касалась обслуживания обычных заурядных иностранцев, приезжающих в СССР. Для них специальные и продовольственные и промтоварные магазины "Березка", чтобы в очередях не торчали и покупали что нужно. Для них в ресторанах зарезервированы столики. Для них бронируются номера в гостиницах. И не только бронируются. Тебя могут выгнать из законно занятого номера из-за неожиданного приезда зарубежных туристов. Крайне, видите ли, важно, что они о нас скажут!

А что говорят, когда распинаем Чехословакию, когда изгоняем из России Солженицына, когда давим картины бульдозерами и сжигаем их на костре, - на это начихать. Идеология превыше всего!

В начале далеких тридцатых годов, когда в Советском Союзе свирепствовал голод, когда на Украине матери поедали детей, остроумец Бернард Шоу, возвратившись из Москвы в родные пенаты, на вопрос корреспондента, правда ли, что в России нечего есть, ответил: "Нигде меня так вкусно не кормили". В сороковые и пятидесятые годы выходили на Западе книги вырвавшихся из коммунистического ада очевидцев, но Запад равнодушно от них отвернулся.

Но пробил час. Нашелся человек, которому было суждено взорвать постыдное равнодушие. "Архипелаг Гулаг" Солженицына обнажил перед содрогнувшимся миром чумные язвы лагерей "процветающего" социалистического общества и впервые заставил беспечных и спокойных задуматься о будущем собственных стран. Мы услышали о выходе "Архипелага" в начале января по западным радиостанциям. А с середины месяца с не виданной доселе злобой и разнузданностью развернулась антисолженицынская кампания. Великого писателя обзывали "выродком " и "предателем", "литературным власовцем" и "негодяем". "Правда" писала: "Слишком уж очевидны мерзостность и ничтожество этой фигуры".

21 января длившееся четыре часа партийное собрание Союза писателей постановило просить правительство лишить Солженицына советского гражданства. Задавленные, боящиеся друг друга люди старались не выдавать своих чувств, но порою не сдерживались. Поэт Л. сказал Майе в тот позорный для писателей день:

– Бывали хуже времена, но не было подлей.

Какой-то аноним бросил ей на стол записку: "В нашей огромной пустыне воспрял пророк. Преклонитесь перед ним, светломудрым, духом сильным, боговдохновенным посланцем Его".

ХУДОЖНИКИ ПОД ОГНЕМ

"Художникам время от времени надо грозить пальцем".
Доктор Геббельс

16 февраля, в день рождения своей матери,Саша Рабин справлял свадьбу. И вечером к дому Оскара начали подкатывать автомобили с иностранным номерами (дипломатическими и журналистскими). Впрочем,"подкатывать к дому" сказано не совсем точно, ибо в обширных преображенских дворах проезжие части сделали настолько узкими, что больше одной машины проехать по ним одновременно не могло. Поэтому образовался длинный хвост почти в сотню автомобилей от Оскарова двора и вылезший аж на главную магистраль - Большую Черкизовскую улицу.

Вечер выдался холодный, мокрый, ветренный. Те, кто приехал попозже - а среди двухсот гостей были и послы, - пробирались к дому в полутьме по мокрому снегу и грязным лужам. Гебисты, со всех сторон окружившие беспокойный участок, явно нервничали. С одной стороны, черт знает что за демонстрация с участием высокопоставленных дипломатов. С другой - законная свадьба. Не придерешься. В конце концов тайная полиция приняла, что с ней не часто случается, разумное решение. Ее одетые в штатское сотрудники стали подсказывать заблудившимся консулам и атташе дорогу. Когда же (и это вызвало среди художников искреннее веселье) приехавшие на празднество послы, поздравив новобрачных и посмотрев развешанные на стенах картины, стали отбывать, то гебисты как-то изыскали возможность подавать их машины прямо к подъезду.

- Удивительно, - улыбнулся Оскар, - но они трудятся вовсю. Лучших помощников и не надо. - Он очень

устал в этот день и выглядел озабоченным. - Начальство, небось, не сомневается, что под видом свадьбы сына я организовал шумный протест против расправы с Солженицыным. А откуда же нам две недели назад, при рассылке пригласительных билетов, было знать о решении ЦК или ГБ выгнать его на Запад?

Мне же вспомнилось, как накануне свадьбы Майя спросила:

- Оскар, а ты не боишься именно сейчас устраивать такой сабантуй?

Он отрицательно покачал головой.

- Я так долго всего боялся, что орган страха у меня атрофировался.

Тем не менее, оснований для его озабоченности существовало достаточно. Уже с утра во дворе вертелись подозрительные личности и заглядывали в окна. Целый день раздавались дурацкие телефонные звонки. Да еще поймали на месте преступления давнего друга Саши Сергея Иванова. Они дружили с детских лет, вместе ежегодно отдыхали летом в деревне. И вдруг выяснилось, что этот услужливый, в доску свой Сережа, завербован КГБ. Уверенный, что в квартире никого нет (за несколько часов до свадьбы все разошлись - кто в магазины, кто на базар, кто на прокатные пункты за ложками,вилками,стаканами, тарелками), Иванов позвонил на Лубянку и принялся перечислять, кто из гостей ожидается вечером.Но неопытный агент допустил оплошность.

В дальней комнате дремал Евгений Рухин. Услышав сквозь забытье странный доклад, он очнулся, выскочил в коридор, где стоял телефон, и схватил стукача за плечи:

- Куда ты звонишь, подонок?

Тот настолько растерялся, что выронил трубку и пробормотал:

- В... кинотеатр...

Печальный инцидент вновь показал, что весь наш круг находится под наблюдением КГБ, и может быть даже те, кто вчера и позавчера и в течение доброго десятка лет являлись твоими близкими приятелями, сегодня, не устояв перед шантажом или угрозами, пошли на сотрудни-

чество с гебистами и строчат на тебя доносы. Во всяком случае, история с Сергеем Ивановым произвела на узнавших о ней такое тягостное впечатление, что Оскар попросил не распространять эту новость, чтобы не омрачать торжества. Но разоблаченный агент на свадьбу и не пришел. Видимо, хозяева не велели рыпаться,коль засыпался.

Когда большинство гостей разъехалось и остались лишь друзья, разговор опять вернулся к гебистам, которые весь вечер так усердно вкалывали, и Оскар невесело пошутил:

– Теперь, после изгнания Солженицына, у них освободились руки и для нас.

Он оказался прав. Действительность подтвердила его предположение уже... через двадцать минут. Рухину позвонила из Ленинграда жена и просила срочно вернуться домой. Пока мы пировали, в их квартире булыжниками разбили стекла, ранив двухмесячного ребенка. А когда она вызвала милиционера, то блюститель порядка вместо того, чтобы выяснять детали и искать преступника, цинично объяснил:

– Нечего вашему мужу в Москву шляться! Тогда и окна целы будут.

Женя тут же собрался в дорогу.

Довольно сильно подвыпивший, но достаточно трезвый, Оскар обвел нас меланхолически-насмешливым взглядом и пообещал:

– Это еще только цветочки. Ягодки потом будут.

Лавина телефонных звонков, которая обрушилась на него со следующего дня, доказывала, что и на сей раз он не ошибся. Ему звонили рано утром, звонили и ночью. Не давали спать, работать, отдыхать. Звонили мужчины, которые угрожали избить, звонили какие-то женщины,которые приглашали на свидание, звонили молоденькие,судя по голосам, девицы и просили дать почитать "Архипелаг ГУЛаг". Телефонная какофония тянулась не сутки,не двое, не трое. Нервы у Оскара были давно уже не железные. Марат предложил, чтобы не он, а кто-нибудь другой снимал трубку. Малоприятным делом занялся я. Внимал злобным предупреждениям, истеричным женским виз-

гам, нечленораздельным бормотаниям и думал: "Какое же тупое однообразие! Неужели не в состоянии ничего новенького впечатляющего изобрести?" Однако я их недооценивал. Как-то в полдень звонок:

– Оскар Яковлевич? С вами говорят из Мавзолея Владимира Ильича Ленина.

– Слушаю.

– Не хотите ли переспать с Лениным?

На какую-то секунду я растерялся, а потом во всю мочь заорал:

– Хочу!!!

Но звонками они, естественно, не ограничились. Вскоре к Рабину, будто невзначай, забрел участковый Лосев и строго заметил:

– Не слишком ли много народу у вас бывает?

Вышедший из себя Оскар,что с ним редко случалось, выгнал его вон.

Напротив подъезда взяла в привычку нахально расхаживать приземистая мужеподобная баба и фотографировать входящих и выходящих из квартиры. Повадился навещать Оскара некий безработный актер-декламатор Дмитриев, которого мы и многие иностранцы подозревали в сотрудничестве с КГБ. Обычно он притаскивал водку и вино, зная, что в этот период Оскар непрочь выпить, и вел с ним затяжные, пьяные, изматывающие беседы. Один особенно тягостный вечер врезался в память. В комнате нас пятеро. Кроме Рабина, Дмитриева и меня – Коля Вечтомов и молоденькая девушка Лена, в последние месяцы зачастившая к Оскару, ставшая чуть ли не другом дома. Время тянется медленно. Водка пьется и пьется. Говорю Коле:

– Надо что-то сделать. Декламатор замучает Оскара!

Верный себе Коля мямлил:

– А что тут придумаешь? Не вытащишь же его силой? Здоровый он и совершенно пьяный...

Выхожу, ловлю такси. Вдвоем заталкиваем в него упирающегося Дмитриева. Прежде чем уехать, подхожу к Лене:

– Видите, в каком состоянии Оскар? Мы скоро вер-

немся, а вы отвлеките его какими-нибудь несерьезными разговорами.

Она доверительно улыбается:

- Хорошо.

Возвращаюсь к Оскару. Там передо мной такая картинка: пьяный угрюмый Рабин, низко опустив голову, сидит на стуле, на диване в истерике бьется всегда сдержанная и спокойная Леночка. Ничего себе, нянечку я с Оскаром оставил! Пытаюсь разобраться, что же произошло. И выясняется - Леночка-то не просто Леночка. Подослало Леночку к Рабину КГБ, но, по ее словам, влюбилась она в Оскара и сейчас открылась ему во всем. И кто разберет, от искренности чувств состоялось ее признание, или по приказу гебистов, которые наверняка были осведомлены о состоянии Оскара и надеялись окончательно его доконать.

Еще один стукач обнаружился после моего дня рождения. Вероятно, каратели проклинали Преображенку. Что за паскудный район! 16 февраля в доме Рабина. 10 марта празднует сорокалетие Глезер. А нам до ночи следить за дипломатами и диссидентами, мерзнуть и мокнуть. Свое недовольство они выразили без промедления. На другой вечер сосед с пятого этажа зазывает меня в гости:

- Извини, вчера не смог поздравить. Давай сегодня выпьем за твое здоровье.

Интеллигентный, моложавый, очень к себе располагающий, белобрысый, словно мальчишка, он занимает ответственный пост заведующего кафедрой экономики Института по усовершенствованию руководящих кадров. И тем не менее, несмотря на должность, Игорь единственный человек в подъезде, который не трясется, когда я звоню от него иностранцам. Засиделись мы допоздна. Опорожнили достаточно рюмок. Он разглагольствовал о советской экономике, которая развалена, чудом держится (а чудо-то - американские денежки), о карьеризме, мол, все стараются завоевать высокое положение - оно в нашей стране гораздо важнее денег. И будто между прочим:

- Чего тебе, Саша, спокойно не живется? Плохо ведь кончишь. Посадят. Не смейся, не смейся! Предположим, лагеря ты не боишься. А психбольницы?

- То же самое, Игорек.

Он, чуть пригнувшись и глядя на меня снизу вверх:

- А если тебя выгонят за границу? Вы с Майей для Запада люди без профессии.

Я опрокидываю еще рюмку.

- Где наша не пропадала!

- А представь, что заставят уехать Оскара...

Хмель слетает с меня:

- Зачем ты все это говоришь?

Он бесстрастно:

- Поручили.

И ты, Брут!.. Встаю, и не прощаясь, закрываю за собой дверь. На память приходит, как все чаще и чаще ты стал заходить к нам "поболтать, чайку попить", и всегда твой "чаек" совпадал с приездом иностранцев, как вечерами,когда от меня уезжали друзья, за одним из окон пятого этажа шевелилась белая занавеска.

Не знаю, ценные ли сведения поставляют КГБ мелкие агенты типа Иванова, Леночки, Игоря и им подобных. Но кроме информации для шефов стукачи выполняют и иные функции: распространяют инспирируемые первыми, внешне правдоподобные и поэтому вводящие в заблуждение слухи; предлагают осуществить вроде бы реальные и необходимые, а в сущности провокационные планы; щедро сеют в диссидентских кругах недоверие друг к другу. За примерами ходить недалеко. О том же Рабине с помощью завербованных ивановых, петровых и сидоровых долгое время распространялась версия: он связан с КГБ, безусловно связан. Выставляется на Западе, продает картины иностранцам и хоть бы что! Гебист он!

Но, предположим, мелкий стукач раскрыт. Праздник?! Ликование?! Вроде бы так. Разоблаченный враг не страшен.Увы! Все не столь просто. Вы только представьте себе настроение художников-нонконформистов, да и любых других групп диссидентов, когда в их среде открывается один агент, второй агент, третий агент... Кому же верить, если давнишний приятель - стукач, многолетний участник движения неофициальных художников - завербован, молоденькая, кажется влюбленная в тебя девушка - провокатор!.. И расползаются,как ядовитые газы, недоверие, подозрительность, и распространяется паника - КГБ все знает, КГБ все видит!

Так порою и раскрытие третьесортных стукачей идет на пользу карательным органам. Лишь стойкий, ничего не страшащийся, умеющий все обстоятельно и хладнокровно, словно умелый полководец, взвесить человек способен реально смотреть на вещи, и, учитывая действительные опасности, отбросить прочь шелуху пустых словес и слухов. И, главное, понять, что стукачи - неизбежные спутники советской жизни, что разоблачишь одних - подошлют других. И поэтому нужно, не ударяясь в панику, игнорировать присутствие засланных агентов тайной полиции, тем более, что художникам и скрывать-то особенно нечего. А если возникает настоятельная нужда в тайных ходах и действиях, то можно ограничить круг посвященных двумя-тремя исполнителями, которым веришь, как самому себе. При сплошной же навязчивой шпиономании ничего и не совершишь - будешь сидеть и предаваться сомнениям.

Но, прерывая отнюдь не лирическое отступление, возвращаюсь в весеннюю Москву 1974 года. В конце марта Оскар к счастью выбрался в деревню и, как бывало, неторопливая, размеренная сельская жизнь, благотворная тишина и постепенно налаживающаяся работа вернули ему душевное равновесие, столь необходимое в складывавшейся сложной ситуации.

К тому времени стало совершенно ясно, что гебисты окончательно, как им тогда казалось, разделавшись с Самиздатом, и, основное, с "Хроникой текущих событий", и, расправившись, - кого вынудив эмигрировать, кого запрятав в лагеря и психушки, с большей частью Демократического движения, замыслили добить и непокорных модернистов. До сих пор им не давали выставляться на Родине. Теперь надумали лишить возможности и творить. В первых числах апреля приехала к нам перепуганная жена Юры Жарких. Всегда веселую, никогда не унывающую Ирочку, трудно было узнать.

- Что делать ? - спрашивает она. - Вчера в мастерскую к Юре пришел кагебешник. Долго рассматривал картины. Добродушно разговаривал, пошучивал. И на меня обратил внимание, мол, наконец-то и жену Жарких увидели. А потом объясняет, что Юре послезавтра надо притти в Большой дом (ленинградский вариант Лубянки). Вот

я и села в поезд. И - сюда за советом.

- Пусть Юра немедленно выезжает в Москву. Отсидимся, а там посмотрим.

Получилось, однако, по-иному. Юра заканчивал картину и на все Ирочкины доводы только отмахивался:

- Ничего не случится! Пришли, попугали и ушли.

А через день-другой выскочил за красками и тут же на выходе из темного узкого двора оказался в объятиях двух здоровенных верзил. Художника втолкнули в машину - и в Большой дом.

Встретили его ласково. Сначала поговорили о творчестве (ну, где же и впрямь беседовать об искусстве, как не в чекистском штабе?!). Удивительная вещь - они потрясены произведениями Жарких, открывшими для них новые горизонты в живописи. И какое безобразие,что эти замечательные картины не выставляют! Но падать духом не стоит. Разберемся - поможем. Сигареты у вас кончились? Да вы не стесняйтесь, мы же свои люди - берите, курите! И вдруг:

- Скажите, пожалуйста, вы портреты пишете?

- Да.

- В том числе и зарубежных дипломатов?

- Да.

- Греческого посла, кажется, и венесуэльского,нарисовали?

Юра молчит, но собеседник будто бы и не замечает.

- А кого еще?

- Не помню.

- Но у вас же есть визитные карточки тех,кого вы писали или собираетесь писать.

Юра молчит. А гебисты:

- Лучше покажите их нам по-хорошему. Обыск устроим и все равно найдем.

И неожиданно вновь возвращаются к творчеству и сулят выставки. И снова вспоминают о визитных карточках. Но теперь-то Жарких сжался, точно пружина. Просчитались товарищи! Ни кнут, ни пряник здесь не помогут. Не тот человек.

- Нет у меня карточек!

- Найдем!

- Ищите.

- Идите подумайте о наших предложениях.

Ушел Юра и, не заглядывая домой, сел в поезд - и в Москву. На какое-то время злые духи от него отстали.

Между тем семейство Рабиных возвратилось в столицу и немедленно возобновились акции КГБ против лидера нонконформистов. Сначала атаковали его сына. После приема в греческом посольстве Сашку схватили вечером на улице Горького и в наглухо зашторенной машине доставили, судя по всему, на Лубянку. Да и в помещении ли суть? Вот писателя Войновича гебисты пытались отравить в гостинице. Молодого же Рабина они обрабатывали по тому же сценарию, что пускался в употребление с Жарких: нахваливали картины, обещали, что состряпают прием в Союз художников, намекали, что и за персональной выставкой дело не станет. Лишь не следуй по стопам отца. Будь нормальным советским гражданином. Видя, что сказками Сашу не соблазнишь, опричники пустили в ход угрозы, вплоть до элементарной физической расправы - искалечим! И еще изощреннее:

- Ваша жена ждет ребенка. Сейчас мы ей позвоним и сообщим, что вас арестовали. Разволнуется и...И снимает достойный наследник Дзержинского трубку, и набирает номер.

Сашка, до того сдержанный, бросается вперед с криком: "Звери!". Его хватают так, что разрывается рубаха, и отбрасывают. Правда, трубку чекист опускает, но, видно, доволен. Нащупал слабое место. А Сашка уже орет во все горло:

- Мы предадим все гласности! Отец соберет пресс-конференцию!

- Да кто такой твой отец?

- Большой русский художник.

- Большой... Получите за гласность!

Но довозят парня аж до подъезда. Боязно все-таки: сорвется и с Лубянки отправится к треклятым западным журналистам.

Спустя несколько дней подвергается нападению и Оскар. Будучи близко знаком с отцом Дмитрием Дудко, он 4 мая пошел в церковь на Преображенке, где со своими

знаменитыми и необычно популярными проповедями выступал мужественный священнослужитель. Церковные владыки по приказу светских его в тот день оттуда изгоняли. Это была своеобразная демонстрация со стороны как верующих, так и просто сочувствующих честному пастырю. Народу собралось множество. Тут же в маленьком садике при храме поставили столик, и около него толпились желающие подписаться в защиту отца Дмитрия. Рабин, выйдя из церкви, подписался под обращением и не спеша направился домой. Дорога вела мимо районного отделения милиции. Оскар еще не успел дойти до него, как от обшарпанного серого здания на большой скорости отъехала милицейская машина "Волга" и резко затормозила около художника. Выскочившие из машины милиционеры набросились на Рабина и потащили его в отделение. Дежурный объявил Оскару, что в церкви он, якобы, украл у кого-то часы. После короткого допроса и внимательного обыска - рылись в карманах пиджака, выворачивали карманы брюк, велели снять туфли,- его отпустили.

Что за нелепость? - спросите вы. - Кому это понадобилось? Так, для кого нелепость, а для кого - тактика и стратегия. Пускай, мол,понервничает. А то - отдохнул в деревне, успокоился; пускай понимает, что, куда бы ни шел, повсюду за ним наблюдают всевидящие чекистские очи; что бы он ни делал, все ведомо недремлющей Лубянке.

Через неделю после того, как Оскар "украл" часы, то есть 12 мая, два молодых художника, Вадим Комар и Александр Меламид, создатели нового направления в советском неофициальном искусстве - соц-арта (В США поп-арт от обилия вещей, - насмешливо говорили они, - в СССР соц-арт - от обилия идей"), намеревались показать на квартире Меламида на Ленинском проспекте небольшой спектакль, связанный с частью их теории. Идея его незамысловата. Каждый человек в принципе может писать картины. Поглядите. Двум нигде не учившимся живописи, никогда не рисовавшим людям зачитывается короткая информация из газеты; например, такого-то числа на сталелитейном заводе № 1161 введен в строй очередной стан мощностью... Им внушается важность случившегося

так, чтобы они эмоционально почувствовали это. А затем к огромному растянутому вдоль стены холсту выходит парень, и, следуя указаньям-командам Комара, начинает малевать вышеупомянутый технический объект. Комара сменяет Меламид, а парня - девушка, продолжающая труд предшественника. Время от времени включается портативный магнитофон и действие прерывается бодрыми комсомольскими маршами, которые придают всему ироническую окраску.

Но в этот майский день "живописному спектаклю" состояться было не суждено. Едва успели зрители, около двадцати человек, - художники, студенты, искусствоведы и инженеры, рассесться по стульям, как раздался резкий стук в дверь. Открыли. На пороге стояли двое.

Один промолчал. Другой предъявил документ сотрудника уголовного розыска. Оба выразили желание остаться и посмотреть.

- Хозяина нет, - ответил Рабин милиционерам. - Дождитесь его на улице. Раньше, чем придет, не начнем.

Незванные гости вроде бы подчинились и ретировались. Вскоре появились Комар и Меламид и... почти тут же в дверь снова забарабанили. А через мгновенье в комнату ворвались двенадцать человек. Четверо - в милицейской форме, остальные - в штатском. Один из прибывших резким отрывистым голосом отдал приказ:

- Поедут с нами этот, этот и этот! - тыкал он в отобранных хищным, похожим на клюв коршуна пальцем. Палец уткнулся и в Оскара, который, не двинувшись с места, спросил:

- А кто вы, собственно говоря?

- Начальник сто десятого отделения милиции, майор Савельев.

- Ладно, если необходимо, я поеду, - согласился Оскар.

- И я! - присоединилась Надя Эльская, молодая художница, ученица Оскара.

- Ты останешься здесь! - закричал Савельев.

- Я с вами не пахала, не тыкайте! - вышла из себя Эльская, в детстве воспитанная французской гувернанткой.

Савельев невольно смягчил тон:

- Нет, вы не поедете.

Предотвращая худшее - Наденьке ничего не стоило закатить истерику - вмешался Рабин:

- Если не поедет она, то не поеду и я.

- То есть как? - удивился Савельев.

- А так. Забирайте силой.

- Хорошо, - отступил Савельев. - Раз сама хочет, пусть едет.

В два рейса в 110-е отделение милиции, расположенное на Ленинском проспекте, перевезли всех присутствовавших в квартире, за исключением ее хозяина и Саши Рабина. Последнего не тронули, видно потому, что совсем недавно уже тягали.

Во время транспортировки первой партии "преступников" майор Савельев и шесть оперативников оставались в доме. Тридцатилетняя женщина, искусствовед по музеям Кремля, попросила разрешения позвонить домой и преду - предить, что она задерживается.

- Нет, - отчеканил Савельев.

- А я позвоню, - бросила она и двинулась к дверям.

- Не пускать! - взревел начальник.

Но растерявшаяся охрана пропустила ослушницу,и та, зайдя в кухню, набрала номер. Разъяренный Савельев выскочил следом, выхватил трубку, буквально втащил женщину в комнату и с такой силой толкнул в спину, что она пролетела несколько метров и если бы Алик Меламид не подхватил ее, упала бы и разбилась.

Какое вы имеете право издеваться над человеком?!- вскричал Саша. - Вы злоупотребляете властью!

Зная, кто перед ним, и опасаясь неприятностей,Савельев ничего не ответил и лишь исподлобья поглядел на нахального юнца.

- Я тоже должен позвонить домой, - продолжал тот. - Пятилетний ребенок один остался,

Его никто не пытался остановить.

Здесь - явный алогизм действий милицейских тугодумов: безобидной гражданке не дали позвонить мужу, а сына Рабина, который вполне мог бы сообщить корреспондентам о случившемся, беспрепятственно пропустили к телефону.

В милиции на Оскара налетел дежурный:

– Кто вы? Почему были в квартире? Что имеете общего с хозяевами?

– Во-первых, на каком основании меня задержали и допрашивают? Во-вторых, если есть основания, то объясните их и задавайте вопросы по порядку.

– Понимаете, – откликнулся оперативник, – девятого мая на этой квартире произошла драка. Человеку, находящемуся сейчас в больнице, проломили череп.Натекло полведра крови.

" Ну и туфта! – подумал Оскар, – три дня назад драка случилась и только сегодня они спохватились.Все улики давно можно было уничтожить." А вслух:

– Раз уголовное дело – спрашивайте.

Неожиданно из угла полутемной комнаты раздался голос дотоле молчавшего человека:

– Вот вы о правах говорите! Сахаров и Чалидзе тоже на эту тему много кричат, но советское государство с их толкованием прав не очень-то согласно.

В СССР каждому пионеру ясно, что на такие скользкие темы милиция не разговаривает. Об этом позволяют себе порассуждать с диссидентами лишь чекисты-гебисты.

– Я свои права знаю не хуже Сахарова и Чалидзе!– разозлился вмешательством "лубянщика" Оскар. – И буду их отстаивать до конца во что бы то ни стало!

Человек, сидевший в углу, на рабиновское замечание не реагировал. Он свое сделал – показал смутьяну, что им занимаются не какие-нибудь мильтоны, а КГБ.Оперативник же вежливо сказал:

– Выйдите, Оскар Яковлевич, и подождите.

И сразу же вызывает на допрос Эльскую.

– Национальность?

– Русская?

– Вы русская? Непохоже.

– Мать у меня наполовину эстонка. Отец – русский.

– Как же вы, русская, в этой компании очутились?

Бедная Эльская и не сообразила, в чем кроется смысл вопроса. Только после того, как привезли на дознание кремлевскую экскурсоведку (назовем ее Зинаидой) и она вышла и поделилась услышанным с Оскаром и Надей, непонятное стало понятным. Во время допроса Зинаиды

зазвонил телефон. Оперативник докладывал с воодушевлением:

- Всех взяли! Двадцать два еврейчика у нас в отделении!

Теперь-то вопрос, обращенный к Эльской, звучит вполне нормально. Почему она, русская, попала в окружение двух десятков евреев? Куда, дурочка, полезла? Хотя, конечно, все милицейские разговорчики были типичнейшей дешевкой, так как на квартире у Меламида собрался подлинный интернационал: и русские, и евреи, и латыши, и армяне. Однако подобный конгломерат не помешал оперативникам задавать двум студенткам Московского университета пошло-гадкие вопросы:

- Ну как вам понравились жидовские мальчики? - И угрожающе: - Еще раз заметим вас с ними - из университета выгоним!

Приятеля Комара и Меламида допрашивали с уговорами:

- Ты же русский...

- Русский.

- Давно их знаешь?

- Да.

- Что за ребята?

- Отличные ребята.

- И ничего особенного не замечал? Припомни!

Парень, пересказывавший нам достойный внимания разговор, объявил:

- И что я мог припомнить? Как Комар и Меламид христианских младенцев резали?!

А в отделении майор Савельев, прежде чем отпустить Рабина и Эльскую (с остальными не церемонились - почти всю ночь продержали), попросил их подписать протокол допроса и по-свойски поделился:

- Должно быть, попавший в больницу ошибся адресом. Наверное не там его побили. В беспамятстве он.

"Готова отговорка на случай шумихи - усмехнулся про себя Оскар, - милиция работает превосходно. Ошиблись по вине пострадавшего. И ведро с кровью - где-то в другой квартире."

Мне не довелось быть на несостоявшемся спектакле

у Меламида. Но взбешенный наглостью гебистов я через неделю организовал сорванное действо на своей квартире. В комнату набилось тридцать-сорок зрителей - художники, дипломаты, зарубежные журналисты. Все прошло спокойно. Возможно, именно благодаря присутствию иностранцев.

Не успели мы переварить события на Ленинском проспекте, как приехавший из Ленинграда Рухин рассказал, что ему опять выбили стекла, и милиция вновь отказалась искать хулиганов. Впрочем, их адрес был всем нам превосходно известен.

ПРОЩАЛЬНОЕ ЛЕТО

Меня Таруса прилучала,
Светло баюкала ночами,
Качала сосны надо мной.
Мои московские печали
Лечила чистою водой.

В середине июня художники отправлялись кто в деревню, кто бродить по стране. В нынешнем году летние традиции не изменились, но настроение у всех было невеселым.

Государство бросило им перчатку, вызвало на дуэль. Все понимали, что надо принять какое-то решение, но никто накануне лета не знал, какое: прикинуться, будто ничего не происходит или контратаковать. Всем хотелось хоть немного отдохнуть, отдышаться, а уже потом, осенью, определить линию поведения. С тем и разъезжались.

Для нашей семьи это лето вполне могло оказаться последним в России. Ненавистная служба у генерала Ильина встала Майе поперек горла, и в июле она подала заявление об уходе. Мои редкие гонорары-пересыхающие в жару ручейки. Но основное, толкающее к отъезду, заключалось не в материальных трудностях. Все настойчивее Рабин, Немухин и Жарких уговаривали меня уехать и помогать им выставками на Западе. Да я и сам видел, что выбранная мною форма борьбы за свободу творчества и свободу вообще в сложившихся условиях почти себя исчерпала. Срок полученного из Израиля вызова истекал в октябре. Готовый поначалу подать документы в О В И Р осенью, я после зимне-весеннего наступления властей на художников снова заколебался. Если обстановка не изменится, имею ли я право на эмиграцию? Не будет ли это дезертирством?

Но до октября далеко, а сейчас, как и все последние годы, мы едем в Тарусу. В этом году мы вновь снимаем две комнаты у Фоминых. У порога нас встречает хозяйка, бледная изможденная женщина, в свои пятьдесят выглядит на все семьдесят. Мы к ней:

- Что это, Надежда Петровна, за безобразие такое! Больница опять недостроена, паром на приколе, по тарусской дороге, которую уже двадцать лет сооружают, еле до вас доехали.

Она досадует:

- Какая еще дорога! До нее ли? Со снабжением совсем плохо. То яйца, то масло, то колбаса враз пропадают. Про мясо и не говорю. Все продукты Москва забирает. А что позабудет, Калуга зацапает, словно здесь и не люди живут!

Тяжело отдуваясь, опираясь на палку, тащится и хозяин дядя Жора, бывший командир-пограничник, за пьянство до срока уволенный в отставку. Но пенсию ему, как и всем бывшим офицерам, платят порядочную, 120 рублей в месяц. Его брат, который всю жизнь гнул спину на колхозном поле, получает лишь 30.

В предвкушении выпивки он подгоняет садиться за стол. Хлопнув рюмочку, по обыкновению жалуется:

- Укатали сивку крутые горки! Ишь как раздуло! - он хлопает себя по выпирающему животу. - Бендеровская память, проклятая сила!

- Почему бендеровская?

Его серо-свинцовые в кровавых прожилках глаза оживают, и дядя Жора уже в который раз рассказывает про армию "когда только и жил".

- А теперь, - показывает рукой в сторону кладбища, - скорей бы туда! - Он заходится в кашле и с трудом, хрипя, продолжает. - В сорок пятом с Дальнего Востока перебросили нашу дивизию в Западную Украину на уничтожение бендеровских банд /то есть отрядов украинских националистов, отстаивающих независимость своей земли/. Мне тогда благодарность объявили за активное несение службы... Мои ребята не щадили бандитов! Скажу я вам, хуже зверей, чем эти бендеровцы, не видал. Стариков, детей, женщин резали без разбору... - Дядя

Жора вытирает мокрый лоб. – Только и я спуску не давал! За каждого невинно убитого взыскивал вдвое. И попов ихних туда же! Главными покрывальщиками бандитов они были! И кулаки, конечно. Ну, один из шайки меня подстерег. Хватанул ножом прямо в брюхо! Думали, тут мне конец. А я вот живучий оказался. Правда, кишки с той поры завернуло, раздувает меня... Астма замучила, проклятая сила!

Что делать в захолустном городишке, где все развлечения – лес да пляж, если чуть не ежедневно с утра до вечера льют дожди, а в магазинах либо пустые полки, либо длиннющие очереди за "выброшенными" продуктами. Майя, кляня все на свете, умудрялась нас более или менее сносно кормить, мы с Алешкой усиленно штудировали английский, и еще я работал: впервые летом не переводил книгу какого-нибудь восточного поэта, а писал свое – документальные рассказы, входящие в задуманную еще в 1972 году книгу воспоминаний. Два из них и родилось в Тарусе. Оба основаны на том, что мне поведали участники или очевидцы событий. Первый:

Рассказ водителя такси

Ему было на вид лет под пятьдесят – седая голова, умное интеллигентное лицо. Обхватившие баранку пальцы – крепкие, но тонкие. Ну прямо не таксист, а профессор.

– Вам бы не машину водить, а... лекции читать, – не удержался я.

Он круто, всем корпусом повернулся ко мне:

– Что?! – Такси тормознуло. Водитель резко бросил:

– Хватит! Начитался!

И хотя я, почувствовав какую-то неловкость, вопросов не задавал, его словно прорвало:

– Три месяца лекции читал в Автодорожном!.. Погодите, когда ж это... а, в сорок девятом. Зато потом семь лет вкалывал в лагерях. Спросите за что? А ни за что! Один недоумок-студент поинтересовался, какая машина лучше, ГАЗ-51 или студебеккер, а другой подонок поторопился, донес, что де преподаватель Жигалов – космополит, низкопоклонничает перед Западом, учит, что якобы американская техника мощнее и надежнее нашей, оте-

чественной... И загребли Жигалова за милую душу! - таксист откинулся на спинку сиденья, зло скривился:

- Следователь, - сопляк, - меня донимал. - "Вы же коммунист, фронтовик, как не понимаете своей вины? Превозносите какие-то студебеккеры! Где же ваше чувство патриотизма?

А я и там, в кабинете, и потом, на лесоповале, все вспоминал, как ихний брат чекисты - "патриоты" в сорок втором с немцами сражались. Тогда специальные заградительные отряды своих же бойцов уничтожали - косили по отступающим из пулеметов почем зря!

Меня словно ударило:

- Как это своих уничтожали? Я об этом не...

Он спокойно прервал:

- А вы о многом "не". И слава Богу! Вы какого года рождения? Тридцать четвертого, говорите? А зовут вас, простите... Меня - Виктором Ивановичем. Так вот, Александр Давыдович, вашему поколению повезло - не довелось пережить этого... Зато теперь начинаете прозревать... Значит, шуровали эти "патриоты" в свое удовольствие, а потом положение на фронте стало катастрофическим. И командование решило кинуть на подмогу дивизию чекистов. Отвели их на передовую, поставили во главе старого боевого генерала, укрепили группой офицеров, в числе которых оказался и я. После первого же дня начали чекисты дезертировать. То один, то двое... И ловили их, и судили. И даже расстреливали. Ничего не помогало! - Водитель перегнулся и сплюнул в приспущенное окно. - Привыкли, сволочи, с безоружными, с беззащитными дело иметь! Ворваться ночью впятером в квартиру, перевернуть все вверх дном и обезумевшего от страха человека увести туда, откуда не возвращаются. А здесь не пытать, не убивать, а воевать да умирать "За Родину, за Сталина!" надо! В общем, не понравилось им это. Ударились в бега. Наконец, когда скрылась очередная партия чекистов - а все в крупных чинах были, и коммунисты, конечно, генерал не выдержал: приказал не расстрелять - повесить всех пятерых, да не где-нибудь, а в офицерской столовой. И трое суток не велел снимать. Как ни утыкай глаза в миску, от висельников никуда не

упрячешь. С той поры и прекратилось дезертирство. Как рукой сняло.- Танкист хитро сощурился,- вот что значит наглядное пособие!

Мы мчались по Садовому в потоке ревущих автомобилей. Мой собеседник, чуть ссутулившись, молчал. Я спросил:

- Вас в пятьдесят шестом реабилитировали?

- Да. Партийный билет хотели вернуть. В институт звали работать. Чтобы, значит, снова лекции читать. Но я себе сказал - баста! Лучше уж буду баранку крутить. Без партбилета, без партсобраний. Без партнадзора. И чище работа. И совесть чище.

Машина обогнула площадь Восстания, свернула на улицу Герцена и остановилась у Дома литераторов. Он усмехнулся:

- Ну, что там будет с вашими собратьями Синявским и Даниэлем, как думаете?

- Да вы же газеты читаете, понимаете, к чему дело клонится. Догадаться не трудно.

Жигалов рассердился:

- Догадываюсь, конечно! Соображение пока не растерял. По справедливости надо бы напечатать их произведения, чтобы народ сам разобрался, советские они или антисоветские. А то поливают дерьмом, а за что - никто не поймет. - Он пристально посмотрел на меня и добавил, - как при хозяине работают - шито-крыто ворочают. Народу - ему что? Ему плевать! Был бы водки стакан да хлеба кусок. А вот ваш брат - писатели почему молчат? Вас же,писателей,много! Хотя... - он махнул рукой, - чекистов да цекистов еще больше! Ну, пока!

И подхватив очередного пассажира, окололитературную девицу, нетерпеливо дергавшую дверцу, покатил по Герцена дальше, в сторону Никитских ворот.

А я перешагнул порог ЦДЛ, и массивная отделанная толстым стеклом и темным металлом дверь медленно закрылась за мною.

Рассказ второй. Вперед, труба зовет...

Полуденное солнце Самарканда палило немилосердно. Раскаленные стены мечетей и горячая, словно печь, зем-

ля обдавали жаром, и сверкали ненавистью глаза местных жителей, исподлобья глядевших на красноармейцев, кровью и жестокостью отнимавших неизвестно за что и для чего у узбеков свободу.

Отряд красного командира Капранова через неделю должен был двинуться дальше покорять Туркестан, который по какой-то невероятной глупости не желал становиться советским, а хотел остаться сам собой - с ханами, гаремами, дикой и вольной жизнью. Но подводили Капранова трубы. Музыкальные инструменты вышли из строя, и невозможным оказалось трубить сбор и вообще звать вперед к полной победе пролетариата. В Самарканде много было солнца и мух, но трубы отсутствовали. Поэтому Капранов вызвал своих музыкантов и приказал им отправиться в Ташкент добыть злополучные трубы и поспешить обратно, чтобы ровно через семь дней устремиться под музыку в незнакомую неразумную даль.

Приказ есть приказ. Музыканты быстро собрались в дорогу, за двое суток добрались до Ташкента, еще день потратили на поиски инструментов и, довольные исполненным поручением, отправились на вокзал. Однако их ждало разочарование: что-то случилось, что именно - знать им не полагалось, но поездов из Ташкента в Самарканд в ближайшие дни не предвиделось. Миша и Костя отправились к начальнику и долго объясняли ему важность поставленной перед ними задачи и абсолютную необходимость срочно ехать в Самарканд, откуда отряд без труб никуда не двинется, и дело революции пострадает. Начальник внимательно слушал, морщил желтый, как спелая тыква, лоб, и наконец тихо сказал:

- Есть один поезд. Особый. Может быть, удастся пристроить вас к нему. Только потом не жалуйтесь.

- Нет, что вы, что вы! - замахали руками Миша и Костя. - Какие жалобы!? Мы готовы в товарняке с лошадьми и даже с тиграми. При нас оружие.

- Ладно, - согласился начальник. -Пойду поговорю. А вы подождите здесь.

Вскоре он вернулся.

- Пошли. - Они двинулись за ним по путям. Смеркалось. Но когда подошли к товарняку, в котором предстояло пу-

тешествовать, Миша и даже близорукий Костя заметили, что у каждого вагона стоит вооруженный красноармеец.

– И правда, удивительный поезд, – пробормотал Миша, будущий советский композитор, автор веселых маршей и песен.

– Выбирать не приходится, – вздохнул Костя.

– Если едете, товарищи, – нахмурился начальник, – то садитесь. Сейчас отправку даем.

– Спасибо! – дружно ответили музыканты и полезли в вагон.

Странное зрелище предстало перед ними: на многочисленных нарах лежали и сидели люди с фанатично-поблескивающими жесткими истерическими глазами, изможденными лицами и наголо остриженными головами. Между тем двери с грохотом затворились. Миша и Костя невольно ощупали карманы – револьверы были на месте. Окружив себя трубами, они улеглись на пол посреди вагона и под равномерно-неторопливый стук колес быстро заснули.

Ночью Миша проснулся от ощущения, что на него кто-то пристально смотрит. Присел – и увидел в метре от себя человека, спустившегося с нар и явно обуреваемого жаждой убить. Миша закричал и ударил его ногой в живот. Очнувшийся Костя, не разобравшись в чем дело, на всякий случай выстрелил в потолок. В вагон ворвался часовой и, прогнав человека, жаждущего убивать, на нары, ушел. И тут-то началось самое страшное. Всю ночь напролет, разбившись на тройки, люди с фанатичными глазами и изможденными лицами судили музыкантов. За контрреволюционный саботаж. За службу в Белой армии. За шпионаж. И еще за что-то. Одна тройка за другой единогласно приговаривали их к расстрелу. Миша и Костя сидели, держа револьверы наготове, ничего не соображая, собираясь дорого продать свою жизнь. За ночь оба поседели.

Эту историю мне рассказал в 1973 году сын Миши, ученый, которого я не могу назвать, ибо он живет в Москве. Он же поведал мне, кто были эти фантастические судьи. Оказалось, сошедшие с ума чекисты, которых везли в специальные сумасшедшие дома и для которых нежданные спутники явились последним и до чего ж вожделенным подарком судьбы.

Истории, безотрадные, как наше настроение в тогдашнее дождливое, возможно прощальное, лето.

Но жизнь скрашивалась присутствием Жарких, поселившихся в одном с нами доме. Ирочка в редкие солнечные дни уволакивала нас в лес, заставляла до колик в животе хохотать над анекдотами и умопомрачительными в зощенковском духе житейскими былями и небылицами. Юра же, приспособив под мастерскую бывшее жилище хозяйского сына, низкое одноэтажное строение с трехметровой захламленной прихожей и пятнадцатиметровой комнатой, как приклеенный торчал у мольберта. Даже в погожее утро его трудно было выманить на улицу. В импровизированном ателье пары ядовитой нитрокраски смешивались с сигаретным дымом. Пробыть там свыше пяти минут никто, кроме Юры, не мог: слезились глаза, одолевал кашель, мучило головокружение.

И сам Жарких после отчаянной, без продыха, трудовой недели бежал в местную парилку и специально просил кочегаров наддать жару, чтобы выпарить из себя отраву. Потом он день-два отдыхал. Мы сражались в карты, домино и пинг-понг, гуляли вдоль Оки и Таруски. И снова он прилипал к мольберту.

Специалисты говорят, что существует три типа шахматистов. Первый после поражения играет слабее обычного, второй - как всегда, третий - сильнее. Ни Юра, никто из художников пока что не проиграли сражения. Однако войну им объявили. И вот Жарких, условно, шахматист третьего типа, сейчас еще только в предвкушении битвы, был в ударе, как никогда. Все у него спорилось! Удался на сей раз и мой портрет. Дважды он уже писал меня, но выходило слабовато, не на высшем его уровне.

А тут за три дня закончил, и, благо выглянуло солнышко, положил холст на крышу сушиться. Меня подмывало хоть одним глазком посмотреть, как вышло. Но он не соглашался:

- Куда торопишься, старик! Высохнет, увидишь. - И обхватывал меня крепкими лапами, и мы дружно смеялись. В тот день сочинилось:

Юрию Жарких

Я прошел мимо жестяной крыши,
На которой лежал я.
Догорел экстраординарный закат,
Пучеглазые звезды-моллюски
Осыпали тучное небо,
Ветер затих.
Я стоял под жестяной крышей,
На которой лежал я.
Пахло августом и нитрокраской,
Воспареньем и тяжкой работой.
Я бродил под жестяной крышей,
На которой лежал я,
На горячем холсте распластавшись,
На картине, которую завтра
Мне, быть может, покажет художник.

Однажды мы с Майей пошли в гости к Алику Гинзбургу повидаться и попрощаться, если доведется уезжать из России. Алик жил на противоположном конце Тарусы. В дождливую погоду до него добраться - все равно, что совершать боевую вылазку: петлять над обрывом по узким тропинкам, оскальзываться на крутой глинистой горе, перепрыгивать через бурливые ручьи. После холодной неприветливой улицы попадаем хоть и в тесное, но уютное, теплое жилище Гинзбурга. Сейчас, когда у Алика с Ириной родился сын, с ними постоянно и мать Алика, Людмила Ильинична, хрупкая, седая, очень сутулая, с живыми глазами. Мать, достойная сына! Когда в 1967 году его осудили на пять лет лагерей строгого режима, она, ликуя, кричала по телефону Оскару: "Мы победили!" /ведь могли дать и намного больше!/.

Ирина побежала ставить чайник. Алик расспрашивал о московских новостях. Когда зашла речь об эмиграции, не собирается ли..., - затеребил рыжую бороду:

- Нет, об этом не думаю.

- Хотя до чертиков устали! - откликнулась примостившаяся на порожке между комнатой и кухней Ирина. - И

в Тарусе никакого покоя. Наверное, заметили, как урезали садик? Пол-участка отхватили, а он и был с гулькин нос. У вас лишнее, мол. Теперь одна яблонька осталась. - Она поднялась, мягко положила руку на плечо мужа. - Алик ходит без работы. Был электромонтером. К чему-то придрались, выгнали. Стал лодочником - то же самое. Сказали, что он, как поднадзорный, не имеет права переезжать Оку, так как на том берегу уже другая область /то есть надзиратели другие. Чего доброго смоется государственный преступник, а местным - отвечай!/. И по мелочам пристают, жизнь портят. То в милицию таскали за то, что моя мать приехала на три дня и не прописалась, то в гебушке закатили истерику, что Гинзбург на час позже вернулся домой. Ему же запрещено после восьми показываться на улице и посещать общественные места - кино, клуб, ресторан, столовую /а то, не дай Бог, организует в Тарусе демонстрацию в защиту прав человека/.

- И все-таки я никуда не поеду, - убежденно и спокойно, как нечто само собой разумеющееся, повторил Алик.

Разговор перекинулся на Тарусу и ее обитателей. Гинзбурги хором принялись хвалить город, который стал для них родным. Здесь, правда, как и везде, много пьют, однако, народ незлобивый и не вредный. Хулиганства почти нет, драки редки. И вообще, возможно от обилия "сто первых", народ настроен весьма прогрессивно.

Тут Людмила Ильинична припомнила курьезный случай.

- Стою я как-то на почте, отправляю Исаичу его старые папки из архива. Он эти папки любит, говорит, привык и для работы удобны. Пока служащая папки упаковала, образовалась порядочная очередь. Кто-то углядел, чей пишу адрес, и вся очередь взволновалась и загомонила наперебой: - "И не стыдно Солженицыну такое старье посылать? Вон в магазине новых-то сколько угодно!" Я буквально остолбенела.

- Людмила Ильинична, может там в очереди диссиденты стояли или ссыльные?

- Да нет, - отмахнулась она. -Обыкновенные тарусские бабы.

Когда мы вернулись, Жарких ужинали. К ним присоединился живущий неподалеку местный оформитель, выделывающий по заказу горисполкома плакаты и прочую рекламу. Довольно скоро он стал завсегдатаем Юриной мастерской /и нитрокраска была ему нипочем!/, восхищался полотнами, приглашал Юру на будущий год поселиться у него. Мне этот невесть откуда вылезший художник с нечистым взглядом бегающих глаз показался весьма подозрительным. Интерес его к творчеству Жарких, судя по манере выражаться, напоминал интерес ленинградских чекистов, а частые визиты именно в тот момент, когда мы с Юрой уединялись, чтобы обсудить планы, для посторонних ушей не предназначенные, выглядели странными.

Обычно, "департаменты" КГБ, насколько я знаю, существуют лишь в более или менее крупных городах. Но заштатная Таруса, благодаря беспокойно-сомнительному составу населения, удостоилась чести иметь собственный "департамент" тайной полиции. Оставить без присмотра двух новых, к несчастью свалившихся на них инакомыслящих в лице меня и Жарких тутошние гебешники безусловно не могли.

Особую бдительность им пришлось продемонстрировать в связи с появлением в городе должно быть первой со дня его основания американской машины с дипломатическим номером.

Мы пригласили двух-трех друзей иностранцев навестить нас на отдыхе. Шведу и норвежцу разрешения на поездку не дали, а вот упорная и настойчивая Пегги Налл своего добилась. Видно, неудобно было отказывать советнику американского посла. Без права заночевать, однако же дозволили дотошным иностранцам обозреть тарусские виды.

Мы поджидали гостей с утра и радовались, что ярко, словно специально для них, сияет солнце и зазывно желтеет наконец-то подсохший песок пляжа. Но все повернулось по-иному. Американская машина, плохо приспособленная для наших отечественных дорог-не дорог, постоянно сдавала в единоборстве с ними и пока она, захлебываясь, преодолевала обширные грязи на участке Серпухов - Таруса, снова хлынул ливень. Почти без перерыва,

то припуская, то ослабевая, дождь лил и лил до позднего вечера. Сумели показать прибывшим лишь главную достопримечательность Тарусы - могилу писателя Константина Паустовского и его же дом-музей.

Пока мы разъезжали по улицам и потом распивали в кухне чай с земляникой, собранной поутру Майей и Ирочкой, гебисты таскались за нами под дождем, дежурили у высокого забора Паустовских и мокли под окнами нашей кухни. Мне зачем-то понадобилось выйти в прихожую, и я довольно здорово двинул дверью приникшего к ней горе-плакатиста, который пробубнил, что заскочил-де к Юре на минутку, да у него люди...

Пегги и Дэвид огорчались, что погода подпортила путешествие, но ни о чем не жалели. Так далеко от Москвы, хоть в относительную глубинку России, не предназначенную для глаз иностранных туристов, забираться им дотоле не приходилось. Многое из подмеченного в пути было в новинку, и сама обыденная, не приукрашенная, бедная наша действительность вызывала у них неподдельный интерес. После визита Наллов заметно переменился дядя Жора. Теперь, вместо того, чтобы просиживать вечерами у телевизора или глотать водку, он присоединялся к нам с Юрой и внимательно слушал наши дискуссии, передачи "Голоса Америки" и Би-Би-Си. Мы не придали этому значения, даже порадовались: заинтересовался человек - пускай просвещается. Жарких загорелся писать его портрет и добился такого, что мы только ахнули. Старик как старик, с одутловатым от пьянства лицом и набрякшими веками. Но руки, руки! Нет, не потемневшими, заскорузлыми от тяжкого труда получились они на портрете потомственного крестьянина Калужской губернии. Словно обтянутые скользкими резиновыми перчатками, серые и бездушные, держали эти руки на коленях и выдавали недоброе сердце их обладателя.

Автор боялся, что обидел дядю Жору, недоумевал, отчего так написалось, и в то же время признавался:

- По-иному не мог!

То-то и оно! Двигало им провидческое чувство, разглядевшее за балагурством записного остряка, отставного вояки, что-то неискреннее, подлое, открывшееся бук-

вально за час до нашего отъезда в Москву.

Помню, Жарких сбегал за пол-литровкой. Нужно же распить на прощанье! Дядя Жора полез с ним целоваться, а я отправился укладываться, и чем все кончилось, не слыхал.

И лишь когда электричка оторвалась от серпуховской платформы, Юра ко мне придвинулся и негромко произнес:

- Слушай, старик...

Но пожалуй, полнее тарусское прощание запечатлено в дневнике моей жены:

"С трудом найдя машину до Серпухова, спешу к дому. Навстречу взволнованные Жарких. Ирочка тревожно озирается:

- Ой, Майка, что случилось! Только не передавай Саше. Еще вспылит и даст по морде дяде Жоре.

- Почему?!

- Понимаешь, какая чертовщина, - перебивает ее Юра. - Дядя Жора... раскололся. Сидели, выпивали...Все вроде нормально. Вдруг, смотрю он ни с того, ни с сего занервничал, забеспокоился, да как стукнет кулаком по столу! "Не могу я это в себе держать! Кому другому ни за что бы не открылся! А тебя полюбил. Душевный ты парень!"

Ирочка хохотнула:

- Как не полюбить? Каждый вечер бутылочку старику покупали.

- Ну так что?

- А то, - глухо закончил Юра, - что Фомин аккуратно с доносами на нас в гебушку ходил".

Так вот и отбытие из Тарусы прошло для маленькой нашей компании под сенью мрачных гебистских крыл.

И ГРЯНУЛ БОЙ !..

> "Боже мой, что это за общество, которое вынуждено выпускать бульдозеры против картин!"
>
> Джордж Мини

Еще в конце 1969 года, когда стало ясно, что все пути для организации выставок в помещениях надолго перекрыты, Оскар Рабин предложил устроить экспозицию на открытом воздухе – в парке, на улице, на набережной.

– В Париже или Лондоне это обычная вещь, – говорил он. – Почему бы и нам не попробовать?

В общем никто из художников Оскара тогда не поддержал. Володечка Немухин будто бы за всех и ответил:

– Пишу я картины, как хочу, продаю, кому хочу, не трогают меня, спасибо и на том.

Но осенью 1974 года ситуация стала совсем иной. Зимневесенняя кампания карательных органов раскрыла сокровенное их намерение расправиться с нонконформистами и выкорчевать неофициальное искусство. Художники должны были как-то защищаться, и многие из них теперь высказались за оскаровскую идею.

Правда, большинство "старой гвардии" – те, кто выбрал дорогу свободного творчества в памятном 1956 году, – ссылаясь на разные причины, вновь отвергли вариант непривычной, дикой для России, экпозиции на улице. Коля Вечтомов твердил, что его картины требуют музейной, а не площадной атмосферы. Отари Кандауров ссылался на дождливую погоду, Дима Плавинский говорил, что плохо себя чувствует, и лишь Илья Кабаков сформулировал, не лицемеря:

– Твоя затея, Оскар, – для двуногих, а я на четырех лапах хожу.



10 марта 1974 года. Коллекционеры Г. Костаки и А.Глезер, художники: В.Янкилевский, В.Кропивницкая, П.Беленок, В.Немухин, А.Махов, Борух, Н.Вечтомов, И.Кабаков, Э. Штейнберг, О.Кандауров, А.Васильев, Д.Плавинский, Л.Мастеркова, Е.Рухин и О.Рабин в день рождения А.Глезера - у его квартиры на Преображенке.

Однако появившиеся в последнее пятилетие молодые живописцы Юра Жарких, Женя Рухин, Эдик Зеленин, Вадим Комар, Алик Меламид, Надя Эльская и Саша Рабин - решительно стояли за открытое выступление, тем более, что оно позволяло им впервые выставиться на родине. Да и среди ветеранов нашлось у Оскара немало сторонников - Мастеркова, Немухин, Ситников.

2 сентября художники направили в Моссовет письмо, в котором сообщили, что намерены в воскресенье, 15 сентября, устроить просмотр картин на одном из городских пустырей. Реакция по обыкновению медлительного бюрократического аппарата была настолько стремительной, что уже 5 сентября подписавших письмо приглашают в Моссовет. Пошли Оскар, Юра Жарких, Надя Эльская и Сашка - сын Оскара. Встретившие их чиновники, во главе с заведующим одним из бесчисленных отделов К.А.Сухиничем - безликим, неопределенного возраста мужчиной, - тщетно искали хоть какую-нибудь инструкцию или постановление, на основании которых можно было бы сорвать наш план. Но нигде не был предусмотрен вариант с выставкой на улице. Впрочем, речь шла даже не о выставке /тут еще с грехом пополам можно было сослаться на то, что все экспозиции утверждает МОСХ/, а о просмотре картин на открытом воздухе. В письме мы старались отшлифовать каждое слово, но Сухинич и его коллеги все-таки отыскали зацепку, и один из них пошел на Рабина в наступление.

- Почему вы хотите показывать картины на пустыре?

- А почему не на пустыре?

- Почему же именно на пустыре?

- А почему не на пустыре? - однообразно повторял Оскар. Так и продолжался этот диалог, пока Сухинич не вмешался и, беспомощно пожав плечами, сказал:

- Вы хоть показали бы работы в МОСХе.

- А мы не против, - неожиданно согласился Рабин.

Хоть толику ответственности Сухинич мог теперь переложить на Союз художников: "Соберутся солидные люди, известные мастера. Посмотрят. Поговорите. А потом снова заглянете к нам."

Договорились нести картины в МОСХ 10 сентября, а восьмого Рабину приносят повестку из милиции на тринадцатое. Первая мысль - шантаж. Или: продержат без объяснений трое суток и сорвут все дело.

- Ничего не скажешь, - замечает Оскар, - научились работать...

В этот вечер окончательно распределяем роли. Заседаем, как водится, на рабинской кухне. Оскар, сидя в любимом углу возле окна, привычным жестом поправляет очки:

- Ты, Саша, пока вне игры. Ничего не подписываешь, никуда с нами не ходишь. Они могут подозревать все, что угодно. Это их дело. Твое же - до поры до времени - не "вылезать", а вот если произойдет непредвиденное, арестуют нас, изобьют, отнимут картины, тогда включайся. Согласен?

Я, разумеется, согласился, но не стоит ли заранее установить связь с одним из надежных корреспондентов, который все, или почти все, будет знать и напишет.

Оскар одобрительно кивает. А Юрочка ходит по комнате, оглядывает свои полотна и мучительно вздыхает:

- "Мужчина и женщина" не пойдет. Мужчина с пипкой. Скажут - порнография. "Автопортрет" не годится из-за распятия. Скажут, религиозная пропаганда. На "Посвящении" тоже Христос. Как быть?

Когда ребята принесли холсты в МОСХ, их встретили там только секретарь парторганизации и его заместитель. Оба чиновники. Художники-мосховцы явно саботировали мероприятие: никого, видно, не прельщало выступать в роли цензора и делить ответственность с Моссоветом. Секретарь и заместитель безмолвно осмотрели работы и распрощались, не задав ни единого вопроса.

11 сентября вновь свидание с Сухиничем. Но теперь вопросы задает Рабин:

- Где же обещанные вами мастера? Мнение чиновников нас не интересует. И вообще - довольно разглагольствований! Завтра будет объявлено время и место просмотра.

Сухинич обескуражен:

- Я не могу запретить вам устраивать выставку, но не р е к о м е н д у ю ! Понимаете?

Несчастный советский Акакий Акакиевич. Наверху к окончательному решению не пришли. Распоряжений не спустили, а ему терзаться.

А у нас, между тем, свои заботы. Нужно срочно уточнить некоторые детали для заранее напечатанных на машинке приглашений. Под вечер последний раз отправляемся смотреть облюбованный пустырь - огромное кочковатое поле, вдали переходящее в лес.

- Подходящее место! - радуется Оскар. - Если придумают какую-нибудь пакость, начнут ремонтные работы, например, - отойдем к лесу и будем показывать картины там.

Возвратившись, от руки вписываем в билеты: где состоится просмотр. Вычеркиваем из числа участников Брусиловского, который громче всех шумел, все время с апломбом что-то предлагал и при первом раскате грома /"не рекомендую"/ сбежал в кусты. Зато трое присоединились в последнюю минуту. Теперь время рассылать, точнее развозить приглашения: по почте не дойдут.

"Приглашаем Вас на первый осенний просмотр картин на открытом воздухе с участием художников: О.Рабина, Е.Рухина, В.Немухина, Л.Мастерковой, Н.Эльской, Ю.Жарких, А.Рабина, Боруха Штейнберга, А. Меламида, В.Комара, В.Ситникова, В.Воробьева, И.Холина.

Просмотр картин состоится 15 сентября 1974 г. с 12 до 14 часов по адресу: конец Профсоюзной улицы до пересечения с улицей Островитянова".

Приглашение скромное,но с подтекстом. Первый просмотр .. Значит в перспективе и второй, и третий ...

13-го утром Рабин в сопровождении друзей отправляется в отделение милиции. Все обходится благополучно. Лейтенант что-то невыразительно бормочет о штрафе - живут-де у вас без прописки люди. Оскар, не вступая в спор, достает из кармана деньги. Блюститель порядка принимает этот жест за "страх" и на глазах наглеет:

Безобразие! Ездят всякие, толкутся в вашей квартире!

Оскар бесстрастно прячет деньги: коли так, взимайте штраф через суд.

Днем в Моссовете снова нудит Сухинич, все с тем же надоевшим:

- Почему вы выбрали пустырь?

Как выяснилось позже, наверху полагали, что столь безотрадное место подыскано со специальной, провокационной целью: взгляните, в каких условиях нас вынуждают демонстрировать картины. В действительности само начальство и толкало нонконформистов на пустырь. появись они в парке, на улице или на набережной, тотчас последовало бы в полном соответствии с уголовным кодексом: "Нарушаете общественный порядок!" А на пустыре и люди не ходят, и машины не ездят, и никакого общественного порядка не существует. Но не станешь же все это втолковывать Сухиничу! К тому же у нас и времени в обрез: Оскар и я встречаемся с корреспондентом одной американской газеты. Рисуем ему общую обстановку, рассказываем о переговорах в Моссовете, о проблемах, которые могут возникнуть. А на утро узнаем, что нашего полку опять прибыло. Нас уже двадцать четыре. Разрабатываем план так тщательно, словно готовимся к военной операции. Моссовет Моссоветом, но что замышляет КГБ? Оскар настроен оптимистично. Так устремлен к цели, что, отбросив присущую ему осторожность, упрямо, как заклинание, повторяет:

Не такие уж они дураки, чтобы на весь мир устраивать шум!

Но Жарких ждет самого худшего. Да и я в "их" благоразумие не очень-то верю. Главное, чтобы всех не задержали по дороге и не сорвали выставку. Поэтому /за исключением троих-четверых, которые должны добираться по одиночке/ разбились на две группы.

Первая ночует у Рабина и едет к пустырю на метро - машину остановить милиции легче: не там свернули, на красный свет наехали, тысяча причин сыщется.

Вторая ночует у матери Виктора Тупицына, давнего знакомого и почитателя художников. Его дом рядом с пустырем. Кстати, можно будет с утра пойти на разведку. И если что-то не так, на ходу сориентироваться.

В 10 часов звонит Жарких:

- Все нормально.

- Видите, - торжествует Оскар и тотчас добавляет, - значит, договорились, если кого-то схватят, остальные не реагируют. Выставка должна состояться!

С картинами и зачехленными треножниками направляемся к метро. Мелкий настырный дождик. Холодно. Но настроение хорошее. Оскар срывает с придорожных кустов золотые осенние листочки и прикрепляет их к плащам спутников:

- Пусть они станут эмблемой сегодняшнего просмотра.-Если сбудется его пророчество, произойдет беспрецедентное событие - первая за пятьдесят лет советской власти свободная, без жюри выставка, да и какая - неофициального, трижды проклятого модернистского искусства.

Путь с двумя пересадками пролетает незаметно. Конечная станция "Беляево-Богородское". Поднимаясь по ступенькам, замечаю группу наблюдающих за нами милиционеров. Может быть, ошибка? Мания преследования?.. Увы, нет. Двое приближаются к Рабину:

- Пройдите сюда, гражданин!

Нарушая уговор, подбегаю к Оскару, но не успеваю перемолвиться с ним и словом. Легонько подталкивая в спины, нас уводят в сторону, противоположную выходу из метро. Миновав темный коридор, оказываемся в небольшой комнате. За столом, огражденным барьером, грузно восседает милицейский чин:

- Документы!

Нарочито неспешно рассматривает. И поднимает на нас свинцовые глаза:

- Вы обвиняетесь в ограблении.

- Что за идиотизм?

- Не горячись, - перебивает Оскар. - Это какое-то недоразумение.

Проходит десять, пятнадцать, двадцать минут ... До начала выставки остается всего лишь пять. А мы все сидим под присмотром милиционера и невысокого, щуплого человека в модном светлом плаще. У Оскара иссякает

терпение:

- Мы - художники. Идем показывать друзьям картины. Устроенный вами спектакль понятен.

Молчит. И тут Оскара словно ударил ток.

- Держите силой! Пошли, Саша!

Направляемся к выходу, но с неожиданным для его грузной фигуры проворством милиционер рванулся из-за стола и схватил Оскара за плечи. На меня, умудрившегося достичь коридора, наваливается "товарищ в плаще". Рабин остановился, понимая, сколь опасно сопротивляться представителю власти. Но "товарищ в плаще" неизвестно кто. Впрочем, напрасно пытаюсь вырваться, у штатского выучка милицейская. Умело выкручивает руки, разворачивает меня спиной к себе. В ответ изо всей силы ударяю его каблуком по голени. Орет: "Сесть захотел?!" и сует мне под нос Удостоверение лейтенанта милиции. Ровно в 12 в комнате появляется некий, высокий уже чин, и вежливо заявляет:

- Извините, произошла ошибка. Грабители пойманы. Вы свободны.

Выскакиваем на улицу. От метро до пустыря метров двести.

- Трепят нервы, а там все в порядке.

Мимо нас проезжает и заворачивает к стоянке машина наших американских друзей Пегги и Дэвида Наллов. Пегги приветливо машет рукой.

Мы же прибавляем шаг. Почти бежим. Опаздываем всего на семь минут. Все, что присходило до нашего прихода, описано в дневнике жены:

" ... еще издали мы увидели на пустыре бульдозеры, грузовики и машины с зелеными насаждениями. Какие-то люди в штатском преградили дорогу:

- Граждане, здесь разбивается парк культуры. Расходитесь!

Просмотр не состоится!

- Прочь! - раздается мощный голос. - Не даете рабочим зарабатывать на хлеб.

Какая-то толстуха лихорадочно разворачивает транспарант: "Все на ленинский субботник!"

Художники стараются показать картины, однако "рабочие" вошли во вкус: у Юрочки вырвали холст и швырнули в самосвал с землей, исполненную на фанере работу Меламида и Комара переламывают пополам.

- Что вы творите? - ужаснулся кто-то.

- Они от этого только лучше станут, - последовал ответ. Они другого и не стоят!

- Вы не смеете! - Мы никому не мешаем.

- Сейчас вы всем мешаете! - хладнокровно заявляет милиционер, спокойно взирая на происходящее.

Немухин тоскливо посматривает по сторонам. Его картина до сих пор завернута в бумагу. Он колеблется. Я срываю бумагу. Приближается дружинник с красной повязкой:

- Вы зачем тут сорите? Подберите! По-хорошему говорю, подберите ...

Толпа прибывала. Лил дождь, и пустырь расцветился яркими плащами и зонтами. Слава Богу, наконец-то бегут Оскар с Сашкой!.."

Мы с Оскаром ринулись в толпу, забыв о наших благих намерениях не давать волю нервам, и, будто отснятые крупным планом кинокадры плывут предо мною сюрреалистические озвученные сцены.

... Бульдозеры надвигаются на художников. Один из них приближается к Рабину, тяжелыми гусеницами подминает под себя картину, а сам Оскар повисает на верхнем ноже и подгибает ноги, чтобы нижним их не отрезало. Милиционеры снимают его оттуда и заталкивают вместе с подоспевшим на помощь отцу Сашкой в синюю милицейскую "Волгу".

... Эльская влезает на огромную ржавую канализационную трубу, лежащую вдоль обочины, и поднимает картину над головой. Мгновение, и полотно летит в грязь, а Наденьке крутят руки. Она отбивается:

- Мы все равно не уйдем! Показ рассчитан на два часа, и два часа мы будем здесь находиться!

... На Жарких накидываются трое. Пытаются повалить его на землю. Какой-то верзила тоном обиженной барышни восклицает:

- Он ругался матом!

Врет. Матом Юра никогда не ругается.

... Двухметрового Рухина волокут четверо. Щегольский пиджак и брюки разорваны, заляпаны мокрой глиной.

... Широко раскрыты испуганные глаза Катюши, семилетней дочки нашего друга врача Векслера. Не все она, конечно, понимает, но что-то сохранится в ее памяти навсегда.

... – Убирайтесь! – орет атлетического сложения детина, обращаясь к канадскому корреспонденту Дэвиду Леви. Щуплый Дэвид возражает:

– Я на службе. Когда советские журналисты выполняют свою работу в Канаде, их никто не трогает. Многим из них я даже помогал.

Атлет поспокойнее:

– Ладно, ладно. Выключайте магнитофон и перестаньте фотографировать.

Кристоферу Рэнну из "Нью-Йорк таймса" его же аппаратом выбили зуб. Вдобавок двое заломили ему руки, а третий бил в живот.

Майклу Парксу из "Балтимор сана" кулаком съездили по лицу.

Линн Олсон из "Ассошиэйтед пресс" силой затолкали в ее собственную машину.

Щедро, налево и направо раздавали "трудящиеся" зуботычины иностранным дипломатам.

Я продираюсь к стоящему на желтом бугре главнокомандующему операцией "умиротворения". Зарубежным корреспондентам он лаконично отрекомендовался: "Иваном Ивановичем". /Позже мы узнали, что это был зампреда исполкома Ленинского района Петин/.

– Прекратите побоище! Остановите этих хулиганов!

Не удостаивает ответом.

– Ведь тут же иностранцы!

В маленьких глазках Петина вспыхивает ярость:

– Мало мы их били! Нечего совать нос в наши дела!

А бульдозеры, точно танки, ползут на зрителей. Охотятся за ними. Преследуют по пятам. Те отступают. Расступаются. Но не расходятся. Однако у Петина есть еще резервы. К полю боя подтягиваются поливальные машины. Обдавая толпу обжигающими, ледяными струями, они стремятся очистить

пустырь и прилегающие к нему улицы. Люди разбегаются по сторонам, прячутся за автомобилями с дипломатическими номерами, карабкаются, как муравьи, по травяному пятиметровому откосу и бегут, бегут вниз по Профсоюзной.

Ненависть захлестывает меня: "Фашисты!"

На меня медленно надвигается бульдозер. Стою недвижно. Бульдозерист высовывает из оконца лохматую голову:

- Отойди, задавлю!

- Дави!

Рядом вспыхивает костер, в который "торжествующие победители" швыряют картины. Первой погибает "Композиция" Рухина. В огне вспыхивают и гаснут кленовые листья оскаровского "Листопада". С портрета кисти Жарких протягивает тонкие руки, словно моля о пощаде, черноволосая Кристина.

Из оцепенения меня выводит глухой голос Юры:

- Сашенька, послушай, нужно выручать ребят!

Ему пришлось повторить дважды, чтобы я услышал его. Юра прав. Пора действовать, и он торопит: "Скорее! Скорее!"

Только теперь мы видим, что Пегги и Дэвид не уехали, а ждут нас. Непременно хотят подвезти до Преображенки. Лишь дома мало-помалу успокаиваемся, нужно разобраться в ситуации, найти выход.

Прямо на пустыре арестованы Рухин, Оскар и Сашка. Бесстрашную Надю Эльскую постеснялись брать при всех. И лишь когда она углубилась в тихую улочку, набросились по-воровски, исподтишка. Забрали также Тупицына и фотографа В. Сычева.

Мы решили во что бы то ни стало установить с ними связь и выснить, что им грозит. Во-вторых, послать открытое письмо в Политбюро и передать его иностранным корреспондентам. Лучше всего устроить пресс-конференцию и зачитать его там. За письмо садимся, не откладывая. К вечеру на квартиру Оскара подтягиваются "уцелевшие бойцы". Кто-то острит: "Родина не могла бы преподнести более дорогого подарка своим любимым сыновьям".

Власти и впрямь сделали все, чтобы привлечь к нам внимание мира. Радиостанции сообщают о московском побоище, как о новости номер один. Свежая мысль: давить картины бульдозерами. Кажется, ничем нынче мир не удивишь. А наши взяли да удивили.

Письмо в Политбюро все подписывают без колебаний. Относительно пресс-конференции разногласий нет. Журналистов приглашаю к себе назавтра к двенадцати. Все делается открыто. Гебисты должны знать, что мы готовы драться до последнего. Выясняется, что Тупицына в машине избивали ногами. Почти без сознания втащили в камеру предварительного заключения и бросили на пол. Правда, его и других зрителей - / их оказалось свыше двадцати/ - отпускают, оштрафовав за нарушение общественного порядка. Художников и Сычева в 11 утра собираются судить. Оскара обещают посадить на год за злостное хулиганство и сопротивление властям. Все пятеро в знак протеста объявляют голодовку. Пикантная подробность: когда задержанных привезли в отделение, то на стене висел приказ, в котором поименно указывалось, кому из сотрудников надлежало явиться на пустырь в штатской одежде. Не оставалось сомнений, кто были на самом деле разгневанные рабочие.

16 сентября на заре дом окружают гебисты. Их машины дежурят во дворе. Одна стоит прямо под окнами, и из нее, не таясь, фотографируют всех входящих в подъезд. К 11 часам собираются художники. Среди них, кстати, и Герой Советского Союза, член МОСХа Алексей Тяпушкин. Он пришел на просмотр как зритель, но, возмутившись увиденным, решил поддержать нонконформистов. Подоспел и Тупицын, побледневший, осунувшийся и только ночью отпущенный из милиции. Все нервничают. Неизвестно, что задумано теми, что за окном. В 11.40 стук в дверь. Для журналистов рановато.

Входит паренек, который дежурил у телефона в квартире Оскара. Звонит "знаменитый" Виктор Луи, срочно желающий со мной говорить.

О чем с ним говорить? Отказываюсь наотрез. Но Немухин неожиданно заявляет:

- Я пойду. Не по своей же инициативе он звонит.

Видим через окно, как Володечка, держа в зубах папиросу, с независимым видом проследовал мимо зловещих машин. Пропустят обратно или нет? Должны пропустить - в противном случае звонок Луи бессмыслен. Возвращается почти сразу же: Луи предупредил, что пресс-конференция скорее всего не состоится п о ф и з и ч е с - к и м п р и ч и н а м. "Физические причины"... Что это за штука? Журналистов ли к нам не допустят, или нас упекут? Ни того, ни другого не случилось. Луи просто шантажировал. В 12 один за другим появляются корреспонденты, их уже более тридцати. Жарких читает наше письмо. Другие рассказывают о бульдозерной эпопее, Тупицын о том, как его истязали. Я говорю о варварской охоте на людей и искусство. Бульдозеры и самосвалы - против картин. Мы требуем наказать виновников погрома и освободить художников. Но на пресс-конференции выясняется, что единственным виновником бульдозерного безумия официально объявлен завотделом культуры Московского горкома партии Ягодкин. Будто бы самочинно, ни с кем не проконсультировавшись, он распорядился: "Давить бульдозерами!" Мне однажды довелось его видеть в Доме литераторов. Смуглый, черноволосый, с мясистым, низким лбом, он выступал перед писателями,он говорил круглыми стереотипно-газетными фразами. Неужто он способен на свой страх и риск выдать такую импровизацию? Но интересно было, что начальство отдавало своих на растерзание иностранцам.

Когда журналисты расходились, гебисты принялись их фотографировать. Обычно представители западной прессы не очень-то уютно чувствуют себя в таком окружении, но в этот день, может быть, оттого, что пострадали накануне /американское посольство даже направило в Министерство иностранных дел СССР протест против грубого обращения с американскими корреспондентами/, они ощущали себя героями. Газетчики из Германии, из Франции, англичане, американцы, шведы, итальянцы, норвежцы - целый интернационал! - крепко взявшись за руки, образовали полукруг и, пританцовывая, двинулись на "фотографов". Какой-то молоденький корреспондент вылетел вперед и "вприсядку" прошелся перед гебистами.

Едва квартира опустела, вбежал взъерошенный, запыхавшийся Рухин и стукнул кулаком по столу: опоздал! От него и Рабина потребовали штраф - от каждого по двадцать рублей. Оба отказались платить, и обоих отпустили. При этом Оскар еще разыграл и сценку. Со скучающим видом выслушал гневные тирады в свой адрес и сказал:

- Мне в туалет по-маленькому сходить бы ...

В другое время ему бы влепили дополнительно за оскорбление суда, но на этот раз все обернулось по-другому: власти оказались в позиции обороняющихся. Так славно, казалось бы, могли расправиться с кучкой модернистов, и на тебе - какая свистопляска:

"Бульдозер заливает грязью московскую живопись" /"Таймс" 16.9.74/. "Похоже, что могущественный Кремль боится искусства" /"Крисчен сайенс монитор" 17.9.74/. "В Москве свирепствует полиция" /"Ля Стампа" 15.9.74/ "Художники схвачены с помощью полицейских приемов" /"Зюддейче цайтунг" 15.9.74/. "Нью-Йорк Таймс" писала: "Советский Союз не скоро оправится от последствий спектакля, свидетелем которого была международная аудитория, спектакля, устроенного молодыми коммунистическими головорезами, очевидно, по приказу ... Это был черный день для смелых умов в СССР ...Еще чернее был этот день для тех сторонних наблюдателей, которые верили, что прекращение холодной войны и начало разрядки сопровождаются оттепелью в самой России".

Да, боком вышли кое-кому наверху бульдозеры. А ведь это только начало! И уже не велено судье свирепствовать, и на штрафе не стали настаивать. Молодым, правда, вынесли покруче приговор - пятнадцать суток заключения. Но кого-то осудить для престижа надо было. Впрочем, Эльскую вечером того же дня /что делается!/ освободили, и прокурор, невнятно бормоча о социалистическом гуманизме, извинялся за грубость милиции. Мы были уверены, что Сашку и Сычева тоже долго не продержат.

Правда, на Оскара события подействовали: и утерянные иллюзии, и погибшие картины, и драматические

минуты, когда он висел на бульдозерном ноже, и оставшийся под стражей, продолжающий голодовку сын. Нервы его были напряжены до предела, и тем не менее Оскар держался. Первое, что он мне сказал, возвратившись домой из суда:

– Посылаем открытое письмо Советскому правительству.

– Мы уже послали в Политбюро.

– Пусть Политбюро командует коммунистами, а мы должны писать правительству и, главное, – заговорщически наклонился он ко мне, – в камере меня осенило: мы заявим в своем письме, что через две недели снова выйдем на тот же пустырь с картинами.

Идея отличная, как говаривал Владимир Ильич, архигениальная. Я уже заранее жалел потеющих тугодумов самых высоких рангов. Как им быть, когда получат они наше письмо, новую бомбу. Придут в ярость? Но что дальше? Вновь расправляться с нами? Не выйдет ли дороже?

В "Обращении к Советскому правительству", которое я тут же сел писать, пересказав "бульдозерную историю", в заключение говорилось следующее: "Мы также извещаем вас, что через две недели, в воскресенье 29 сентября, осуществим сорванный злонамеренными людьми просмотр наших картин на открытом воздухе в том же самом месте. В связи с этим мы просим вас указать милиции и другим органам охраны порядка на необходимость не способствовать вандализму и хулиганству, а защищать от него. В данном случае – зрителей, художников и произведения искусства".

Юра отправляет обращение, а я звоню журналистам. Информация тотчас же передается по телетайпам, чтобы на следующий день прозвучать по всем западным радиостанциям и появиться в газетах. И в это же время за границу передается сообщение ТАСС – официальная версия того, что случилось, предназначенная только для Запада. В ней наша выставка именуется "дешевой провокацией" и объявляется, что "ее вдохновители попросту стремились вызвать антисоветскую сенсацию".

7-го утром ко мне домой является нежданный визитер с Лубянки, мой старый знакомый лейтенант Сергей Леонидович Ильин. Два года его не видел, но он мало

изменился - такое же упитанное лицо, тот же полуинтеллигентный говор, та же вызывающая на откровенность улыбка. Ах, с каким жаром убеждает меня он, что КГБ и понятия не имело о выставке 15 сентября, ни о планах ее разгрома.

- Честное слово! - горячится он. - Не могут наши люди избивать иностранных журналистов и дипломатов,не выпускать из машин послов, уничтожать картины. Это все милиция! Мы приехали к концу событий и не успели вмешаться. Вы мне верите ?!

- Что же, раз товарищ Ильин предлагает игру, придется ее принять. Не спорю, не соглашаюсь, а вроде бы принимаю им сказанное к сведению. И тут он меня удивляет:

- Александр Давыдович, - говорит, - вы ведь друг Рабина. Не согласится ли Оскар Яковлевич поговорить с Вячеславом Михайловичем? /Это начальник Ильина/.

- У вас же есть телефон Рабина. Позвоните и спросите у него об этом сами.

- Неудобно как-то /о, умилительная застенчивость Лубянки!/. Лучше вы у него спросите. Вячеслав Михайлович к нему заедет вечерком, если можно.

- Ничего не обещаю. Позвоните через два часа на квартиру Рабина. Я буду у телефона.

Уехал Сергей Леонидович, даже не попрекнув меня пресс-конференцией. Словно так и полагается отныне советским гражданам - защищаться с помощью зарубежной прессы. Отправляюсь к Оскару. Соглашается он без особой охоты:

- Приму его. Нужно выяснить, что у них на уме. Но никаких компромиссов! Выставка состоится.

Вечером прибывает раздавшийся вширь и посолидневший /видимо, в гору пошел/ Вячеслав Михайлович. Сидим втроем в маленькой комнатке. Точнее двое сидят, а Оскар полулежит на диване в голубенькой майке и разговаривает с трудом, через силу. Гость- полная противоположность. От него веет солдатской мощью. Он благодушно вторит своему подчиненному: КГБ ни при чем. К тому же виновные - начальник районного отделения милиции и первый секретарь Черемушкинского райкома

партии - уже наказаны /первый отделался выговором, а второго отправили в почетную ссылку послом во Вьетнам/. Вячеслав Михайлович ждет нашей реакции. Мы отмалчиваемся. И он продолжает, будто не замечая нашей сдержанности:

- Нам важно понять, чего вы добиваетесь.

Оскар:

- В письме к Советскому правительству сказано: выставки.

- Не скандала? /все-таки не удержался!/.

- Скандал устроили не мы.

Вячеслав Михайлович выпрямляется:

- Если речь идет только о выставке ...

Оскар перебивает:

- Почему вы нас заранее в чем-то подозреваете?

- Нет, Оскар Яковлевич, - торопится собеседник, - я неправильно выразился. Никто вас не подозревает. А выставка вещь возможная. Только не рассказывайте никому, что именно я вам об этом сказал.

- Смотря как развернутся события ...

- Но постарайтесь! - упрашивает гебист. И прощается.

В соседней комнате ребята: всем интересно, с чем он явился.

- Зашевелились! - говорит кто-то. - Может, на площади Дзержинского организуют выставку? И ее участников оттуда - прямо на Лубянку - благо рядом.

Да, кажется, невероятное становится реальным и для оптимизма более чем достаточно оснований. Кто бы осмелился еще два дня назад предсказать, что стрелка компаса повернется на сто восемьдесят градусов, что к нам, взбунтовавшимся и вчера еще бесправным, полновластные хозяева страны сегодня будут вынуждены направлять своих представителей?

И вместе с тем чувствуем: победу праздновать рановато. Сейчас мы на гребне волны. Во всем мире о нас пишут на первых полосах газеты. Немецкие телевизионщики отсняли фильм.

Оскар в своем интервью заявил:

- Пока мой сын сидит, я ни на какие переговоры не пойду!

18-го Сашку и Сычева выпустили. То ли слова Оскара оказали столь магическое действие или просто случайное совпадение. И следом звонок Сухинича. 20-го ждет нас первый заместитель председателя Моссовета В.Сычев, тезка и однофамилец фотографа. И как бы в предупреждение нам, в этот же день открывает огонь "Советская культура". Правда, не статью опубликовали, а письмо в редакцию от негодующих трудящихся:

"Уважаемый товарищ редактор!

Известно ли вам, что произошло у нас в Черемушках 15-го сентября?

С утра мы, здешние жители и работники расположенных неподалеку предприятий охотно вышли в этот день на заранее запланированный массовый воскресник по осеннему благоустройству и озеленению. Каково же было наше недоумение, а затем и возмущение, когда примерно в полдень на пересечении улиц Профсоюзной и Островитянова вдруг одна за другой стали останавливаться машины, из которых какие-то развязные, неряшливо одетые люди начали вытаскивать весьма странные цветные полотна в рамках и без рамок с намерением здесь же, под открытым небом, и как раз там, где в этот час работали люди, устроить показ этих своих живописных произведений. С их прибытием трудовой ритм воскресника был нарушен. На спокойном перекрестке началась толчея, шум и гам; непрошеные гости вели себя вызывающе, вырывали у работающих людей лопаты и грабли, толкали их, стремясь оттеснить от газонов, сорвали плакат, призывающий к участию в воскреснике, мешали движению транспорта, ругались и сквернословили.

Любопытно, однако, что вместе с "художниками" и даже несколько раньше сюда приехали иностранцы. Приехали в машинах с номерами посольств ряда капиталистических стран. Кстати, часть картин и была доставлена в посольских машинах. Среди иностранцев, как потом выяснилось, было немало корреспондентов зарубежной прессы, которые, как стало ясно всем, прибыли сюда отнюдь не для освещения "художественного события". Они демонстративно фотографировали весь этот шабаш и активно

в него вмешивались. Корреспондент норвежской газеты "Афтенпостен" Удгорд Нильс Мортен позволил себе даже ударить по лицу дружинника, пытавшегося его усовестить. Были и другие подобные случаи.

Непристойная вылазка группы художников-формалистов принимала таким образом характер преднамеренной политической провокации.

По требованию участников воскресника, вмешались дружинники, а по их просьбе и милиция. Некоторые организаторы вели себя особенно непристойно, были доставлены в отделение милиции с целью установления их личностей. Ими оказались назвавшие себя "свободными художниками", "неконформистами" некие О.Рабин, А.Кропивницкий, В.Сычев, Н.Эльская, А.Таль, М.Славутская, В.Тупицын и другие, числом до пятнадцати. Картины,которые они привезли с собой, носили, по нашему мнению, явно антихудожественный характер и не вызывали ничего, кроме отвращения и насмешек".

Далее шли пространные рассуждения о живописцах,не являющихся членами Союза художников, промышляющих сбытом картин за рубеж, и слезная просьба жителей Черемушек оградить их от "хулиганствующих мазил". И подписи: "Участники воскресника: В.Федосеев,токарь,ударник коммунистического труда, Е.Свистунов,радиомонтажник, ударник коммунистического труда, В.Половинка,начальник Управления дорожного хозяйства и благоустройства Черемушкинского района".

Никто из художников не приезжал на пустырь на машинах, тем более иностранных. Никто ни у кого не вырывал лопаты и грабли, да их и не было. Не мог Нильс Мортен, которого я отлично знаю, ударить по лицу дружинника - воспитание не то. Вот самого его стукнули, фотоаппарат отобрали и выкрали микрофильмы, не имеющие отношения к выставке. И откуда токари и монтажники выкопали в своем словаре мудреное словечко "неконформисты" /никогда художники себя так не именовали/.

В Моссовет отправились компанией: Оскар, я, Сашка, Алексей Тяпушкин, приколовший по нашей просьбе Золотую звезду Героя СССР,Эльская,Жарких,Меламид и Комар.

В просторном кабинете нас принимает "сам" Сычев. Знакомит с присутствующими: первым заместителем начальника Управления культуры Моссовета Михаилом Шкодиным, дородным мужчиной с благообразной седой шевелюрой, и невысокий широколицей женщиной Прасковьей Шлыковой, заместительницей того же начальника /сложная у них иерархия!/. Здесь же Сухинич и нахохлившийся, готовый в любую минуту перейти в наступление, Петин.

Сразу же начинается бой по поводу выступления "Советской культуры". Петин изо всех сил тщится доказать - правильно все написано. Сорвали художники воскресник! А их и пальцем никто не тронул. И бульдозеров не было, и самосвалов. Кто-то из нас не выдерживает:

- И на костре картины не сжигали? И бульдозерами не давили? И иностранных корреспондентов не избивали? И вся мировая пресса врет?

- Вы же советские люди! - хмурится Сычев. - При чем тут мировая пресса и зарубежные журналисты? Забудьте о них! - "По-отцовски" журит он и нас, и Петина. Мы же свои люди, как-нибудь разберемся. И снова к нам обращается:

- Просмотр этот вы все-таки напрасно устроили. Одни неприятности из-за него!

В разговор включается Тяпушкин.

- Сто двадцать пятая статья Конституции. Свобода слова, собраний, демонстраций ...

Сычев сдвинул брови:

- Не стоит вспоминать. Поговорим о выставке. Зачем вам пустырь? Ради нового шума? Неужели нельзя найти место поэстетичней? Переговоры с вами поручено вести товарищу Шкодину. Приступайте, не откладывая.

Мы поняли, что наверху больше всего страшатся, что опять пойдем на пустырь. Срочно засадили его саженцами.

Вечером слушаем новости по "Немецкой волне", "Би-Би-Си" и "Голосу Америки". Против бульдозеров, милиции и КГБ наше единственное действенное оружие - гласность. А за "гласность" отвечаю я ...

В субботу 21 около двенадцати иду от Оскара. Открываю двери подъезда. Поднимаюсь по ступенькам. Словно в детективном фильме, вырастают два подтянутых,

одинаково одетых человека. Приблизились вплотную и, не повышая голоса, совершенно спокойно говорят:

— Мы тебе выколем глаза, паскуда, чтобы не увидел ты этих картин.

Растерявшись, почти машинально произношу:

— Выкалывайте.

— В следующий раз, — сказал один из них, — и они удалились.

Ночью почти не спал. Еле дотянул до рассвета — и к Оскару.

— Необходимо позвонить журналистам!

— По-моему, не стоит, — говорит он. — Тебя просто провоцируют, чтобы вывести из строя.

Так и решили. И, очевидно, ошиблись. Молчание мое было воспринято как трусость, и в воскресенье произошло следующее. Вновь возвращаюсь от Оскара. Время полдвенадцатого. Спать еще не хочется. Решил погулять вокруг дома, иду по узким доскам возле забора, окружавшего строящуюся поликлинику. Навстречу двое. Отхожу чуть вправо, чтобы их пропустить. И они — туда же. Я — влево, и они вслед за мною. Оборачиваюсь — сзади, словно из-под земли — другая мрачная пара. Сомнений не остается, но из ловушки уже не вырваться. Один из них сдавил мне челюсть, так что рот широко открылся, второй засунул в него кляп. Подтащили вчетвером к толстому дереву, вплотную к забору, привязали к стволу, избили, оплевали лицо и скрылись. Слышу голоса соседей, прогуливающих собак, но позвать на помощь не в силах. Но, видно, специально привязали меня несильно, чтобы сумел высвободиться и предстать перед окружающими.

Утром, выслушав меня, Оскар сжимает кулаки:

— Звони этому "другу" в КГБ и скажи, что даром это не пройдет!

Набираю номер:

— Вячеслав Михайлович? Предупреждаю, что будет созвана пресс-конференция!

— Но что случилось?!

Опять КГБ в неведении!?

– Никаких пресс-конференций! Сейчас же свяжемся с вашим отделением милиции. Вас будут охранять! Это, наверное, художники-реалисты, очень они злы на вас ...

Я расхохотался, бросил трубку.

Через час ехать на переговоры к Шкодину. Оскар чувствует себя плохо.

– Сегодня – обойдетесь без меня.

Шкодин говорит так, будто просмотр уже разрешен:

– Где будем устраивать выставку?

Предлагаем три варианта: набережная, улица и парк. Последнее, с нашей точки зрения, предпочтительней. Помогающие Шкодину Шлыкова и Сухинич предпочитают помалкивать. Он не против парка, но настаивает, чтобы экспонировали работы только москвичей:

– Вы же в Моссовет обращаетесь. При чем тут ленинградцы?

Эльская перебивает его /в ее голосе, как всегда, когда она сердится, слышны металлические нотки/:

– Рухина арестовали, картины его искалечили, а теперь его в отставку?

– У Жарких картины сожгли, – говорю я. – Без ленинградцев выставка не состоится.

Сражаемся не менее получаса. Стоим на своем. Отвергаем всякие ограничения, связанные с местом жительства. Единственно, что гарантируем: антисоветчины и порнографии не будет.

– А как насчет религиозной пропаганды? – осведомляется Шлыкова.

С этим сложнее. Религиозное возрождение последних лет в России коснулось и художников. И в творчестве многих из них религиозные мотивы – совсем не случайность, а принципиальная позиция. Но ради первой официальной выставки неофициального искусства уступаем и тут.

– Хорошо, – соглашается Шкодин. – Друзей вы отстояли, насчет парка возражений нет. Но вот какой парк вы хотите?

Он едва сдерживает раздражение, кажется, будь его воля, он не парк бы нам предоставил, а по тюремной камере на каждого. Но директива есть директива. И сидит

Шкодин в массивном кожаном кресле, и, поглаживая седые виски, внимательно нас выслушивает. Еще дома мы с Оскаром остановились на Измайловском парке, огромном, с раздольными полянами, с удобными подъездными путями - хотите на машинах, хотите на метро, хотите на трамвае... Поэтому, не колеблясь, говорю:

- Измайловский!

Шкодину, собственно, все равно. Но зато нежданно-негаданно он настаивает на переносе выставки с 29 на 28, с воскресенья на субботу.

- В воскресенье свободную площадку не найдете. Повсюду концерты, народные гулянья, спортивные соревнования.

Смотрю на Тяпушкина, Немухина, Эльскую. Не спорят. Может быть, он и прав. Может, никакого подвоха и нет. Почувствовав наше недоумение, он продолжает: - если принимается его предложение, то завтра с утра едем в парк подыскивать место. Отвечаю, что мы не полномочны решать за всех. Шкодин нетерпеливо барабанит пальцами по столу:

- Что вы за инициативная группа без инициативы! Такую ерунду и то решить не можете.

Но мы стоим на своем - неполномочны! И слава Богу, потому что Оскар о 28 и слышать не хочет. Ходит по комнате злой, доводов у него нет, знает лишь одно. Если что-то выгодно Шкодину - значит для нас не подходит. Интуиция не подвела. Впоследствии выяснилось, что расчет у Шкодина на редкость прост. В субботу студенты учатся, преподаватели работают, так что не было бы и половины зрителей, собравшихся в воскресенье.

Для Шкодина наше упорство - гром средь ясного неба. Он накануне, верно, уже доложил начальству, и вдруг осечка. Снисходительно-барственным тоном он снова перечисляет плюсы субботы. Ему поддакивает новый "персонаж" - председатель Горкома художников-графиков Москвы Владимир Ащеулов. Маленький, крепкий, с нечистым "блатным" лицом, он мучительно жаждет отличиться. Перемежает угрозы уговорами. Шкодин, ощутив безнадежность своей позиции, тяжело поднимается:

- Не хотите выставки - не надо!

Встает и Оскар:

- Мы обещали за три дня до воскресенья информировать, где будет просмотр. Срыв переговоров означает, что просмотр будет на пустыре.

Этого Шкодин боится больше всего. Поэтому тотчас распоряжается:

- Едем в парк!

В парке комедия продолжается. По очереди, то Шлыкова, вначале, потом Ащеулов и Шкодин предлагают явно негодные для экспозиции места - то молодую рощицу, то крохотную поляну, перерезанную оврагом, то тесный дворик при парковой столовой. Рабин теряет терпение, говорит, что с него довольно.

- Оскар Яковлевич, - улыбается Шлыкова, - сначала вы от субботы отказываетесь, теперь ни одно место вас не устраивает. Вы слишком возбуждены.

- Да, конечно, я сумасшедший,- тихо отвечает Оскар.

- Да вы и сами признаете, - подхватывает Шлыкова, - что не в состоянии разумно рассуждать.

Оскар возражать не стал. Махнул рукой и уехал, только успел сказать нам:

- Не поддавайтесь!

Собеседники наши перешли в наступление. Теперь они уже все говорили зло, с раздражением, каждый по-своему.

- Давайте, - предложил я, - мы сами подыщем подходящее место, а потом вам покажем. Шкодин, нехотя, соглашается, но не без ехидства замечает, что группа молодых художников, "жаждущих участвовать в просмотре", названивает Ащеулову. Кто, позвольте спросить, предварительно посмотрит их произведения? Кто будет нести за них ответственность? Договариваемся заняться молодыми в четверг: двое от жюри Горкома, двое - от нас. Все как будто налаживалось. Но куда испарился оптимизм Оскара? Он не верит ни Шкодину, ни Ащеулову, никому из этой компании. Почти не спит, пичкает себя транквилизаторами. Ежедневно бывает у врача...

В среду утром находим в Измайлове огромное зеленое поле, место идеальное. Оглядывая поле, Шкодин задумывается и то и дело повторяет:

- Это дело непростое! Непростое!

А позже, уже у себя в кабинете, говорит, что Измайлово - не парковая, а лесопарковая зона со своим директором, и Управлению культуры он не подчиняется.

- А Советской власти он подчиняется? - спрашиваю я.

Шкодин морщится.

- Конечно, подчиняется! Но нет его! Уехал в командировку. Я наводил справки у двух заместителей - они разбираются лишь в разведении цветов.

Потерявший самообладание Оскар устремляется к телефону:

- Агентство Рейтер? Это художник Рабин. Моссовет сорвал переговоры. Мы выходим на пустырь!

Я выхватываю у него трубку. Оскар кричит Шкодину:

- Жалею, что подавал вам руку! Он стремглав вылетает из кабинета, мчится по лестнице. Мы с Тяпушкиным догоняем его только на первом этаже. Он прислонился к стене. По лицу текут слезы.

- Пошли, Оскар ...

- Дай мне телефоны корреспондентов!

Обнимаю его:

- Позвоним позже.

Он отталкивает меня:

- Ты не друг мне, а враг ...

Сверху показывается побледневшая шкодинская секретарша:

- Прекратите хулиганить!

- Твой начальник - фашистская мразь! - ору я что есть сил. Гулкое эхо под сводами старинного особняка удесятеренно разносит: мразь... мразь... мразь... На дворе бабье лето, и двери подъезда распахнуты. Прохожие с любопытством заглядывают сюда. Тяпушкин изо всех сил пытается вытащить нас на улицу. Наверное, в эту минуту он похож на санитара, который удерживает двух сумасшедших. Останавливаю такси. Машина пробирается по узкой Неглинке, выезжаем на Садовое кольцо. Через пятнадцать минут мы у Оскара. Квартира полным-полна и все - художники. Они-то надеялись на лучшее ... Ни о чем не спрашивают. Все прочли по нашим лицам. Устраиваюсь на диване, ставлю на колени

и набираю номер за номером: "Юнайтед пресс", "Агентство Рейтер","Нью-Йорк Таймс", "Монд", "Стампа" ... Как заведенный втолковываю и корреспондентам КГБ:

- Если до 18 часов нам не дадут разрешения на просмотр картин в Измайлове, то в воскресенье идем на пустырь.

в 17.55 звонок. Шкодин ...

- Я подписал приказ о выставке в Измайлове 29-го сентября с 12-ти до 16-ти ...

- Одну минутку! - от избытка чувств запускаю в Юру записной книжкой. - А когда можно ознакомиться с документом?

- Неужели вы мне не доверяете?

Напоминаю Шкодину уговор: художники получают письменное разрешение на руки, чтоб исключить недоразумения. Он, разумеется, юлит. Не хочет давать бумагу за своей подписью. А если завтра в верхах передумают, наплюют на детант и прикажут вновь расправляться с модернистами? Шкодин, естественно, не против дать "документ", он - "за"! Но пока суд да дело разрешение с его подписью попадет на Запад. Свое руководство Шкодин знает великолепно. Ссылаться на прежние, от него же поступившие указания не только глупо, но смертельно опасно. Скажут, провокация, со света сживут. Однако и этим горлопанам отказывать нельзя. Пойдут на пустырь, и опять же ему, Шкодину, - конец.

- Завтра приезжайте, - говорит он.

В четверг у входа в Горком толпится с холстами человек пятьдесят. У председателя заседают угрюмые члены выставкома. Каждый хочет ускользнуть от сомнительного поручения. Ни одного живого лица. Ащеулов заискивающе обращается к нам:

- Посмотрите-ка вдвоем картины и отберите, что понравится.

Страшась ответственности, целиком доверяются нам. Делаю вид, что и для нас это тяжкий груз:

- Тогда необходим каталог. Чтобы за людей, которых раньше не видели, не отвечать.

Ащеулов "попадается на удочку", он согласен, и таким образом хоть напечатанный не в типографии, а на

машинке, но каталог будет. За час "пропустили" все работы. Абстракционистов смотрели мельком, лишь записывали названия и фамилии авторов. Даже на уровень почти не обращали внимания, главным для нас было другое. Мы добивались первой в СССР официальной экспозиции доселе запрещенного модернистского искусства. Любой художник в любой момент мог присоединиться к нам, хоть за 15 минут до просмотра.

Последнее свидание со Шкодиным. Он начинает издалека. Наверно, придут сотни зрителей. Неплохо бы установить поблизости ларьки. Пусть торгуют бутербродами и лимонадом.

– Ларьки не наша забота, – едва выдавливает высохший, почти черный Оскар, – тошно ему со Шкодиным.

Тот укоризненно качает головой. Мол, до чего же невоспитан! Потом раскрывает пухлую папку с приказами. Читайте. Все вроде верно. Только где же копия для нас? Оказывается, давать ее нам Шкодин и не собирается:

– Мне не жалко, но ... Приказы бывают двух типов. С этого снимать копию не положено.

– А где гарантия, что вы ... не уничтожите оригинал? – впивается в него Оскар, и как заклятие:

– Мы пойдем на пустырь!

Уже дома разгорается спор. Я убежден, что Оскар не прав. Зачем нам пустырь? Разрешили выставку в Измайлове. Если замыслили провокацию, пусть устраивают ее в парке. Выходить на пустырь – давать врагам козыри. Наверняка скажут, что им не выставка нужна, а скандал. Просили Измайловский парк? Так чего ж их понесло на пустырь?

Все поддержали меня, но Оскар был неумолим:

– Вы в парк, а я один на пустырь!

Оба много ночей не спавшие, оба издерганные, мучаем друг друга. Оскар твердит:

– Я иду на пустырь!

– Ты же не понимаешь, что одного тебя мы туда не пустим. И Сашка, и Надя, и я пойдем с тобой. Нас заберут, и выставка сорвется.

– Если пойдем и ты, и я, то все пойдут за нами. Пойдут на пустырь.

- Но какое ты имеешь право вести людей на плаху?

На лице его злость.

- Имею право!

- Какое?

- А что сделали с Гумилевым? Убили. А что сделали с Мандельштамом? Убили.

- Ну и что?

- Ничего. Пустырь.

В соседней комнате - тишина. Немухин курит папиросу за папиросой. Тяпушкин вышагивает из угла в угол. Появляется Оскар в плаще и берете.

- Я еду к отцу Димитрию.

- Но это же восемьдесят километров!

- Сегодня вернусь, - подходит ко мне и чуть слышно говорит, - поступай как знаешь. Я за выставку, а не скандал.

Лихорадочно думаю, как все-таки быть со шкодинским приказом. Звоню ему:

- Если придет наш фотограф, ему позволят сфотографировать приказ?

- Д-да ...

- Если к вам приедут иностранные корреспонденты, вы им покажете приказ?

- Д-да ...

Набираю знакомые номера и каждого из журналистов прошу звонить Шкодину. Пусть он им подтверждает разрешение ...

Не знали мы, однако, что нас ждет впереди. Накануне выставки, названной нами /не без иронии/ "Вторым осенним просмотром картин на открытом воздухе", зампредседателя Моссовета наш "покровитель" В. Сычев устроил пресс-конференцию для зарубежной прессы. Он упрекал журналистов в сгущении красок при описании бульдозерной истории и подчеркнул, что в Измайлове художники будут показывать работы друзьям. Пропустят лишь с пригласительными билетами. Около полуночи стало также известно, что наше поле окружили стояками и прочими заграждениями, а комсомольский актив МГУ собирали на секретный инструктаж. Атмосфера сгущалась, и в 12 ночи Оскар срывающимся голосом зачитал

корреспондентам по телефону заявление. В нем говорилось, что если вход на выставку будет лимитирован или произойдут какие-нибудь безобразия, то художники через десять минут унесут картины, но спустя две недели вновь придут с ними в Измайлово. Это был беспроигрышный ход. И вскоре мы поняли, что власти смирились с поражением. Не растягивать же до бесконечности эту неприглядную историю, принесшую им столько неприятностей. Приведу высказывания одних только американских газет/а ведь именно теперь СССР так стремится получить от США статус наибольшего благоприятствования!/.

"Немыслима более убедительная демонстрация реакционной сущности советского строя" /Ньюс-Уик 30.9.74/.

"Разрядка теперь под вопросом"/там же/.

"Поскребите советскую систему - и увидите бандитизм, столь типичный для полицейского государства" /"Балтимор сан" 17.9.74/.

Даже в Американском Конгрессе сенаторы, ссылаясь на московский инцидент, сомневаются теперь в возможности киссинджерского детанта. Нетрудно представить ощущение властей, что из-за каких-то дурацких картин сводится на нет их заигрывание с Западом. Первая мысль тривиальная: Растоптать! Но ведь нельзя, никак нельзя! Приходится играть в либерализм.

Так вот и свершилось чудо. В осенний, но по-летнему залитый жарким солнцем, ниспосланный Богом день, когда сияло небо, сияла золотая листва, сиял прозрачный воздух, долгожданная выставка состоялась. Более семидесяти художников принесли в парк около двухсот пятидесяти произведений совершенно различных стилей - от фантастического реализма, религиозного символизма и сюрреализма до поп-арта и абстрактного экспрессионизма, - и расставили их во всю длину широко раскинувшегося перед ними поля: кто на треножнике, кто прямо на траве, подперев палками. Зрители - многие с детьми на плечах - шли плотной нескончаемой массой. То ли десять, то ли пятнадцать тысяч их было. Смотреть трудно. Из задних рядов часто слышалось:

- Не видно! Не видно!

И художники поднимают полотна на вытянутых руках. Временами раздаются аплодисменты, и парадокс весь состоял в том, что если бы не давили нас бульдозерами, то все, возможно, ограничилось бы двумя часами показа нескольких десятков холстов в присутствии нескольких сот зябко ежившихся под дождем человек. И теперь, - поистине праздник! И не только нонконформистов. Вместо шайки головорезов - тысячи на редкость доброжелательных людей. Появившихся в толпе крикунов они усмиряют сами:

-Да это не картина, а издевательство. Не понимаю ее!

- Что вы кричите? Я ее тоже не понимаю. Но почему издевательство?

Разговор пожилой супружеской пары. Он:

- Ну, хватит, я устал. Неужели тебе это нравится?

- А тебе все не нравится?

- Кое-что нравится.

- Вот и мне кое-что нравится. А главное - свежо, искусство неказенное.

К Рабину и ко мне подходят знакомые и незнакомые. Поздравляют. Уверяют, что мы даже сами не осознаем, чего добились. По сторонам шныряют стукачи, непроницаемые лица которых резко выделяются среди окружающих. Но что сегодня за день:Никто их не боится ! Корреспондент АПН /точнее КГБ/ не отходит от черноволосой девушки в джинсах, с фотоаппаратом:

- Что вы можете сказать о выставке?

- Очень здорово!

Он со значением:

- Где вы учитесь? Как фамилия?

Пожалуйста, учусь там-то, фамилия такая-то.

Четыре часа свободы! Для нас они краткий миг. А для властей - вечность. Ащеулов озабоченно:

- Александр Давыдович, не забудьте, пожалуйста, что в четыре закрытие.

Какой такт. Будто и не он вместе со Шкодиным выматывали нам душу, и не он хвастался, что "миндальничать" с Рабиным не станет - вышвырнет из Горкома, и не он стучал ногами на Сережу Алферова:

- Чего это тебя на жидовскую выставку потянуло?



Москва. 14 сентября 1974 года. Накануне. Оскар Рабин и Александр Глезер.



Москва. 15 сентября 1974 года.

Бульдозерное побоище.



После бульдозеров.



Оскар Рабин "Листопад". Картина, сожженная во время "бульдозерной выставки".



Оскар Рабин "Корова в деревне Сафронцево". Картина,уничтоженная бульдозером.



Юрий Жарких "Портрет Кристины". Картина,сожженная во время бульдозерного побоища.



Москва.29 сентября 1974 года. Четыре часа свободы в Измайловском парке.



Москва 29 сентября 1974 года. Выставка в Измайловском парке. Справа Надежда Эльская и Александр Глезер.

А милиционеры нынче какие вежливые, какие интеллигентные. Не ругаются. Не рычат /как лейтенант Авдеев 15 сентября на Рухина: "Перестрелять бы вас всех, да патронов жалко!"/. Лишь за порядком наблюдают. Случайных пьяниц уговаривают отойти в сторонку. Если бы всегда так. Но нет. У нас четыре часа свободы. У них четыре часа правопорядка.

Время приближается к четырем, а зрители не убывают. Ащеулов спешит к Оскару, который в изнеможении растянулся на траве. Затем рысцой ко мне:

- Напомните художникам, что уже пора!

- Не беспокойтесь. Все, что мы обещаем, выполняется.

Четыре часа. Ребята с холстами в руках направляются к метро, а зрители еще долго не расходятся, спорят до хрипоты о современном искусстве.

ЖАРКИЙ НОЯБРЬ

"Узнаю тебя,жизнь, принимаю
И приветствую звоном щита".
Александр Блок

Две недели в Тбилиси после сентябрьской круговерти показались мне чуть ли не лучшими за последние годы. Правда, и там забыть о московских выставках не давали. Где бы я ни оказался, речь немедленно заходила о них. Разводили руками и удивлялись. Не бульдозерам, брошенным против картин (смутишь ли этим советских граждан?), а тем, что начальство отступило и разрешило измайловские четыре часа свободы. Выспрашивали подробности, качали головами, поздравляли. Даже благодарили. Наши хождения по мукам оказались небесполезными и для тбилисских живописцев. В те октябрьские дни в Тбилиси готовилась республиканская осенняя выставка, и они рассказали мне, что впервые местное жюри допустило к показу работы крайне левых. Очевидно,исходя из принципа - лучше дозволить сверху.

А в столице, пока я пил грузинское маджари[1]и приходил в себя, уже разворачивалось контрнаступление.Понималось, конечно, что рано или поздно оно состоится, не стерпят коммунисты, мстительные, как никакие грузинские или корсиканские кровники, позора и вынужденной сдачи позиций. Но столь быстрых действий от бюрократического аппарата мы не ждали, да и ставя себя на его место, рассуждали: пусть сперва отшумит заграница, а потом, в тишине, как котят, придушим. Вышло иначе.

[1]Молодое вино (грузинск.).

Органы наблюдения и подавления заработали сразу же. Впрочем, понять их можно - художники-то не унялись: и дерзко требуют помещение для выставки на декабрь, и в суд собираются подавать, чтобы им выплатили компенсацию за уничтоженные картины.Так до каких же пор уступать бунтарям проклятым?!

Прежде всего взялись за молодых. Двух отправили в армию на Алтай, хоть один из них уже отслужил и еще не оправился после недавнего перелома ноги, троих распихали по психушкам. Нескольким предложили устраиваться на службу, если не хотят, чтобы вышвырнули из столицы как тунеядцев. К Сергею Бордачеву ночью врываются милиционеры и гебисты и под угрозой отправки в психбольницу берут у него подписку о неучастии впредь в каких бы то ни было выставках. Александра Калугина в отделении милиции заставляют сочинить заявление,что он больше не будет делать абстрактных картин (его объяснений: "я - примитивист, никогда ничего абстрактного не писал..." и слушать не желают).

Вслед за милицией вступила в бой пресса. С моим возвращением совпало появление в "Вечерней Москве" внушительной по размерам статьи о 29-ом сентября: "... В тот воскресный день был развеян созданный западной пропагандой миф о "непризнанных талантах". Король оказался голым. Модернистов вывели на публику, и они выставили себя во всем убожестве, потому что как явление искусства работы модернистов выглядят просто несерьезно. Серьезно здесь только напоминание о том,что наши идейные противники поднимают на щит своей пропаганды что угодно, лишь бы создать иллюзию "противообщества" в нашей стране, в духовной жизни народа.

Когда анализируешь большинство работ, невольно приходишь к выводу о духовном кризисе их авторов,или, вернее сказать, определенном их умысле, который продиктован враждебным отношением к действительности, к русской национальной культуре."

Оскар пренебрежительно повел сутулыми плечами:

- Собака лает - ветер носит.

- Бешенных собак стрелять надо, - засмеялся я,уже зная, что не в моем характере будет смолчать.И для по-

лемики с газетой выбрал форму открытого письма. Почему открытого? Да потому, что все равно не напечатают и не ответят, а в мое личное дело подошьют, где надо. Так пускай прозвучит!

ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ "ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА"
С.Д. ИНДУРСКОМУ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Уважаемый товарищ редактор!

Я, поэт и коллекционер современной русской живописи, вовсе не собирался браться за перо, чтобы дискутировать с народным художником РСФСР Ф. Решетниковым, который на страницах Вашей газеты недоброжелательно отозвался о выставке в Измайловском парке двадцать девятого сентября сего года. Но теперь, когда буквально через несколько дней Ваша газета опубликовала язвительную и угрожающую статью Н.Рыбальченко о творчестве художников, принявших участие в показе картин в Измайлове, я молчать уже не могу, ибо не может молчать моя совесть.

И если Ваша газета сочла необходимым напечатать за короткий отрезок времени две статьи, явно враждебных по отношению к художникам, которых одни называют нонконформистами, а другие - модернистами, то я прошу Вас найти возможность опубликовать и мое небольшое письмо.

С чего начинает свою статью Н.Рыбальченко?Она пишет о картине художника Ламма "Сломанная жизнь". Но как организатор выставки в Измайлове и как составитель каталога, я знаю, что картины с таким названием там не экспонировалось.Более того,такой картины Ламм никогда не писал. В чем же дело? Зачем Н. Рыбальченко придумала эту картину? Вам не известно? Что ж, постараюсь объяснить ситуацию и Вам и читателям "Вечерней Москвы".

Я лично не знаю художника Ламма, члена Союза художников СССР, обладателя целого ряда наград за оформленные им книги, я его никогда не видел.Но мне извест-

но, что художник Ламм через три недели после подачи заявления о выезде в государство Израиль был арестован, обвинен в каком-то уголовном преступлении, которое он, якобы, совершил еще в 1969 году, и уже десять месяцев находится в заключении под следствием.

Картины Ламма "Сломанная жизнь" не существует, но вот жизнь самому Ламму сломали. Н. Рыбальченко своей фразой недвусмысленно угрожает всем художникам, мол, сломаем жизнь и вам.

Почему же пугает нас Н.Рыбальченко? По своему собственному желанию или по указанию тех одетых в штатское работников милиции, которые пятнадцатого сентября жгли картины на костре? И в том, и в другом случае угроза эта не испугает тех, кто знает, на что идет, борясь за свободу творчества. И меньше всего напугает она моего ближайшего друга Оскара Рабина, которому прежде всего и адресована.

Действительно, Н.Рыбальченко умудрилась не заметить в Измайлове художников, которые выставлялись в музеях и галереях Нью-Йорка, Парижа, Рима, Сопота, Лондона, Гренобля, таких, как Л.Мастеркова, В.Немухин, Е. Рухин и многих других известных мастеров. Она издевалась в основном над творчеством совсем еще молодых художников. Но Оскара Рабина она увидела и посвятила ему мрачные строки. Дескать, двадцать лет он экспериментирует, дескать, его холодное и тяжелое творчество враждебно действительности. А где доказательства? Н.Рыбальченко пишет: вот разорванная женская рубашка, вот - ощипанная курица в деревне Прилуки. Это о картинах О.Рабина, выставленных в Измайлове. Неужто разорванная женская рубашка или ощипанная курица могут говорить о враждебном отношении художника к окружающей жизни? Только в воспаленном мозгу очень недоброжелательного человека могут появиться столь странные подозрения и обвинения.

И уж совершенно удивительны заключительные строки статьи Н.Рыбальченко. Она пишет о злом умысле художников, принявших участие в выставке в Измайлове, который "продиктован враждебным отношением к русской национальной культуре". Это по-русски называется - ва-

лить с больной головы на здоровую. Нет, не художники, которые хотят выставляться не только за рубежом, но и в первую очередь у себя на Родине, враждебно относятся к русской культуре. К ней враждебно относятся те, кто пятнадцатого сентября вел бульдозеры и самосвалы на художников и картины, те, кто физически уничтожили В.Мейерхольда, больших русских писателей - О.Мандельштама, Б.Корнилова, И.Бабеля, те, по чьему велению уже пять десятилетий глубоко в запасниках государственных музеев прячут от русского народа картины великих русских художников - В.Кандинского, К.Малевича,М. Шагала.

С уважением Александр Глезер.

Отправил заказным письмом в "Вечерку" и тут же договорился с шефом-корреспондентом "Нью-Йорк Таймс" Хедриком Смитом, что приеду к нему в бюро назавтра в 10 утра и передам письмо. И еще два знакомых корреспондента, француз и итальянец, обещались быть там,чтобы взять текст и опубликовать у себя. Хорошо.Чем больше внимания оттуда, тем трудней расправиться с нами здесь.

На следующий день встаю рано, выглядываю во двор, Гебистская машина на привычном месте, за углом. Думаю, не взять ли с собой сына? Если меня задержат,позвонит друзьям и корреспондентам. Поднимаемся вдвоем к соседу. Обещал (у него - "Жигули") подвести. Едем. Гляжу - он не в себе, нервничает: в один переулок свернул, в другой, под мост зачем-то нырнул. Потом говорит:

- За нами - две машины. Хотел оторваться - не выходит. Извини, но боюсь... - Попробовал уговорить - подбрось, мол, к "Литературной газете", это не опасно. А там до Садово-Самотечной, до корреспондентского дома, два шага. Не получается. И неудобно ему, и страшно.

- Ладно, Андрей, вон стоит такси, давай к нему.

И он рад, что не на улицу нас выбрасывает, и я.В такси спокойнее. Прошу водителя:

- Шеф, гони побыстрей! Опаздываем.

Рванули. Промчали мимо Казанского вокзала, где

обыкновенно заторы, сходу. Выскакиваем на Садовую и вдруг застреваем перед Орликовым переулком.

Пять - десять минут на светофоре красный свет. Встречные машины идут, а мы стоим. Водители ругаются, не понимают. Меня осенило: потеряли, собаки, догоняют! А на часах уже за десять. Чего доброго Смит не дождется - уйдет. Как к нему тогда попадешь? Небось,там вся охрана наготове - схватят и письмо отберут. Наконец, зажегся зеленый. За нами сразу пристроились две знакомые "Волги" - черная 71-69 МКА и серая - 34-25 МКО.Пересекаем Самотечную площадь. Эх, в конце эстакады неожиданно б развернуться и к нужному дому.

- За десять рублей повернешь здесь?

- Нельзя тут...

- Знаю, что нельзя. Потому и даю десятку.

- С работы выгонят.

- Тогда останови!

Высаживаемся у Кукольного театра Образцова и бросаемся не по туннельному переходу, а по верху, через эстакаду, то есть нарушая все правила, но и преследователей запутав, - проскочили они!

Так и есть,Смита у ворот не видать.Придется пробиваться. Страж порядка вылезает из милицейской будки у входа во двор вытянувшегося вдоль Садовой многоэтажного глазастого здания:

- Куда спешите?

Ведь знает же, а ваньку валяет.Неохота мне с ним разговаривать. Детектив разыгрывают, гонку с преследованием, сейчас еще и спектакль.

- I don't understand Russian.

- Документы.

Подаю визитную карточку корреспондента, давно уехавшего из Москвы.

- Это не то.

- Do you speak English?

- A little.

А я то всего ничего по-английски. Раз так, черт с тобой - протягиваю паспорт.

- Пройдемте, в будку, гражданин.

- Алеша! - кричу, - Беги и звони корреспондентам.

Он стремглав мчится по горбатой улочке, а за ним - два дюжих милиционера. Держи его! Держи - хватай двенадцатилетнего преступника!

Заходим в будку. Сержант просматривает мой паспорт и выписывает данные. По всему видно, не собирается ни пропускать, ни отпускать. Ждет распоряжений. Лихорадочно соображаю, как бы отсюда выбраться. И тут, словно ангел с неба, Паоло. Удачно он опаздал. Я стучу в стекло. Сержант что-то кричит. Но поздно. Паоло кивает - мол, все ясно - и заворачивает во двор. Теперь надо атаковывать.

- Вы посмотрели мой паспорт?

- Да, возьмите. К кому вы идете?

- К корреспонденту "Нью-Йорк Таймс" господину Смиту.

- Зачем?

А вот и сам Хедрик, высокий, уверенный в себе. Улыбается и в знак приветствия машет рукой. Откуда-то сбоку появляется и шагает торопливо ему навстречу милиционер возрастом и званием постарше. Объясняются. Тут к Хедрику подтягивается подкрепление - Патрик, Паоло и еще с десяток корреспондентов.

- Вы меня пропустите?

Молчит.

- Через три минуты разобью стекло.

- Два года получите за хулиганство.

- А я хочу.

- Стекло у нас особое - порежете руки, и сильно.

- Я руками не буду. Головой. Представляете, какие снимки выйдут? Кстати, осталось только две минуты.

- Пожалейте меня! Если я вас пропущу, то меня выгонят с работы. Если не пропущу, то будет скандал и тоже выгонят.

Да, эту ситуацию гебисты для милиции не запрограммировали.

- Я себя и свою семью не жалею, так неужели вас жалеть стану?!

Бросаю портфель на пол и начинаю протирать запотевшее стекло.

Сержант высовывается из будки, зовет старшего. Услышав, что я затеял, тот теряется. Тоже просит пожалеть. Я смотрю на часы.

- Одна минута осталась.

Резко зазвонил телефон.

- Товарищ Куприянов, - докладывает старший.-Глезер грозится стекло разбить, а тут корреспонденты !.. Есть! Слушаюсь! - и ко мне: - Возьмите, пожалуйста, трубку.

В телефоне низкий голос:

- Не спешите, товарищ Глезер. Буду через пять минут.

- Через пятьдесят пять секунд я выбью стекло. - И возвращаю трубку. Отступать мне невозможно. Не могу и не хочу. Берите меня,сволочи! Здесь!На глазах у всех! Десять секунд остается.Неожиданно сержант касается моего плеча.

- Проходите, пожалуйста!

Испугались. Не выдержали. Так и только так,силой с ними надо и никак по-другому! Лишь язык ультиматумов понимают, свой, родной, революционный язык. Что ж, ешьте, голубчики, заработанное: вместо простой передачи письма получилась чуть ли не пресс-конференция. В небольшой комнате полно журналистов, а за открытой дверью в соседней - наш переводчик из УПДК[1] сидит в углу,словно сыч, наблюдает исподлобья. Смотри и внимай! Информировать-то Лубянку придется.

Интересно, что несколько дней спустя я снова приехал на Садово-Самотечную со стихами для одной из американских газет. Когда вместе с Юрой Жарких мы подошли ко входу, из будки выскочил знакомый сержант.Я попытался достать паспорт, но он, как приветливый хозяин:

- Идите, идите!

Юра засмеялся:

- Научил ты их вести себя!

---

[1] Управление по делам дипломатического корпуса. Организация, обслуживающая иностранцев, которые работают в Москве.

А между тем сражение разгоралось. В последних числах октября четверо художников - Рухин, Жарких, Комар, Меламид - и я, то есть те, у которых 15-го сентября погибли картины, обратились в районный суд Черемушкинского района для подачи заявления о выплате нам компенсации. Направили нас к судье Алешину. Молодой еще, весь устремленный в карьеру, с недоброй нагловатой усмешкой на продолговатом лице, он надменно вскидывает голову.

- Прошу по одному!

Рухин восклицает:

- Это ж тот самый тип, который судил Рабина и двух ребят!

Значит, ждали здесь художников, знали с кем столкнуть. Ну а как может быть еще? Ох, как ни к чему им этот процесс! Опять ворошить старое: раздавленные и сожженные картины, избитых дипломатов и журналистов! Но и мы не лыком шиты. Инструкции у одного из лучших адвокатов Москвы тайно, чтоб не подвести его, взяты. Подаю иск на Управление транспортного хозяйства, которому принадлежат бульдозеры, самосвалы и поливальные машины. Бумага составлена по всем правилам. Что он сделает? К чему придерется? Читает без комментариев. Садиться не приглашает. Секретарша, почти девчонка, как преданная хозяину собака, поглядывает на меня недовольно. Судья поднимает голову:

- Ваш иск принять не могу. Где доказательства, что машины принадлежат данному хозяйству?

Сказал, как припечатал. Но мы к такому ходу конем готовы:

- В "Советской культуре" через три дня после погрома появилась статья, написанная участниками "субботника". Среди прочих там расписался начальник этого хозяйства, к тому же член райсовета, товарищ Половинка.

- Ну и что? - набычился Алешин. - Он сам на субботнике, возможно, и присутствовал, а техника была не его. Вот если бы вы могли предоставить фотографии с номерами машин...

Перебиваю:

- Можем!

Однако не сдается:

– Принесите, тогда и поговорим.

Ясно. Посоветоваться ему надо. Ведь нашего фотографа 15-го сентября арестовали, отснятые негативы отобрали и думают, что у нас ничего не осталось. Но не приметили, что несколько пленок, прежде чем его схватили, он успел нам откинуть.

Придаю голосу сугубую официальность:

– В соответствии с законом напишите на моем иске, почему не принимаете дело к слушанию.

Противник не растерялся:

– А кто вам сказал, что не принимаю? Я заявление ваше беру, но пока оставляю без движения. Пусть полежит в столе, а вы подготовьте фотографии.

Выхожу. Надо срочно звонить адвокату. Говорю ребятам, чтобы не спешили, потому что судья явно темнит. Отыскиваю телефон. Слава Богу, адвокат дома. Выясняется, что Алешин, естественно, обманывает. Обязан дело принять, а уже в суде рассматривать доказательства. Теперь успеть бы. Прекрасно, он у себя.

– Возвратите иск!

Оживляется:

– Что, раздумали судиться?

– Нет. Но вы нарушаете закон. Вы обязаны иск принять, а разбирать улики в ходе судебного процесса.– И дальше – его же суконным языком: – Если не желаете принимать, то укажите, на каком основании.

Он нетерпеливо дергает плечом:

– Я же сказал, что принимаю!

– Чтобы в стол положить? Нет уж, поступайте, как положено.

– Завтра напишу! Пожалейте очередь!

Посмотрите, до чего они все жалостливые! И милиция, и судейские. И слова гуманные неведомо откуда откапывают, и тон чуть ли не нежный.

– Я не уйду отсюда, пока вы не вернете мне иск с вашим письменным отказом принять его. Я буду жаловаться на вас (ни один мускул не дрогнул на лице Алешина. Да плевать ему – тысячу раз жалуйся!) и предам это дело гласности.

Вот тут-то глаза судьи растерянно округлились, брови полезли вверх:

- Как?!

- Как академик Сахаров.

Алешин бросает на меня убийственный взгляд и садится писать длинную бумагу. Наконец, поднимается:

- Ваш иск, Глезер, принят.

- А у художников?

- Тоже. Только принесите, все-таки, фотографии. Встречу с ответчиками назначаю через неделю.

Из здания суда выходим с ощущением победы. Что завтра, неизвестно, но сегодня враг засел в обороне. Теперь проинформируем корреспондентов. Гласность - попрежнему наше главное оружие. Все - на весь мир.У вас, дорогие товарищи, почта и телеграф, и банки, и суд, и армия и тайная полиция. Казалось бы, в секунду растопчете, но, видно, это в наши дни не так просто.

В ближайшие дни тактика неприятеля свелась к затяжке событий. Через неделю ответчики в суд не явились. Алешин охотно объяснил, что в связи с подготовкой к празднику Великого Октября все заняты. И в Горкоме художников, где рассматривалось наше требование о помещении для декабрьской выставки, тоже отмахивались: "После праздников, после праздников!"

Все-таки пробились мы к Ащеулову. Беседуем.У меня в портфеле магнитофон. Я решил,и, как оказывается, недаром,записывать высказывания председателя.Разговор ежеминутно прерывается телефонными звонками. Он докладывает:

- Да, да, мы закупили к торжественному заседанию тысячу гвоздик и заготовили столько же красных ленточек и вымпелов. - И укоризненно взглядывает на нас, от чего, мол, его отрываем! В ходе двухчасового разговора обращается ко мне подчеркнуто любезно. Чего он только не выясняет! И число художников,и по скольку работ будет у каждого,и какого размера картины (надо же подобрать соответствующий зал!). Истинный радетель! Но иногда кусается:

- Только москвичей выставим! Если ленинградцы,Рухин и Жарких, станут мешаться, милиция нам поможет -

выгоним из Москвы.

- Такого закона нет. Один у меня гостит. Другой - у Рабина.

А он:

- Скажите, Александр Давидович,если мы вас на Колыму отправим, это решит проблему с художниками? Как вы считаете? - И зашевелились его короткие пальцы, словно они уже хватают меня и волокут в ГУЛаг. И маленькие глазки плотоядно посверкивают. А мне смешно: магнитофон-то записывает.

- Думаю, что нет.

Соглашается:

- И я так думаю.

Собственный ли почин у него Колыма? Нет. Скорей всего в очередной раз меня и художников пугает КГБ. Внезапно послышался характерный щелчок - кассета кончилась. Водевильная ситуация.Магнитофон в портфеле гудит, я еле сдерживаюсь, чтобы не расхохотаться.Все понявший Ащеулов притворяется, что ничего не произошло, только чувствую, теперь подбирает каждое слово. Так, под аккомпанемент аппарата, ничем закончилась наша встреча. Окончательно ответить насчет помещения он назначил на 13 ноября.

А дома с утра до вечера названивает телефон. Мне его поставили, пока ездил в Тбилиси, словно в награду за Измайлово. Четыре года тщетно добивался, уже махнул рукой, и неожиданно получил.Теперь гебистам удобнее подслушивать - сидит человек дома, по автоматам и соседям не болтается. Информация сама им в руки идет. Да и удобно засекать самых активных корреспондентов, которые чересчур интересуются, будет ли в декабре выставка, состоится ли процесс.

По вечерам квартира похожа на боевой штаб. Все время люди, разговоры, дискуссии. И тревожное ожидание - чем обернется наше наступление? Неужели до суда доведут? Не очень-то верится. Правда, покамест мы вроде бы уверенно владеем инициативой. Сразу вслед за праздниками ответчик был вынужден пожаловать на встречу с нами. В едином лице две организации - Управление дорожным и транспортным хозяйством и Черемушкинский

райсовет - представлял Половинка. Будто в противовес незадачливой фамилии ее хозяин выглядел внушительно-кряжистый, плотный, большеголовый, этакий матерый медведь.

Протягиваю Алешину фотографии, объясняю, что номера машин проверены, все они из хозяйства Половники. Если мало четырех, принесем и другие.И,как нечто обыденное, предлагаю попросить телевидение ФРГ показать на суде свой фильм, снятый 15-го сентября.

Судью словно током ударило:

- Не надо!

И тут же зарокотал Половинка, дескать, сорвали субботник, лишили рабочих заработка, да еще и судиться лезут. Он сжал волосатые кулаки:

- Мы встречный иск подадим! Пусть оплатят простой людей и техники!

Тогда Жарких напомнил, что ленинский субботник - вещь добровольная, безвозмездный вклад в строительство коммунизма. И ответчик увял, только попросил Алешина дать время, чтобы подыскать опытного юриста. Судья с готовностью согласился и потребовал от нас написать к искам дополнительные объяснения, ибо наша и половинкинская версия противоположны. Ясно, что все это липа. Никому наши бумажки не нужны. Опять небось время тянут. Ладно, 12-го в суде увидим.Откуда нам было знать, что гебисты уже запланировали прямолинейную без всяких хитростей, операцию и судья только выполняет их задание. Вечером 11-го приносят открытку от Алешина: суд переносится на 14-ое. Обидно, что наш порыв спускают на тормозах. И что им дадут двое лишних суток?Ответ мы получили наутро. Едва сажусь на кухне пить чай, под окном останавливается темносиняя "Волга", из нее вылезают двое и направляются к подъезду. На лицах (метит их Господь!) словно отштамповано: сделано на Лубянке. Звонят.Открываю. Входят решительно. Первым тот, что помоложе, пошире в плечах, с непримиримым, цепким взглядом. За ним, видимо начальник, худой, как щепка, длинный, меланхоличный.

- Глезер Александр Давидович? - полуспрашивает, полуутверждает младший.

- Да. А вы кто?

- Капитан безопасности Белов.

- Предъявите документы.

Показывает. Другой называет себя Новиковым, но когда я вновь требую удостоверения, торопливо вмешивается Белов:

- Это неважно! Одевайтесь и поехали.

- Куда и зачем?

- Нужно побеседовать.

- Давайте здесь.

- Нет, разговор такой, что необходимо подъехать к нам.

- У вас есть повестка?

- Неужели вам необходима повестка? Можем привезти.

Тут бы их и помурыжить, да себе дороже - одно ожидание изведет.

- Я не формалист. Только сперва чай допью.

- Вернетесь и допьете, - наглеет капитан.

- Нет уж, придется вам потерпеть. Чай я выпью сейчас. - И иду на кухню. Зову:

- Проходите сюда, в комнатах еще не прибрано.

- Ничего, ничего, - басит Белов, - посмотрю картинки.

А у меня на письменном столе черт знает какие книги навалены и самиздатовская литература. Накануне вечером читали.

- Я же вас просил не ходить по квартире! И картины не приглашал смотреть!

Старший что-то шепнул Белову. Тот утихомирился. В комнаты гебисты не идут, но и на кухню тоже. Переминаются в узком коридоре. Чай пью стоя (проклятая интеллигентность! Люди ждут. Если бы люди!) и гадаю, как сообщить Оскару, что меня увозят. И будто услышал меня Алешка, появился, словно из-под земли. Прибежал из школы - тетрадь забыл. Выбежал и задержался под окном. Я ему вполголоса:

- Беги к дяде Оскару!

Он помчал, а капитан Белов мне:

- Александр Давидович! Так мы с вами не договари-

вались!

- Мы с вами вообще ни о чем не договаривались!

Садимся в машину. Начальник-молчальник рядом со мной. Белов впереди. Командует мордастому шоферу:

- На Лубянку!

Это чтобы меня запугать. Психологический прием.А у меня в запасе свой. Напяливаю темные очки, сигарету в мундштук и дымлю. Достаю жвачку. Жую. Едем, словом не перемолвимся, как на похороны. Вот и площадь Дзержинского и Малая Лубянка. Стоп. Через узкую дверь,минуя охранника, вперившегося в мой паспорт и заранее заготовленный пропуск, в серый мрачный двор и дальше в подъезд.

- Знакомые места? - со значением спрашивает Белов.

- Кажется.

Поднимаемся наверх, заходим в небольшой кабинет. Белов садится за письменный стол, справа от него Новиков. Я - напротив.

- Так, - начинает бравый капитан и затем: - извините, через две минуты вернусь.

Отсутствует больше получаса. Новиков уставился в пол, молчит, словно воды в рот набрал. Опять психологию пускают в ход. Несколько лет назад это, возможно, на меня бы и подействовало. Но с той поры все мы обучились в академии Солженицына и к штучкам-дрючкам гебистов подготовлены. Наконец, Белов возвращается.Раскрывая папку с бумагами, вперяет в меня сверлящий взгляд:

- Доброжелательных разговоров с вами больше не будет! Вы безусловно понимаете,почему здесь оказались?

- Нет.

- Значит, не вы организовывали провокационные выставки?

- Выставки провокационными не бывают. А вот те, кто приказал уничтожить картины бульдозерами, провокаторы!

- Если бы выставки не было,то и бульдозеры не послали бы.

О, академики от логики! Самоуверенные ослы! Неуж-

то, готовясь к этому спектаклю, вы не смогли его отрепетировать? Режиссера ли не нашлось? А может, просто зная свою силу и привыкнув одним только появлением ломать людей, вы даже не посчитали нужным, ленивые, поумней все обставить. В таком случае и мне полегче:

– Ну, естественно, если не существовало бы Юлия Цезаря, Брут не убил бы его.

Гебисты переглядываются. В разговор вступает старший:

– Послушайте, что пишет газета "Новое русское слово": "Молодые коммунисты уничтожили картины..." Дальше и того хуже, – многозначительно роняет он, – сплошная клевета!

– Вот вы и опровергайте, что среди милиционеров, мол, были одни беспартийные.

Но моим собеседникам не до юмора. Белов начинает долдонить, что у меня дружеские контакты с подозрительными иностранцами. Называет несколько уже уехавших американских дипломатов и трех находящихся в Москве журналистов – шведа Стига Фридрексона, норвежца Нильса Мортэна Удгарда и немца Арно Майера. Все трое, по утверждению гебистов, связаны с иностранными разведками. Если перевести столь криминальное обвинение с советского языка на русский, то это всего-навсего означает, что они и подобные им западные корреспонденты, не удовлетворяясь официальными источниками пропаганды, слишком часто пишут о Советской Союзе правду. А у правды об СССР есть удивительная особенность: она почему-то неизбежно выглядит как нечто антисоветское. В этом плане и мое открытое письмо – махровая антисоветчина. Белов то и дело его цитирует и, выйдя из себя, выпаливает:

– Вы написали сплошную ложь!

– Нет, только правду!

– Но правда бывает разной, – философствует капитан, – смотря с какой стороны глядеть.

Ах, не большевики ли твердили на всех перекрестках XX-го века, что есть лишь одна единственная истина – их собственная. Все остальное – ложь. И вдруг на тебе! Занесло чекистов в пылу борьбы не в ту идеоло-

гию. Я ему:

- Если на Оскара Рабина наезжает бульдозер, то вот она правда, и другой нет! Если математика Виктора Тупицына милиционеры избивают ногами, то вот она правда, и другой нет! А то, что вы зачитали мне из зарубежных радиопередач и эмигрантской прессы, то это уже их комментарии событий. Я готов выступить с опровержением, если западные журналисты начнут искажать факты. Сообщат, скажем, что кого-нибудь из художников живьем закопали в землю. Что же касается комментариев по поводу случившегося, то это личное дело каждого из корреспондентов. И пусть кто-либо из советских журналистов вступает с ними в полемику. Например, Мэлор Стуруа. Опытный международник. Я же информирую лишь о фактах.

И вновь подает голос Новиков:

- А зачем вы в конце письма все в одну кучу валите - и тех, кто, по вашему мнению, картины сжигал, и тех, кто когда-то уничтожал писателей?

- Во-первых, это "когда-то" не столь давнее. Во-вторых, разве не понятно, что уничтожавшие писателей и сжигавшие картины люди - одной формации, одного воспитания?

- Ну вот вы пишете, что Мандельштам погиб в лагере? Он же умер дома, после возвращения из лагеря.

О, это действительно новость! Советую Новикову официально сообщить об этом "Литературной энциклопедии", а то весь мир пребывает в заблуждении. И еще довожу до их сведения, что не все написал в открытом письме. Не упомянул в частности, что статья Рыбальченко - антисемитская,что перечисляя врагов русской культуры, она почему-то называет только такие фамилии участников выставки, как Рабин, Рахман, Мариенберг.

Тогда разговор переводится в другое русло. Капитан Белов сомневается, хватает ли у меня времени на литературное творчество. Охотно отвечаю, что трудностей в этом плане не испытываю, так как работаю интенсивно.

- И все же вам лучше, - вкрадчиво продолжает он, - отойти в сторону с организацией выставок, декабрь-

ской, хотя бы, и прекратить контакты с западными корреспондентами. Сидите и тихо занимайтесь стихами.

Объясняю, что я не Иуда и не Понтий Пилат и последовать его доброму совету - не в состоянии и, перехватывая инициативу:

- Имею ли я право собирать картины?

- Да.

- Имею ли я право показывать их людям любой страны?

- Да.

- Имею ли я право информировать того, кого считаю нужным, о тех или иных событиях?

- Да. Но зачем же обращаться к иностранцам?

- Это не запрещено. Есть Конституция СССР, гарантирующая свободу слова. А вот написал я письмо в "Вечернюю Москву", туда же направила письмо группа зрителей, возмущенных статьей Рыбальченко, и жена художника Ламма. И никому из нас не ответили, даже не позвонили. Как это называется?..

Капитан Белов прерывает:

- Мы сейчас обсуждаем поведение не редактора "Вечерней Москвы", а ваше! Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоите на черте, отделяющей честного человека от преступника. Еще один шаг, и вас ничто не спасет! На друзей-иностранцев и на Рабина не рассчитывайте. Помните, что сидеть придется вам. Его и других художников мы не тронем. Так что думайте о себе сами. И слушайте теперь меня внимательно. На основании указа Президиума Верховного Совета СССР от двадцать пятого декабря тысяча девятьсот семьдесят второго года я делаю вам официальное предостережение.

Слово-то какое! Не обычное, безобидное предупреждение, а по змеиному шипящее, вот-вот ужалит - пре-до-сте-ре-же-ние.

- Указ покажите.

В руки не дают. Читаю издали. Оказывается,каждый гражданин Советского Союза может быть вызван в КГБ,теперь-то в полном соответствии с законом, и там встретят его зловещим предостережением. Он виновен, но пока избежал кары. Однако предостережен и, если хочет

выжить, должен затаиться, пригнуться, спрятать глаза. Ах, как удачно изобрели! И не опубликовали указ в газетах. Почти никто о нем не слышал. То ли стыдно, то ли из-за угла нападать сподручнее. Неожиданнее. Эффекта больше.

А Белов зачитывает пункты обвинения. Первое - организация провокационных выставок (этого мне на суде не привесите, не посмеете). Второе - передача клеветнической информации иностранным журналистам (когда б "клеветническая", то вы бы меня не тягали. Одну лишь клеветническую пятьдесят лет на весь мир и выдаете). Третье - создание антиобщественных ситуаций, дающих возможность западным корреспондентам клеветать на Советский Союз. (Нечто новое. "Антиобщественная ситуация" - оригинальная формулировка. Поведайте, что под сим подразумевается. Никому точно не известно, и поэтому приклепают все, что им вздумается.) Четвертое - шантаж судьи Алешина.

Здесь я не удержался:

- Что за шантаж?

- Вы ему угрожали предать дело гласности,если не примет вашего иска.

Вот она, независимость нашего неподкупного народного суда! Материалы немедленно передают в гебушку.Теперь-то ясно, почему Алешин на два дня перенес встречу. Рассчитывают, что выйду отсюда тихим и кротким.

- Я ему объяснил, в чем заключается принцип гласности. И только. Но почему он вам сообщает о том, что происходит в здании суда?

Как будто не слышали вопроса. Капитан читает последний пятый пункт. Распространение песен Галича в Тбилиси в тысяча девятьсот шестьдесят пятом году (почти десять лет спустя пригодилась столичным гебистам служба их тбилисского филиала).

Но это настолько нелепо, что я смеюсь:

Белов посуровел, чеканит каждое слово:

- В случае передачи дела в суд данное предостережение приобщается к обвинительным материалам как официальный документ. Подпишитесь, что ознакомились.

Мне потом друзья говорили, мол, не следовало ничего подписывать, чтобы не облегчать гебистам работу.

Может, это и правильно. Но около двух часов длилось собеседование. Осточертели они мне, и я жаждал продолжения схватки. Судить хотите! А кто же против? У меня готовность номер один, да и расписываюсь я лишь в том, что с обвинением ознакомился и знаю, что оно передается прокурору Москвы.

Втроем спустились, вышли на Малую Лубянку. И Белов спрашивает:

- Надеюсь, что вы из нашего разговора выводы сделаете?

- Не люблю, когда меня шантажируют.

- И все-таки подумайте.

- Единственно могу вам обещать, что один из первых экземпляров "Белой книги" о сентябрьских выставках пришлю вашей организации.

УБИРАЙСЯ В ВОНЮЧИЙ ИЗРАИЛЬ...

"На Запад, на Запад
И к черту потом..."
Борис Пастернак

По дороге домой обмозговываю ситуацию. Кажется, двух мнений быть не может. Необходимо контратаковать. Нельзя позволять гебистам вести себя безнаказанно, надо дать им понять, что все их действия немедленно станут широко известны. Поэтому звоню Андрею Дмитриевичу Сахарову и подробно передаю ему о случившемся.

На следующий день, когда группа журналистов приехала посмотреть картины, я встретил их на улице (подальше от прослушиваемых стен), уведомил, что организую у себя на квартире новую пресс-конференцию и попросил известить об этом других корреспондентов, но только не по телефону, а при личной встрече, ибо пресс-конференцию, посвященную их методам работы, КГБ не допустит. Пусть будет для них сюрпризом. Назначил встречу на два часа, 15-го ноября. А 14-го подбросили в суде новости. Прибыли мы туда втроем: Жарких, я и Алиса Р., знакомый адвокат, которая по доверенности выступала от уехавшего в Ленинград Рухина. Заходим к судье, и я еще с порога спрашиваю:

- Просветите меня, пожалуйста! Районный суд подчиняется городскому, а тот - верховному. И больше никому? Не так ли?

- Да.

- Почему же вы доносите КГБ о наших разговорах?

- Я? Кто вам сказал?

- Позавчера я был доставлен на Лубянку и там услышал, что шантажирую вас.

- А разве вы меня шантажируете? - неумело удивляется Алешин.

- По-моему, нет.

- И по-моему, тоже.

- Вы что думаете, что если мною занялось КГБ, то стану ручным? Ошибаетесь!

- Глезер, возьмите себя в руки. Лучше напишите, вы и ваши друзья, дополнительные объяснения к искам! Как все это происходило пятнадцатого сентября, причем поточнее и с деталями.

- Я больше ничего не должен писать! Вы имеете все материалы для судебного процесса и нарочно волыните. Подыгрываете хулиганам в мундирах. Сколько раз вы собираетесь нас гонять?

Тут Алиса и Юра меня чуть ли не выталкивают за дверь.

- Что ты, старик, завелся? - улыбается Жарких. - Не видишь, он тебя злит? Давай лучше по-быстрому напишем то, что он просит.

А я чувствую, и впрямь, нервы что-то шалят. Слишком много почти без передыха на них за три месяца навалилось. Вышел на лестницу покурить. Вернулся. Ребята уже закругляются. И я уселся сочинять. Юра занес дополнение. Алешин снизошел, принял. Следом Алиса. Только я подошел к двери, она кричит:

- Саша, Жарких забирают!

Смотрю, два человека в штатском прижали его к стене. Подбегаю.

- В чем дело?

- А вам чего надо?

- Моя фамилия Глезер. В здании суда вы напали на моего друга и гостя из Ленинграда художника Жарких.

- Никто не нападает. Мы просто хотим, чтобы он прошел на две минуты с нами.

- На каком основании? И откуда вы сами? Имейте в виду, силой ничего не получится. Вас двое и нас двое. Будем драться.

Здесь и Юра вступил:

- Я же просил предъявить документы!

Они переглянулись. Достали удостоверения. Один ка-

питан Христофоров. Второй лейтенант Воронов. Оба из 120-го отделения милиции, того самого, что участвовало в бульдозерном погроме и расположенного в том же здании, что и суд. Христофоров большеголовый здоровяк. Его напарник плюгавый, с гнилыми зубами. Точь в точь Шариков из "Собачьего сердца" Булгакова.

- Можете подождать минутку, пока отдам судье бумагу? - спрашиваю.

- А зачем ждать? Мы пойдем. Догоните.

- Как бы не так! Кто вас знает, куда вы его затащите! Нет уж, разделяться не станем. Поднимаемся на пятый этаж. Жарких заводят в какую-то комнату, а меня не пускают. Наконец врываюсь. Юра сидит за столом, а черемушкинский Шариков протягивает ему бумагу:

- Напишите, зачем вы в Москву приехали, когда и насколько.

Отзываюсь:

- Он приехал вчера ко мне в гости. Это что - преступление?

- Закон нарушаете. Живет у вас человек без прописки, а вы еще шумите.

- При чем же тут Жарких? Меня задержите и оштрафуйте. Я достаточно зарабатываю. И, кстати, откуда милиция узнала, что мы сегодня будем в суде? Какая организация вам об этом доложила?

Шариков растерялся, но капитан Христофоров в карман за словом не полез.

- В журнале "Крокодил" прочли! - и захохотал, довольный собственным остроумием.

Юра задумался, а парочка Христофоров - Воронов, склонившись над ним, повторяет:

- Пишите, на сколько дней приехали, пишите, на сколько дней приехали...

Это они явно по заданию КГБ хотят его, как человека активного, поскорее спровадить из Москвы.

- Юрочка, ты же не станешь меня обижать!Мы ведь договорились, что ты погостишь две недели.

- Конечно, конечно! - подключается Жарких.

- Ну, теперь-то вы можете итти, - миролюбиво говорит Христофоров. - Отдавайте бумаги судье. Ваш при-

ятель через две минуты будет свободен.

Похоже, что так. Спешу к Алешину, а то еще уйдет. Едва выхожу от него, как ко мне бросается Алиса:

- Они его вниз только что повели!

- Ах, скоты, скоты! Обманули все-таки!

Хватаю тяжелый Юркин этюдник и бегу по лестнице с криком:

- Жарких! Жарких!

Этюдник бьет меня по ногам,со страшным шумом ударяется о железные прутья лестницы.

- Жарких! Жарких!

Не откликается. Выскакиваю на улицу. Справа милицейская машина. Заглядываю в нее. Пусто. Какой-то милиционер басит:

- Что вы ищете?

- Своего друга.

- Не спрятали же мы его в багажник!

- Можете и в багажник спрятать, и на части разрезать, на все способны!

Выбежавшая из подъезда Алиса смеется:

- Саша, перед тобой же отделение милиции! Юру наверное туда завели.

Слона-то я и не приметил. Юра и правда там оказался. В коридоре, налево от входа, огромная комната. Похоже, что дежурка. И через застекленную дверь вижу, он снова что-то пишет. Как потом выяснилось, двухнедельное пребывание Жарких в Москве кого-то не устраивало, и на него давили, чтобы дал расписку, что уедет в течение суток.

Вознамерился войти. Однако детина в мундире держит дверь с обратной стороны. Все же удалось проникнуть. Но тот же детина хватает меня за плечи, за руки, пытается вытолкнуть в коридор. Отбиваюсь. Спрашиваю, почему хамит.

- Мне так нравится!

- Ваша фамилия?

- А ну иди отсюда!

Подбегаю к возвышающемуся над барьером дежурному:

- Кто этот хулиган? Почему он себе позволяет грубо со мной разговаривать?

- А кто вы такой?

- Гражданин Советского Союза. Писатель.

Последнее очевидно произвело на дежурного впечатление. Поднадзорных и бесправных граждан в СССР 250 миллионов. С ними церемониться нечего. А с писателем свяжешься на свою голову.

- Чего ты боишься назвать фамилию? - спрашивает собрата.

- Боюсь?! - оскаливается детина. - Сержант Никитин моя фамилия. Ясно? А сейчас покиньте помещение!

Алиса, молодец, сбегала за угол и позвонила Оскару. Теперь не потеряемся. Еще хорошо бы Уиллу Саттеру звякнуть, американскому дипломату,к которому мы с Юрой сегодня идем в гости. Он нас должен встречать на улице, чтобы провести беспрепятственно мимо милиционеров,следящих за каждым, кто вступает в запретный дом на Ленинском проспекте, где живут только иностранцы. Но наверное мы опоздаем. Впрочем, еще полчаса в запасе.

Из дежурки выходит усталый пожилой сержант и приветливо, даже с участием, говорит:

- Не волнуйтесь. Всего минут десять придется потерпеть. - И направляется к лестнице.

А коридор быстро наполняется милиционерами и дружинниками. С интересом поглядывают на нас с Алисой.Может, из любопытства, может, что-то замышляют.

- Вовремя, - говорю, - ты успела позвонить.Теперь отсюда и не выскочишь. Обратно, небось, не пропустят.

А минуты летят - десять, двадцать, тридцать...Возвращается пожилой сержант.

- Послушайте, уже все сроки истекли! Мы опаздываем. Нас ждут друзья.

- Позвоните и предупредите их об опоздании,- с достоинством советует он.

- Это американские дипломаты.

- Ну и что? Позвоните, только не рассказывайте, что вы в милиции. Придумайте что-нибудь.

- Нет, врать я не привык. Скажу, что есть.

С сержанта приветливость словно ветром сдуло:

- Антисоветчик, убирайся в Америку!

- Когда захочу, тогда и уберусь!

Черт возьми, где же отыскать телефон? Замечаю в конце коридора дверь с лаконичной надписью "Партком". О, тут-то телефон должен быть наверняка. И как забавно из парткома беседовать с Уиллом. Стучу. Раздается: (войдите!) За столом интеллигентного вида мужчина в штатском костюме. Вежливо спрашиваю:

- Разрешите позвонить?

Он удивлен, но не отказывает. Быстро набираю номер:

- Good evening, Will. I and Jura will come to your place later.

На этом мои познания в английском кончаются.

- Can I speak with Ell?

Его жена прекрасно говорит по-русски.

- Что случилось, Саша?

- Юру задержала милиция.

- Это ужасно!

- Нет, ничего страшного. Не волнуйся. Просто нижние чины хулиганят.

Парторг сжимает зубы. Надо же, попал в переплет! Но и не прервешь.

- Так вы не придете?

- Придем, только немного опоздаем.Пусть Уилл нас не встречает.

- Внизу же милиция!

- Неважно, с ней еще раз потолкуем. До скорого!

И парторгу:

- Благодарю вас.

Он уткнулся в бумаги, молчит.

Я доволен. Придется им отпустить Юру, коль американцы в курсе дела.

Алиса предлагает сочинить жалобу начальнику отделения на грубое поведение его подчиненных.

- Отличная мысль! Ты, как адвокат, и составляй челобитную.

Едва она ее заканчивает, появляется Юра.Но в кабинет начальника впускают лишь меня одного. Видно, им приятней беседовать без свидетелей. В комнате четыре человека: сам шеф, двое милиционеров, в том числе рекомендовавший мне убраться в Америку, и худой, как

глиста, тип в штатском, который сидит за столиком чуть-чуть в стороне и делает вид, будто изучает какие-то материалы.

Начальник с кислой миной читает жалобу. Садиться не приглашает. Переживу. Сяду и без приглашения. Читает он долго:

- И что вы хотите?

- Там же написано. Чтобы вы наказали ваших хулиганов и проинформировали меня, как именно их наказали. - И, сокрушенно: - Наверное не проводите с подчиненными воспитательной работы?

- Послушайте, - вздыхает он, - известно ли вам, как сложна служба нашей милиции, как много забирает нервов? Иногда и сорвешься.

- Все равно не дозволено хамить, ругаться и заниматься рукоприкладством.

- Да, безусловно. Но вот вы поэт. Написали ли вы хоть одно стихотворение о милиции?

- Нет.

- О чем же вы пишете, позвольте узнать?

Ну, действительно, о чем же писать поэту, прозаику, драматургу, как не о доблестной советской милиции, которая, по словам великого пролетарского поэта Маяковского, его бережет, а по нашим, скорей, стережет.

- О любви пишу.

- Гм. А видели ли вы когда-нибудь работу милиции?

- Не раз.

- Например?

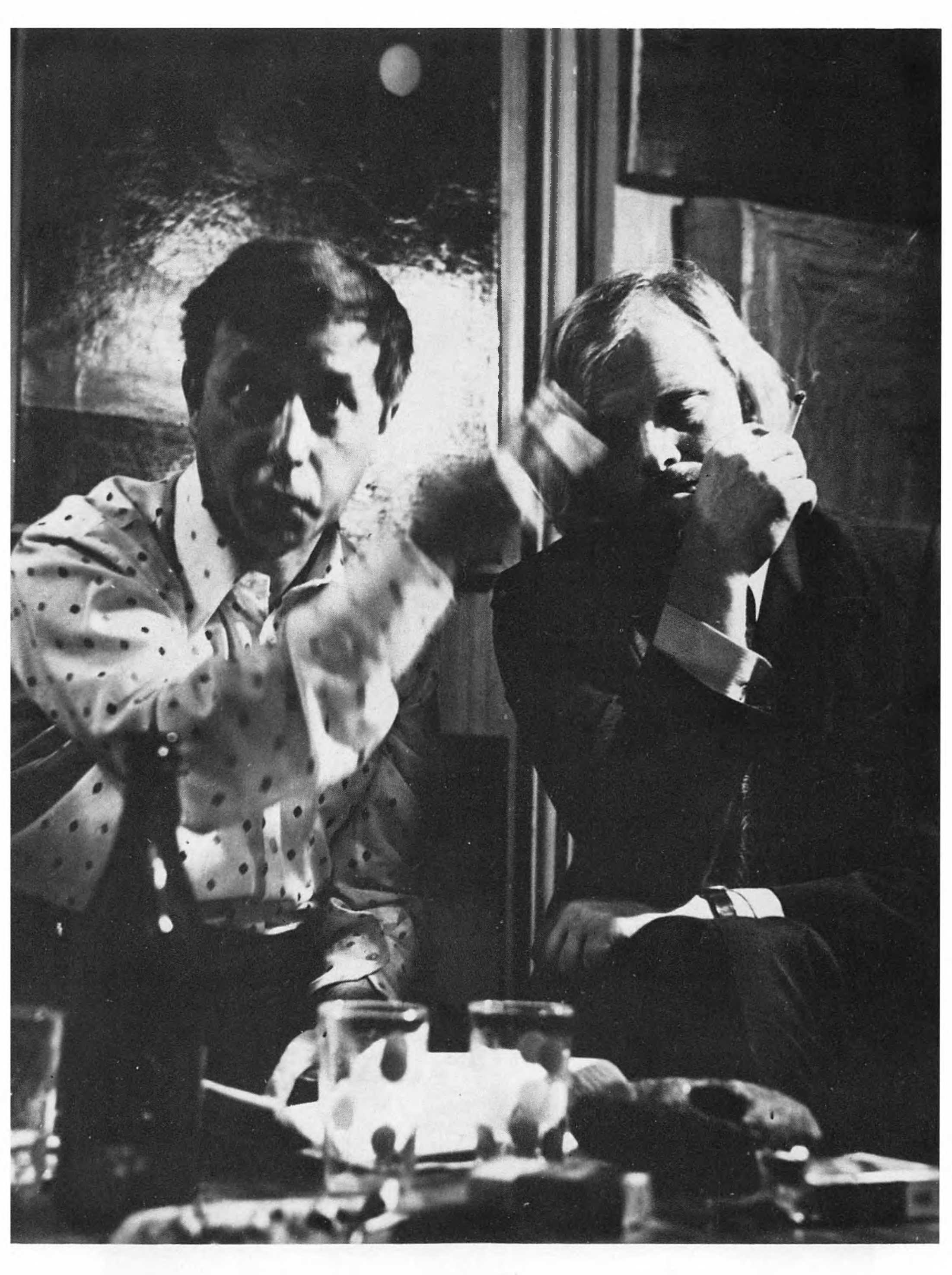
- В Кунцеве десять лет назад на моих глазах милиционеры арестовывали пятидесятников. Впечатляющее зрелище!

- Нет, нет, какую-нибудь большую, сложную операцию.

- Еще бы! Пятнадцатого сентября как раз ваши милиционеры под видом рабочих громили выставку.

- Н-ну, это не то...

- Почему же? Как раз то самое. Крупная операция при поддержке бульдозеров и самосвалов. Со сжиганием картин, арестом художников, избиением иностранцев. Разве не серьезная, не трудная операция?



Москва. 15 ноября 1974 года. Квартира А. Глезера. Пресс-конференция для иностранных журналистов.



Москва, 15 ноября 1974 г. Квартира А. Глезера.
Пресс-конференция для иностранных журналистов.

Его лицо каменеет. Минута торжественного молчания. И не говорит он затем, а цедит:

– Я пришлю вам ответ на жалобу.

Естественно, ничего не присылает. Вернее, присылает через неделю, но не ответ, а жалобу на меня в местное Преображенское отделение милиции – у Глезера без прописки проживает художник Жарких.

А 15-го ноября в два часа открылась пресс-конференция. Приехали скандинавские, американские, немецкие, французские журналисты. Я рассказал о событиях 12-го ноября на Лубянке, о вновь испеченном указе Президиума Верховного Совета от 25 декабря 1972 года (кстати, никто из присутствующих о нем даже не слышал), зачитал протест против действий работников КГБ. Оскар говорил об акциях КГБ против участников Измайловской выставки и против меня, как ее организатора. Жарких поведал о наших злоключениях в суде и милиции, художница Светлана Маркова сообщила, что ее мужа, художника Александра Пеннонена, после Измайловской выставки поместили в сумасшедший дом, где он пребывает и поныне (любопытно, что назавтра его уже выпустили).

Только-только журналисты разъехались, а Оскар дошел до дому и разделся, как к нему заявилась незнакомая дама, назвавшаяся Ланской, представительницей Союза художников. Извинившись за неожиданное вторжение, принялась уверять, что художникам нечего волноваться, всех станут выставлять, кое-кого и в Союз примут. Тут гостья сделала многозначительную паузу:

– Вас мы купим. А Глезера – ликвидируем.

Ну и представительница Союза художников! Впрочем, может там, наряду с секциями живописи, графики и плаката, создана и террористическая секция? Под эгидой все того же КГБ, конечно. Тем более, что угрозы таинственной незнакомки оказались не пустыми словами.

Вечером того же дня пришли посмотреть картины два американских студента, изучающих русский язык. Мы засиделись в кухне до четырех утра. Болтали, пили чачу, слушали магнитофонные записи Галича. Я проводил гостей до Цветного бульвара и направился к стоянке такси. Сделал несколько шагов, и тут из-за угла выныр-

нула тройка парней. Вокруг - ни души.

- Дай закурить! - буркнул один из них.

Я порылся в карманах:

- Нету, ребята.

- У, жидовская морда! Сигарет пожалел! - прорычал другой и ребром ладони неожиданно и умело нанес мне удар по шее чуть выше кадыка. Я задохнулся и упал как подкошенный. Тогда "ночные любители пострелять сигареты" с остервенением начали избивать меня ногами (спасибо толстому тулупу, смягчавшему удары) и кричать:

- Жидовское отродье! Убирайся в свой вонючий Израиль!

Таким вот макаром я получил от властей первое предложение покинуть пределы СССР.

Кое-кто из читателей, особенно знающих нравы московского хулиганья, может возразить: "А откуда вы знаете, что это были гебисты или дружинники, а не хулиганы?" Вопрос резонный. Но прежде всего, внешне я на еврея абсолютно не похож, и надо заглянуть в паспорт ко мне, чтобы узнать мою национальность. И еще: если эти люди-нелюди - случайные прохожие, куда девались гебисты, чьи машины трогательно сопровождают меня на протяжении двух месяцев? Неужто спокойно наблюдали за происходящим, понимая, что во всех случаях подозрение в содеянном падет на них, и вполне вероятен скандал, которого столь не любит их "респектабельная" организация?

Увы, увы! В крике "жидовское отродье, убирайся в вонючий Израиль" я отчетливо слышал стальной голос родного государства.

ОПЯТЬ ЛУБЯНКА

Окружают меня, окружают,
Окружают, как дикого зверя.

Значит, они меня поторапливают. Настроились, что подам заявление в ОВИР не позже октября, но по моей просьбе прислали из Израиля новый вызов. Органы этим-то и обескуражены. Будет Глезер еще год воду мутить,а там получит очередной вызов - и так до второго пришествия. Выжить, выжить его!.. Вынудить убраться восвояси.

А я отъезд и в голове держать перестал.Когда беспросветное существование, подобно болоту, засасывало, когда от своей никчемности хотелось выть волком, - готов был бежать на край света. Теперь дудки! Кто же в разгар сражения дает деру? Но, философия - философией, а на ночной разбой откликнуться следует. Третью пресс-конференцию не созовешь - повод мелкий. И скучно наверное журналистам непрерывно ездить ко мне на пресс-конференции. Прикидываю и так, и этак, и намечаю: продолжаем таранить Алешина - пусть назначает судебное разбирательство; продолжаем жать на Управление культуры - пусть санкционирует декабрьскую выставку.Это убедит неприятеля в моей непреклонности. А еще подгажу ему своеобразным манером: сорганизую на квартире вечер собственной поэзии. Приглашу художников, друзей, иностранцев, - стукачи сами придут, и бабахну стихами, которые припрятаны глубоко в столе, а часть и вовсе хранится вне дома.

И пошло-поехало. Регулярно навещаем Алешина, который юлит, крутится, вертится, но придерживается рамок закона. Сулит обязательно назначить дело к слуша-

нию, только оттягивает, оттягивает, чего-то дожидается.

Выставку на декабрь пробили. Принимал нас с Рабиным лично председатель Управления культуры Моссовета, в некотором роде министр культуры Москвы,Покаржебский. Ласковых слов не жалел. Кроме птичьего молока,все обещал: и ежегодные экспозиции, и специальный салон для продажи картин, и альбом с репродукциями. Можно было подумать, что то ли произошла культурная революция,то ли она вот-вот разразится.

А двумя-тремя днями позже возобновились атаки на художников.Грязную статью опубликовала "Вечерняя Москва", особенно лягнув Оскара и Немухина. Милиция схватила Диму Плавинского, когда он выходил из моей квартиры, и учинила ему по всей форме допрос:

- Зачем ходили к Глезеру?
- Кто там был?
- О чем велись разговоры?

Гебисты пристали на улице к Эльской, выкрикивая ей вслед из машины угрозы. От Мастерковой участковый потребовал, чтобы она трудоустроилась в пожарном порядке - иначе попадет под суд как тунеядка. Толково спланировали: одни организации бросают к нашим ногам золотые россыпи, другие организации травят. Первые - широковещательно, чтобы весь мир убедился в демократичности страны Советов. Вторые - втихомолку.Глас "Вечерней Москвы", и тот на Западе вряд ли услышат. Она, как большинство областных и городских газет,предназначена лишь для внутреннего употребления, вывозить за рубеж строго воспрещается - стыдно. На страницах царит ложь, не то что в "Правде" или в "Известиях", а неприкрытая, не отретушированная.

Забегаю вперед. Покидая СССР, мы привезли на таможню коробки с пластинками. Таможенник открыл первую из них и увидел наложенные на пластинки сверху, чтобы не разбились, разорванные на клочки газеты, спросил:

- Какие?
- "Вечерка", "Московская правда".
- Нельзя.
- Рваные же!

- Все равно.

Однако лукавые планировщики были разгаданы, и художники преподнесли им сюрприз - по инициативе Оскара отказались от декабрьской экспозиции. Удивленным корреспондентам было сказано:

- Мы не пойдем на выставку, когда преследуют наших товарищей, мы не позволим использовать нас для обмана международной общественности (мол, посмотрите,какие мы либеральные! Бульдозеры досадная ошибка. Зато потом и Измайлово, и экспозиция в помещении.Все в лучшем виде, все в полном соответствии с политикой разрядки напряженности).

Оскар просил отменить и вечер поэзии,полагая,что отказ от выставки с публичной оглаской причин достаточный щелчок по носу властям и не надо раздражать их дополнительно. Я отстаивал право на свою войну с ними. Видя, что меня не остановить, Оскар превратился в цензора, категорически восстав против чтения наиболее антисоветских стихов.

- Они у тебя все "анти". Ты не должен выступать с самыми отчаянными. Ты принадлежишь не себе, а всем нам.

С ним и с Витей Тупицыным, разделявшим Оскарову точку зрения, мы спорили из-за каждого стихотворения:

- Это - можно.

- Это - нельзя!

- Это - ну, дьявол с тобой, читай!

Мы сидели, как обычно, в кухне. За стенкой Алеша отстукивал на пишущей машинке отобранные стихи.В большой комнате художники уже который день засиживались заполночь, распивали вино и водку и дискутировали до хрипоты - правильно сделали, что отказались от выставки, или нет. Майя стонала:

- Так больше невозможно! Невыносимо!

Она жаждала покоя. А в доме третий месяц непрерывно толклись люди, милиционеры и стукачи.

- Устраивай выставки, пресс-конференции, вечера, воюй с КГБ, но и жить дай! Погляди на меня,погляди на ребенка! Что ты с нами творишь?

Она была права. И я был прав. И не было выхода.И, доведенный ее упреками до исступления, я орал:

– Ты, пятая колонна! Ты хуже КГБ!

Порою мы ненавидели друг друга. Порою казалось, что конец, семья распадается. Но любовь оказывалась сильнее. И сбежав сначала к подруге, а потом с Алешей в дом отдыха, она сразу прилетела, едва надо мной нависла серьезная опасность.

Вечер поэзии 3 декабря прошел благопристойно,без эксцессов. Оскар притулился в первом ряду и сосредоточенно слушал, не нарушу ли договора, не занесет ли меня? И так же сосредоточенно слушала явившаяся без приглашения симпатичная секретарша секции детских писателей Московского отделения Союза писателей Инесса Холодова. Но о ней позже.

7 декабря мы с Рабиным на сутки смотали в Ленинград. Рухин отмечал день рождения. На обратном пути Оскар, недавний сторонник моей эмиграции – поможешь оттуда, здесь глухо, принялся уговаривать меня не уезжать. Тщетно я убеждал его, что давно распрощался с мыслью об отъезде. Он не верил, упрямо повторял:

– Мы должны драться вместе!

Той ночью в душном,несмотря на распахнутую дверь купе, нами был разработан тонкий тактический вариант. КГБ хочет, чтобы Глезер убрался на Запад. Глезер притворяется, что согласен. Берет в ОВИРе анкеты для заполнения и не спешит. И вообще может потерять анкеты и сходить за новыми. А дальнейшее сама жизнь подскажет. Мы, как дети, радовались задумке, да не учли одного – стукачей. Не трудно было догадаться, что без них не обойдется. Не случайно, когда мы ехали в Ленинград и обратно, в вагоне почему-то оказывался пассажир, которому кассиры "по ошибке" продали билет на Оскарово место. Деваться этим лишним гражданам было некуда, и они настырно болтались неподалеку от купе.Увлеченные нашей идеей, мы не обратили на них внимания. Видимо они-то и доложили Лубянке подслушанное. Потому и маневр не удался.

11-го утром широковещательно, специально для КГБ, оповестил друзей, что еду в ОВИР. Это для перестрахов-

ки. Все равно за такси двигалась машина с двумя лбами. Инспектор районного отделения ОВИРа, лет под тридцать полная женщина, осведомленная о моем визите, интересуется, кто я по профессии, почему уезжаю. Узнав,что меня выгоняют, участливо вздыхает, дескать, понимаю, но помочь не в силах.

Нет, не верю я тебе, инспекторша.Добрых людей на такие должности не сажают. Искренних - тем более. До свидания - и на улицу. Такси тут. Лбы тут. Порядок. И Оскар доволен: угомонятся на время. Ох, как мы заблуждались!

...Около полуночи ко мне завалилась компания: художник Алик Гогуадзе с приятелями и разгульной девкой Ларисой, в просторечии Лориком, именующей себя "матерью русской демократии", пухловатой небольшого росточка особой в устрашающе черных очках, которая вечно крутилась возле молодых живописцев и длинноволосых московских хиппи. Всю ночь мы кутили, крутили музыку, балагурили. Прилегли только на рассвете. В 8.00 звонок в дверь:

- Откройте, Александр Давидович. Это Сергей Леонидович. Поговорить нужно.

- Вы один?

- Да.

И в дурную башку не пришло, что не балакать приехал он ко мне - не о чем нам разговаривать!

- Подождите, оденусь.

Я и не раздевался даже, но ребят предупредить необходимо, и прибраться бы не мешало. Прибраться! Осел! Лучше бы припрятал, на балкон вынес бы, что ли, чуть не посередине комнаты валяющийся чемодан с материалами "Белой книги". Еще неделя, закончил бы ее.

И вновь нетерпеливый звонок. Куда подевалась ваша застенчивость, Сергей Леонидович? Открываю. И бесцеремонно отбросив меня в сторону, в квартиру врывается гебистская банда. Впереди в форме низкорослый, жилистый с острым будто треугольным лицом,очевидно,главный, за ним в штатском Ильин и еще четверо оперативников. Один, в дальнейшем ни на шаг от меня не отходивший, ширококостный грубо сработанный тип застывает около меня. Двое устремляются в Алешину комнату, двое

в Майину. Сгоняют гостей в кухню. Велят писать, почему здесь ночевали. Начальник, широко расставив кривые ноги:

– Глезер Александр Давидович?! Я – старший лейтенант, старший следователь Комитета Госбезопасности Москвы и Московской области Грошевень Николай Викторович. Ознакомьтесь с ордером на обыск.Антисоветская литература, валюта, драгоценности.

А я невнимательно вслушиваюсь и бессмысленно твержу, обращаясь к Ильину:

– Вы меня обманули! Вы меня обманули!

Нашел когда и кого стыдить. Ухмыляется, сука!

Грошевень усаживается за небольшой круглый столик:

– Что это у вас и стола настоящего даже нет. – И следом: – Сами покажите, что где?

– Ищите!

Гебисты принимаются искать. Мне выйти из комнаты не дают.

– В туалет можно?

Грошевень не возражает, но за мной тенью мой сторож. Отвел, привел. Чего они опасаются? А ищейки стараются, все в зубах несут Грошевеню. Он заносит в протокол. Изымают магнитофонные кассеты. На этих - беседы с художниками об их творчестве, никому не повредят, и не жалко. Вторые экземпляры надежно скрыты. Словно в воду глядел – переписал. На тех выяснения отношений с наведывавшимися ко мне милиционерами и гебистами.Коечто в бытность удалось зафиксировать. Жаль отдавать, но почти все помню наизусть. На этой кассете мои стихи, антисоветчина с начала и до конца. Пусть переваривают. Страха никакого не испытываю. Ненависть сжигает все иные чувства. Позже Марат признавался:

– У тебя в течение двух месяцев был типичный реактивный психоз. Положил бы в больницу, но ведь от меня заберут – и в психушку.

Вскрывают чемодан.

– Белая книга! – вскидывается Грошевень. Радостные возгласы.

Хорошо, господа, смеется тот, кто смеется послед-

ний. Берите, давитесь! Даст Бог, восстановлю. Кое-что скопировано. Не доберетесь.

Валюты и драгоценностей в доме почему-то нет.Притаскивают следователю книги зарубежных изданий: Орвела, Замятина, Булгакова, Набокова и Евангелие.

- А что, Евангелие тоже антисоветская литература?

- Не знаю, не читал! - отрезает Грошевень.

Но до чего же плохо работают! Роются,роются в бумагах, копаются в чепухе, а в толстую коричневую тетрадь с записями, которые, ох как могут повредить близким друзьям, заглянули - вот когда дух захватило! - и зашвырнули под стол. Полегчало. Пытаются снять с полки портрет Солженицына.

- Это не литература и не валюта! Не трогайте!

- Любите его?

- Люблю.

- Ну-ну... Он же антисемит...

Улучив минуту, хватаю телефонную трубку, но аппарат отключен.

Грошевень подпускает шпильки:

- Не ерепеньтесь, Глезер, поберегите нервы.

Восемь с половиной часов длился обыск.За это время заглянули сосед - шуганули его, да чета Русановых. У них проверили документы и отпустили. Надеялся, что они заскочат к Оскару. Куда там! Полные штаны со страху наложили. В 16.40 в присутствии двух понятых, студента и студентки, прихваченных, по их словам, прямо на улице, гебисты опечатали все изъятое добро. Грошевень, отдавая мне копию протокола:

- А теперь, Александр Давидович,мы с вами поедем на допрос.

Самодовольный поганец!

- Без повестки не двинусь с места.

Острит:

- Сдвинуть бы вас сдвинули, но, пожалуйста, повестку я выпишу.

Читаю. Пока еще не обвиняемый. Привлекают в качестве свидетеля.

- По какому делу?

- Номер четыреста девятнадцать, спекуляция антисоветской литературой.

- А я при чем?

Многозначительно:

- Скажу.

Перед уходом просит всех очистить квартиру.Я брыкаюсь:

- Кто-то должен остаться! Мало ли что вы мне подкинете! Иначе не поеду.

Грошевень, морщась, соглашается. Лорик и Гогуадзе запирают за нами. Гебисты косо смотрят на Алика. Очень не понравилось им, как он объяснил свое пребывание у меня: "Саша Глезер - мой кровный брат, и я прихожу к нему, когда захочу и зачем захочу."

Лубянка. Ровно месяц назад я был здесь в правом крыле. Теперь привезли в левое. На третий этаж не иду, а бегу - скорей бы в рукопашную! - перескакивая через ступеньки. Грошевень за мной.

- Не торопитесь, Глезер. Разговор у нас долгий.

В кабинете было присаживается, но:

- Я перекушу быстренько, а чтобы вам не скучно было, побудьте в комнате с товарищем Копаевым. Тоже наш следователь.

Я-то за целый день чашку чая да бутерброд с сыром в себя протолкнул. Вот и изголяется. Через полчаса вернулся. Копаева поблагодарил, отпустил - и за стол. Я слева от него, за соседним. Вынимает и разглаживает протокол допроса. Но не заполняет. Сначала,мол, погутарим, а потом попишем. Спрашивает, где я достал книги, изданные за рубежом. Молчу. Придвигает ко мне уголовный кодекс.

- Посмотрите сюда. За отказ от дачи показаний можете получить год исправительно-трудовых работ.

Отбрасываю сборник в серой унылой обложке.

- Это ваш кодекс.

- Это наш советский кодекс!

- Нет, ваш!

- Александр Давидович! Мы арестовали группу спекулянтов антисоветской литературой. Почему вы не хотите нам помочь?

Опять в кошки-мышки со мной играют. Что ж, я непрочь.

- Орвела и Замятина купил на черном рынке в тысяча девятьсот семьдесят первом году.

- У кого?

- У спекулянта.

- Примет не помните?

- Николай Викторович, за три года не то что спекулянта, а любимую женщину позабудешь! Кажется,брюнет. Длинный.

- А Булгакова?

- Кто-то подарил на день рождения.-И поясняю: -У меня же по сто человек бывает! Подарки на стол в комнате сына складывают. Не разберешься, от кого что.

- А Набоков?

- Сосед принес.

У ГрошеВеня загорелись глаза.

- Фамилия!

Называю и добавляю:

- Он в Израиль эмигрировал.

На треугольном лице старшего следователя вздулись скулы:

- А Евангелие?

Приятельница оставила, когда в Америку уехала.

Грошевень кладет передо мной лист бумаги:

- Напишите все, что рассказали.

Почему нет? Пишу. Он вызывает Копаева, который вновь меня сторожит, а Грошевень с моим признанием отправляется к начальству. И сразу же обратно. Зырится исподлобья. В кабинет входит среднего роста, кряжистый, пожилой с проседью человек. Грошевень и Копаев в струнку. И мне:

- Встаньте, это полковник...

- Ваш полковник!

Тот, брезгливо держа мое объяснение:

- Я не верю ни одному вашему слову.

- А я вашему!

Он устремил на меня взгляд. Буквально гипнотизирует.

- Что вы смотрите, как комиссар Мегрэ?

Полковник безмолвно повернулся и скрылся в темной пасти коридора. Копаев за ним. Грошевень напустил-

ся на меня.

- Как вы себя ведете?

- А кто он такой?

- Начальник следственного отдела Госбезопасности Москвы и Московской области, полковник Коньков.

- Ну и что?

Выйди же из себя, Грошевень, выйди! Выплесни злобу, которая таится в твоих глазах! Нет, отменно вымуштрованный старший лейтенант сдерживается.

- Александр Давидович, среди арестованных спекулянтов ваш знакомый.

- ?!

- Флешин.

Так вот где он! Его жена Эла звонила на днях и сказала, что Саша второй месяц в Таджикистане. Я удивлялся длительности командировки. Бедняга же попал как кур во щи. Летом мимоходом видел его в Тарусе.Он удил рыбу и приговаривал:

- Пусть политикой занимаются лошади.

Грошевень:

- Флешин на следствии показал, что восьмого октября сего года около дома художников вы ему продали двенадцать антисоветских книг: Солженицына, Бердяева, Замятина...

Сварганено грубо. Во-первых, спекулянт, находящийся под крышей КГБ, подпишет любые показания. Подтвердит, что ни потребуют. Во-вторых, кто же поверит, что забрали меня не за выставки, не за открытые письма и пресс-конференции, а за книжную торговлю. И в-третьих, 8 октября я был в Тбилиси. Стопроцентное алиби. Нокаутирую я вас.

- Врет Флешин!

- А мы точно знаем, что не врет!

Я смотрю на часы. Бог ты мой! Уже скоро девять!

- Мне нужно позвонить домой.

- Нельзя.

Ах, нельзя! Разговаривайте сами с собой. Умолкаю, и Николай Викторович сдается.

- Звоните, только покороче.

Набираю номер, и Лорик выпаливает, что в "Вечер-

ней Москве" обо мне фельетон. Лубянка меня еще лишь допрашивает, а газета уже спекулянтом антисоветской литературы обзывает. Ну, в меня, товарищ Грошевень, дисциплину не вбивали, и нервы мои не столь закалены, как ваши. Роняя стул, вскакиваю:

– Негодяи!

Вздрогнул. Вскинул невинные голубые глаза. А я разбушевался и вправду, как псих:

– Вешайте, бейте, пытайте! Ни слова больше от меня не услышите!

На крик прибежал Копаев. Засуетились.

– Александр Давидович, что с вами?

– Кто приказал "Вечерней Москве" печатать обо мне фельетон?

– Но не мы же! Наша организация к прессе отношения не имеет.

– Суда не было! Приговора не было! А я уже преступник, и без вашего ведома?

Грошевень всплескивает руками.

– Можно же по-человечески! Зачем шуметь? Да вы поймите, – мы "Вечернюю Москву" давно не выписываем. Только "Правду", "Известия" и "Литературку".

Отчего-то именно эта брехня подействовала на меня отрезвляюще. То КГБ всевидяще. Так и допросы с новичками ведутся. "Признавайтесь, нам все равно всегда все известно". То КГБ в полном неведении. Московские следователи не читают московских газет.

– Мы с вами, Николай Викторович, понапрасну теряем время.

Он же, заметив, что я в норме, опять за стол и меня приглашает.

– Разберемся. С Флешиным давно знакомы?

– Лет семь.

– И ничего ему не продавали?

– !

– Но покупали?

– Да.

– Антисоветскую литературу?

– Альбомы по живописи у него приобретал. Какие, не помню.

А Грошевень вновь пускается во все тяжкие. Уговаривает меня добровольно сознаться, что я загонял антисоветскую литературу. Ну, может быть, не загонял, но распространял. Мы же знаем, Александр Давидович, все знаем! Упомянутый выше гебистский вариант для малолетних.

- Если знаете, отдавайте под суд.

- Славы жаждете?

До десяти часов он меня промурыжил и заключил.

- Трудно с вами. Отсыпайтесь сегодня, а завтра продолжим. Вот повестка на одиннадцать часов.

- В одиннадцать я занят.

- Вас не на концерт зовут.

- В одиннадцать ко мне приезжают друзья.

- Зарубежные? - вворачивает Грошевень.

- Зарубежные.

- Отмените визит.

- Перенесите допрос.

- Не приедете в одиннадцать, возьмем силой.

- Берите.

Когда же,вернувшись домой, прочитал фельетон, то окончательно утвердился не отступать ни на йоту. Вот он, красавец:

"А все-таки двойное дно!

В марте сего года А.Д.Глезер праздновал свое сорокалетие. К дому № 8 по Большой Черкизовской то и дело подкатывали машины иностранных марок с беленькими опознавательными номерами. Из машин бодро выходили ингости и дружно шли в квартиру № 37, где их встречал взволнованный и обрадованный таким иновниманием хозяин.

Пускало пузырьки шампанское, пускали пузыри от умиления гости, пузырем от важности надувался юбиляр. "Почтили-с, Благодарствуем-с"...

И звучали тосты. Громче других - на иноязыках,разумеется. На всю Большую Черкизовскую славили Глезера. Только тосты звучали почему-то как аванс, выдавались, как векселя, плата по которым впереди.Но об этом чуть позже. Пока же перелистаем календарь назад.

...Наиболее полная биография Александра Давидовича Глезера была опубликована "Вечерней Москвой" 20-го февраля 1970 года в фельетоне "Человек с двойным дном". Потому как автором фельетона был я, то без риска прослыть плагиатором, повторю некоторые вехи из жизни "героя".

В 1956 году Глезер заканчивает нефтяной институт, однако, недолго радует промышленность своим активным с ней сотрудничеством. Нефтяник становится с тех пор, как он себя именует, литератором, переводит стихи с грузинского и узбекского языков на русский. Это занятие, популярности, увы, не приносит. И тогда тщеславный переводчик выряжается в тогу покровителя живописи. Ну конечно, именно той живописи, которой покровительствуют издалека. Сие, рассудил Глезер, куда выгоднее. А там, где пахнет выгодой, там-то уж энергии ему не занимать. И вот, начиная с 1967 года, в разных местах и городах он обманным путем, не ставя никого об этом в известность, кроме некоторых иностранных корреспондентов - любителей "жареного" организует выставки картин тех авторов (разумеется, не членов Союза художников), кои неоднократно критиковались людьми беспорно компетентными в живописи.

Когда же поутихли овации в адрес Глезера, то он и без вызова на бис выходил на сцену: написал, например, опус в защиту подопечных "непризнанных", об атмосфере недружелюбия, которая, якобы, их окружает, и пытался переправить этот опус за рубеж.

Ярлык "борца за свободу творчества",небрежно подброшенный некоторыми падкими на дешевые сенсации зарубежными газетами и радиоголосами,очень уж ласкал слух и сердце Глезера. Советские люди, побывавшие на этих, с позволения сказать, вернисажах,с возмущением писали о выставленных картинах, как о "злонамеренной идеологической диверсии". А оттуда, издалека: наоборот поощрительно похлопывали по плечу: "Так держать!" И Глезер "держал".

Коммерция имеет свои законы. С удвоенной энергией отрабатывал он похвалы. Новые выставки, новые спровоцированные скандалы. Нитки, правда, за марионеткой

видны, ну да ничего не поделаешь: кто платит, тот и музыку заказывает.

Вот в это время и встретились мы с А.Д. Глезером в фельетоне "Человек с двойным дном".

Спустя некоторое время, сняв свою изрядно подмоченную тогу, "борец" явился в редакцию газеты "Вечерняя Москва" с покаянным письмом. Он подтверждал в нем "одноплановый" (читай - чуждый настоящему искусству) характер организованных им выставок, считал своим долгом "публично осудить попытку передачи статьи",бил себя в грудь и в заключение сообщал, что "...из общественной критики моих поступков сделаны соответствующие выводы". Таков был А.Д.Глезер образца 1970 года.

После этого у Глезера наступила пора затишья.Поутихли радиоголоса в его адрес, пожелтели от времени страницы газет со статьями "о борце". Да и вообще что-то тихо стало. Не пора ли, думает Глезер, напомнить о себе: так ведь, неровен час, и вовсе позабудут. И вот в марте с.г. он отмечает свое сорокалетие. Приглашенных на торжество много. Среди них, естественно, иногости. Искрится шампанское, провозглашаются тосты. Но звучат они, повторяю, как аванс, выдаются, как векселя, оплата которых впереди. Почему так? Да потому,что 15 сентября с.г. Глезер действительно их оплачивает.В этот день он как один из организаторов решил показать очередную партию "работ" своих подопечных. Как всегда, заранее оповестив зарубежных журналистов, Глезер привозит на перекресток улиц Профсоюзной и Островитянова несколько десятков картин с их авторами. Работавшие здесь на воскреснике жители Черемушкинского района были немало удивлены визитом шумных художников и их художествами. Возмутило их и вызывающее поведение прибывших.

Участники воскресника справедливо потребовали дать им возможность продолжить работу и обратились, как и полагается, за помощью к милиции, которая вынуждена была принять меры для поддержания общественного порядка. Так фактически обстояло дело. Тем не менее, оплата по векселю, выданному А.Д.Глезеру в день его сорокалетия, произошла. Нет, не тем, что показ был ор-

ганизован, дело-то как раз в обратном. В том, что он, то бишь, показ, не состоялся. Да, как ни парадоксально это звучит, именно в этом была цель Глезера и иже с ним. Потому как именно этот факт, услужливо и провокационно предложенный Глезером, дал возможность коекому вновь заговорить на набившем уже оскомину антисоветском жаргоне об "инакомыслящих" и "непризнанных". Затявкал издающийся в США троцкистский листок "Новое русское слово", бросились на защиту "Нью-Йорк Таймс", "Балтимор-сан", "Ди Вельт" и другие газеты, посочувствовала западногерманская "Немецкая волна". Итак, вексель оплачен.

И Глезер опять пользуется моментом.Он достает из сундука пропахшую нафталином тогу "борца" и созывает у себя на квартире пресс-конференцию для иностранных журналистов, с ног на голову становятся факты, густо поперченная ложь выдается за истину;рассказываются небылицы о "пропавших" или "уничтоженных" во время показа картинах, о "произволе властей" и т.д. и т.п.Но зато Глезер снова провозглашен "борцом". Словом, все идет по законам коммерции: "вы - нам, мы - вам".

Между тем, коль ты сказал "а", от тебя ждут уже и "б". И Глезер спешит отправить "открытое письмо" в газету "Вечерняя Москва". Забыв о том, как четыре года назад каялся, он встает в позу не только защитника, но и нападающего. Защищать ему все равно кого: привлеченного к ответственности за уголовное преступление Ламма - пожалуйста. "Моих ближайших друзей" - с удовольствием. Глезеру все равно, кого защищать. Важно - для чего. И важно, на кого и на что нападать.Почему же так? - напрашивается вопрос. А вот на него-то ответила американская газета "Крисчен сайенс монитор" в одном из сентябрьских номеров.

"...Последний спектакль (имеется в виду инцидент с неудавшимся показом) укрепит мнение критиков разрядки напряженности". Эх, подвела газета Глезера! Уж очень откровенно высказалась. Есть понимаете ли такой неопровержимый факт - разрядка напряженности. Все прогрессивное человечество - сторонники ее. А по другую сторону - критики этой разрядки, которым спокойствие

в мире ни к чему, во вред даже. И оказывается, в этой-то оголтелой толпе "борец за свободу творчества" А.Д. Глезер, он ни много, ни мало, "укрепляет мнение" противников разрядки напряженности.

И становится ясным, на чью мельницу льет воду предприимчивый "борец". И становятся совсем уже видимыми ниточки за фигурой марионетки. Коллекционирование "произведений живописи", организация (если выбранный им обманный и провокационный путь вообще можно назвать организацией) выставок и показов - все это, так сказать, фасад личности А.Д.Глезера, фасад, видимый миру его поклонения. Но, как известно, коль есть фасад, то должна быть и обратная сторона его. Она есть, и хотя А.Д.Глезер не желает ее афишировать, думается, пришло время рассказать о ней нам, потому как эта обратная сторона ничуть не светлее фасадной.

"Деньги не пахнут" - эту формулу А.Д.Глезер усвоил давно. И, памятуя о ней, предприимчивый "коллекционер" в свободное от своей деятельности "борца за свободу творчества" время занимается элементарной спекуляцией из-под полы. Однако, спекуляция эта особого толка. Не импортной кофточкой, а импортной пропагандой промышляет А.Д.Глезер. Глезер торгует книгами, изданными опять-таки вдалеке. Так например, одному крупному находящемуся сейчас под следствием спекулянту книгами Глезер продавал "произведения" отъявленных антисоветчиков. Обратные адреса на обложках нам знакомы : "Международная литературная ассоциация в Мюнхене", издательство "Посев" и другие, столь же почитаемые в антисоветском мире организации.

Глезера сие не смущает, ведь "деньги - и надо сказать в этом случае немалые - не пахнут". Ох, пахнут, Александр Давидович, эти деньги, да еще как плохо пахнут! И грязные они! Такие грязные, как и руки тех, кто передал вам эти книги для перепродажи.

Я начал фельетон с короткого описания торжества сорокалетия, состоявшегося на квартире А.Д. Глезера. Вернемся к нему лишь затем, чтобы прочесть прикрепленный в тот памятный день плакатик. "Сорок лет - один ответ" - так было начертано на бумажке, которую мог

увидеть всяк в квартиру входящий. Не будем заниматься казуистикой и искать тот подтекст, который вложил в этот лозунг сам Глезер. Согласимся с ним в одном — в том, что сорок лет это уже солидный возраст, в этом возрасте человек действительно должен держать ответ за слова свои и поступки. И не пора ли общественности спросить у А.Д.Глезера ответ за все его неприглядные дела.

Р.Строков".

Комментировать очередную стряпню Строкова — занятие невеселое. Но необходимо все ж таки кое-что отметить. По фельетонисту получается, что Глезер уже в марте предвидел, что в сентябре состоится просмотр на открытом воздухе, то бишь на гебистском языке "провокационная выставка", запроектированная на империалистическом Западе. Фантастика! Но ведь где ее Глезер опровергнет?

Неплохо упомянуть, что сей борец за свободное искусство в 1970 году явился в "Вечернюю Москву" с покаянным письмом. Не явился? Столь неподходящее письмо прислал, что и напечатать его не смогли?! Но как он это докажет? Конечно, лежит у него дома послание самого аж главного редактора "Вечерки" С.Индурского:

"В таком виде Ваш ответ редакции я не считаю возможным публиковать, а полемизировать же с вами на страницах газеты тем паче".

Ну и пусть себе лежит. Кому его предъявишь?У нас, слава Богу, свободной печати не существует и свободных судов тоже. Посему, что хотим, то и пишем, а что пишем, то и печатаем.

И читайте, пожалуйста!

"Не нужен был Глезеру показ 15 сентября, а нужно было, чтобы его сорвали". Как это Строков не догадался указать, что именно я и послал бульдозеры уничтожать выставку и тем самым вызвал злополучный инцидент. Тогда бы логичней выглядело утверждение,что Глезер организовал экспозицию на пустыре по заданию противников разрядки международной напряженности и даже самолично (экий богатырь!) доставил на пустырь "несколько десятков картин с их авторами".

А до чего же удобно, что как раз теперь арестовали группу спекулянтов книгами. Присоединим-ка к ним в фельетоне и Глезера, который, естественно, торгует не просто дефицитной литературой, а только антисоветской. Замечательно выходит! Уж если общественность в лице КГБ после первого фельетона не растерзала Глезера, то сейчас...

Взяли меня 13-го силой. И по тупости своей взяли с невообразимым шумом. В 10.30 заходит в квартиру заместитель начальника отделения милиции в цивильной одежде и с ним чистых кровей гебист, подделывающийся под рядового милиционера, но подсказывающий шефу решения и настаивающий на их выполнении.

— Начальник отделения просит вас сейчас к нему зайти, — говорит заместитель.

— На одиннадцать у меня повестка в КГБ.

— Мы в курсе. После нас поедете туда.

— Я жду гостей. Уедут — приеду.

Заместитель топчется посреди комнаты. Гогуадзе и Лорик с любопытством наблюдают за происходящим. Гебист встает на дыбы:

— Вы властям подчиняетесь или нет? В милицию вас вызывают, а вы гостей собираетесь развлекать!

Я же, будто бы и нет его, только к заместителю:

— Даю вам честное слово, что приду. Через два часа секунда в секунду. Не сомневайтесь. Если же примените силу, буду драться. А теперь простите, у меня гости.

Заместитель оскорблен:

— Вы что же, нас выгоняете?

Ничего не попишешь, сами виноваты. Пришли-то без приглашения. Гебист стервенеет:

— Чего тут рассусоливать? Брать его надо!

И будто кто шпоры в меня всадил:

— Мой дом — моя крепость! — и чтобы посеять между ними рознь (ведь КГБ и милиция — как кошка с собакой. Милиция вынуждена подчиняться. Грязную работу гебушка поручает ей. Но и не любят зато милицейские старшего брата), киваю в сторону заместителя:

— Его я хоть знаю, а кто вы такой и что здесь потеряли?

Под моим напором они вышли, но застряли под окнами. Все ясней ясного - завернут иностранцев. Звоню начальнику отделения и втолковываю ему, что лучше договориться по-мирному. Прятаться не намерен. Непременно в начале второго буду у него. Он колеблется: просит, чтобы я подозвал к телефону заместителя. А машина с иностранным номером уже показалась во дворе. И несутся к ней мои визитеры. Выбегаю на улицу.

- Андре-Поль, проходите! Это не КГБ, а милиция.- И заместителю: - Начальник на проводе. Пройдите к телефону. Мы побудем в подъезде.

Андре-Поль, жена директора Московского бюро Ассошиэйтед-Пресс и ее подруга - немецкая журналистка,стоят на ступеньках. Я чуть выше, на лестничной площадке. Между тем Лорик (как я потом узнал), когда я помчался во двор, прильнула к трубке и слышала, как начальник отделения куда-то, на Лубянку бесспорно, звонил и в ответ на распоряжение заверял: "Не пропустим, никого не пропустим!". Потому-то от неуверенности заместителя не осталось и следа.Он прошествовал мимо меня,словно мимо пустого места, и - дамам:

- Извините, сюда нельзя!

- Андре-Поль, квартира моя, а вы - мои гости.Проходите!

И тогда заместитеь скомандовал:

- Взять! - будто к псам обращался. И тотчас со второго этажа стремглав кидаются два милиционера,участковый Лосев и какой-то юнец с едва пробивающимися усами. Один за левую руку, другой - за правую. Растянули, как распяли, и ну выкручивать кисти.Умельцы,право слово умельцы! Повалили на колени, а я воплю:

- Красные фашисты! Красные фашисты! Алик, кинь мне кинжал! Резать их нужно!

Андре-Поль закрыла лицо ладонями. Ее подруга плачет. И вдруг... Двери подъезда с грохотом распахиваются. Гебисты-оперативники из вчерашних. Первый вежливо уговаривает иностранцев уехать. Те подчиняются.Второй чеканит:

- Отпустить!

Фараоны повинуются. Я же в прыжке (слава реактивному психозу!) бью Лосева головой по зубам.

- Ты что!? - отшатывается он.

- А ты что?

- Так мне приказали!

Эх, не революция, был бы Лосев деревенским мужиком, работящим, добрым, хлебосольным. По лицу видно. Во что же его и ему подобных превратил кровавый режим!

А гебисты изображают из себя рыцарей-избавителей.

- С кем связались, Александр Давидович! Милиция - грубые люди. - И заботливо: - Повестка у вас есть?Поехали-ка на допрос.

И тут Оскар мчит во весь дух в нелепой меховой распашонке. Что попалось под руку, то и нацепил.

- Без меня Глезер никуда не поедет!

Я - как эхо:

- Не поеду!

Гебисты меж собой посоветовались:

- Пожалуйста, Оскар Яковлевич!

Выходим. Во дворе пять или шесть милиционеров. Грубые люди задержались, чтобы в случае чего помочь людям чутким.

В машине я оказался на заднем сидении.Слева Оскар, справа гебист в черном кожаном пальто. Совершенно забыв, что оперативники не живые люди,бездушные исполнители, которые поступят, как им велено, не более того, сознательно пытаюсь вызвать у них, как вчера у следователя, озлобление. Оборачиваюсь направо:

- Вам нравятся песни Галича?

- Не слышал.

Сейчас спою. Как вы среагируете на "Песенку об отставном чекисте", господа? Возмущен ваш собрат дерзким Черным морем:

"Ах ты, море, море, море, море Черное,
Ты какое-то крученое, верченое,
Если б взял тебя за дело я,
Ты б из Черного стало Белое".

А как вам знаменитые Галичевы "Облака":

"Облака плывут, облака,
В милый край плывут, в Колыму..."

В Колыму. Чуешь, черное пальто, в Колыму! Туда, где твои коллеги превзошли в мастерстве палачей Освен-

цима. Гебист безмолвствует.Оскар тоже. А меня несет и несет:

- Передайте Грошевеню,что я отказываюсь говорить по-русски. Пообщаемся через переводчика.

Николай Викторович встречает меня в вестибюле Лубянки дружелюбно-иронически.

- Чудите вы, Александр Давидович.

Но вижу, не в себе старший лейтенант. Наверняка получил нагоняй за неуклюжую постановку, разыгранную на глазах иностранцев, да еще имеющих непосредственное отношение к печати. "Голос Америки" уже в 12. 00 передал, что я арестован. Малопривлекательная для КГБ огласка. Мой отсутствующий вид сбивает Грошевеня с толку. Он подготовился к взрыву, а тут странное безразличие. Черное пальто ему объясняет, что Глезер по-русски разговаривать не желает и настаивает,чтобы пригласили переводчика.

- С какого языка?

- С английского.

Николай Викторович бодро:

- Разберемся.

Похоже, что это его излюбленное словечко. И - Рабину:

- А вы посидите в приемной. Если Глезер не станет чересчур умничать, я его домой быстро отправлю.

- Я не тороплюсь, - веско отвечает Оскар, как бы подчеркивая, что без меня с места не тронется.

В кабинете Грошевень располагается в замедленном темпе. Испортил я ему заготовленный сценарий. Придется импровизировать на ходу. А это ему не по вкусу.Бормочет:

- По-английски я говорю. Переводчик нам не нужен.

- A little? - спрашиваю.

- Что такое?

Э, ни хрена ты не знаешь, дорогуша. Режу на своем варварском произношении:

- Where is translater? I don't understan Russian.

Накаляется Грошевень, накаляется.

- Вчера вы написали в анкете,что ваш родной язык - русский, а сегодня его не понимаете?

- Вчера я не читал фельетона и меня не насиловали.

Тонкие губы следователя подергиваются.

- Если будете разговаривать по-русски, отпущу через час. Заупрямитесь, продержу до ночи.

- Please.

- Вас ждет Рабин.

- So whot?

Грошевень звонит Конькову, жалуется. Тот появляется немедленно. Вновь и вновь клянутся, что управятся за один час. Когда же я уступил, полковник удалился, а Николай Викторович расправил крылья. Мы,говорит, сегодня писать будем мало.
Побеседуем. Мне бы его послать подальше, так нет. В своем взвинченном состоянии совершенно потерял способность логически мыслить. Он рвется беседовать.Неспроста же. То, что нужно ему, само собой противопоказано мне. Во время беседы следователь может затрагивать проблемы, обсуждать которые свидетель по делу спекулянтов книгами совсем не обязан. Может он также,примеров масса, охмурить, поймать на противоречиях и так запутать, что потом за голову схватишься. А я ведь не в гости к приятелю пришел, я на допросе.Допрашивай же! Разглагольствовать будешь дома с женой. Но благоразумие на меня не снизошло. Уверенный в себе, напираю,поторапливаю его. О чем, мол, о чем?

Он, эффектно откинувшись на спинку стула, любезно доводит до моего сведения, что с изъятыми при обыске антисоветскими стихами ознакомился. Ну и прелестно. Они нигде не опубликованы. На вечере я их не читал. Распространения мне не приклеишь.Сочинял вирши и складывал в стол. Это не преступление даже в СССР. Впрочем, если вы хотите судить меня за стихи, пожалуйста! Пожимает плечами. И неожиданно:

- Вы враг советской власти?

О, как приятно швырнуть в твое самодовольное лицо:

- Да!

- Вы враг марксизма-ленинизма?

И еще раз ликующе-яростно:

— Да!

Не таясь, удовлетворенно потирает ладони (мелькает догадка, что облегчил я ему что-то), хвалит за откровенность и снисходительно:

— Я в долгу не останусь. Советую вам, Александр Давидович, поскорей эмигрировать.

Эх, ларчик просто открывался. И обыск, и фельетон, и допросы состряпаны с одной единственной целью — заставить меня уехать.

— Не собираюсь.

Грошевень сожалеет и не одобряет. Втолковывает, будто малому, неразумному дитяти,что иного выхода нет. Снова в кабинет с достоинством, как и подобает большому кораблю, вплывает полковник Коньков. Непритворно изумляется моей наивности. Признался, что враг, ему предлагают эмигрировать (это вместо того, чтобы уничтожить), он же не благодарит, а сопротивляется. Короткий, но выразительный диалог:

— Или вы уезжаете, или — под суд и в лагерь.

— Хочу к Буковскому!

— По-вашему, и на Западе жизни нет, и в Советском Союзе. Только у нас в концлагере.

— Для меня — да.

— Ошибаетесь. На Западе лучше! Уезжайте!

Ай-да полковник Коньков! Ай-да правдолюбец! И до чего смелый! На загнивающем Западе лучше, чем в отечественном концлагере! Лишь на Лубянке и возможно услышать подобное. Разве в ЦК и,поднимай выше, в Политбюро, кто-нибудь осмелится на такие речи? А он выдал совет и закрыл дверь с той стороны. Грошевень же, словно и не было разговора об отъезде, берется за протокол.

Появляется новый персонаж. Присаживается поодаль. Создается впечатление, что он изучает меня и одновременно контролирует работу следователя. Последний лаконичен.

— Кто из иностранных корреспондентов снабжал вас материалами для "Белой книги"?

Ну и наглец! Знатный вопросец.

— Отказываюсь отвечать.

- Кто входит в редколлегию "Белой книги"?

- Отказываюсь отвечать.

- С кем вы договорились об издании "Белой книги"?

- Отказываюсь отвечать.

- Я вас предупреждал об ответственности за отказ от дачи показаний? - И, как наказание, подталкивает ко мне "Уголовный кодекс".

И я, как вчера, отшвыриваю серую книжку, не вымолвив ни слова. Неизвестный посетитель, словно привидение, вышагивает в коридор, и Грошевень преображается. Клокочет, как вулкан:

- Я имею все основания отдать вас под суд по обвинению в антисоветской деятельности и думаю,что это необходимо сделать. Но мое начальство считает преждевременным прибегать к таким кардинальным мерам. Уезжайте!

Отменно отрепетировано: каждый раз заносится топор - спекуляция антисоветской литературой, антисоветские стихи, "Белая книга" - и каждый раз спускается мимо. И вслед за угрозами мольба: "Уезжайте!" О-кей. Сейчас тебя против шерстки.

- Сегодня же я предам ваше заявление гласности!

А он хоть бы хны. Абсолютное равнодушие. Стало быть, наверху все решено и подписано.

На субботу и воскресенье Грошевень одаривает меня передышкой, а в понедельник с утра опять на допрос. Оскар выслушивает новость и мрачнеет. Спасительных мыслей ни у него, ни у меня нет. Как ни крутись, ни вертись, одно из двух. Но до понедельника нужно дожить. В воскресенье же я еще позавчера надумал в знак протеста открыть на квартире выставку.Оскар против. В поисках хоть чего-нибудь позитивного он хватается за последнюю соломинку: возможно, обойдется, возможно, пугают, попробуй пересидеть тихо.

Нет, не годится себя убаюкивать. Не шантаж это. Чувствую, что закручено всерьез. Не отступятся. Дополнительно развернули почтово-телефонную травлю.Вот образцы полученной мною корреспонденции.

"Глезер, прочел вчера в "Вечерке" о твоих грязных делах, и вся моя душа возмутилась твоей продажно-

стью, предательством и пресмыканием перед иностранцами! Как ты, гаденыш, родился в нашей светлой стране, учился в нашей советской школе, окончил наш советский институт, небось за все годы обучения получал наши кровные деньги - стипендию, и вот - на тебе, иуда жидовская, сволочь, падаль. Мое письмо к твоей поганой роже не первое и не последнее, миллионы москвичей,прочитав фельетон в "Вечерке", клеймят тебя. Мой друг - он еврей, честный советский инженер, на мое предложение выставить тебя из нашей Родины, сказал мне - нельзя. Его надо отправить как государственного преступника, на рудники, где он вспомнил бы свое счастливое детство, школу, институт и людей, которые не подозревали, с какой мразью имели дело.

Да, он прав, таких жидов, как ты, давно стоило отправить в "обетованную землю", и там понял бы, что он потерял, что не ценил.

Мне стыдно, я краснею, что мы относимся к одной национальности. Я безмерно благодарен советскому правительству, которое дало мне образование и почетную работу начальника цеха. Гад, гад, гад!"

Второе письмо короче, но еще похлеще.С одной стороны:

"От участников Великой Отечественной войны, которые боролись против фашистского строя убийцев еврейского народа. Если бы мы знали, что у нас родится предатель Глезер, мы сами своими руками уничтожили таких гадов."

На обороте:

"Орден - виселица для изменника Родины.

Глезер (Гитлер)

Гимлер Геринг

Геббельс

На память Вам и семье за вашу борьбу за "Свободу". Долой предателя! Нет вам места среди русского народа!"

Среди груды писем гадостных порадовало одно дружеское. Жаль, что анонимное, но и на том спасибо.Кто-

то скрывшийся под псевдонимом В.Сесюрин прислал послание в отдел писем "Вечерней Москвы". Там посмотрели лишь на первые строчки, в которых искрилась, переливалась ругань по моему адресу, и сразу же переправили сесюринское сочинение мне:

"Уважаемая редакция!

Лично я с гражданином Глезером Александром Давидовичем не знаком. Дома у него не был. Шампанское с ним не пил. Табличку с надписью "Сорок лет - один ответ" на дверях его квартиры не видел. Но прочитав заметку вашего специального корреспондента о дне рождения Глезера тов. Строкова Р., возмутился до глубины своей души. Глезером, конечно. Сука он. Делает, понимаете, что хочет, говорит, что хочет, любит, что хочет и кого хочет, пьет с кем хочет... Да где он живет?! Кто ему давал право справлять день рождения,как он хочет?! Ужас!! Наша семья, как прочитала этот репортаж о том, как глезеры справляют свои дни рождения (и родились ведь!), так расстроилась вся. Стали считать, чего они там пили и ели, да какие подарки Глезеру делали и опохмелялись, конечно, утром, противники разрядки, мать иху... А тут вкалываешь как негр,а на день рождения тебе от завкома только благодарность и то на бумаге. Спасибо еще тов. Строкову Р., который под видом иногостя (он этого не сообщает, но мы же фильмы смотрим и представляем его трудную и опасную профессию журналиста) проник в дом Глезера, все сфотографировал и записал на пленку. Теперь, Александр Давидович, ты от нас не уйдешь. Ответишь, резидент Солженицына и Пикассы, не только за свой день рождения, но и за узбекский язык, который ты бросил, чтобы помогать каким-то художникам, не членам Союза. Мало у нас что ли членов бедствует, почему у тебя душа только к нечленам лежит?! Почему ты против Форда и Киссинджера, которые вместе с нашей партией борются с американским конгрессом? Конечно, у меня нет прямых улик, но я почему-то уверен, что тебе нравятся такие, как Сахаров и Наум Коржавин, чей голос недавно передавали по "Голосу". И конечно, ты лютой ненавистью ненавидишь таких, как Р.Строков, и все, что им дорого. У тебя на

дне рождения я не был. Шампанское с тобой не пил. Таблички "Сорок лет - один ответ" не видел. Но "Вечерку" выписываю регулярно.

В.Сесюрин."

А телефон надрывается. Звонки удручающе-монотонны, с матом-перематом, с традиционным "убирайся вон!" и прочим стереотипным набором примелькавшихся фраз. Сквозь них прорвался корреспондент "Юнайтед-Пресс" и через советскую переводчицу выспрашивает, что я думаю о заявлении ТАСС и о выступлении Громыко по поводу еврейской эмиграции из СССР. Речь шла о разоблачении американской будто бы выдумки, что Советский Союз обещал выпускать ежегодно 60 000 евреев. Я удивился,с какой стати подобный вопрос задается мне - я ведь еврейскими проблемами не занимаюсь.

- Но вас назвали в фельетоне сторонником холодной войны, противником разрядки напряженности.

А я-то забыл, что "Вечерняя Москва" превратила меня в политического деятеля. Ну, почему же тогда не ответить. Стараюсь поясней и покороче.

Что обещал Громыко Киссинджеру или Брежнев Форду, мне неизвестно, но дело не в цифрах - шестьдесят или тридцать тысяч, а в принципе: каждый человек имеет право жить в той стране, которая ему по сердцу. И силой задерживать его в СССР, США или Китае - безнравственно.

И словно в отместку за нахальство - его то ли выгоняют на Запад, то ли сажают ,а он интервью дает, - звонок особого рода:

- Привет, Глезер! Как дальше жить будешь? - Голос низкий, грубый, интонации издевательские.

- Кто говорит?

- Строков.

- Какой Строков?

- Пишу о тебе, пишу, а ты не помнишь.

Вот скотина! Биограф-фельетонист не стесняется мне звонить. Хотя при чем тут стеснение?Выполняет приказ. Не часто я матерюсь - не специалист в этой области, но на сей раз покрыл его на всю катушку и пригласил в гости:

– Вспорю тебе живот кинжалом.

Гогочет.

В квартире же шурум-бурум. Молодые художники привезли картины. Меняется экспозиция. Печатается каталог. И в воскресенье вечером вернисаж удается на славу.

Молодцы американцы! В этот день посол США устраивал почти в то же время, с разницей в час, прием в связи с пребыванием в Москве американского балета. Я предполагал, что дипломаты, особенно из Штатов, будут напрочь заняты. Однако, они – и сколько! – приехали. Всего на 15-20 минут, но это неважно. Сам факт их присутствия во главе с советником посла и первым секретарем посольства – поддержка мощная. Элл Саттер, войдя, протянула мне сверток:

– Это иносыр.

– ?!

– Если я иногость, то... – Остроумная Элл воспользовалась терминологией Строкова.

Под окнами, конечно, гебисты. Их бесит и сама выставка и уж больно не по носу, что у меня наряду с дипломатами и журналистами собралась московская интеллигенция и здесь же, черт побери, такие известные диссиденты, как Андрей Твердохлебов, Алик Гинзбург и Вадим Делоне. Ко мне подходит скромный человек в больших роговых очках с проницательными глазами, излучающими дружелюбие и тепло. Представляется.Фамилия в кругах инакомыслящих широко известная. Я вынужден спрятать его под псевдонимом Д., так как он, слава Богу, пока что на свободе, и может быть, Господь убережет его и дальше. Д. негромко произносит:

– Вы ведете себя на допросах неправильно.

До чего же быстро по столице расходятся слухи! Трем-четырем друзьям рассказывал, как и что, а Д. откуда-то все знает.

– Если вы не против, – продолжает он, поправляя очки, – то когда люди разойдутся, присядем и поговорим.

Во втором часу ночи мы окопались в кухне. Д. показывает самиздатовскую книгу "Как вести себя на до-

просах".

- Читали?

- Нет.

- Сейчас мы начнем ее штудировать. Но прежде скажите, вы обязательно хотите сесть?

- Не обязательно.

Оба смеемся.

- Тогда читайте, и что непонятно - спрашивайте.

И началась моя наука. Устал, как собака. Глаза слипаются. Но Д. халтурить не позволяет.

- А как вы поняли это?

- ...

- Правильно. А это?

- ...

- Неправильно. - И следует подробнейшее объяснение.

Педагог он первоклассный. Оказывается, и обманывал меня следователь, пользуясь моим незнанием "Уголовного кодекса", и шантажировал - задавал вопросы,никак не относящиеся к делу, свидетелем по которому я вызывался, и вдобавок грозил за отказ от дачи показаний осудить на год. По закону я имею полное право сам записывать свои ответы в протокол а следователь норовил сам втиснуть туда собственные их формулировки. И еще массу юридических тонкостей раскрыл Д., подготовил меня к дуэли с Грошевенем.

Перед поездкой на Лубянку Оскар напутствует:

- Не уверен, что тебя решили выгонять. Но если действительно одно из двух, то не геройствуй. На Западе ты нам поможешь, а здесь, чтобы не выглядеть негодяями, мы будем вынуждены вступить в бой за твое освобождение, заранее обреченные на поражение.

Такого же мнения придерживается и вся художническая братия. Борух Штейнберг даже убеждал меня вчера в шутку, но в каждой шутке есть доля правды, что я раб художников. Но пора, брат, пора!..

Очередной поединок с Грошевенем. Он бодр и подтянут. Глаз у него острый.

- Плохо спали, Александр Давидович? Надеюсь, все хорошенько обдумали.

Пока он вписывает в протокол какие-то пометки, мой взгляд рассеянно блуждает по столу, за которым я сижу, и падает на открытый календарь. В нем четкая запись: "Звонила Инесса Холодова".

О, страна должна знать своих стукачей. Вы помните симпатичную литсекретаршу, которая была на моем вечере поэзии? Невысокая, стройненькая, неопределенного возраста. Сорокалетняя - работает под семилетнюю девочку: круглые глаза, бантики в косичках. Она неизменно бывала со мной ласкова, она помогала мне заполнять анкеты при подаче заявления о приеме в Союз писателей, она с чисто женским любопытством выспрашивала о новостях, она приходила на Измайловскую выставку и потом застенчиво зазывала меня заезжать:- "Я недавно развелась с мужем."

- Николай Викторович, у нас с вами общие знакомые.

- Общие знакомые... Светский разговор... Какие общие знакомые?

- Вот Инесса Холодова и мне звонит, и вам звонит.

Не доглядел, не доглядел Грошевень.Ценного агента засыпал. Ах как обидно-то! Прежде заглянет на второй этаж ЦДЛ писатель, пишущий для ребятишек, и поведает сероглазой Инессе о тяготах и заботах, о проклятой цензуре, изъявшей из книжки лучшие куски, о заевшемся и продавшемся редакторе, почище любого цензора вынюхивающем и истребляющем подтекст, о надоевшей до чертиков военно-патриотической тематике, без которой, по утверждению верхов, ни один ребенок не вырастет полноценным гражданином своей миролюбивой отчизны. Как-то при мне разоткровенничался с ней мой знакомый. Пожаловался, что ни разу не ездил заграницу, даже в соцстрану. Ныне просится в Польшу.

- Туда-то уж всех пускают! Одному мне как заколодило. Хотя чего огорчаться - из одного концлагеря попаду в другой.

А милая женщина слушает его с редким пониманием, какого он и от родной жены не дождется, и поддакивает. И придет ли собеседнику в голову, что эта сучка

заложит его на Лубянке? И возьмут там на заметку разносящего крамолу писателя. При случае запугают или завербуют. Люди из литературных кругов гебушке до зарезу нужны. Вроде есть они. Вроде и много.Но все не хватает. Очень уж важная область.

Оправившись от удара, Грошевень переходит в атаку. Выражает надежду, что я больше не стану упорствовать. Начну прямо и честно отвечать на вопросы. Тогда вместо того, чтобы итти под суд, отправлюсь на свободный Запад. У стороннего наблюдателя сложилось бы впечатление, что не КГБ просит Глезера убраться, а Глезер умоляет КГБ по-добру по-здорову его отпустить.Кажется, пора охладить грошевеневский пыл.Довожу до сведения ретивого следователя, что не настроен долго разговаривать, хочу познакомиться с вопросами и собственноручно заносить ответы в протокол.

Грошевень напрягается, как что-то учуявшая овчарка. Треугольное лицо его вытягивается. Но с законным требованием он соглашается, только предупреждает, что прежде чем что-либо писать в протокол, я должен ответить устно. Это мне известно от Д. Это соответствует их правилам. Прошу задавать вопросы. И Грошевень почти слово в слово повторяет то, что спрашивал в пятницу.

- Кто входил в редколлегию "Белой книги"? Отвечать на вопрос будете?

- Да.

По выражению его глаз вижу - не подготовлен к сему. Надеялся, что откажусь, заготовил некий каверзный ход и... впустую. Теперь буквально глядит мне в рот. Что же скажу?

- Я отказываюсь отвечать на этот вопрос, так как он не имеет отношения к делу номер четыреста девятнадцать (в точности по учебнику "Как вести себя на допросах").

Насупился:

- Пишите.

Внимательно следит, чтобы я не накатал чего лишнего.

- Кто давал материалы для "Белой книги"?

- Я отказываюсь...

Николай Викторович не дурак, понимает, что игра пошла не по его сценарию. Огорчен и обозлен.

- Однако, готовили вас, Александр Давидович!

Подтверждаю.

- А кто, не скажете? - поддразнивает.

- Не скажу.

Скучая, по долгу службы задает третий вопрос. И тут я дорываюсь. Он то ли уверился, что я не оскверню протокола, то ли подыскивает иную тактику взамен провалившейся - но бдительность утерял. Краем уха выслушал мой стереотип и не обратил внимания на то, что я строчу слишком долго. А я вписываю в протокол,что следователь в ходе допроса оказывал на меня давление и вводил в заблуждение.

Прочел Грошевень, ужаснулся, заметался по кабинету. Дергается от негодования, осыпает упреками.

- Я на вас давил?! Я вас обманывал?! Когда? Где?

Призвал Конькова. И тот солидно:

- Что же вы с Николаем Викторовичем сделали? За что такие обвинения?

Ничего и никого гебисты не боятся. А вот собственных протоколов опасаются. Казалось бы, всесильны,а бумажку, которая не нравится, уничтожить не могут,Все эти листики тщательно пронумерованы.Исчезни хоть один - со следователя спросят. Но с него спросят и за мою жалобу. И не в том он виноват, что шантажировал и обманывал, а в том, что допустил допрашиваемого записать это черным по белому. Плохо, значит, работал. А ведь кругом коллеги-противники. Всякий рад тебя подсидеть. Потому-то Грошевень и психует. Полковник же, к нему расположенный, встревожен.

Но вот они круто разворачиваются. Выясняют, что избрал - Запад или лагерь. Витийствует главным образом Коньков. Отточенные формулировки, логичные построения. Вдалбливает: одно из двух, третьего не дано. Вы сами определите свою судьбу. И заканчивает:

- Я - у себя. Жду вашего решения.

Грошевень, который сегодня упек бы меня с еще большим удовольствием, чем вчера,вынужден оперировать

аргументами полковника. Советует не зарываться и не забывать о семье. Тоже мне заботливый родственник! А я то почти не слышу его слов. Вспоминаю напутствие Оскара: "Не геройствуй...", вспоминаю Майкины слезы: "Уедем! Я боюсь за тебя!", вспоминаю изречение: "Все, что противно разуму, безобразно". Ну конечно, для художников на Западе я полезнее. Ну конечно, в моей ситуации предпочесть эмиграции лагерь противно разуму. Ну конечно, жена и сын. Однако Алик Гинзбург отсидел, и Андрей Амальрик отгрохал срок. И Володя Буковский сидит. Чем же я лучше их? Почему моя судьба должна быть легче? И вновь я слышу голос Оскара: "Не геройствуй..." И, бывший шахматист, мучительно ищу выхода в безвыходной позиции. И в какую-то секунду мне чудится, что нахожу.

– Николай Викторович, передайте полковнику Конькову, что если я соглашусь уехать, то только с коллекцией. – И думаю: "Они на это не пойдут! Стоит ли запрещать туристам вывозить одну-две картины, которые безобидно висели бы в чьей-то квартире, чтобы дозволить Глезеру забрать с собой несколько десятков, а то и сотен холстов? И ведь понятно, что сидеть на них он не станет, а займется пропагандой неофициального искусства." Стараюсь по лицу Грошеветя прочитать его мысли. Но по этому поводу у него их нет.

Идет на доклад. Коньков немедленно приглашает меня к себе. Сколько за последний месяц было дурацких, ни к чему не ведущих разговоров! То со Шкодиным, то с Ащеуловым, то еще Бог знает с кем, но здешнее-то начальство попусту трепаться не любит. Чего ж полковник паясничает? Спрашивает, что буду делать с картинами, сетует, что на Западе работы модернистов часто используются с антисоветской целью. Напоминаю: художники политикой не занимаются, следовательно, и я не стану превращать их произведения в нечто политическое.

Господи, что за бред? Какое значение имеют мои намерения? До тех пор, пока в СССР все – и живопись,и литература, и музыка, и философия объявляются политикой, до тех пор, пока картины нонконформистов отечественная пресса называет "не безобидной игрой в чистое

искусство, а проповедю буржуазной идеологии", любая выставка неофициального русского искусства будет выглядеть, как что-то антисовесткое. И виновны в том не художники, не их картины, не козни западных журналистов, а та власть, которую вы, товарищ полковник, представляете и защищаете. Та власть, которая даже в невинном натюрморте Дмитрия Краснопевцева, созданном не по канонам социалистического реализма, ухитряется обнаружить враждебную, подрывающую устои режима пропаганду.

Представьте, какой подлец этот живописец - написал кувшин, где темнозеленая ветка торчит не как положено - из горлышка, а прорастает откуда-то сбоку. Коварный намек на то, что, дескать, как вы ни завинчивайте гайки, как ни давите на нас, а мы к свету прорвемся. Дима, естественно, и в голове подобного не держал, однако, интерпретация партийцев была именно такова.

Еще более смешной случай произошел со Львом Кропивницким. Художник Николай Андронов, член КПСС, рекомендовал принять его в Союз художников. Легкомысленного Андронова вызвали в райком партии и потрясенно возопили, показывая фотографию картины Кропивницкого, с которой глядели два обыкновенных быка:

- Кто это?!

- Быки.

- Вы - коммунист. Посмотрите внимательно.

Андронов глядел, глядел и снова:

- Быки. А что еще?

- Нет! - возмутились партийные боссы. - Это он изобразил наших руководителей!

Точь-в-точь по народной пословице: "На воре и шапка горит".

Безусловно, Коньков не хуже моего знает о сложившейся вокруг неофициального искусства обстановке. Но у него есть какие-то свои соображения, и потому объективные факторы он отбрасывает и требует, чтобы Глезер поклялся, что какие бы то ни было им организованные на Западе выставки русских авангардистов не приобрели политической окраски.

– Итак, чтобы нам с вами развязаться, – суммирует Николай Михайлович, – вы составите заявление, в котором попросите освободить вас от роли свидетеля по делу четыреста девятнадцать в связи с отъездом на постоянное место жительства в государство Израиль, гарантируете не смешивать живопись с антисоветчиной, обещаете не выпускать "Белую книгу" о выставках на открытом воздухе и прекращаете судебную тяжбу о выплате компенсации за погибшие пятнадцатого сентября картины.

Коньков доказывает, что без такого заявления не обойтись.

Должен же быть документ! Мы не можем (они не могут!) базироваться только на словах. Потом с нас спросят (кто это с них способен спросить?) и хлопот не оберешься. А вас что смущает?

Соображаю. По существу неприемлемо только требование о "Белой книге". Но в случае чего окрещу ее голубой, оранжевой или зеленой. А в предисловии объясню, откуда столь странный для разоблачительного сборника цвет. Но все равно нужно поразмыслить. Нет, настаивает, чтобы писал сразу, тут же, не выходя из здания. Его не устраивает, чтобы я с кем-либо советовался, а я не хочу подписывать бумагу без консультаций с Оскаром и Д. Натолкнувшись на мое железобетонное упрямство, Коньков уступает.

– Теперь три часа. В пять возвращайтесь.

Куда он так торопится? План, что ли, выполняет? Почему бы и нет? Государство у нас плановое, даже выпуск подштанников планируется...

У Оскара вместе с ним и Д. составляем текст на полстранички, такой конкретный и недвусмысленный, что, кажется, подложить свинью гебисты не сумеют. Была не была! Коньков доволен. Выражает надежду, что этот документ разглашаться не будет. Заводит речь о картинах. Сколько собираюсь увозить? Двести? Аппетиты у вас, Александр Давидович!

– Не аппетиты, а картины.

И развертывается неуместная для этих суровых стен рыночная торговля.

– Тридцать – сорок куда ни шло.

– Вы что, Николай Михайлович? Минимум сто пятьдесят! – Препираюсь ради потехи. Если по совести,мне совершенно безразлично, сто или двести. Так или иначе – все переправлю. Лучшее – нелегально. Художник Титов, уезжая, доверился им, и они облили его холсты серной кислотой. Достал их в Риме из ящиков искалеченными.Руки-ноги повыдергать бы готтентотам с Лубянки.

А полковник Коньков торгуется, как деревенский мужичок, спокойненько, не распаляясь. Я ему:

– Американке Стивенс вы разрешили вывезти восемьдесят картин...

Он,впервые обрывая меня:

– Вот и вы забирайте восемьдесят.

Прикидываю. Годится. С ходу солидную выставку в Европе устрою. Коньков же напирает:

– Больше восьмидесяти не выйдет. – И несется во весь опор. – Когда отправитесь в ОВИР? В декабре вы должны выехать.

В декабре не успею. Мне нужно попрощаться с родными в Уфе и Тбилиси,съездить на выставку в Ленинград.

Полковник не унимается:

– В Уфу и Тбилиси самолетом в три дня обернетесь. На выставку ездить не обязательно.

Кому нет, а кому да. Вы меня из-за картин выгоняете, а я на первую выставку ленинградских модернистов не поеду? Как бы не так! Он говорит, что в следующем году с отъездом усложнится. Я простодушно отвечаю,что с удовольствием останусь. Коньков чуть ли не ласково сулит посадить, как антисоветчика. В тон ему:

– Заранее благодарю.

– На днях еще увидимся, – заключает Николай Михайлович.

Грошевень провожает меня и, словно само собой разумеющееся:

– Прежде, чем из Москвы куда-нибудь ехать, позвоните и предупредите.

Чего захотели! Поднадзорный я, что ли? А то какой же?!

Их машины по-прежнему за мной по пятам. Не меньше двух. Накануне они усердно гонялись за такси,в ко-

тором мы ехали с художником Герасимовым. Водителя замучили: то тут сверни, то там развернись, то гони во всю мочь, то замри в переулке. От одной удрали.От второй никак. На обледеневшем подъеме близ Преображенки такси забуксовало. Оглядываюсь. Лыбятся. Захлестнула ярость. Выскочил - и к ним. Герасимов следом. Пытается удержать, но отстал. Я же распахнул дверцу гебистской машины и:

- Сволочи! Подонки!

Словно оглохли. Лица деревянные. Пустые глаза смотрят в никуда. Ну что же, раз вам охота за мной следить - следите, из Москвы поеду - ловите, а предупреждать вас уж увольте, Николай Викторович.

Вечером ко мне приходит хмурый Оскар. Он весь в напряжении, комок нервов. Ни на секунду не допускает, что меня выпустят с картинами. И вообще отпустят. Повторяет, что затеяна какая-то провокация. Говорит загадочно и возвышенно:

- Ты многое сделал. Было и страшно, и опасно, но ты сделал. То, что нужно сделать сейчас, требует особенного мужества. Обещай, что ты это сделаешь, или мы больше не друзья.

Я обеспекоен не его словами, а его состоянием.

- Объясни, что случилось?

- Сначала пообещай, что сделаешь.

Пробую ослабить напряжение шуткой:

- Нельзя же вслепую. Вдруг ты захочешь, чтобы я сжег все картины или убил Майю?

- Саша, я серьезно.

- Обещаю, Оскарчик.

Маска одержимого спадает с его лица:

- Нужно предать гласности документ, который ты сегодня отнес на Лубянку.

Ну и чудак! Конечно, это опасно, если они просили сохранить в тайне. Но разве открытые письма,пресс-конференции, антисоветские интервью грозят менее суровыми последствиями? А он опять нервничает, боится, что передумаю.

- Пошли, Оскар, звонить корреспондентам.

Жаждет сам. Но я не уступаю. Если предавать гласности, то это моя задача. Иначе я как бы прячусь от

страха за его спину. Названиваю неудачно. Ни в Ассошиэйтед Пресс, ни в агенстве Рейтер, ни в Юнайтед Пресс будто нарочно - никого. Наконец, во Франс Пресс откликаются. И через час прибывает высокий, чуть сутулый пожилой мужчина, прекрасно говорящий по-русски. Фамилия Данзас. Ему передается копия документа с просьбой ознакомить с ним англичан, американцев, немцев, скандинавов. Для Москвы - обычная процедура. Здесь журналисты обмениваются информацией. Данзас согласен. Оскар еще, еще и еще говорит ему о важности этого короткого текста и необходимости запустить его в эфир побыстрее. Увы! Данзас обманул. Никто из знакомых корреспондентов о документе не узнал, и Франс Пресс он остался тоже неизвестен...

Напрасно я радовался, что, может быть, мой поступок сорвет соглашение и отъезд отложится или отпадет вовсе.


Поэт и переводчик
Александр Глезер
имеет честь
пригласить
Вас на свой
творческий
вечер, который
состоится
во вторник
3 декабря 1974
в 19.00
ПРИГЛАШЕНИЕ
В вечере принимают участие
певец Норайр Ахлянц
артист Владимир Дмитриев
Адрес: тел: 161-59-85
Большая Черкизовская дом 8
корпус 7 кв. 37



Москва, 15 декабря 1974 года. Выставка протеста на квартире А. Глезера. Слева направо: Владимир Немухин, Вячеслав Калинин и Александр Глезер.

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ТЮРЬМЕ

"Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек."

Популярная советская песня

Первый секретарь Ленинградского обкома партии Толстиков правил железной рукой. Убежденный сталинист, человек деспотического нрава, он бы разве дозволил во вверенном ему городе, колыбели революции, разгуляться инакомыслию? Пусть в столице либеральничает "Новый мир", пусть фокучничает "Юность", пусть с помощью подозрительного Булгакова "Москва" поднимает свои тиражи. Его журналы "Нева" и "Звезда" от корки до корки верноподданны, каждая точка и запятая исполнены преданности партии. В душной атмосфере толстиковского Ленинграда не могло быть и речи о выставках каких-то "свихнувшихся" модернистов, об их контактах с иностранцами, частной, в обход государства, продаже картин.

И даже когда властолюбивый Толстиков зарвался и его отправили в почетную ссылку послом в Пекин, ленинградские авангардисты как бы по инерции в большинстве своем жили и работали разъединенно, стараясь не привлекать к себе внимания. Лишь после Измайлова их прорвало и, никому почти доселе неизвестные, они ринулись навстречу свободе. Как и москвичи, потребовали у городских властей предоставить в декабре помещение для выставки. От Жарких и Рухина, что ни день, то новости. Двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят человек "разогнули, по образному выражению Александра Исаевича, по-рабски согнутые спины" и жаждут принять участие в экспозиции. Страсти бушуют. И это нормально. То, что в Москве было достигнуто за двадцать лет упорной борьбы, в Ленинграде разразилось нежданно-негаданно, без подготовки, без накопления опыта противостояния режиму. В Ленсовете и ЛОСХе еще только решали, быть выставке или не быть, а кое-кто из художников уже проектировал: "Если не дадут помещение, выйдем с картинами к Петропавловской крепости". Наиболее же горячие головы при-

зывали вообще не ждать милостыни : взять работы - и вперед!

Воображение заранее рисовало мне плачевный исход экспедиции к Петропавловским стенам, ассоциирующимися с мрачными страницами русской истории. Вот был бы для властей царский подарок, равноценный их бульдозерам. Знатно бы обыграли! Какая выставка нужна бездарным мазилам? Им подавай дешевую сенсацию. Заодно и по москвичам бы прокатились. Поглядите, едва дозволили провести экспозицию, ушли в кусты, сославшись на несуществующие преследования. И 15-е сентября не постесняются припомнить. Те на пустырь вылезли, эти к Петропавловке картины притащили, но цель-то одна. Пошуметь. Побезобразничать. Так расправятся и с неопытными ленинградцами, и нами достигнутое перечеркнут.

Жарких приезжал из Ленинграда взбудораженный. Он пытался втолковать хорохорящимся, что не стоит лезть на рожон, но с ним не очень считались. Ты дескать, давно завязал контакты с москвичами, участвовал в московских выставках, а о ленинградских делах не заботишься. Прямо-таки заговорила древняя вражда между старой и новой столицами России. Неужели там не понимают, что без наших просмотров на открытом воздухе с ними бы никто и не разговаривал. Да они бы и сами обращаться к начальству с ультиматумами не стали. И не считаться надо: мы ленинградцы, вы москвичи, но действовать единым фронтом. По юриной просьбе написал его нетерпеливым коллегам письмо, в котором уговаривал их не торопиться, не переть напролом, не то надолго попасть в заготовленную ловушку, поддаться на провокацию. Мое послание только пуще раздразнило заводил. Глезеру спасибо за московские выставки, но к нам нечего соваться. Не маленькие. Обойдемся. К счастью, КГБ проворонило возможность половить рыбку в мутной воде. И власти, заблаговременно санкционировав четырехдневную выставку, предоставили для нее рабочий дом культуры имени Гааза.

Между мной и Оскаром вновь возникли разногласия. Он отчаянно доказывал, что мы ни в коем случае не должны показываться на открытии. Иначе Рабина и Глезе-

ра неизбежно сочтут замешанными в организации и этой экспозиции. Я категорически утверждал,что так как пишу историю движения нонконформистов, то обязан присутствовать на вернисаже и видеть все своими глазами. Если же начальство, спровоцировав беспорядки, задумает приписать нам темные роли, то, окажись мы во время открытия хоть на Северном полюсе, припишет.

В конечном счете спланировали, что Оскар на второй день выставки посмотрит ее, а я поеду на открытие, которое назначено на 22 декабря.

Со мной собрались в дорогу несколько молодых художников. С одним из них, Игорем Кислицыным, мы с утра в день отъезда петляли по Москве,чтобы запутать гебистов, которые могли пресечь мое путешествие.Оттогото, пересаживаясь с такси на такси,заходя в магазины, смешиваясь с толпой, я старался скрыться от преследующих меня глаз. Напрасно. Прилепились плотно. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Закрутились мы с Кислицыным и на полминуты опоздали на поезд. Ушел перед носом. Однако и наши преследователи запутались в вокзальной суматохе и будучи уверены,что мы уехали, не очень нас искали.В вагоне находились их сослуживцы. Получилось, будто сдали поднадзорных с рук на руки.

А наши волновались. Куда подевались Глезер с Кислицыным? Может, уже прихвачены. Но сами гебисты и рассеяли опасения ребят. Три или четыре лубянщика, даже и не скрывавших свою принадлежность к тайной полиции, почему-то тоже нервничали.Подсевший к художникам оперативник неловко пошутил:

- Где ж Александр Давидович? Вы его бросили, или он вас?

Какой чудесный вопрос-информация! Значит,не арестованы. Значит, гончие сбились со следа,а ускользнувшая от них двойка, возможно, устроилась в другом вагоне стремительно несущейся "Стрелы". Мы же, оседлав такси, мчались в аэропорт. Я был угнетен. Стоило ли полночи дискутировать с Оскаром, полдня колесить по Москве, чтобы остаться на бобах.И тут еще в Шереметьеве столпотворение. Из-за плохой погоды сегодня не бы-

ло ни одного рейса. Ходят слухи, что два или три самолета вскоре полетят, но народу накопилось на десять. И все уставшие, злые, отсидевшие в залах ожидания по многу часов. А мы только что прибыли. Кто же нас отправит? Но рискнем.

Беру билеты и к дежурному диспетчеру. Полногрудая розовощекая блондинка вначале и слушать ничего не желает. Взываю к женскому сочувствию. Рассказываю, как нас давили бульдозерами, избивали, ругали в прессе. Проняло. Охает, ахает. Говорю, что вот теперь разрешили выставку, а мы по глупости опоздали на поезд.Помогите! Вы же понимаете, как нам важно попасть в Ленинград. Хоть стоя полетим. К тому же оба худые,весим ерунду. И, о чудо! Моя агитация сработала. Нас запихнули в первый же рейс.

А не к лучшему ли все обернулось? Как на "Стреле" бы доехали, неизвестно - сняли бы где-нибудь на полпути без всякого шума. Но кому придет на ум, что в столь нелетный день мы изберем аэротранспорт? Так и вышло. До Жарких добрались благополучно.Он вконец извелся, глаза красные, борода словно облезла, измотан до крайности, еле держится на ногах. Мало того, что начальство замучило организационными, зачастую выдуманными проблемами и наложило вето на показ некоторых картин, усмотрев в них религиозную пропаганду,так еще и два художника отчебучили. Разрушили уже готовую экспозицию, забрав свои работы в последний момент под предлогом, что на выставку приглашены иностранные корреспонденты и она приобретает политический оттенок.

Их собственная инициатива, или кто-то надоумил? Скорее всего,элементарно струсили. Ночью, накануне Измйловского показа, ко мне заскочил знакомый литератор и стал умолять, чтобы я вычеркнул из каталога фамилию некоего начинающего живописца. На того насела мамаша. Она - директор книжного издательства,пока-что директор... Если же восемнадцатилетнее дитя осмелится выволочь в парк, на всеобщее обозрение, свои абстрактные опусы, то мать прогонят с высокого поста.Коль не сумела правильно воспитать собственного ребенка, значит недостойна занимать ответственную идеологическую

должность. Залитый материнскими слезами художник не выдержал, капитулировал. Не исключено, что и здесь употребили сходные приемы. Застращали по месту службы или живописцев, или их родителей. Ленинград ведь не Москва, иностранцев мало. На продажу картин не проживешь. Попрут с работы, и попробуй прокорми семью.

... Уже второй час ночи. Не мешало бы поспать. Но неплохо бы заранее посмотреть на Дом культуры.Юра против. Дом как дом, ничего особенного. Хватит с тебя за день приключений! Не стоит лишний раз искушать судьбу. И все-таки я не удержался. Сыпал мелкий снежок. Мела поземка. Тишина. Благодать. Слегка отдышусь после круговерти. Прошелся. Поймал такси и к Дому культуры.Ничем не примечательное серое здание. Вокруг ни души. Только два бульдозера очищают от снега подъездные пути и маленькую площадь перед парадным подъездом. Все же деталь. Тогда они охотились за нами, сейчас ради нас наводят блеск. Поглядим, что будет утром.

А утром громадная, в несколько тысяч зрителей очередь вытянулась вдоль дома культуры. Похолодало. За двадцать градусов. Люди же не уходят. Переминаются с ноги на ногу, подпрыгивают, дабы согреться,но не ворчат, не сердятся, наоборот, настроены празднично. Ну, в какой еще стране ради картин будут выстаивать на морозе по три-четыре часа?! Как же истомился народ по культуре цензурой не обезображенной, если полон такого энтузиазма?! Мы-то,снабженные пригласительными билетами, беспрепятственно проникали внутрь,а их милиция пропускает строгими порциями. Каждой группе отводится на просмотр примерно сорок минут. Время ничтожно малое, коль экспонируется около двухсот работ.

Я захватил магнитофон и стал интервьюировать художников и любителей живописи. Последние, как и в Измайлове, исключительно доброжелательны,даже воодушевлены. Слова "здорово", "замечательно", "победа" наиболее популярны. Только ладно скроенный статный мужчина со звездой Героя социалистического труда,принявший меня за советского журналиста, забубнил на казенном языке:

- Это народу непонятно и не нужно. Вредная гали-

матья, отвлекающая от насущных задач.

Подстраиваюсь на его волну.

- А как вы расцениваете тот факт, что большинство присутствовавших положительно отзывается о картинах?

- Кто-то притворяется, кто-то фрондирует.

- Неужели у нас столько лицемеров и фрондирующих?

До него доходит, что он обознался. И Герой труда с достоинством поворачивается ко мне спиной. Не отстаю. Указывая на женский портрет Жарких, продолжаю:

- Что вам не нравится в этой работе?

- Все.

- А в этой?

- Мне с вами разговаривать неинтересно.

- Отчего же не обменяться мнениями?

Щелкает зубами, как крокодил:

- Не приставайте, а то позову администрацию.

На подоконнике в грациозной позе восседает девица. Окликает:

- Не узнаешь?

Извиняюсь. Кокетливо вопрошает:

- Зачем ты выслушиваешь всякие сплетни? Будто я сказала, что тебя ликвидируют? Мы же давно знакомы. Или совсем меня забыл?

- Ах, вот она какая, Ланская, забредшая к Оскару после моей пресс-конференции и сулившая ему блага, а мне скорый конец. Припоминаю, что когда-то с ней сталкивался в редакции "Комсомольской правды". Ныне красотка служит в другой организации. Что ж, это не редкость: КГБ и ЦК ВЛКСМ любят обменяться людьми. В итоге формируются разносторонние, полезные для общества личности. Обычно они с удовольствием совмещают две сугубо специфических профессии. Случайно бросаю взгляд на лестницу и вижу Ильина. Неужто Лубянка совсем не надеется на тутошних молодцов? Чинно и скромно Сергей Леонидович поднимается по ступенькам. Наши глаза на мгновение встречаются. Он сразу же ныряет вниз. Через десять минут ко мне подходит солидный товарищ:

- Я Директор Дома культуры. Прошу вас покинуть помещение.

- Почему?

– Вы здесь уже три часа.

Показываю пригласительный билет. Пренебрежительно:

– Это не имеет значения. Если не уйдете добровольно, дружинники выведут.

Уклоняюсь от прямого ответа и, перебрасываясь с ним ничего не значащими репликами, отыскиваю Жарких. Он член ленинградской инициативной группы.

– Юра, меня выгоняют!

Но Юрочка, по-моему, не в себе. Закомплексован . Чуть ли не все участники выставки страшатся, как бы чего не вышло, как бы ее не закрыли. Толкую про Ильина. Напрасный труд. Отрешенно смотрит и не в состоянии оценить ситуацию. Хочется затрясти его за плечи: "Меня же отсюда выкидывают по команде московского гебиста!" Соображай. Проводи хотя бы до выхода, чтобы удостовериться, что все нормально". Бесполезно. Жарких безучастен, как спящая красавица. Я на него не обижаюсь. Он никогда не умел одновременно думать о двух вещах. Сейчас весь нацелен на выставку, и остальное скользит мимо него.

А директор движется за мной недоступно. Надоело. Спускаюсь в гардероб. Меня догоняет Лорик:

– Может быть где-нибудь пообедаем?

Выходим. На плече болтается включенный магнитофон. Милиционер перстом указует направо. Поворачиваю... Но что это? Именно оттуда трое воззрились с недоброй усмешкой. Куда, мол, теперь? Ни поезда тебе, ни самолета, ни велосипеда.

Устремляюсь напрямую к переносному железному барьеру, вдоль которого с противоположной стороны стоит длинный хвост. Сзади мильтон орет:

– Сюда нельзя!

У меня в кармане пять пригласительных билетов.Хранил для московских приятелей, но их не видно. Раздаю замерзшим ценителям искусства, попутно спрашивая, откуда они, долго ли ждут, почему так интересуются выставкой. И все на ходу. Может, не осмелятся забирать на глазах у тысячи людей? Но сзади топот. Пожилой отъевшийся фараон оттаскивает меня от барьера. Ему помога-

ет молоденький, неказистый, кажется, неопытный. Требую отпустить. Сам пойду. Иначе волоките. Отпускают. Идем. Я между ними. Сзади плетется Лорик. Заводят в левое крыло Дома культуры, где полно милицейских, и оставляют под присмотром в просторной комнате. И минуты не прошло, дверь распахивается, и в нее широким размашистым шагом буквально влетает коренастый мужчина в штатском с властным и пронзительным взглядом:

– Документы!

Я уже достаточно взвинчен, а его тон меня еще больше подхлестывает.

– Сначала предъявите сами!

Молниеносным движением раскрывает удостоверение, так что едва успеваю прочесть "Парфенов". Он уверен, что я достану паспорт. Ошибается.

– Вы мне толком ничего не показали. Я знаю лишь вашу фамилию.

Он прищуривается, будто оценивает мою стоимость, примеряется, покупать или не покупать. Едва уловимым жестом безмолвно отдает команду. С двух сторон меня хватают за руки, а Парфенов обшаривает мои карманы. Деньги брезгливо кладет на край стола. Туда же сигареты. Наконец, удовлетворенно хмыкает. Стихотворение "Плотное ведение", посвященное машинам КГБ, счел за ценную добысу, не предполагая, что оно давным-давно лежит в сейфе старшего следователя Грошевеня. А вот ползут вверх от удивления его брови: копия открытого письма Андропову от художников, написанного в мою защиту. Что же, знакомься, ежели хочешь. Прочел, наморщил лоб, а я:

– Верните письмо. Оно адресовано не вам, а министру госбезопасности.

И ухом не повел.

– Почему нарушали порядок?

– Я ничего не нарушал.

– Вас предупреждали, чтобы вы не шли по газонам?

– Какие в декабре газоны? Кругом снег!

– Сопротивление милиционерам оказывали?

– Я не сопротивлялся, а они мне руки выкручивали.

И все это на высоких нотах.

- Извинитесь за свое поведение!

- Не за что мне извиняться! Пусть передо мной извиняются ваши хулиганы.

Лорик заканючила:

- Саша, извинись! Что тебе жалко? Они за порядком смотрят. Общим делом занимаются.

Я на нее цикнул. Тоже нашла друзей-единомышленников! То-то их собратья жгли на костре в Москве картины! Парфенов взъярился:

- В отделение его! Под суд отдадим!

Нашел чем пугать после Лубянки.Добро бы не ведал, что на мне висят обвинения почище. Бог с ним, под суд так под суд! Как ни странно, мне все возвращают, и двое мильтонов конвоируют меня к машине. Съежившаяся от холода Лорик похожа в темных очках на застывшего совенка:

- Я без копейки! Подбрось чего-нибудь!

Вопросительно смотрю на своих сторожей.

- Дай бабе деньги, - снисходительно советует один из них.

- В тюрьме не пригодятся.

Отдаю десятку и успеваю сказать:

- Позвони Оскару.

- Заходи, заходи! - заторопились милиционеры.

Номер отделения к сожалению не запомнил. Но где-то поблизости от Дома культуры имени Гааза.В дежурке, кроме меня, - сидящий за столом верзила-фараон, некто в штатском и пожилая, оправдывающаяся перед гражданином начальником женщина. С нею быстро закончили и занялись мной. Опять обыскали, тут на помощь подоспело двое мильтонов. Все отобрали, начиная с магнитофона и кончая сигаретами. Парфенов, очевидно, не решился изымать письмо к Андропову и возложил эту щекотливую миссию на подчиненных. После обыска толкнули на длинную скамью возле стены.

- Снимай шнурки!

Молчу, словно обращаются не ко мне.

- Снимай шнурки с ботинок, тебе говорят!

Растыкались, сволочи.

- I don't understand russian.

- Что?

- I Don't understand russian

Дежурный сорвался со стула, хвать меня за ноги - и стащил на пол.

- Объясняйся по-русски, сука!

Еще и лается.

- I don't understund russian

Бац меня затылком об пол.

- По-русски, сука!

- I don't understund russian

Но шнурки с моих ботинок ему пришлось стаскивать самому.

А потом меня пихнули в камеру предварительного заключения, коротко - КПЗ, вытянутую длинную комнату, которая заканчивается широким деревянным настилом. На нем лежат трое. Один с бритой головою, мясистой физиономией и широкой грудной клеткой, спрашивает:

- Ты кто?

- Поэт.

- Давай, поэт, свой тулуп.

Без сожаления скидываю и бросаю через всю комнату. Ловит. И уже благосклонно:

- Иди, приляг, а то замерзнешь.

- Не замерзну, бунтовать буду.

Непонимающе уставился на меня.

А я разбегаюсь и изо всей силы бью ногою в дверь. Снова, и снова, и снова. Она железная, громыхает. Милиционер с обратной стороны:

- В чем дело?

- Протестую против незаконного ареста и грубого обращения.

- А пошел ты на ...

И вновь разбегаюсь и колошмачу. Мои сокамерники, до того равнодушно валявшиеся на настилке, привстают:

- Брось, парень, не связывайся - искалечат.

- Черт с ними. - И бью, бью, аж жарко.

Милиционер за дверью опять зашевелился.

- Кончай хулиганить!

- Не тыкай! И верните сигареты. До суда не имеете права отбирать.

Тройка на настиле оживилась. Бритоголовый:

- Сигарет бы достать, а?

- У меня полторы пачки забрали. Давайте вместе требовать. На всех и разделим.

На это они откликнулись. В четыре голоса вопили,а я притом и постукивал. Мильтон притащил каждому по сигарете.Отказываюсь.Что за подачка? Где мои полторы пачки?

- Кури, пока даю. Потом еще принесу.

Закурили, задымили. Потянуло к разговору. Делимся кого за что взяли. Бритоголовый чуть не до смерти избил жену. Признается, что не впервые. Но не может без этого:

- Месяц-два поживу без мордобоя - скучно становится и ... он разглядывает свои кулачища-кувалды бывшего полупрофессионального боксера.

С другого края - красноглазый старик-пропойца.Ну, по возрасту не совсем старик, однако внешне абсолютно запущенная , опустившаяся, согбенная личность. Напился, нахулиганил, вот и все. Между ними красивый черноглазый паренек. Отмаличвается. Дошла очередь до меня. Он интеллегентно :

- А вас, простите, за что?

Подробно рассказываю о художниках и бульдозерах - молодой и бритоголовый краем уха об этом слышали, - о похождениях на Лубянке.

- С Сахаровым знакомы? - спрашивает молодой.

- По телефону дважды говорили.

- Чело-ве-ек, - уважительно протянул бывший боксер. - Расскажи о нем.

Век живи - век учись. Крутишься в замкнутом диссидентском пространстве, с работягами почти не общаешься, чем они живут не знаешь.А если разобраться,наверное тем же, что и ты, живут.Год назад зашел ко мне лет тридцати рабочий починить телевизор. Как полагается, напоследок мы с ним распили четвертинку,покалякали по душам. Жил он рядом, и с той поры к нам зачастил. Пару месяцев запрещенные книжки и самиздатовскую литературу взахлеб читал, закидывал меня вопросами. И вдруг сгинул. Заглянул к нему на квартиру,и жена запричитала:

– Загубил семью, алкоголик, ушел с завода, все пропил, зараза. Пусть теперь за решеткой поишачит.

Ваня – пьяница? Не верю. В нашем доме чача и вино не переводились, и никогда он о них не заикался. За иное его заграбастали. Видно, неосторожно поделился с кем-то прочитанным и загремел.

Пока тонкий слой интеллегенции бунтует в гордом одиночестве, в Кремле хоть и заходятся от бешенства, но за прочность режима не опасаются. Единение же диссидентов с рабочими чревато серьезными последствиями. Сегодня подобное единство немыслимо. В массе своей трудяги ненавидят творческую интеллегенцию и различий между инакомыслами и благомыслами не видят.Тем более, что голоса первых внутри страны до последнего времени были едва-едва слышны.

Летом 1966 года мы снимали комнату в рабочей стандартной крупноблочной пятиэтажке у метро "Аэропорт". Неподалеку возвышались кирпичные благообразные писательские дома. Ухоженные полисадники, поликлиника закрытого типа, личные автомобили.Мои многочисленные соседи, кое-как перебивавшиеся на скудную зарплату, чувств не скрывали. Подвыпивши, забивая в чахлом дворике в "козла", они кидали порой косые взгляды в сторону кирпичных красавцев, сжимали крепкие кулаки и матерились. Прозвучи сверху клич: "Дави этих буржуев!", и трудящиеся расправятся с ними в два счета.Откуда рабочим знать, что за кричащими о достатке и благополучии стенами живут не только запродавшиеся со всеми потрохами писаки, но и неподкуные, не ведающие, что с ними станет завтра Войнович, Корнилов...Словно специально поблизости от домов творческой интеллигенции зачастую селят рабочих.Вот и напротив нашего композиторского кооператива на Преображенке, торцом к нему – серо-белая пятиэтажка. Домино вперемешку с пьянкой и поножовщиной. Средней сытости однообразная, унылая жизнь. А под боком возле шестиподъездного девятиэтажного домища тридцать с лишним машин, люди чужие, будто иностранцы, прогуливающие по вечерам ухоженных собак и собаченок.

Для России личные машины и разные там пудели и

таксы - редкость. На необходимое бы заработать! И посему богатый, заевшийся с точки зрения слесарей да водопроводчиков, композиторский дом вызывает у них воинственную антипатию. Руки чешутся. Заехать бы булыжником, чтобы стекла зазвенели! Влепить бы по гладкой роже, пустить бы красного петуха! И однажды-таки особенно пижонистый автомобиль ночью попытались поджечь. Случайно сорвалось, но покалечили машину изрядно.

И все-таки за последние годы, благодаря прежде всего Солженицыну и Сахарову, положение изменилось к лучшему. Во всяком случае, рабочие перестали мешать в одну кучу самодовольных, состоящих на службе у власти "творцов" с творцами-борцами. Читая в газетах многочисленные гневные статьи академиков, осуждающих своего коллегу за антисоветскую деятельность, и писателей -- в адрес "предателя, отщепенца, духовного власовца" Александра Исаевича, узнавая о том, что кто-то отказался подписывать эти дурно пахнущие сочинения, рабочие призадумываются. Что же происходит? С чего бы все имеющий отец отечественной водородной бомбы, рискуя свободой, начал бороться за справедливость? А Солженицын? Пишут же, что денег у него куры не клюют, три машины в его распоряжении. Почему не успокаивается? В в официальную версию "продались капиталистам","с жиру бесятся" скорее готово поверить псевдоинтеллегентское мещанское болото, чем простые рабочие. Они чуют, что эти двое за них, за Россию. Верно, и другие такие существуют.

В общем, меня обрадовала просьба бритоголового рассказать о Сахарове. Развожу пропаганду. Мильтон повелительно:

- Прекратить!

Ишь, какой прыткий! Я еще и Галича попою, и свое стихотворение, посвященное Солженицыну, прочту. И начинаю:

Ты посмотри, как травят Солженицына,

Мессию твоего, правдоискателя...

Железная дверь медленно отворяется и впускает совсем еще юную, но потрепанную девушку с веником и совком. Прислали подмести, а заодно и помешать вредному

выступлению. Она метет неторопливо. Искоса поглядывает на меня, горлопана. Ее лицо в кровоподтеках.

Бритоголовый шепотом:

- Прошлой ночью эту девку привезли и здесь же пытались изнасиловать. Сопротивлялась, и вот...

- Кто же пытался?

- Фараоны, кто еще!

Она удаляется, и сразу же вызывают меня. Вопросительно смотрю на опытного капезешника. Зачем? Но бритоголовый тоже недоумевает. А мильтон торопит:

- Пошли, пошли!

Минуя дежурку, приходим в небольшую комнату. За столом толстая женщина с двойным подбородком, облаченная в наглухо застегнутое строгое черное платье.Сверху такого же цвета жакет. Приглашает присесть.Поясняет, что она - судья, который тут же на месте рассмотрит дело.

Обещали завтра утром устроить суд, но мое поведение им не понравилось, и в воскресенье ее доставили непосредственно в отделение. И в присутствии единственного свидетеля, милиционера, который бил меня затылком об пол, она приступает к своим обязанностям. Оглашает показания мильтонов, забиравших меня у дома культуры. Тупо состряпано. По-ихнему, я пробивался на выставку без очереди, хулиганил и потому был арестован.

- Признаете себя виноватым?

- Нет. Все от начала до конца грубая ложь. Меня арестовали, когда я возвращался с выставки,на которой присутствовал почти три часа. У дежурного мой магнитофон с интервью, записанными около картин. Кроме того и художники, и зрители, как советские граждане,так и иностранцы, там меня видели и наверняка охотно подтвердят.

Выслушала, словно и не слышала.

- Я верю показаниям наших милиционеров больше,чем словам подсудимого, который час назад утверждал, что Сахаров самый честный человек в СССР.

Ну и аргументация! Как вы ее расцениваете, западные либералы?

Приговор: "Десять суток за нарушение общественного порядка".

- Я буду жаловаться на вас прокурору. Как ваша фамилия?

- Неважно.

- Вы из какого района?

Молча плывет к выходу.

Я взбешен:

- Тогда вы для меня не судья, а просто жирная баба!

Не оглядывается.

Подталкиваемый в спину фараоном, возвращаюсь в КПЗ. Сокамерники сочувствуют:

- Не любят тебя они! Быстро справили суд! Но десять суток пустяк. Не успеешь сесть - пора выходить.

Так-то оно так, все правильно. Только кому и для чего понадобилось закатывать меня в тюрягу? Впрочем, "кому" - ясно. КГБ спустил приказ, милиция его выполнила. Однако, для чего? Пораскинем-ка мозгами. Насчитываю три варианта. Первый - в наказание за самовольную поездку в Ленинград, второй - за передачу Данзасу секретного документа, и третий, наиболее вероятный, - Глезер неоднократно нам заявлял, что не страшится смерти и потому не боится наших тюрем, лагерей и психбольниц. Язык без костей. Болтать легко. А не проверить ли? А не прощупать ли?Может, в тюрьме запоет по-другому. Может, и не выгонять его надо, но вновь попробовать вербовать.Бытие ведь по Марксу определяет сознание.

Такой вариант я за них разыграл.Логично? Логично. На их месте каждый так же бы действовал. Но разум с сердцем не в ладу. Осознавая необходимость происшедшего, возмущаюсь произволом. Когда за мной приходят, чтобы взять отпечатки пальцев,сопротивляюсь.Двое держат. Третий во всю старается. Но чуть-чуть шевельну пальцем - и тяжкий труд насмарку. Возникает Парфенов собственной персоной. Любезно предлагает поговорить тет-а-тет. Угощает сигаретами. Сообщает, что он, подполковник Парфенов, - начальник оперативного отдела Министерства внутренних дел по Ленинграду и Ленинград-

ской области. Рекомендует с ним не ссориться. Подумаешь, отпечатки пальцев! Мы обязаны их взять.Если не будете нам и себе трепать нервы, лично отвезу вас к месту заключения (спасибо, осчастливил!).Позвоню,предупрежу, чтобы обед получше приготовили. Вечер уже, а вы ничего не ели (материнская заботливость).И вообще, долго вас не продержим.

Настораживаюсь. Если исходить из третьего варианта, обещание необъяснимое. Нагло лжет или что-то стряслось? Лорик ли дозвонилась Оскару и он поднял шум? Здешние ли художники запротестовали? Лицо Панферова непроницаемо. Через две недели узнал, что Лорик Рабину позвонила, но о моем аресте даже не заикнулась. О ней ходили разные слухи.Существо она темное, но это ее умолчание уж ни в какие ворота не лезет.

Но черт с ней, с Лориком. В тот же вечер и Рухин ведь звонил Рабину.И тоже обо мне ни словом ни обмолвился. Трус двухметровый! Словно сговорились. На следующий день Оскар приехал в Ленинград,узнал обо всем, наорал на него - и в Москву! И передал корреспондентам письмо, которое я привожу не целиком, в отрывках, так как в нем подробно излагаются факты, приведенные выше.

"22 декабря 1974 г. в Ленинграде был арестован на десять суток московский поэт и коллекционер Александр Глезер за неподчинение властям. В этом письме я хочу объяснить, результатом чего является этот арест.

В 1970 году я написал статью в защиту А.Г., после того, как 20 февраля 1970 года в газете "Вечерняя Москва был опубликован фельетон, где жизнь и деятельность А. Глезера изображалась в самых черных тонах с обязательным стандартным набором всех ругательств, к которым прибегают некоторые журналисты, когда пишут о людях неугодных. К сожалению, когда в наших газетах появляются подобные статьи, человеку, против которого они направлены, практически уже невозможно оправдаться: все учреждения, включая творческие союзы, издательства, редакции других газет,милиция, народный суд и т.д. воспринимают такую статью как приказ. Творческие союзы, как правило, изгоняют заклейменного из сво-

их рядов, издательства перестают издавать,ни одна газета (в том числе и та, которая напечатала осуждающую статью) не напечатает опровержение, даже если в статье будет заведомая ложь. Милиция тут же начинает интересоваться, как человек живет, где работает, на какие средства существует и, конечно, грозить преследованием за тунеядство.Ни один суд не обвинит газету в клевете, даже если она будет очевидной.

Откуда такое равнодушие? Почему никто даже не подумает разобраться, что правда, а что нет?

Все очень просто.Вступает в силу закон: "жена Цезаря вне подозрений". А кто же тогда Цезарь? В заголовке стоит адрес: "Газета Московского городского комитета КПСС и Моссовета." Ну так что же? И МГК партии наверно ошибается, и Моссовет не святой.

Но в статье об А. Глезере, помимо обычных сплетен о личной жизни, сообщались сведения,которые журналист мог узнать только в органах КГБ. А с этой организацией, помня печальное прошлое, у нас не спорят.Мнения и рекомендации органов КГБ, в какой бы форме и через кого бы они ни передавались, звучат как приказ,неисполнение которого грозит, мягко говоря, неприятностми...

... Прошло несколько лет и 12 декабря 1974 года в той же самой газете, за подписью того же журналиста, подписавшегося Р.Строковым, появляется новая статья об А.Глезере с обвинениями гораздо более серьезными.

... С этих пор начались новые злоключения поэта и коллекционера А. Глезера. В самой разной форме,от телефонный звонков до встреч на улице поздно вечером и открытой слежки, его шантажировали и запугивали, требуя, чтобы он не информировал иностранных журналистов о происходящих событиях... 12 декабря с раннего утра органами КГБ у него проводился обыск.

... Следователь КГБ Грошевень Н.А. прямо заявил, что у него достаточно материала для возбуждения против Глезера уголовного дела. Но пока "высшее начальство" не приказывало это дело возбудить, пусть немедленно оформляет документы и подает на выезд из СССР.

... Всего этого оказалось мало. 22 декабря 1974 года А. Глезера в Ленинграде арестовали за то, что он

будто бы во-время не предъявил документов работникам милиции. Произошло это в день открытия выставки пятидесяти ленинградских художников.

Без прокурора, адвоката, свидетелей и народных заседателей дежурный судья на основании показаний работников милиции присудил А.Глезера к 10 суткам ареста. В тюрьме его немедленно обрили наголо!

20 ленинградских художников, участников выставки, обратились с письмом к прокурору района г. Ленинграда с просьбой освободить А. Глезера, приехавшего на выставку в качестве гостя художников.

Органы КГБ по этому поводу хранят молчание и делают вид, что они тут ни при чем.

... Начальник оперативного отдела штаба УВД Леноблисполкома, подполковник Ю.Г.Парфенов, лично руководивший операцией по аресту Глезера, заявил художникам, интересовавшимся судьбой арестованного: "...а если он будет плохо себя вести под арестом, то и 30 суток получит!".

Ну что ж! Свидетелей нет. Художникам в свидании с ним отказали. Посмотрим, что будет, когда окончатся эти 10 суток!

Москва, 25 декабря 1974 г. Художник Оскар Рабин.

Жаль, что ленинградские художники ограничились лишь робкой просьбой к прокурору. Яша Виньковецкий придумал выдвинуть требование: "Или освободите Глезера, или снимем со стен картины". На него зашипели,зашикали. Эх, дурачки! И не в благородстве суть, не в том, что меня, приглашенного ими, арестовали, практически, на их выставке. Блестящая возможность достойным образом привлечь к себе внимание была упущена.

Предположим, что в результате Глезера освобождают. Это означает,что художники в данный момент сильнее КГБ. Журналисты статей бы понаписали, пруд пруди! А ежели власти на ультиматум не реагируют и выставку приходится закрыть? Ну и что? Велика беда! Один день или четыре она функционировала – не принципиально.Важно, что отвоевали на нее право. Зато какой резонанс

был бы на самозакрытие! Да никогда бы начальство его не допустило! Нате вам вашего Глезера, подавитесь им, только не вякайте! Иначе бы не ответили. Гарантирую. Но ленинградцы не использовали этот великолепный шанс. И зарубежная пресса откликнулась на их экспозицию скупыми информационными строчками. После бульдозеров и Измйлова это было уже малозначительное для Запада событие.

Однако пока что Парфенов ждет моего ответа. Если не обманул, что скоро выпустят, то хорошо. Если врет, то все равно сидеть десять суток. Бери, подполковник, отпечатки пальцев. В арестантской машине едем по вечернему Ленинграду. Он норовит побеседовать.Сначала о живописи. Вы - человек со вкусом.Неужели выставка вам понравилась? Много на ней непрофессионального и чисто экспериментального. Одну же картину, не помню, чью, экспонировать вовсе не следовало - назавтра люди работать не смогут.

Это забавное суждение подходило к нему больше,чем попытки искусствоведческого анализа. Не возражаю, не поддакиваю. Пусть изливается. А он и до литературы добрался. И до Солженицына. Уверяет, что издал бы все его книги, кроме "Архипелага".Истинный демократ, Парфенов, милиционер-диссидент.

- Ну почему, - спрашиваю, - не опубликовали бы "Гулаг"? Там ведь правда написана.

Ноздри полковника раздулись, напрягся, будто собака, напавшая на след:

- Вы читали "Гулаг"?

Может быть еще поинтересуется, где взял.

- По радио слышал.

Горячится:

- Это не то! У меня есть знакомый, который, как и вы, думал, что у Солженицына правда, а растолковал я ему что к чему, так он теперь удивляется,что Солженицына выгнали, а не расстреляли.

- Ваш знакомый не из КГБ?

- Что вы! У меня с этой организацией ничего общего. В послебериевские времена я ее даже очищал от подозрительных элементов.

Выдающийся все-таки враль. Никаких у него контактов. Неприязненные чувства к гебистам. Этакий антигебист на высоком милицейском посту! Не привлечь ли его к антисоветской деятельности?

Машина тормозит. Подполковник, словно князь дорогого гостя, приглашает меня в спецприемник. УЛВД (Управление Ленинградских внутренних дел). Старинное, суровое, тяжелое здание. Нас ждут. Судя по знакам отличия, майор и капитан. Первый - худой, маленький с кривыми ногами, чем-то напоминает Грошевеня, только постарше, и лицо не столь злобное. Второй - дородный и внушительный.

Парфенова будто подменили. Он ли две минуты назад так запросто болтал об искусстве? Распоряжается отрывисто, коротко, в голосе металл. Затем святая троица удаляется в соседнюю комнату. Из нее Парфенов исхитряется уйти каким-то иным путем. Больше я его не видел. А тощий и толстый повели меня, один сзади, другой спереди, на отсидку. Но предварительно арестованного нужно остричь наголо. Новость! В Москве к такой мере, наверное из-за обилия иностранцев, не прибегают. Неудобно, если сотни остриженных будут дефилировать перед зарубежной публикой, создавая у нее превратное представление о состоянии преступности в нашей стране. В Ленинграде же стрижка - неизбежный ритуал. Не даюсь. Парфенов обещал на днях выпустить. Зачем же оболваниваться? Между мной и майором - он начальник режима спецприемника - вспыхивает перепалка. Оба ссылаемся на подполковника. Сейчас выяснится, трепался тот или нет, что скоро выпустят. Раздосадованный моим упорством, майор звонит ему и - торжествующе :

- К парикмахеру!

И вновь, хотя привыкать ли нам к беспардонной лжи власть имущих, и разве не естественнее для Парфенова скорее подлянка, чем выполнение посулов, на меня накатывает волна безрассудного гнева. Отбиваюсь руками и ногами. Но противник сильнее. Волокут и усаживают на стул. Держат. Верчу головой, а парикмахер подсмеивается. В общем, остригли, хотя и брыкался. Лишь на затылке веничком невыстриженный кусок.

Майор острит:

- Может, тебя в женскую камеру определить? Справишься?

Сдерживаюсь, чтобы не двинуть по роже. Он же, помахивая связкой ключей:

- Ступай за мной.

- Не тыкайте!

Сзади жарко дышит толстый.По узкой железной лестнице, мимо истуканов-надзирателей, поднимаемся на третий этаж. Ну, что же, почти рай. Прямоугольная камера, рассчитанная на четверых, с деревянными друг над другом нарами по левой и правой стороне и приколоченной к стене полкой. Напротив двери большое окно с двойными рамами. Под ним в углу унитаз.Рядом водопроводный кран. Решили проверить, как на Глезера действует одиночество. Конечно, с моим характером полегче в компании. Тем более, что ни книг, ни газет, ни ручки или карандаша нарушителям порядка не полагается.Да ведь десять суток не десять лет. Сдюжу.А перво-наперво отказываюсь от приема пищи, объявляю голодовку.

- Против чего протестуете?

- Против всего.

Ключ в замке дважды поворачивается. Ну, так просто от меня не отделаешься. Как в КПЗ, бью с разбега в железную дверь. Пожилой надзиратель бурчит:

- Чего хочешь?

- Позовите начальника режима.

- Завтра. Уже поздно. Домой ушел.

Прилег на нары. Благо на мне тулуп, тепло и мягко. Странно: весь день не ел, а мой голодный гастрит помалкивает. Болей нет. Замечательно! Заранее думая о голодовке, больше всего боялся, что трудно будет из-за него. Да, видимо нервное напряжение заблокировало гастрит. Еще бы заснуть... Считаю до тысячи... Сна ни в одном глазу. Разучился спать без таблеток. Просил при обыске их не отбирать, но бесплодно. Ночь напролет проворочался с боку на бок. В шесть утра подъем.Тюрьма оживает. Разносят кормежку. Не беру. Зову дежурного. Рано. Пока не пришел. Ладно. Хожу по камере. Восемь шагов вперед, восемь назад - как маятник.Почему-

то вспоминается блатная песня:

А мне сидеть еще четыре года,
Ой-ой-ой-ой, как хочется домой!

Наконец, деревянное окошко размером с форточку, вделанная в дверь кормушка, открывается. Дежурный выясняет, что мне нужно. Отвечаю, что пусть де начальник режима позвонит начальнику оперативного отдела Ленинграда и предупредит его; если меня немедленно не освободят, то, вернувшись в Москву, устрою пресс-конференцию для иностранных журналистов. Распишу местные порядочки и лично товарища Парфенова. О его реакции на звонок, пожалуйства, сообщите.

- Вы тут не командуйте! - гаркнул дежурный. - Захлопнул кормушку и отвалил.

Ожидание затягивается. То лежу, то сижу, то опять измеряю шагами камеру. Приносят обед. Лопйте сами! Колочу в дверь - грохот стоит жуткий, а надзирателя будто и нет. Выбиваю кормушку. Ору на всю тюрягу:

- Где начальник режима?

Прибежал майор со свитой. Запыхался. Кричит:

- В штрафной изолятор его!

В ленинградском спецприемнике ШИЗО, так в просторечии именуется штрафной изолятор - холодная сырая камера солидных размеров, разделенная на две половины чугунной с поперечинами решеткой, упирающейся в грязный потолок. За этой надежной оградой томится наказанный. Между нею и приземистой дверью пустое,постоянно залитое ярким жестким светом пространство. За решеткой полутемно. У правой стенки - крошечный стол и стул, как и пол - каменные, ледяные. В углу сортир, откуда исходит зловоние. Над сортиром, почти вплотную к нему, вылезает скрюченная железная кишка,заменяющая кран. Воду не пустишь. Нужно дозваться надзирателя. Он где-то что-то повернет, и хлынет струя.Может, успеешь подставить под нее рот. Может, успеешь и руки сполоснуть, над смрадной ямой. То ли от ленности, то ли от садистских наклонностей надзиратели не желают баловать преступника водичкой. Едва одарят, благодетели, едва ты к ней сунешься, они уже отключают. И ржут.

Но сегодня ШИЗО для меня не настоящий,игрушечный,

потому что я в своей одежде, при тулупе. Неширокая доска, прикрепленная цепями к стене и считающаяся кроватью, опускается лишь на ночь. Днем ложиться не положено. А мне все равно. Швыряю на пол тулуп и укладываюсь. Нога на ногу, чувствую себя независимо. Поочередно появляющиеся надзиратель, дежурный, начальник режима просят снять голодовку. Больше всех усердствует майор. Клянется, что как только поем,позвонит Парфенову. Да, видно, насчет меня им дана сверху особая команда. Засадили,а тарарама,да еще с участием художников, страшатся. Потому и няньчатся.

К вечеру подумалось, почему бы и не испытать нач. режима? Взбунтоваться заново никогда не поздно. А вдруг выгорит. Мне же 26-го очень нужно быть в Москве. Назначена важная встреча. Трижды сталкивавшийся с моими отказами щуплый майор явно обрадован.Маршируем на третий этаж в камеру с выбитой кормушкой. Невзирая на позднее время, притаскивают полный обед. Чуть-чуть притрагиваюсь к подобию супа, мутной баланде, от которой несет рыбьим жиром.От второго впечатление, будто отбросы из помойного ведра перемешали в котле, подогрели и - нате, жрите.

Для тех, кто познал настоящий голод, наверняка смешно подобное пренебрежение к какой-нибудь пище. Не сомневаюсь, что посиди я всерьез в Потьме или Владимирской тюрьме, не говоря уже о сталинских концлагерях, подъел бы все до крошки. Однако Это же были первые сутки заключения. А еще вчера я (о проклятая от природы брезгливость!) даже после матери и сына самое изысканное блюдо не стал бы подъедать. Но и сейчас прогресс налицо. Не первой чистоты алюминиевая жирная чайная ложка, от которой на воле стошнило бы, и того же качества кружка с грязными краями, с дурнопахнущим чаем отвращения не вызывает. С удовольствием прихлебываю и налегаю на черный мокрый хлаб. Опять же, на свободе он замучил бы изжогой. А тут ничего. Обвыкаю. Возможно,и пригодится.

Но где же кривоногий майор?Выполнил миссию и сбежал? Утром выясняем отношения. Увы, и назавтра он скрывается. Напрасно обиваю ноги о дверь. Обо мне

приказано забыть - и забыли. Напомню. Сотворю такой концерт, что примчатся как миленькие. Начинаю с Галича. Эхо здесь славное. Кто-то из арестантов:

- Повторить!

Ну, теперь они должны спохватиться. Шпарю свои стихи о Ленине. "Лежит он в Мавзолее, Тутанхамон России". И это терпят. Будто вымерли. Объявляю:

- Любимая песня Сталина "Сулико".

Исполняю по-грузински и по-русски. Под дверью вырастает мундир.

- Хорошая песня.

- Ты еще издеваешься?! - Вырываю (реактивный психоз превратил меня в богатыря) один из костылей, на которых держится оконная рама. Проталкиваю его между створками дверей, направляю на язык замка, и сверху, как молотком, бью сорванной со стены тяжелой полкой.

- Дурак, - веселится надзиратель. - Это же Екатерина строила. Не взломаешь.

Тем не менее, нельзя оставлять у преступника железяку. Вдвоем отбирают. А второй костыль на что? Возобновляю бессмысленные попытки. И снова отбирают. Спятить можно от бессилия! Эх, бедные мои ноги! Разбегаюсь, и о дверь - правой. Разбегаюсь - и левой. И от сотрясения ничем не поддерживаемая массивная оконная рама с грохотом обрушивается, и стекло - вдребезги. Теперь уж они рассвирепели. Целая свора собралась у камеры. Ругаются, грозятся искалечить. В долгу не остаюсь. Поливаю их на чем свет стоит. Прижимаюсь спиной к стене, чтобы не напали сзади. А в распахнутых дверях появляется длинный, худой, как щепка, парень, одетый в серые с черными полосами куртку и штаны. Вырядили под старого каторжника. Он убирает стекла, выносит раму и, вернувшись, замирает на пороге. Сзади подбадривают:

- Иди, иди, чего стал?

Самим пачкаться неохота - натравливают уголовника. Импровизирую:

- Ты же свой! Неужели будешь слушать этих сучек?

Не знаю, слова ли на него подействовали или презрительный тон, а может, он вовсе не уголовник - всего

лишь мелкий хулиган, - но тюремные крысы просчитались. Настроились на зрелище, да впустую. Полосатый покачался на своих жердоподобных ногах, дернул плечом и исчез. А позже, когда пьяниц, тунеядцев,проституток и прочих врагов общественного порядка, которых ежедневно гоняли на различные работы, развели по камерам и они угомонились, два надзирателя доставили мена на первый этаж на расправу. В присутствии начальника режима какой-то незнакомец в штатском зачел приказ по спецприемнику от 24 декабря : "За нарушение тишины, слишком громкое исполнение песни "Сулико" - трое суток штрафного изолятора". Словно ни песен Галича, ни крамольных стихов не слышали. КГБ ни за что не желает осуждать Глезера за антисоветчину. Подкидываю им материал - отворачиваются. Хулиган он - не более того.

Майор подчеркивает, что штрафной изолятор только начало. Если и дальше стану буянить, то увеличит срок заключения и до двадцати, и до тридцати суток. Начхать. Раз 26-го в Москву не попадаю, то хоть до ста. Снимают с меня все, кроме майки и трусов,и выдают казенные тоненькие куртку и штаны, черные, похожие на китайскую униформу. И то, и другое на великана. Брюки сползают, волочатся по полу, в широченной куртке тону. Унизительно и холодно. Энергично приседаю,приплясываю, подпрыгиваю, но едва согреюсь, как тепло ускользает из ветхого наряда. Может, лежать было бы полегче. Но доска кровати еще не опущена, застыла параллельно стенке, накрепко к ней притороченная.

И вновь силы мои будто удевятерились. Срываю деревянное ложе - лишь цепи зазвенели - и калачиком скручиваюсь на нем. Набежали охранники - я же святая святых, тюремный режим ломаю! - и в соседний ШИЗО меня. Запустили под напором воду, словно для того, чтобы промыть сортир, а на самом деле в отместку.Пол так залило, что пришлось взобраться на решетку. Тогда они воду прикрыли и друг за другом в глазок заглядывают, озирают меня, как обезьяну в зоопарке,и удовлетворенные удачной шуткой, хохочут.

Отчаянно раскачиваю громадную решетку, и она раскатисто громыхает. Еще изловчился одновременно са-

дить ногой по доске кровати, которая с диким шумом стукается о стену. Какофония разносится по всему спецприемнику. Паршивцам стало не до смеха. Один из них принялся через дверь со мной изъясняться:

– Чего надо?

– Врача.

– А водочки не хочешь?

– Врача!

Он чувствует, что начну все сначала, и перестает кривляться. Подается за врачом и приводит молодую женщину в белом халате. Ей здесь неуютно. Заметно, что в тюрьме недавно служит. Возможно, и передала бы весть на волю Майе или Оскару, но с врачом наедине не поговоришь – запрещено. Надзиратель тут как тут. Вслушивается в каждое слово.

– На что жалуетесь?

Соскакиваю с решетки. Брызги летят во все стороны.

– Пов-вашему, нормальные условия?

Мнется. Язык не поворачивается назвать их нормальными, а квалифицировать, как того заслуживают, боязно. В этом ведомстве проштрафишься, выгонят с треском. Потом нигде в Ленинграде не пристроишься. Придется забираться в глухомань. Но не жалеть же ее, согласную во имя удобств превращаться из врача в палача.

– Вы клятву Гиппократа давали?

Обиделась. Закусила губу. Не отвечает. Надзирателю вполголоса, будто извиняясь:

– Мокровато... Вытереть нужно. – И засеменила-засеменила поскорее прочь.

Он же ухмыльнулся:

– Приберемся. – И ушел к своим сотоварищам. Неужто и впрямь наводить в ШИЗО комфорт?

Не смиряюсь. Завожу концерт погромче первого. Прибегает нелепо размахивающий руками майор:

– Вы когда-нибудь кончите бузить? Но увидя вместо камеры нечто вроде мелководного бассейна, сердито набрасывается на подчиненных. Те оправдываются – случайно недоглядели. В итоге я очутился в третьем штрафном изоляторе, где и отбыл до конца наказание за любимую

песню Сталина.

26-го поздно вечером меня водворили в родимые хоромы. Новую раму не вставили. Справедливо: разбил окно, так мерзни. Но после изолятора обычная камера – курорт, теплый Крым! И еще тулуп на мне. Валяйся на нарах, сколько душе угодно, жуй черный хлеб,пей по утрам чай (В ШИЗО горячее дали один раз за трое суток) и не скули. Я правда, попросил, чтобы меня вместе с другими заключенными посылали на работу : при случае попробую сбежать, добраться до Москвы и ударить во все колокола. Но, хотя многих заставляли трудиться насильно, добровольца Глезера отвергли. Кто его знает, что выкинет, какой камень за пазухой прячет. Разведет антисоветскую агитацию среди алкашей, а ты виноват. Не позволили также уведомить жену, что я не утонул, под машину не угодил, жив-здоров, скоро вернусь.Слава богу, существует "Голос Америки" и "Би-би-си". Оповестили.

А вот забавно-печальная деталь из быта ленинградского специприемника Министерства внутренних дел. Мне неизвестно, распространялось ли на все категории арестованных запрещение держать в камере любую бумагу. Но я таковой не имел. По утрам через день давали к чаю крошесную горсть сахарного песку, завернутую в газетный огрызок. Эти огрызки я разрывал на еще более мелкие и припрятывал потому, что когда однажды спросил у надзирателя, как же, мол, без бумаги, простите, уборной пользоваться, он ответил коротко, со знанием дела:

– Пальцем подотрешь!

Попутно отмечу, что и мыло, и полотенце считалось для нас излишней роскошью.Даже носовой платок чуть не отобрали. С пеной у рта отстаивал.

Между тем сутки буднично сменяли друг друга. Их монотонность прервали... сионисты, перехваченные по дороге в столицу, где намечалась общая московско-ленинградская демонстрация отказников. Всех стандартно обвинили в нарушении общественного порядка, так сказать, априорно – до совершения действия. Ребята не унывали. Несомненно, в спецприемник их доставили из другой тюрьмы. Это стали понятным из затеянной ими пе-

реклички. Откуда-то снизу доносилось:

- Гершкович!

- Двести сорок шесть (номер камеры).

- Сколько дней голодал?

- Пять.

- Хорошо. Шиханович!

- Двести пятьдесят четыре.

- Сколько голодал?

- Шесть.

- Даешь! Рогинский!

- Двести двенадцать.

- Сколько?

- Три.

- Почему так мало?

- У меня же больная печень!

- У него печень! ... Дезертир! Кто у тебя в соседней камере?

- Кажется, какой-то московский демократ.

Вожак помедлил.

- Эй демократ, как твоя фамилия?

Невольно втянулся в их заразительную, прерываемую криками разгневанных надзирателей перекличку.

- Глезер.

- Это не ты давал Юнайтед интервью об эмиграции?

- Я.

- Молодец. - И тут же: - Ребята! Меня в ШИЗО волокут! Шиханович, завтра перекликаешь ты!

А у меня завтра, 31 декабря, освобождение. Обещали отпустить с утра, чтобы встретить Новый год с семьей (социалистический гуманизм). Я попался на удочку и с самого подъема изводился ожиданием.Они же не преминули и напоследок подгадить - промурыжили весь день. Лишь когда стемнело, привели в крошечную комнатку, стали там возвращать отобранное при посадке.

- Где же магнитофон? - спрашиваю.

- Товарищ Парфенов вам его в Москву пришлет.

- Ведите обратно!

Пришлось им гонять к подполковнику посыльного. Я проверил на месте кассету с интервью, взятыми на выставке. Стерли. Ну, Бог с вами!

Последние часы в Ленинграде. Юра и Ирочка проводили на вокзал. Парфенов предупредил инициативную группу, чтобы я, как освобожусь, немедленно покинул Питер. Видимо, с его точки зрения, своим присутствием я оскверняю город на Неве. После тюрьмы от обилия праздничных огней, гирлянд, все вокруг представляется нереально-сказочным. В купе полупустого вагона (кто же путешествует в новогоднюю ночь?) я оказываюсь вдвоем с неким армейским... подполковником. Ирония судьбы. Никуда мне не деться от полковников-подполковников! Бравый вояка уже под мухой и не обращает внимания на странное обличье спутника, на его бритую голову и серое, щетинистое лицо. Хлопает меня по плечу, наливает водку в стакан, тянется чокнуться:

- Выпьем! За Новый год! За нашу прекрасную Родину!

Отодвигаю стакан.

- Я непьющий.

ДО СВИДАНИЯ, РОССИЯ...

"Мы не в изгнании, мы в послании".
Зинаида Гиппиус

Вернувшись в Москву, я свалился. Нервное напряжение спало, и сразу грипп, ангина, высокая температура. Лежу - подремываю. Майя вокруг меня хлопочет. Хорошо дома после тюряги! А Оскара нет. Уехал в деревню. Оставил письмо, в котором упрекает меня, что полез на открытие, и уже в который раз сомневается, что меня собираются выгонять, да еще с картинами. Мне же 6-го января звонок. Грошевень глумится:

- Где это вы, Александр Давидович, пропадали? Мы ждем, пока вы документы в ОВИР передадите, а вас нет.

Подскакиваю на кровати, как укушенный:

- Идите к чертовой матери! Я с вами разговаривать больше не хочу и не буду! И никуда не уеду! - И еще что-то грубое ору и бросаю трубку.

О, зачем нужны таблетки, порошки и микстуры, когда есть столь чудесные врачеватели с Лубянки? От одного голоса болезнь как рукой сняло. Температура упала, горло прошло, насморк тоже. Вскочил и стал одеваться. Вошедшая в комнату Майя от удивления выронила стакан с горячим молоком.

- Что с тобой? Куда ты такой пойдешь? Посмотри на себя в зеркало!

Да, красавчик! Обритый, с маленькой темной головкой и жуткими выкаченными глазами. Выползаю на улицу. Беру такси и гоню к Толе Звереву, который хочет написать меня в этом экзотическом виде. Сзади, давно я их не видел, пристраиваются две знакомые "Волги". Пожилой таксист разговорчив. Указывает на портрет Брежнева в

газете, валяющейся между сиденьями.

- Я с ним в молодости ездил. Он тогда из Кишинева только-только на службу в Москву прибыл. Шишка была невелика, да горласта. Очень уж не любил соблюдать правила уличного движения! Никаких объездов не признавал. Висит кирпич, бывало, запретный знак - нет прямого проезда! А Леонид Ильич: "Езжай! - и все тут! Я говорю: "Милиция остановит - больше времени потеряем. " Он матерится: "Давай... твою мать... поезжай!" Милиционеры пристанут, а он и их матом-матом!..

Шофер закурил:

- Потом меня от этой работы отставили. Фамилия моя подозрительная - Архангельский. Чем-то поповским от нее отдает. Был бы я Смирнов или Ряшкин, к примеру, другие пироги!

Да, старые таксисты народ специфический. Разве кто еще осмелится так отзываться о генеральном секретаре ЦК в присутствии незнакомца? И вообще ведут они себя вольно. И о плохом снабжении не постесняются сказать, и о дерьмовых товарах,и о заевшихся кремлевских вождях. То ли у них на пассажиров чутье,то ли не страшатся, так как разговор происходит всегда наедине,ничего не докажешь. Бытует еще мнение,что многие из них сотрудничают с Лубянкой и своими пассажами стремятся развязать язык. Не без этого, конечно, но не все же они стукачи!

Толя, как ни странно, трезвый. В таком редком для него состоянии он особенно хорош. В каждом жесте, манере работать, в том, как изъясняется - самородный дар. Никакой придуманности. Все прет изнутри, в том числе его знаменитое стихийное остроумие. Прячась под маской шизика, он всю жизнь оригинальничает и острит.Хохмы его гуляют по Москве. Однажды кто-то у него с подковыркой спросил:

- Что ты все время пропадаешь у вдовы Асеева?Старухе под семьдесят. За что же ты ее любишь?

Зверев не потерялся:

- А я люблю не форму, а содержание. Я не формалист. Правда, сейчас мне с ней трудно. Научил ее ругаться матом и теперь не могу остановить.

Что-то шизоидное в нем безусловно есть,но больше какой-то звериной хитрости. Да и обличьем,словно оправдывая свою фамилию, он походит на диковинного зверя со сторожко посверкивающими глазками, гривой спутанных сивых волос и захлебисто-животным смехом.Впервые Толя забрел к нам еще в конце 1966 года, незадолго до выставки в клубе "Дружба". Подмигнул, как старый знакомый:

- Я слышал, ты балуешься грузинской водкой. Нельзя ли,- тут он стянул рукав пиджака в кулаке и всей рукой от локтя до кисти прошелся у себя под мокрым носом, - попробовать?

Пока Майя накрывала на стол, Зверев отыскал большой лист плотной белой бумаги,схватил коробочку Алешиных шестикопеечных акварельных красок и, целиком окунув его в миску с водой, буквально за две минуты нарисовал петуха. Эту виртуозную вещь - рассказывай,как создана, не поверят - впоследствии выпрашивало у меня немало людей, предлагали за нее то сто, то двести,а то и триста рублей.

Толя же в тот вечер критически оглядел сделанное и сказал:

- Выпьем, старик!

Выпив, он подлил из бутылки еще и изумился:

- Почему мне дали один стакан?

- А зачем тебе второй?

- Запивать.

Принесли ему стакан с водой. Он выплеснул ее на пол и загоготал:

- Ты что, старик, побойся Бога! Можно ли портить такой напиток водой?

- Ты же хотел запивать.

- Чачу нужно запивать чачей,- солидно объяснил он, снова хохотнул и эффектно опрокинул в себя левой и правой рукой два раза по сто.

- Зверев нигде не пропадет! - шутили ребята.

И действительно, чуть не с самого начала творческого пути Толя нашел покровителей. Искусствовед Румнев брал у него акварели и гуаши, показывал знакомым, агитировал покупать. "Мы должны помочь талантливому больному художнику", а все деньги отдавал ему. Известный

коллекционер Костаки запирал его у себя на даче и за водку и кормежку получал зверевские работы.

– Толечка плюнет, разотрет, а я подберу, – приговаривал он.

Покровители друг друга недолюбливали. А Толя иезуитски, только ради потехи, разжигал их вражду. Доносил, да еще с придумываньем, Румневу, что о нем говорит Костаки, и наоборот. Когда же они оба, разозлившись, отвернулись от него, нашлись другие желающие помочь несчастному Звереву.

Сегодня он встретил меня в голой ободранной комнате своим характерным смехом:

– Ты ущербен, как история! Ничего тебя разделали! – И начал священнодействовать. Резал пополам тюбики, выдавливал их на лежащую на полу бумагу, свистел, пыхтел, размазывал обгрызанным веником краску, кидался к деревянному корыту, где валялась груда тюбиков, снова резал, выдавливал и мазал.

Через пять минут удивительной остроты портрет был закончен.

– Я тебе его дарю, – расплылся в улыбке Толя,–но если хочешь, чтоб стояла моя подпись, то...

– Знаю, знаю, – засмеялся я и достал трешку.

Даже когда Зверев продает работу, он за подпись просит дополнительно три рубля на водку. Когда покупатели удивляются, художник в ответ тоже изображает удивление:

– Неужели моя подпись ничего не стоит?

Да у него, виртуоза, если не пьяный, каждое движение стоит. Написал он как-то Майин портрет. Двухлетняя девочка,задев невысохший холст, смазала красную краску. Впечатление, словно из носа течет кровь. Художник Иосиф Киблицкий возился с картиной два часа, стирал, подтирал, пускал в ход разбавитель. Впустую. Пришел Зверев, прищурился, прошелся взад и вперед и театрально, в душе он еще и актер, резко провел по портрету толстым заскорузлым пальцем. Все стало на свое место.

Укладываю свой портрет и несколько купленных у Толи акварелей на заднее сиденье такси и приглашаю его

к себе. Предвкушая выпивку, он блаженствует, однако с беспокойством поглядывает на конвоирующие нас "Волги":

- Не заберут?

- Нет, Толя, не бойся.

Вдруг он смачно высмаркивается. Поворачиваюсь назад. Батюшки! Вместо платка - сроду он их не имеет - в руке у него бумага - оторвал целый угол от одной из работ. Я окрысился:

- Ты что, спятил?

А он:

- Не шуми, не шуми, старик! Она от этого только лучше станет.

Ну как на такого человек сердиться?

Едва мы вошли в дом, звонок полковника Конькова:

- Александр Давидович, из-за чего вы опять поругались с Николаем Викторовичем?

- А вы, безусловно, тоже не знаете, что я сидел в Ленинградской тюрьме?

- Поверьте, я только три дня назад из отпуска.Как приехал, мне доложили. Это какое-то недоразумение.Нам нужно побеседовать.

- О чем?

- Но не по телефону же?

Условились, что 8-го с утра буду у него.

А 8-го встречает меня внизу у входа на Лубянку Грошевень. На приветствие его не отзываюсь.

- Вы в Ленинграде вежливость оставили, - непринужденно шутит он, провожает меня в кабинет к полковнику и удаляется.

Коньков смотрит испытующе:

- Наш договор остается в силе?

- Какой договор?

- О вашем отъезде.

Дверь сзади отворяется, и входит Грошевень.

- Товарищ полковник, вы прочли ему пятую страницу?

- Идите, - бросает Коньков, раскрывает папку,листает страницы и читает:

Лежит он в мавзолее,
На площади красивой,
Лежит он в мавзолее,
Тутанхамон России...

- Ваше стихотворение?
- Мое.
- Это же кощунство!
- Это мои мысли о Ленине.

Коньков, с трудом владея собой:
- Вы собрали документы для ОВИРа?
- Еще не все.

И вновь Грошевень:
- Товарищ полковник, а одиннадцатую страницу вы читали?
- Идите!.. - переворачивает несколько страниц:
- "Молитва" - ваше стихотворение?
- Мое.

Читает:

Воздай фашистам, о Господи,
Воздай цекистам, о Господи,
Воздай чекистам, о Господи,
И прости, всемогущий Господи,
За то, что в тебя не верую,
Служил бы правдой и верою
Тебе, всемогущий Господи,
Когда бы воздал полной мерою
Растлителям всей Руси,
За все с проклятых спроси,
Господи,
Господи,
Господи!

- Это что, тоже ваши мысли?
- Это мои чувства.
- А вы знаете, что в моем сейфе лежат доказательства того, что вы продавали антисоветскую литературу?

Опять за старое!
- Если так, то арестовывайте и судите.Не понимаю, зачем вы цитируете мои стихи?
- По-прежнему хотите к Буковскому?

Выдыхаю:

- По-прежнему хочу.

И снова Грошевень:

- Товарищ полковник, а вы прочли ему семнадцатую страницу?

Великолепно отрепетировали! Настоящая театральная постановка с жертвой и двумя злодеями.А полковник зачитывает мне длинное стихотворение, которое кончается строчками о том, что мы, то есть советские подданные в Москве ли, в Тбилисе ли, на Алтае ли

"Не люди и не звери, а рабы."

Он перегибается через стол и с яростью:

- Вы - раб?!

- Конечно!

- Выставки устраиваете? Дома музей держите? Иностранцы к вам ходят? Вы у них кино смотрите? И вы - раб?!

Я меланхолично:

- То, что я сижу в вашем кабинете,лучше всего доказывает, что я раб. Пусть бунтующий, но раб.

Он откидывается назад.

- Когда вы сможете сдать в ОВИР документы?

- Примерно, через неделю.

- Сделайте это завтра.

- Так у меня не все готово. Не примут.

- Не будут принимать - позвоните.

Ну и гонка у них, будто фитиль в задницу вставили.

- Я не сдам документы до тех пор, пока за мной и моими гостями будут ездить ваши "Волги".

На его лице вырисовывается искреннее недоумение:

- За вами ездят?!

Называю номера машин. Записывает, будто не имеет о них понятия, и обещает:

- Если наши, то снимем сегодня же.

- Ваши, ваши, Николай Михайлович!

Полковник поднимается:

- Значит, решено. Завтра жду вашего звонка из ОВИРа.

- Простите, еще один вопрос. Во время обыска у меня отобрали пленки и кассеты, причем даже с записями Армстронга и уроками английского языка.Следователь

сказал, что вернет все, не относящееся к делу номер четыреста девятнадцать. Так к нему ничего не относится. Но до сих ничего и не возвратили.

- То, что возможно, вам вернут.

Поразительная уступчивость. На все идут, лишь бы убрался, убрался, убрался! В тот же вечер двое друзей-иностранцев, которые приезжали ко мне, удивлялись:

- Саша, что произошло? За нами сегодня ни одной машины!..

Весь день 9-го собираю недостающие бумаги.

Вечером в районном ОВИРе нас принимает знакомая инспекторша. Два документа ей не нравятся:

- Нужно переделать. В таком виде взять не могу.

Неохота мне таскать ворох бумаг туда-сюда!

- Остальное оставьте у себя, а эти донесу.

- Я по частям не беру.

- Ну, нет так нет. Пошли, Майя. - И тут я вспоминаю, что уже шесть часов. Нужно позвонить на Лубянку. Обращаюсь к инспекторше:

- Позвольте позвонить КГБ.

Дивится:

- Зачем?

- Полковник Коньков просил сдать документы сегодня, и я должен его предупредить, что не удалось.

- А кто такой полковник Коньков?

- Начальник следственного отдела Москвы и Московской области.

Она поджимает губы:

- Звоните. Но мы организация самостоятельная. Мы им не подчиняемся.

Насмешила. ОВИР, который связан с эмиграцией, с деловыми и туристическими поездками советских граждан за рубеж, обходится без инструкций КГБ!

Она замечает мою улыбку.

- Звоните быстрее!

Коньков, услышав о претензиях чиновницы, не обещающим ничего хорошего голосом:

- Попросите к телефону инспектора!

Поворачиваюсь к ней:

- Вы будете говорить с полковником или сказать, что не хотите?

Она выхватывает трубку и приникает к ней:

– Товарищ полковник, у Глезера не в порядке два документа.

– Я... – она краснеет и бледнеет: – да, да! Мне насчет него звонили!.. Да-да! Я понимаю... Слушаюсь, товарищ полковник! Слушаюсь!

Мне ее даже жалко. Но с другой стороны...Кто ежедневно приходит к ней на прием? Бесправные отъезжающие. Уж если меня решила гонять, хотя ей дали специальное указание, то представляю, как изгиляется над ними.

После минутной паузы:

– Оставьте все это. А характеристику и справку из домоуправления переоформите и принесите завтра до перерыва. Сумеете?

– Думаю, что нет. В Профкоме литераторов с утра никого не бывает.

– Позвоним – будут.

Не сомневаюсь. По приказу Лубянки всех на ноги поднимут.

– А если все-таки не успею до перерыва?

– Ничего-ничего! Я вас буду ждать до конца рабочего дня.

А когда приезжаю назавтра, она сообщает:

– Скоро получите разрешение.

Надо знать, что меньше, чем за три-четыре месяца, эмигрантские визы не оформляются. Существуют, конечно, исключения, но чтобы столь стремительно... Бесспорно, ее информация продиктована гебистами для мобилизации меня на скорейший отъезд. Чтобы никаких колебаний у меня не было. Получишь, гад, визу – и скоро!

Возвратившись домой, поднимаюсь на девятый этаж к пианистке Стелле Гольдберг. Это, пожалуй, единственные из соседей, отношение которых ко мне за последние месяцы не изменилось. Остальные или фыркают: "антисоветчик!" или дрейфят. Последним я сочувствую, а Стеллину троицу люблю. Судьба их сложилась драматически. В квартире, кроме Стеллы, ее шестилетний Сашенька и мать мужа, виолончелиста Виктора Опарцева, Мария Яковлевна. Сам Виктор в 1970 году, то есть до того, как хлынул

поток массовой еврейской эмиграции, поехал туристом в Австрию и не вернулся. Заранее он об этом и во сне не помышлял. Импульсивно, под влиянием момента и кем-то каких-то сказанных слов остался. Улетел в Израиль. Оттуда прислал семье вызов. И началась Голгофа. Официально таких людей, как Опарцев, гебисты именуют невозвращенцами. Практически считают их изменниками Родины. Виктор никаких секретов не выдавал, да и не были таковые ему известны. Он в публичных выступлениях даже благодарил свою бывшую отчизну за полученное им отменное музыкальное образование и подчеркивал, что его отъезд никоим образом с политикой не связан. Он надеялся, что через год, ну через два жену, мать и сына выпустят.

Но для тех, кто решал их судьбу, Опарцев был гнусным предателем, и потому в ОВИРе Стелла постоянно натыкалась на отказ. Она ходила по инстанциям, по полковникам и генералам, ссылаясь на советские законы, на международные конвенции, на больную свекровь, на сына, который растет без отца... В лучшем случае ей советовали подождать неопределенное время. Часто намекали:

– Пусть ваш муж вернется. Подадите совместное заявление и, как все, уедете.

Ишь, прыткие! Сначала он отсидит года три-четыре в лагерях и, если выживет, то возможно потом вы и дадите им высочайшее разрешение на отбытие. Дураков верить вашим посулам нет! Виктор не вернулся. Он обращался к английскому премьеру Вильсону, к президенту Никсону, к американским конгрессменам. Стелла Гольдберг и Мария Яковлевна отказались от советского гражданства, стали подданными Израиля. Американский сенатор просил о них в высоких советских кругах. Но все напрасно.

Я не раз убеждал Стеллу действовать активно: созвать на дому пресс-конференцию для иностранных журналистов, выйти на маленькую семейную демонстрацию с Сашенькой, который понесет плакат: "Я хочу к папе!". Но обе женщины боялись, особенно за ребенка. И еще они полагали, что шум повредит, что мирным путем от наших носорогов можно добиться большего. Это было заблуждением. Из отказников в конце концов уезжают лишь те, кто

ходит на митинги протестов, объявляет голодовки, переписывается с начальством исключительно посредством открытых писем.

В 1973 году сбежал муж знакомой Стеллы, вправду выдавший Западу какие-то секреты. Однако и он, и, основное, в Москве его жена подняли такой кипеж – она с битьем стекол в некоем официальном здании, – что ее довольно быстро выкинули. А тут ни с места! Вначале горячо обсуждалось:

– Если бы он вернулся, то его бы посадили на три года. Следовательно, нас наказывают сейчас разлукой. А через три года наверное отпустят,– говорила Стелла. – А вы как думаете?

– Конечно, отпустят! Зачем мы им нужны? – вторила мать.

Детские наивные надежды! Мстительная власть и не собиралась доставлять такую радость ни невозвращенцу, ни его семье. Пусть переживают! Пусть изнемогают! Пусть издыхают! Прошло три, четыре года, пять лет... Мария Яковлевна почти потеряла веру, что увидит когда-нибудь сына, сильно сдала, сердечные приступы следовали один за другим. Стелла, молодая красивая женщина, высохла, стала черной, как уголек. Маленький Сашенька вырос. А генералы и полковники по-прежнему советовали набраться терпения.

– Надолго? – спрашивала Стелла.

– Кто знает? – лицемерно вздыхали они.

Уже будучи в Европе, из Вены я связывался и с Виктором Опарцевым, и со Стеллой. Ее письма были безрадостны. Он совсем отчаялся.

А Брежнев все глаголет о соглашениях в Хельсинки, о детанте, о свободном обмене людьми и идеями, и, увы, этому матерому лжецу завороженно внимают одураченные руководители многих западных стран.

В тот день я допоздна засиделся на девятом этаже, рассказывал о походе в ОВИР. Они мне завидовали, а я бы охотно отдал им право на отъезд.

13-го из деревни воротился Оскар. Услышав мои новости, помрачнел. Вопреки логике, он втайне рассчитывал, что, авось, обойдется – и не посадят, и не выго-

нят. Но предаваться унынию не было времени. Через день у него на квартире – пресс-конференция ленинградских и московских нонконформистов. Они сообщают журналистам, что намерены добиваться проведения совместной выставки. То-то завертятся теперь чинуши! Неприятная для них консолидация сил. Опять нужно как-то реагировать. А к художникам уже четыре месяца приковано всеобщее внимание. Напартачишь – руководство не простит. Ничего не предпримешь – тоже не наградят. В обороне они, а мы в наступлении. До чего же не хочется уезжать! Силком заставляю себя заниматься неотложными предъотъездными делами. Но почему предъотъездными? Разрешения-то еще нет, и чудные вещи происходят.

В мое отсутствие вваливается баба из милиции. Толкует Майе:

– У нас не положено выставки в квартире устраивать!

И еще несет чушь о свободном искусстве, о свободе мысли. Только с милицией об этом разговаривать! К чему бы ее принесло, если с нашей эмиграцией все решено и подписано?

Звонит жене заместитель директора издательства "Советский писатель" Карпова.

– Вы едете с мужем?

– Да.

– Достойный всяческого сожаления поступок. Вы не должны этого делать.

– Валентина Михайловна, не говоря уже о чисто человеческом аспекте вопроса, оставшись здесь, я была бы обречена на нищету. До сих пор, куда бы я ни обращалась, никто на работу меня не принимал.

– Ошибаетесь! Если бы вы вели себя по-иному, с работой у вас было бы все в порядке.

Это значит – забудь о разных глупостях, о такой буржуазной выдумке, как "чисто человеческий аспект", встань на позиции здорового пролетарского гуманизма, (то есть антигуманизма) – отрекись от мужа, того лучше – заклейми его – и мы тебя приголубим. Неясно, что за сим кроется. Майя поддается на агитацию и уходит от меня. Где у них гарантия, что я тогда эмигрирую, а

не брошусь в бой с еще пущим остервенением? Непредсказуемо ведут себя товарищи.

Но, может быть,это осуществляется без ведома КГБ? Инициатива на местах? Самодеятельность? Не знаю, не знаю... Вот и Коньков по телефону ни с того ни с сего выражает Майе сочувствие.

– Трудный у вас муж! Как вы его терпите?

Загадочно. Наверняка,они что-то готовили, но потом дали отбой, ибо в последующие дни с женой срочно разорвали два договора; один – в "Советской писателе", другой – в издательстве "Детская литература", хотя и там, и там ее переводы одобрены и редакторами, и авторами. Ладно, пусть не печатают. Но деньги-то в соответствии с законом должны выплатить! Не хотят. И со мной аналогично. Ах, гниды! Информирую корреспондентов, что над нами учиняют финансовый террор, и Конькову об этом же по телефону:

– Принципиально не уеду, если мне и жене не выплатят заработанный гонорар!

И сразу же бухгалтерии издательств начинают стелиться. Названивают и, будто не они еще вчера отказывались платить:

– Почему вы не приходите за деньгами?

А у Конькова голос по телефону, как у доброго Деда Мороза:

– Заплатили вам и жене, Александр Давидович?

...Инспектор управления по изобразительному искусству Маргарита Евгеньевна Лебедева предупреждена о моем визите:

– Сколько картин вы с собой забираете?

– Восемьдесят.

– Что вы! Что вы! В таком количестве художественные ценности вывозить запрещено. Максимум три-четыре.

– Так вы же не считаете модернистскую живопись художественной ценностью! Для вас это хлам!Вы его сжигаете на кострах и давите бульдозерами!

– Если хлам...

– Для вас хлам, а для меня то, что демонстрируется на ваших выставках, хлам!

Она примирительно:

- Не будем здесь об этом дискутировать. В среду привозите картины на комиссию.

Раз в неделю они заседают в помещении бывшего Ново-Спасского монастыря, и тянутся к ним эмигранты не только с живописными произведениями, но и с ювелирными изделиями, и коллекциями монет, и коврами... Раньше и иконы сюда несли. Году в семьдесят втором четыре не старые, естественно не XIX века, дозволяли брать на семью. Потом снизили до двух. А сейчас и вовсе запретили. Хоть докажешь, что икона не вновь приобретенная,от бабушки к тебе перешла, дорога, как память - все равно нельзя. Пусть она не представляет ни исторической, ни художественной ценности - нельзя, и точка! Почему мы обязаны тебе верить, что ты ее сохранишь, как память,а не продашь, не наживешься? Эмигрант же должен уезжать из своей социалистической страны нищим. Ничто имеющее хоть какую-то стоимость на Западе, не пропускается.

На таможнях в Шереметьевском ли аэропорту, на железнодорожных ли станциях Чоп или Брест у женщин вырывают из ушей золотые серьги, обыскивая, раздевают догола, усаживают в гинекологическое кресло, проверяют, не провозят ли чего внутри. Отрывают от пальто норковые и каракулевые воротники, отбивают от туфель каблуки,ищут, не упрятаны ли драгоценности туда. Бдят таможенники.Даже анекдот родился.

"Уезжает старый еврей. Советский таможенник,роясь в его чемодане, широко раскрывает глаза:

- Что это?

Старик с укоризной:

- Не что, а кто. Портрет нашего дорого вождя Владимира Ильича Ленина.

В Израиле на таможне чемодан проверяют снова:

- Кто это?

Старик с достоинством:

- Не кто, а что. Рамка-то золотая!"

Но мне на их комиссию переться невозможно.

- Маргарита Евгеньевна, как же я повезу пятьсот картин?

- Не пятьсот, а восемьдесят.

Это тоже невыполнимо. Да и нелогично. Посудите сами, если дома из восьмидесяти отобранных мною картин какие-нибудь не пройдут, я их заменю другими. Не таскать же с собой запасные! Пусть комиссия приедет ко мне.

Она взволнованно:

- Это не принято!

- Так и у меня случай особый.

- Но у нас люди из разных мест. Право, не знаю.

Озорую:

- Подать вам такси или черные "Волги" КГБ?

Она торопливо:

- Такси, такси!

- Когда за вами заезжать?

- С утра. Мы картины будем не только смотреть. Нам их и оценить надо. Вы должны заплатить пошлину.

Остричь вы, конечно, каждого не прочь. Родина нуждается в деньгах.

- Как же вы станете оценивать такие работы?

- По ценам салона [1].

Нет уж, дудки!

- Вы эти картины в салон не допускаете. Впрочем, это не имеет значения. Все равно платить пошлину не буду.

Она возмущенно:

- На каком основании?

И я вспыхнул:

- На таком, что из-за этих картин меня превращают в изгоя и еще хотят за это с меня деньги содрать.

- Без пошлины ничего не выйдет.

- А вы знаете историю с художником Мариенбергом? Он получил визу в августе прошлого года, но ваша комиссия установила пошлину на его собственные картины. Тогда он написал открытое письмо Фурцевой с отказом платить, просрочил визу и 29-го сентября вышел на выставку в Измайлово. За рубежом резонанс был неплохой, и Мариенберга отпустили с картинами, не взяв с него ни копейки. Поучительно, не так ли?

---

[1] Имеется в виду салон, где продаются картины иностранцам.

- Вы не художник.

- Поверьте, шум я способен устроить не меньше, чем любой из них. Предупреждаю вас: в случае требования с меня пошлины, я обращусь к международной общественности с просьбой о пожертвованиях. Или еще проще - не уеду.

- Ни то, ни другое нас не касается.

- Зато полковника Конькова касается!

Она неприязненно глядит на меня сквозь очки и спрашивает коньковский номер телефона.

Отвечаю уклончиво:

- У вас есть сотрудники, которые превосходно знают номера Лубянки.

Вечером неожиданный гость - Евгений Евтушенко. Приехал с Олегом Целковым, с которым давно приятельствует. Выпивший Олег непрочь поднабраться еще. Сидит в кухне, пьет и заедает кислой капустой. Евтушенко, как всегда, с гордо вздернутой головой, бродит по квартире, осматривает картины. Иногда одобрительно прищелкивает языком, иногда презрительно позевывает. Заглянув в кухню, возвещает:

- Если уедете, а я зайду к вам за границей и не обнаружу в вашем холодильнике кислой капусты, то разговаривать не стану.

Позером был, позером и остался. Помню, как пришел он на выставку в клуб "Дружба". Промчался по залу и в распахнутой шубе пошел к директорскому кабинету. Раскрыл дверь и зычно:

- Кто директор?

А в кабинете только гебисты и горкомовцы.Лев Вениаминович, притулившийся на стуле в коридоре и похожий на побитую собаку, тихонько проскулил:

- Я директор...

Поэт царственно протягивает руку:

- Евтушенко!!! От всех истинных любителей (тоже мне истинный!) благодарю вас за потрясающую выставку. Пятьдесят лет такой не было! - И, проследовав к выходу, именно оттуда, на весь коридор:

- Бодритесь! Если вздумают обижать, звоните! Помогу!

Сегодня он рассказывает, как был в гостях у Роберта Кеннеди.

– Встретили меня великолепно. Роберт радушно провел в холл, куда уже собрались знаменитости со всего света: кинозвезды, писатели, певцы, ученые. Стали провозглашать тосты. Я поднял бокал и торжественно воскликнул: "За благоденствие этого замечательного дома! За долголетие и успехи его хозяина!" – и грохнул изо всей силы хрустальный бокал об пол. К моему ужасу он не разбился, а спокойно откатился в угол. Сердце сжалось в дурном предчувствии. Все смущенно улыбались,не понимая эксцентричной выходки чудака-русского. Позже, когда я объяснял миссис Кеннеди наш обычай, она выразила сожаление, сказав, что хрустальный набор стоит у них в буфете, а к столу подается специально изготовленная пластиковая копия. – Евтушенко замолк.Он вдохновенно играл. Лицо его даже осунулось: – Через полгода Роберта убили...

Наконец, гости убрались. Всю ночь колдую над картинами: что взять с собой, что переправить нелегально. С одной стороны, при себе хотелось бы иметь лучшее, чтобы первая же выставка прозвучала. С другой – страшно. Отправишь на таможню, а что там с ними сотворят, неведомо.

Решил не рисковать. Из наиболее любимых поедут со мной только холсты Немухина, Плавинского и Жарких.Никому отдать их для перевозки не могу: не сворачиваются – в чемодан не положишь. А как раз из-за Немухина и Плавинского комиссия в среду уперлась. Вшестером посмотрели коллекцию и заперлись на совещание.Затем призвали меня:

– Две картины придется вам оставить. – И показывает на Плавинского, совсем недавно сделанную "Новгородскую стену", и Володькин "Пасьянс".

Председатель комиссии, рыхлый чиновник из Министерства культуры СССР говорит:

– Нам эти картины нравятся. Не исключено, что их приобретет какой-нибудь музей.

Ну и загнул! Что вам нравится, предположить возможно. Но что вы советскому музею такое порекомен-

дуете, и он купит - немыслимо. Но, если вдруг случится чудо, то Плавинского... я, может быть, и уступлю. Что касается "Пасьянса" - ни за что!

Так им и излагаю.

- Мы к вам приезжаем, навстречу вам идем, - укоряет Лебедева, - а вы...

- Приказам КГБ навстречу вы идете!

Это было, конечно, чересчур. Искусствовед З.,восхищавшийся картинами и извинившийся перед Майей за то, что входил в комиссию, уставился в одну точку.На длинном лице женщины референта из Министерства культуры РСФСР читалась обида. Они-то безусловно не заслужили подобного.

Я почувствовал себя неловко и пояснил, что не хочу никого обидеть, но холст Немухина - из первых, появившихся в коллекции. С ним не расстанусь.

Володечка же, узнав о случившемся, дважды мне перезванивал, выспрашивая подробности. Для него, извечно гонимого, это первое признание на родине было несказанной радостью.

Однако назавтра определилось, что если и были у кого-то планы сосватать работы нонконформистов с отечественным музеем, то это оказалось нереальным.

- Забирайте все восемьдесят, - сказали мне по телефону.

Но еще долго меня с картинами мучили.Как на службу, ежедневно ездил к Лебедевой, а она ссылалась на заместителя министра культуры СССР. В конечном счете он подписал, но при условии, что я заплачу пошлину. Услышав об этом от Лебедевой - по дороге из Министерства в управление - я вспылил:

- Вы и ваши хозяева мне осточертели! Эмигрируйте сами!

Потерянная Маргарита Евгеньевна - попала она по моей милости в жернова между непосредственным руководством и Лубянкой - побежала назад, к замминистра. Наверное нужно сильно на него нажать, чтобы он согласился, без письменных инструкций, то есть, вся ответственность на нем, - позволить увезти запрещенные к вывозу модернистские полотна, к тому же без оплаты. Но

кто из государственных служащих устоит перед полковником Коньковым?

Уже 31 января пришло разрешение на выезд. Всего десять дней отвели на сборы - не позже 10 февраля выкатывайтесь - в то время, как большинству дают месяц, а то и больше. И в тот же день позвонили художникам из управления культуры и предложили в пожарном порядке организовать выставку и открыть ее тоже 10-го. Условия жесткие: экспонируются только известные мастера и только москвичи. Это ответ сверху на намерение устроить совместную выставку. Раскалывают москвичей и ленинградцев, зачинателей движения нонконформистов и молодежь, присоединившуюся к нам в Измайлове. Среди художников споры: соглашаться - не соглашаться.

Оскар считал, что подло оставить за бортом тех, кто противостоял бульдозерам, и тех, кто, не имея никаких гарантий, что не будут преследовать (и преследовали же!) за участие в показе 29 сентября, пришел с картинами в парк. Но он в меньшинстве. Грустно. Первая подачка от властей, и сразу раздор. Страшившийся выйти с картинами на улицу, забывший, что без этой, как он с пренебрежением высказывался, "демонстрации" никогда бы не состоялась предстоящая февральская экспозиция, Отари Кандауров, до болезненности самолюбивый, с манией величия человек, твердил:

- Неужели мне выставляться с безымянными художниками только потому, что они лезли под бульдозеры?!

К сожалению, он выражал мнение многих.

А я добивался продления визы.

- Вы что, не успеете собраться? - спрашивали и переспрашивали в ОВИРе, будто стараясь подсказать приемлемый ответ.

Но я упрямился:

- Я должен посмотреть выставку! - И повторял уже в который раз: - Из-за этих художников меня выгоняют, и чтоб я уехал и на ней не побывал?!

Когда ОВИР отказал в продлении, я, уходя, пообещал, что несмотря на это, останусь.

- Ваше дело, - равнодушно проронила инспекторша. Но через день она уже звонила:

- Вам продлили визу до шестнадцатого.

Но и выставку перенесли на 18-е. И чего они так опасались моего присутствия? Быть может, рассчитывали изолировать Оскара? Не очень-то вышло.

За четыре дня до выставки 99 художников из Москвы (молодежь), Ленинграда, Владимира, Тбилиси, в том числе и Рабин, направили министру культуры СССР письмо, в котором настаивали на проведении общей выставки модернистов, независимо от места их проживания, возраста и известности. Поединок властей и нонконформистов продолжался.

Я бы попробовал продлить визу, но Майины силы были на исходе. Да и сколько можно дразнить лубянковских гусей? 5-го февраля ездил к ним за отобранным при обыске. Сами пригласили, а вернули пустой чемодан. Швырнул его следователю со словами:

- Захватите на память от меня Лубянке!

Они поступили психологически точно. Воевать с визой на руках за кассеты не имело смысла. Было тысячи мелких и крупных забот поважнее. Одни денежные чего стоили! Ведь только за отказ от гражданства мы заплатили тысячу рублей - по пятьсот с носа. Неплохо оббирает социалистическое государство за отказ жить в нем!

Несмотря на запрет КГБ покидать Москву, я под покровом ночи, словно вор, выбрался на пять часов в Уфу попрощаться с сестрой и матерью. У Майи тяжелое прощание в Москве. Она единственная дочь у старых больных родителей. Чувствую вину перед ними и перед ней, но так сложилась судьба. Последняя ночь. Спать не ложимся. Приезжает группа диссидентов, забирает оставшуюся посуду, мебель, занавески. Пригодится возвращающимся из лагерей. Кто-то, отвинчивая люстру, напевает:

"Дедушку Ленина
Сильно я люблю,
Вырасту большая -
В партию вступлю."

Эту песенку учат сейчас в детских садах. Что ж, раньше про Сталина:

"Я маленькая девочка,
Играю и пою,
Я Сталина не видела,
Но я его люблю."

На аэродром едем на рассвете от Оскара. Еще темно. Мелькают знакомые улицы, очертания знакомых домов. Неужто прощаемся навсегда? Неужто никогда не вернемся ? Печальные сидим в аэропорту, пьем кофе. На глазах у Нади Эльской слезы. Сашка Рабин мягко улыбается:

– Обязательно увидимся!

Оскар дает советы на будущее:

– На Западе не горячись. Приналяг на язык. Возьми адвоката.

Но приспело. Обнимаемся. Проходим внутрь сдавать багаж. Друзья стоят в вестибюле. У нас всего два чемодана с барахлом. Раскрываю их для таможенного досмотра. Ба! Чемоданы досматривает наш сосед. Нет, не тот, который сулил мне когда-то изгнание. Другой. Он не в форме таможенника, а в штатском. Да, хороши сочинители в доме композиторов! Ничего не нашел. Просит показать записную книжку.

– Записи на русском? Нельзя.

Оригинальная придумка Лубянки. Адреса родителей, приятелей, знакомых захватить с собой можете, но лишь в переписанном латинскими буквами виде. Что за глупость? Никто объяснить не в состоянии. И тысячи людей покупают новые записные книжки и тратят часы на бессмысленное занятие. Может, именно в затрате эмигрантами денег и времени и сокрыт высший замысел авторов предписания?

По требованию соседа-гебиста выбрасываю записную книжку. Двигаемся на последний таможенный досмотр на второй этаж. С балкончика видим провожающих. Оскар кричит:

– Ты не эмигрируешь! Ты едешь от нас в командировку!

Отзываюсь:

– Ребята, я прорвусь к вам сквозь большевиков!

Майя сердито хватает меня за руку, тащит. Она боится, что мы не улетим. Напоминает, что недавно одного сняли с трапа самолета. И времени в обрез. А тут вновь остановка. Прибор драгоценностей у нас не обнаружил. Кажется, можно бы идти на посадку. Но задерживают. Меня обыскивает молодой толстый таможенник. Отворачивает карманы, похлопывает по бокам и, отступив на шаг, ядовито:

- Вам привет от Грошеваня.

Майя бледнеет. Похоже, ее опасения сбываются.Что-то замыслили. Иначе откуда таможенник знает фамилию следователя с Лубянки?

Не отвечаю, а толстяк спрашивает:

- Ну как, Глезер, везешь золотишко?

- Гебешная сволось! - вырывается у меня. В голове же проносится: "Эх, обманули! Западня! Высылают не меня, а картины. Они улетят, а я останусь."

До отлета пять минут. Таможенник куда-то удаляется. Четыре минуты. Три... Возвращается:

- Проходите.

И для чего под занавес ломали комедию? Чтобы напоследок мелко напакостить? Поиздеваться?

Бежим. Едва успеваем добраться. Майя и посейчас не верит, что вырвались, и в самолете ей чудятся гебисты. Но вот мы оторвались от земли. Алешка ликует,а мы жадно прильнули к стеклу, чтобы в последний раз увидеть этот мокрый снег, эти поникшие березы, этот серый московский февральский день. Прощай, прощай, Россия! Прощай, прощай, Грузия! Нет! До свидания! До свидания! До свидания!

ЭПИЛОГ

Вокруг талантливые сраки
И обнаглевшая бездарь,
И только ты, мой друг Шемякин,
Как некий равный государь.

Игорь Северянин
с поправкой автора

Быть может, читателю небезинтересно, как развивались события после того, как мне пришлось покинуть страну - состоялась ли в феврале выставка, ответил ли министр культуры СССР на письмо 99-ти?

Выставка состоялась. В ней приняло участие всего лишь двадцать живописцев. На письмо же министр не отозвался. В знак протеста нонконформисты разных городов устроили в конце марта и в конце апреля в Москве экспозиции одновременно на семи частных квартирах. А 25-го мая они наметили провести очередной показ картин на открытом воздухе, на этот раз в Ленинграде. Но тут уж начальство не стерпело, вмешалось. Оскара Рабина исключили из горкома художников, поставив в положение тунеядца. Под предлогом, что он не колхозник, у него отобрали дом в деревне. Саше Рабину прислали анонимное письмо с предупреждением: "Повезешь картины на выставку в Ленинград - убьем". И хотя, в виду слабого здоровья, он был давно освобожден от армии, его срочно вызвали на переосвидетельствование и признали годным для прохождения воинской службы. Газета "Московская Правда" 17-го мая опубликовала статью "Третьего пути нет", в которой творчество нонконформистов объявлялось активной проповедью буржуазной идеологии.

В Ленинграде членов инициативной группы КГБ предостерег: участников выставки будем судить по § 3 190 статьи Уголовного кодекса - проведение массового мероприятия без ведома властей. Обещали каждому по три года лагерей. Таким образом показ картин в Ленинграде



15 февраля 1975 г. Перед отъездом.

сорвали. Но через неделю власти сообщили, что выставка состоится, только не теперь, а в сентябре. На трудно догадаться, что означает эта затяжка. За три месяца можно успеть кого-то обласкать, кого-то запугать, и не известно, захотят ли признанные художники-нонконформисты демонстрировать свои картины осенью даже на разрешенной выставке. Так и вышло. Кому-то посулили мастерскую, кому-то шепнули, зачем вам выставляться с неизвестными - мы для вас отдельную экспозицию устроим, к кому-то применили репрессии. Сильнее других пострадал Жарких. Ему мстили и за активность,и за нежелание сотрудничать с гебистами. Когда он возвращался из Москвы в Ленинград, ночью в купе в его туфли подсыпали химический препарат типа иприта, который сжег Юре ноги, уложив на четыре месяца в постель.

И в сентябре 1975 года общей выставки, за которую боролись авангардисты, не получилось. В Ленинграде экспонировались лишь ленинградцы, в Москве - лишь москвичи. За бортом остались художники Закавказья,Прибалтики, Владимира, Пскова... Да и в московской сентябрьской выставке приняла участие в основном молодежь.Среди 160 человек только несколько ветеранов - Рабин,Целков, Кропивницкая. Отсутствие старой гвардии снизило чисто художественный уровень выставки, что облегчило консерваторам дискредитацию движения нонконформистов и показало, что чиновники, стремящиеся расколоть модернистов, добились успеха.

Я не пессимист и надеюсь, что известные нонконформисты разберутся в направленных против них опасных маневрах. Если же это не произойдет, то все завоеванное за две горячие недели сентября 1974 года может в конце концов оказаться потерянным. Недаром незадолго до московской и ленинградской экспозиций журнал "Огонек" напечатал обширную статью народного художника СССР академика Налбандяна, который заявил, что нонконформисты отрекаются от самого святого, что есть у человека - Родины.

Письмо в Москву.

Дорогой Оскар!

Уже два года я на Западе. Кое о чем могу написать. Как раз подвернулась оказия, и грех ее не использовать. Ведь письма, посланные почтой, как и следовало ожидать, до тебя не дошли.

Чем поражает Европа наших эмигрантов? Посмотрел бы ты на них в Вене в первые дни после приезда! Они с открытыми ртами глядят на витрины переполненных продуктами и одеждой магазинов, на отсутствие очередей, на неправдоподобно вежливых продавцов. Я хорошо понимаю их, всю жизнь проведших в советском хамстве в поисках мяса, масла, сносных вещей.

Но меня поразили не магазины, не обходительные,неиздерганные западные люди, а так называемая "левая" интеллигенция. Приезжаю ли в Германию, в Англию, о Франции уже и не говорю,везде в большей или меньшей степени одно и тоже - левонастроенные студенты, левонастроенные профессора, левонастроенные журналисты.Не то, что они за Советский Союз и советские методы, но они считают, что у них социализм будет другим. "Почему другим? - спрашиваю. Где он другой - на Кубе,в Германии или Вьетнаме?" Они снисходительно улыбаются: "Там вмешивается СССР". "А где гарантия, что не вмешается и у вас?" На это левонастроенные не отвечают. Они предпочитают в таких случаях указывать на Америку: "Вы о Советском Союзе кричите, а чем США лучше?" Я им про ГУЛаг, где погибло 60 миллионов, а они про Чили, где, якобы, с американского благословения Пиночет устроил переворот - как будто это сопоставимо. Я им про КГБ, а они про ЦРУ, как будто ЦРУ сажает, пытает и убивает инакомыслящих. Я им о том, что Америка спасла и спасает Европу от советского нашествия,а они всерьез уверяют, что американская экономическая экспансия не менее опасна. Как будто сравним финансовый захват десятков, пусть даже сотен, предприятий с превращением целых народов в бесправных рабов. Но они не верят, что последнее возможно. Никто из них прямо не говорит, что Солженицын пишет неправду, но фыркают, слыша его имя: "Реакционер, ретроград, монархист!"

Я ловлю себя часто на том, что ради "перевоспитания" этих интеллигентов очень желал бы, чтобы в их странах временно установилась советская власть. Раз не верят нашему опыту, пусть познают все на своей шкуре. Не случайно в Австрии, которая 10 лет находилась под советской оккупацией, коммунистам симпатизируют единицы.

Ну, а нейтральные, ни левые, ни правые, что они? А они просто боятся СССР, боятся до такой степени, что даже вашу выставку ни в каком государственном музее организовать невозможно. Как честно признался директор стокгольмского музея Модерн арт: "Если мы сделаем такую выставку, это вызовет недовольство в советском посольстве". Разозлившись, я спросил по этому поводу у шведского журналиста: "А чилийского посольства вы не опасаетесь?" Он заметил: "Чили далеко и маленькая".

Ну, что еще тебе написать? Не верь всяким россказням обо мне, как устным, так и письменным. Я знаю о двух дурацких статьях в "Литературной газете" и "Советской культуре", дескать, Глезер голодает, никому не нужен, нонконформисты никого не интересуют. По-моему, по выставкам, организованным мной на Западе, и открывшемуся неподалеку от Парижа Музею ваших картин, ребята могут видеть, что наша желтая пресса себе верна - врет, не стесняется.

Распускаемые стукачами слухи о том, что Глезер устроил в Риме аукцион и распродал все работы, или что музей во Франции подожгли, Глезера ранили, лежит в больнице, - стоят ровно столько же, сколько наши газетные информации. Жив я и здоров, хотя, конечно, КГБ обо мне попрежнему печется. Еще в феврале 1975 года, когда открывалась выставка в Вене, подослали ко мне молодую, красивую даму. Представилась корреспонденткой польской католической газеты, взяла интервью и вызвалась помочь с переводами. Я как раз получил письмо из Германии. Перевела она. Оказывается, предлагают сделать выставку. Через несколько дней звонит: "Я видела плохой сон и очень о вас беспокоюсь. Если вы устроите выставку в Германии, то с вами случится не-

счастье". Как я выяснил у старых русских эмигрантов, эта "корреспондентка - предсказательница снов" работала в просоветском книжном магазине "Глобус" и в коммунистическом издательстве "Фольксштимме". Все эмигранты как один: "С кем вы связались, - это же известная гебешница!"

Вот до чего, Оскарчик, дошло - КГБ начинает использовать новое психологическое оружие - сновидения. Зато во Франции агенты Лубянки орудуют по-старинке. Накануне открытия музея, когда мы с Шемякиным и еще двумя знакомыми - французами развешивали картины, в час ночи прибегает Майя и говорит, что в ворота замка (ты уже наверное получил снимки старинного château, в котором разместился музей), стучится полиция. Странно. На цыпочках подхожу к воротам и слышу на чистом русском: "Ничего... Выйдет!" Кричу: "Вы коммунисты?" Молчание. Один из французов спрашивает: "Вы - полиция?" - "Нет, но полиция послала нас сюда ночевать", и настаивают, чтобы открыли. Бред какой-то. Еле-еле отвязались. А в день открытия позвонил Виктор Луи, сказал, наглец, что от твоего имени и что хочет приехать на вернисаж, а потом рассказать о нем московским художникам. Пришлось пообещать ему, что выгоню.

Так и живем. Конечно, скучаем по Москве, по России, по тебе, по ребятам. Утешает одно, что не напрасно небо коптим. Очень ободрила в твоем недавнем письме фраза: "У меня впечатление, что твоей деятельности придают у нас все большее и большее значение и что она каким-то образом будет влиять, если уже не влияет, на политику по отношению к художникам. "Дай-то Бог, чтобы то, что я делаю здесь, помогало вам там".

Крепко обнимаю тебя. Привет всем от меня и от Майи.

Целую. Твой Саша.
10.II.1977

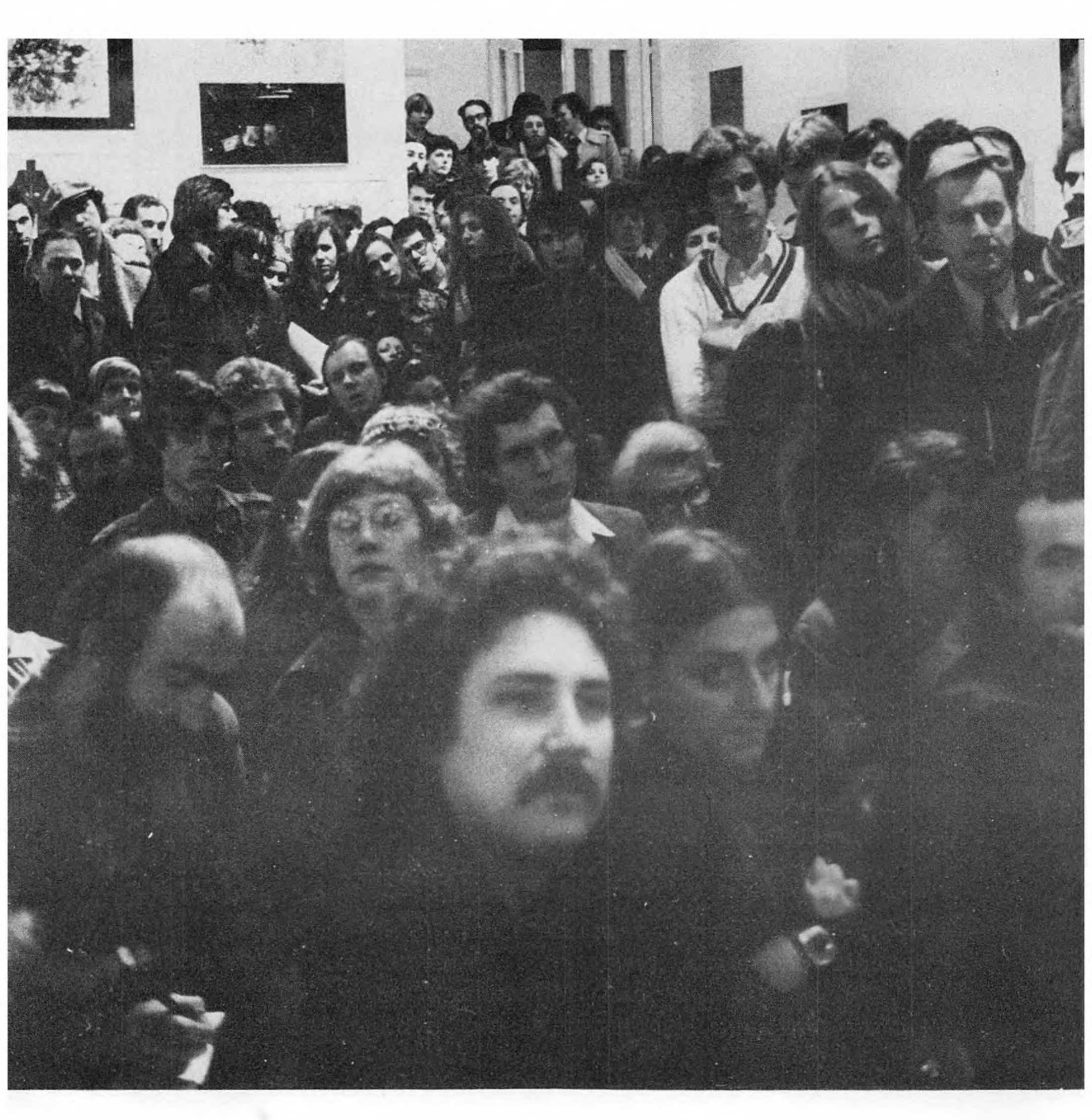
P.S. Хочу отдельно написать о Шемякине. Это единственный из находящихся здесь русских художников, кто думает об общем деле. Это только он помог музею и материально, и морально, только он сумел найти в Париже помещение для проведения грандиозной русской выставки,

да еще вложил в издание каталога собственные силы и собственные деньги. Это только он устроил персональную выставку не свою, а другого, вдобавок, находящегося в России художника Володи Макаренко. Это он издал "Аполлон", к которому как ни относись, настоящая энциклопедия неофициального русского искусства и литературы. Всякое говно говорит, что все это и многое другое он делает для саморекламы. Такое же дерьмо утверждало, что "бульдозерную выставку" ты тоже делал с целью саморекламы. Интересно, почему эти сплетники сами не лезут под бульдозеры и не тратят личные деньги и время, а стремятся получить рекламу за чужой счет. Как, например, Кульбах в Пале де Конгрэ, где в интервью лишь о себе говорил, а вот Шемякин - обо всех. Да что там говорить! Мишка ведь и приехавшим многим и деньгами помогал, и квартиру предоставлял, и советы давал. Может, и это самореклама? Нет, он просто - Человек, а они - людишки. Если тебя когда-нибудь вослед за мной выпихнут на Запад, надеюсь, вы станете друзьями. Ведь, как говорится в Грузии: твой враг - мой враг, твой друг - мой друг. А я люблю тебя давно, а Мишу недавно. А три мушкетера - лучше, чем два. И еще: до встречи с Шемякиным я о ленинградских делах почти ничего не знал. Оказывается, всего лишь на несколько лет после москвичей зашевелились и они. И именно Шемякин создал в середине шестидесятых годов группу "Санкт-Петербург". Кстати, и в психушке его продержали полгода за не тот стиль и мистику. Так что с в о й он. За идею пострадавший, талантливый, щедрый, да к тому же чуть ли не грузин - отец у него осетин. Помнишь, у Мандельштама: "И широкая грудь осетина". Кстати, у Мишки она и вправду широкая, как и сердце. Еще раз обнимаю.

Москва - Вена - Париж
1974 - 1978



В Музее современного русского искусства. Монжерон



Лондон, январь 1977 года. На открытии выставки "Неофициальное искусство из СССР"



Париж, 19 января 1978 года. На вернисаже выставки "Салон отверженных". Слева направо: Олег Целков, Валентина Кропивницкая, Оскар Рабин, Валентин Воробьев, Михаил Шемякин, Александр Глезер, Марк Клионский, Валентина Шапиро, Владимир Бугрин, Алекс.Рабин.



Май 1978 г. Саарбрюкен. Михаил Шемякин и Александр Глезер на открытии выставки неофициального русского искусства в городском музее.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ACHEVÉ D'IMPRIMER
LE 6 JUIN 1979
PAR JOSEPH FLOCH
MAITRE-IMPRIMEUR
A MAYENNE
N° 6777